Н(Ф.Р)
Е 21

БАЛЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

БАБУШ

Этюды о нравах

СЦЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ДЕПУТАТ ОТ АРСИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЫБОРЫ

В один из последних дней апреля 1839 года, в десять часов утра, гостиная г-жи Марион, вдовы управляющего окладными сборами департамента Об, являла собою странное зрелище. Из всей обстановки на месте остались только оконные занавеси, каминные принадлежности, люстра и чайный столик. Обюссонский ковер, снятый на две недели раньше обычного времени, загромождал ступеньки крыльца, а паркет был только что нещадно натерт, хотя и не стал от этого светлее. Это было своего рода домашнее предзнаменование готовившихся по всей Франции выборов. Зачастую неодушевленные предметы столь же одарены разумом, как и люди, что является некоторым доказательством в пользу оккультных наук.

Старик слуга полковника Жиге, брата г-жи Марион, старательно выметал последние остатки пыли, приставшей за зиму к паркету. Горничная и кухарка с усердием, говорившим о том, что их рвение не уступает их преданности, выносили стулья из всех комнат и, опрокидывая, ставили их в саду.

Заметим кстати, что деревья в саду уже распустились, и сквозь листву синело безоблачное небо. Весенний воздух и совсем майское солнце позволяли держать открытыми и стеклянную дверь и оба окна гостиной, имевшей форму длинного прямоугольника.

Указав рукой в глубину комнаты, г-жа Марион велела расставить стулья в четыре ряда так, чтобы между ними остался проход примерно в три шага. Вскоре каждый ряд, состоявший из десяти сборных стульев, выстроился в одну прямую линию. Еще ряд тянулся вдоль обоих окон до застекленной двери. На другом конце гостиной, против этих четырех рядов, хозяйка поставила чайный столик, покрытый зеленой скатертью, и водрузила на него звонок.

Старик полковник Жиге прибыл на это поле боя как раз в ту минуту, когда его сестра, решив заполнить пустое пространство с обеих сторон камина, распорядилась принести из прихожей две обитые плюшем скамьи, хотя за двадцать четыре года службы обивка их совершенно вытерлась.

— Мы можем усадить семьдесят человек,—с гордостью сказала она брату.

— Дай бог, чтобы у нас оказалось семьдесят друзей,— ответил полковник.

— Вот уже двадцать четыре года, как у нас каждый вечер собирается весь свет Арси-сюр-Об. Кто же из наших постоянных посетителей осмелится не явиться в такой день...— угрожающе проговорила старуха.

— Посмотрим,— пожимая плечами, прервал ее полковник.— Я вам насчитаю десяток людей, которые не могут прийти и не придут. Прежде всего,— начал он, загибая пальцы,— Антонен Гулар, супрефект — раз! Королевский прокурор Фредерик Маре — два! Его помощник, господин Оливье Вине — три! Следователь господин Мартене — четыре! Судья...

— Я не настолько глупа,— в свою очередь, прервала его г-жа Марион,— чтобы жаждать присутствия чиновников на собрании, которое намерено провести в палату еще одного представителя оппозиции... Впрочем, Антонен Гулар, друг детства и школьный товарищ Симона, будет очень рад, если Симон пройдет в депутаты, ведь...

— Подождите, сестрица, позвольте и нам, грешным, делать свое дело. А где же Симон?

— Он одевается,—отвечала г-жа Марион.—Хорошо, что он воздержался от завтрака. С его нервами... Хотя наш молодой адвокат и привык выступать в суде, он так

волнуется, как будто на этом собрании его поджидают враги.

— Клянусь честью, мне частенько приходилось выдерживать огонь неприятельских батарей, и духом, не скажу телом, я всегда был несокрушим. Но если бы я очутился здесь,— продолжал старый вояка, усаживаясь за чайный столик,— лицом к лицу с этими сорока буржуа, которые будут торчать прямо против меня, разинув рты и выпучив глаза, в ожидании моей сладкогласной и закругленной речи, то, наверное, я бы десять потов спустил, прежде чем рот открыть.

— И все же необходимо, дорогой папенька, чтобы вы это сделали ради меня, — сказал Симон Жиге, входя через маленькую приемную.— Едва ли в нашем округе найдется человек, чье слово было бы столь веским, как ваше. В тысяча восемьсот пятнадцатом году...

— В тысяча восемьсот пятнадцатом году,— прервал его этот на диво сохранившийся старик,— я не разглагольствовал, а просто-напросто составил коротенькое воззвание, в одни сутки поднявшее десять тысяч человек. Одно дело — подписать воззвание, которое прочтет весь округ, другое — выступать перед несколькими десятками избирателей. На этом потерпел поражение сам Наполеон. После восемнадцатого брюмера он в Совете Пятисот болтал только глупости.

— Но, дорогой папенька, дело ведь касается всей моей жизни, моего состояния, моего счастья. Знаете, что я вам скажу? Смотрите на кого-нибудь одного из присутствующих и представьте себе, что вы обращаетесь только к нему... и вы справитесь...

— Господи, я всего-навсего женщина и старуха,— вмешалась г-жа Марион — но при таких обстоятельствах и зная, в чем дело, даже я стала бы красноречивой.

— Может быть, слишком красноречивой! — ответил полковник.— Хватить через край—не значит достигнуть цели,— продолжал он, взглянув на сына.— Вот уже два дня, как вы толкуете об этой кандидатуре. Ну что ж? Если мой сын не будет выбран, тем хуже для Арси. Вот и все.

Эти слова, достойные любого отца, были в полном соответствии со всей жизнью того, кто их произнес. Полковник Жиге, один из наиболее уважаемых офицеров ве-

ликой армии, был известен как человек неподкупной честности, соединенной с особой щепетильностью. Никогда он не лез вперед, награды сами должны были приходить к нему, поэтому он и провел одиннадцать лет капитаном гвардейской артиллерии, и только в 1813 году его назначили командиром батальона, а в 1814 — он получил чин майора. Его почти фантастическая привязанность к Наполеону не позволяла ему служить Бурбонам после первого отречения. Наконец, его преданность императору в 1815 году была такова, что он был бы изгнан, если бы граф Гондревиль не вычеркнул его имени из списков и не добился для него пенсии и чина полковника при его отставке.

У г-жи Марион, урожденной Жиге, был еще один брат, служивший жандармским полковником в Труа, куда она с ним и уехала в свое время. Там она вышла замуж за г-на Мариона, инспектора окладных сборов в Об.

Брат г-на Мариона был председателем одного из императорских судов. Этот чиновник, простой адвокат из Арси, был во время террора подставным лицом знаменитого Малена из Об, народного представителя, который приобрел поместье Гондревилей. Таким образом, все влияние Малена, ставшего сенатором и графом, было к услугам семьи Марион. Благодаря ему брат адвоката получил место инспектора окладных сборов в Об в то время, когда правительству не то что приходилось выбирать из тридцати кандидатов, а оно радо было найти хоть одного, который согласился бы занять столь ненадежное место.

Марион, инспектор окладных сборов, получил наследство после своего брата, председателя, а г-жа Марион — после своего, который был жандармским полковником. В 1814 году г-н Марион стал жертвой превратностей судьбы. Он умер вместе с Империей, но остатки нескольких нажитых им состояний все же обеспечивали его вдове пятнадцать тысяч франков дохода. Жандармский полковник Жиге, узнав о том, что его брат, артиллерист, в 1806 году женился на одной из дочерей богатого гамбургского банкира, завещал свое состояние сестре. Всем известно, каким успехом пользовались в Европе блистательные наполеоновские солдаты.

В 1814 году г-жа Марион, почти разорившись, вернулась в свой родной город Арси, где и приобрела на Большой площади один из самых красивых домов, его местоположение явно указывало, что он некогда принадлежал к замку. Привыкнув принимать в Труа большое общество, в котором главенствовал ее муж, она и теперь открыла свою гостиную для влиятельных представителей либеральной партии Арси. Женщина, привыкшая царить в салоне, не легко откажется от этого преимущества.

Сначала бонапартист, потом либерал, ибо вследствие одной из самых странных метаморфоз почти все солдаты Наполеона сделались ярыми приверженцами конституционного строя, полковник Жиге во время Реставрации, естественно, стал во главе арсийских заправил, то есть нотариуса Гревена, его зятя Бовизажа и Варлесына, лучшего врача в Арси, шурина Гревена,— людей, которым предстоит играть роль в этой истории—для наших политических нравов, увы, слишком правдивой.

— Если нашего дорогого мальчика не выберут,— сказала г-жа Марион, сначала заглянув в прихожую и в сад, дабы убедиться, что их никто не может услышать,— то прощай мадемуазель Бовизаж: лишь в случае успеха его кандидатуры он получит руку Сесили.

— Сесили?—переспросил старик, оторопело взглянув на сестру.

— Только вы один во всей округе способны позабыть, какое приданое и какое наследство ожидают ее.

— Она самая богатая наследница в департаменте Об,— подтвердил Симон Жиге.

— Но, мне кажется, и мой сын кое-чего стоит,—подхватил старый вояка,— он ваш наследник, уже сейчас он распоряжается имением своей матери, да и я, в свою очередь, рассчитываю оставить ему еще кое-что, кроме моего имени.

— Все вместе это составляет тридцать тысяч франков дохода, и уже находились люди с такими средствами, да еще занимавшие определенное положение в обществе, которые старались получить ее руку.

— И что же?

— И получили отказ.

— Чего же хотят Бовизажи? — спросил полковник, глядя то на сестру, то на сына.

Может показаться удивительным, что полковник Жиге, брат г-жи Марион, у которой арсийское общество собиралось изо дня в день двадцать четыре года, из чьей гостиной разносились по городу слухи, сплетни и пересуды со всей округи и где их, быть может, даже и стряпали,— чтобы он не знал происшествий и фактов подобного рода; но его неведение окажется естественным, если принять во внимание, что этот благородный обломок старой наполеоновской фаланги вставал и ложился спать вместе с курами, как все старики, желающие дожить до конца отпущенный им срок. Поэтому он никогда не присутствовал на этих, так сказать, задушевных беседах.

Ведь в провинции разговоры бывают двоякого рода: одни ведутся открыто в присутствии всех, когда гости сидят за карточным столом; другие же происходят позднее,— когда у камина остаются три-четыре друга, на которых можно положиться. Эти разговоры ведутся неторопливо и смакуются, как изысканные кушанья; и то, что собеседники услышат, они передадут только своим домашним и, может быть, трем-четырем верным приятелям.

В течение девяти лет, после того как восторжествовали те политические идеи, каких придерживался полковник, он почти не бывал в обществе. Он всегда вставал с восходом солнца и тотчас же отправлялся в сад. Он обожал цветы, но разводил только розы. Руки у него были загрубевшие, как у настоящего садовника; он бережно ухаживал за своими клумбами.

Клумбы! Их квадраты напоминали ему каре солдат в разноцветных мундирах, выстроенных на полях сражений. Он постоянно совещался со своим садовником, но редко появлялся в гостиной, особенно за два последние года, так что с гостями он сталкивался только случайно. С семьей он встречался лишь за обедом, ибо вставал слишком рано, чтобы завтракать с сыном и сестрой. Его стараниям мы обязаны появлению знаменитой розы «Жиге», хорошо известной всем любителям. Этого старика, ставшего домашним идолом, само собой разумеется, извлекали на свет только в самых важных случаях. Иные семьи охотно обзаводятся таким полубогом, который, подобно титулу, служит им украшением!

— Мне кажется,— ответила полковнику г-жа Марион,— что со времени Июльской революции госпожа Бовизаж мечтает жить в Париже. Она была вынуждена оставаться здесь до конца жизни своего отца и поэтому перенесла свои честолюбивые замыслы на будущего зятя,— эта особа, по-видимому, мечтает блистать в политических сферах.

— Ты любишь Сесиль? — спросил полковник сына.

— Да, отец.

— Ты ей нравишься?

— Кажется... Но ведь нужно еще понравиться мамаше и деду. Хотя почтенный Гревен противится моему избранию, но мой успех заставит госпожу Бовизаж принять меня, ибо она надеется, что будет вертеть мною, как ей захочется, что я буду только называться министром, а распоряжаться будет она, прикрываясь моим именем.

— Неплохая шутка! — воскликнула г-жа Марион.— За кого она нас принимает?

— Кому же она отказала? — спросил полковник сестру.

— Говорят, вот уже три месяца, как Антонен Гулар и королевский прокурор господин Фредерик Маре получили одинаково уклончивый ответ, который может означать все, что угодно, только не да.

— О боже,— воскликнул старец, воздевая руки,— в какие времена мы живем! Ведь Сесиль — дочь чулочника и внучка фермера. Или госпожа Бовизаж хочет иметь зятем графа Сен-Синь?

— Не издевайтесь, братец, над Бовизажами. Сесиль достаточно богата и сможет найти себе мужа где угодно, даже в том обществе, к которому принадлежат Сен-Сини. Но там уже звонят, пришли избиратели. Я покидаю вас и очень жалею, что не услышу, о чем вы будете говорить...

Хотя 1839 год в политическом отношении весьма отличен от 1847 года, все же и сегодня стоит вспомнить выборы, породившие коалицию — эту тщетную попытку палаты осуществить угрозу парламентского правительства: угрозу в духе Кромвеля, но которая без такого деятеля, как Кромвель, и при государе, не терпящем мошенничества, не могла окончиться не чем иным, как торжеством

нынешней системы, когда обе палаты и министры — всего лишь марионетки из театра Гиньоль, разыгрывающие представление по воле своего хозяина к неизменному удовольствию зевак.

Округ Арси-сюр-Об находился тогда в своеобразном положении — он считал себя независимым в выборе депутата. С 1816 по 1836 год здесь неизменно выбирали одного из наиболее влиятельных ораторов левой, одного из тех семнадцати, которых либеральная партия называла *великими гражданами*,— словом, знаменитого Франсуа Келлера, из банкирского дома «Братья Келлер», зятя графа де Гондревиля. Гондревиль, одно из великолепнейших поместий во Франции, расположено в четверти лье от Арси. Этот банкир, незадолго до того получивший звание графа и пэра Франции, по-видимому, рассчитывал передать по наследству свой депутатский мандат сыну, достигшему в ту пору тридцати лет, дабы открыть ему дорогу к пэрству.

Шарль Келлер, принадлежавший к партии сторонников короля-гражданина, был уже командиром эскадрона генерального штаба, когда получил титул виконта. Самая блистательная судьба, казалось, была уготована молодому человеку, безмерно богатому, исполненному отваги, отличавшемуся своей преданностью новой династии, внуку графа де Гондревиля и племяннику г-жи Карильяно, супруги маршала; однако избрание в палату, столь необходимое для его будущего, встречало немалые препятствия.

Со времени прихода буржуазии к власти город Арси испытывал смутное желание показать свою независимость. Поэтому последние выборы Франсуа Келлера были омрачены выходками кучки республиканцев, хотя их красные шапки и развевающиеся бороды не слишком устрашили жителей Арси. Пользуясь настроениями округа, кандидату-радикалу удалось собрать голосов тридцать — сорок. Некоторые арсийцы, обиженные тем, что их город числился в ряду «гнилых местечек» оппозиции, присоединились к демократам, хотя и были врагами демократии. Процесс выборов во Франции порождает особые политико-химические соединения, опровергающие законы *избирательного сродства*.

Избрать в парламент в 1839 году молодого офицера

Келлера, после того как в течение двадцати лет избирался его отец, значило проявить подлинное избирательное рабство, против чего восставала гордость некоторых разбогатевших буржуа, которые почитали себя ничуть не хуже и г-на Малена графа де Гондревиля, и банкиров братьев Келлер, и родовитых Сен-Синей, и даже самого короля Франции! Поэтому многочисленные приверженцы старого Гондревиля, полновластного владыки департамента Об, ожидали нового доказательства его столь испытанной ловкости. Чтобы не уронить престиж своей семьи в округе Арси, этот многоопытный государственный муж, вероятно, выдвинет кандидатуру кого-нибудь из местных жителей, с тем чтобы тот уступил свое место Шарлю Келлеру и сам принял на себя какую-нибудь государственную должность,— случай, предусматривавший перевыборы народного представителя.

Когда Симон Жиге стал нащупывать почву у бывшего нотариуса Гревена, преданного друга графа де Гондревиля, старик отвечал, что, не зная намерений графа, он наметил своим кандидатом Шарля Келлера и употребит все свое влияние, чтобы его выбрали. Как только ответ почтенного Гревена стал известен в городе, против бывшего нотариуса поднялось всеобщее возмущение. Невзирая на то, что он занимал эту должность в течение тридцати лет, что этот Аристид Шампани пользовался неизменным доверием жителей Арси, что он был мэром города с 1804 по 1814 год, а также во времена Ста дней; невзирая на то, что оппозиция считала его своим главой вплоть до победы в 1830 году, когда он, сославшись на преклонный возраст, отказался от чести быть мэром, и его сограждане, желая выразить ему свои чувства, избрали мэром его зятя, господина Бовизажа,— теперь, невзирая на все это, арсийцы против него восстали, а некоторые молодые люди даже позволили себе обозвать его старым болтуном. Сторонники Симона Жиге обратили свои надежды на мэра Филеаса Бовизажа и без труда привлекли его на свою сторону, ибо хотя мэр был и не в плохих отношениях со своим тестем, он все же изо всех сил старался подчеркнуть свою независимость и даже холодность, в чем хитрый тесть ему, однако, не препятствовал, видя в этом превосходный способ воздействовать на обитателей Арси.

Мэр, с которым беседовали накануне на городской площади, заявил, что скорее будет голосовать за первого попавшегося в списке кандидата от Арси, чем отдаст свой голос Шарлю Келлеру, к которому, впрочем, питает безграничное уважение.

— Арси больше не будет гнилым местечком,— заявил он,— или я перееду в Париж.

Угождайте злободневным страстям, и вы станете героем повсюду, даже в Арси-сюр-Об.

— Господин мэр,— говорили в городе,— показал себя, как всегда, человеком непреклонной воли.

Ничто не развивается так быстро, как узаконенный мятеж. В тот же вечер г-жа Марион и ее друзья условились созвать на завтра *независимых избирателей,* чтобы поддержать кандидатуру Симона Жиге, сына полковника. Это завтра только еще забрезжило, а уже в доме все было поставлено вверх дном — готовились к приему друзей, на *независимость* коих рассчитывали.

Симон Жиге, словно предназначенный самой природой быть кандидатом от маленького городка, ревниво жаждавшего избрать одного из своих сынов, тотчас воспользовался этим брожением умов, чтобы сделаться представителем интересов и нужд *Нищей Шампани.* Правда, семейство Жиге всем своим богатством и почетом было обязано графу де Гондревилю. Но когда дело касается выборов — тут уж не до чувств!

Эта Сцена написана в назидание тем странам, которым, на их беду, неведомы благодеяния национального представительства и которые поэтому не знают, ценою каких междоусобиц, ценою каких жертв, достойных Брута, маленький городок рождает на свет депутата! Зрелище величественное и вместе с тем естественное, которое можно сравнить только с родами: те же потуги, и грязь, и муки, и торжество.

Может показаться странным, каким образом Симон Жиге, единственный сын, молодой человек, имевший приличное состояние, был всего-навсего скромным адвокатом в захолустном городке, где адвокатам и делать-то нечего.

Здесь следует сказать два слова о кандидате. У полковника Жиге с 1806 по 1813 год — его жена скончалась в 1814 году — родилось трое детей; старший, Симон, пе-

режил обоих младших, умерших один в 1818, другой в 1825 году. Симона, когда те еще были живы, воспитывали так, чтобы обеспечить молодому человеку доходную профессию. Однако, когда он оказался в положении единственного сына, судьба нанесла ему жестокий удар. Г-жа Марион сильно рассчитывала на то, что ее племяннику достанется наследство деда, гамбургского банкира; но этот немец, умерший в 1826 году, оставил своему внуку Симону всего-навсего две тысячи франков ренты. Банкир, известный своей плодовитостью, вознаграждал себя за докуку коммерческой деятельности радостями отцовства; поэтому он осчастливил семьи своих одиннадцати детей, которые были в одном городе с ним и весьма убедительно внушали ему, что Симон Жиге и так будет богат.

Полковник настаивал на том, чтобы его сын избрал свободную профессию. И вот почему: при Реставрации семейство Жиге не могло рассчитывать ни на какие милости. Если бы даже Симон не был сыном ярого бонапартиста, то он все же принадлежал к семье, члены которой вполне заслуженно навлекли на себя ненависть Сен-Синей своим участием в знаменитом процессе братьев Симезов, осужденных в 1805 году за похищение сенатора графа де Гондревиля, в чем они были совершенно неповинны; жандармский полковник Жиге, дядя Симона, и Марионы, а также г-жа Марион выступили на этом процессе свидетелями обвинения. Бывший представитель народа, Гондревиль ограбил семью Симезов, и в те времена, когда продажа национального имущества была сугубо политическим актом, виновность наследников ни в ком не вызывала сомнения (см. «Темное дело»).

Нотариус Гревен был в этом деле не только одним из главных свидетелей, но и одним из самых рьяных участников его расследования. Процесс Симезов и посейчас разделял округ Арси на две партии, первая из которых стояла за невиновность осужденных и, следовательно, за Сен-Синей, вторая — за графа де Гондревиля и его приверженцев.

Если при Реставрации графиня де Сен-Синь благодаря возвращению Бурбонов снова приобрела влияние и всем заправляла в департаменте Об, то граф де Гондревиль нашел способ противодействовать этому. Он ока-

зывал тайное давление на местных либералов через нотариуса Гревена, полковника Жиге и своего зятя Келлера, несмотря на все препятствия, которые ему чинили Сен-Сини, неизменно проходившего в парламент от Арси-сюр-Об; кроме того, Гондревиль умело пользовался своим влиянием в королевских советах, где он сохранял прочное положение, пока был жив Людовик XVIII. Только после смерти короля графине де Сен-Синь удалось добиться назначения Франсуа Мишю председателем суда первой инстанции в Арси. Она желала этого назначения потому, что Франсуа был сыном человека, павшего жертвой своей преданности семье Симезов и погибшего на эшафоте в Труа; его портрет во весь рост украшал гостиную графини и в Париже и в замке Сен-Синей. До 1823 года граф де Гондревиль был достаточно влиятелен, чтобы препятствовать назначению Мишю.

Именно по совету графа де Гондревиля полковник Жиге и сделал своего сына адвокатом. Симон должен был преуспеть в округе Арси, тем более что он оказался там единственным адвокатом; в таких захолустьях стряпчие обычно сами берут на себя ведение дел в суде. Симон одержал несколько побед в суде департамента Об, тем не менее он служил мишенью для насмешек Фредерика Маре, королевского прокурора, Оливье Вине, его помощника, и председателя Франсуа Мишю — трех юристов, считавшихся в суде самыми умными и призванных сыграть видную роль в избирательной драме, первое действие которой еще только начиналось.

Симон Жиге, как, впрочем, едва ли не все люди, платил обильную дань великой силе смешного. Он благоговейно слушал самого себя, разглагольствовал по всякому поводу, торжественно разматывая клубок многословных и пустых фраз, что в среде высшей буржуазии Арси почиталось за красноречие. Бедняга принадлежал к той разновидности скучных людей, которые готовы все разъяснять, даже самое очевидное. Он объяснял дождь, он объяснял причины Июльской революции. Он объяснял также и все непостижимое: он объяснял Луи-Филиппа, господина Одилона Барро, господина Тьера, он объяснял восточные дела, объяснял Шампань, 1789 год; он объяснял таможенные пошлины и гуманитарные теории,

притягательную силу цивильного листа и его сокращения.

Этот молодой человек, с землистым цветом лица, сухопарый, несуразно длинный, что до некоторой степени свидетельствовало о его недалекости,— ибо очень высокие люди редко отличаются какими-либо возвышенными качествами,— утрировал пуританизм представителей крайней левой, и без того слишком чопорных, подобно скромницам, за которыми водятся грешки. Одет он был всегда в черное и только шею повязывал белым галстуком. А так как он все еще носил высокие накрахмаленные воротнички, к счастью ныне изгнанные модой, то его лицо точно было всунуто в фунтик из белой бумаги. Его панталоны и фраки казались всегда слишком просторными. Он обладал тем, что в провинции называют чувством собственного достоинства, то есть держался очень прямо, и наводил на всех скуку. Антонен Гулар, его друг, обвинял его в том, что он подражает господину Дюпену. В самом деле, адвокат слишком часто щеголял в туфлях и плотных чулках из черного шелка. Рассчитывая на всеобщее уважение, которым пользовался его старик отец, и на влияние своей тетки, в чьем доме вот уже двадцать четыре года собирались наиболее почтенные жители городка, и, кроме того, располагая уже сейчас, сверх адвокатского гонорара, рентой в десять тысяч франков, к которой должно было прибавиться тетушкино состояние,— Симон Жиге не сомневался в своем избрании.

Тем не менее, когда прозвенел колокольчик, возвещавший о прибытии наиболее влиятельных избирателей, этот звон тревожно отозвался в душе честолюбца и зародил в нем смутные опасения. Симон не обманывал себя ни относительно ловкости старика Гревена, ни относительно его огромного влияния, он также был уверен, что министерство пустит в ход весь свой авторитет для того, чтобы поддержать кандидатуру молодого и храброго офицера, находившегося в ту пору в Африке при особе принца, к тому же сына одного из бывших великих граждан Франции и племянника супруги маршала.

— Мне кажется,— сказал он отцу,— у меня начинаются колики в желудке. Я чувствую какое-то жжение под ложечкой и тошноту, и меня точно обдает жаром...

БАБЫНИНСКАЯ

— Даже старые солдаты,— ответил полковник,—испытывали это в первые минуты сражения, когда, бывало, загромыхают пушки.

— Что же будет со мной в палате?..— спросил адвокат.

— Граф де Гондревиль рассказывал,— продолжал полковник,— что со многими ораторами приключаются те маленькие неприятности, которые для нас, старых закаленных вояк, знаменовали начало сражения. И все это по случаю праздной болтовни! Но ведь ты же хочешь быть депутатом,— закончил старик, пожимая плечами,— ну так и будь им!

— Отец, моя победа на выборах — это Сесиль Бовизаж! Сесиль — это огромное состояние! А нынче огромное состояние — это власть!

— О, как изменились времена! При императоре нужна была храбрость!

— Каждая эпоха может быть выражена в одном слове,— сказал Симон, повторяя замечание графа де Гондревиля, довольно точно рисующее этого старца.— Во времена Империи, когда хотели уничтожить человека, говорили: «Он трус!» Нынче говорят: «Он мошенник!»

— Бедная Франция, до чего тебя довели! — воскликнул полковник.— Пойду займусь моими розами.

— Ах, останьтесь, отец! Ведь вы наша главная опора!

Мэр, господин Филеас Бовизаж, явился первым в сопровождении преемника своего тестя Гревена, самого известного нотариуса в городе, Ахилла Пигу, чей дед занимал должность судьи в Арси во времена Революции, затем Империи и в первые дни Реставрации.

Ахилл Пигу, которому было тридцать два года, прослужил восемнадцать лет писцом у старика Гревена, без всякой надежды самому стать нотариусом. Его отец, сын арсийского судьи, умерший якобы от апоплексии, оставил свои дела в весьма запутанном состоянии.

Граф де Гондревиль, с которым судья Пигу был связан событиями 1793 года, одолжил Ахиллу деньги, чтобы внести залог, и таким образом с его помощью нотариальная контора Гревена была куплена внуком того самого судьи, который производил первое дознание в про-

цессе Симезов. Ахилл обосновался в доме на Церковной площади, принадлежавшем графу де Гондревилю, причем пэр Франции сдавал его столь дешево, что всем было ясно, как важно для этого хитрого политика держать в руках первого нотариуса Арси.

Молодой Пигу, маленький, сухонький человечек, чей взгляд словно просверливал насквозь зеленые стекла очков, отнюдь не смягчавших его насмешливости, был хорошо осведомлен о делах всей округи и слыл зубоскалом, так как благодаря своей профессии нотариуса приобрел известную бойкость языка и уснащал свою речь острыми словечками более успешно, чем прочие жители Арси. Ахилл Пигу был еще холостяком и надеялся, что покровительство Гревена и графа де Гондревиля поможет ему выгодно жениться. Поэтому адвокат Жиге не мог скрыть своего изумления, увидев Ахилла рядом с Филеасом Бовизажем. Тщедушный нотариус, на лице которого было столько оспенных рябин, что оно казалось покрытым белой сеткой, представлял полную противоположность дородной особе господина мэра, чья физиономия напоминала полную луну, но притом луну веселую.

Лилии и розы, расцветавшие на щеках Филеаса, еще сильнее подчеркивались приветливой улыбкой, происходившей не столько от благодушия, сколько от необыкновенной пухлости губ, из-за которых ему даже придумали прозвище: «пончик». Филеас Бовизаж был до такой степени доволен собой, что улыбался всем и каждому и при всех обстоятельствах. Его пухлые губы, кажется, улыбались бы даже на похоронах, и удивительная живость, сиявшая в его младенческих голубых глазах, вполне соответствовала неизменной и невыносимо приторной улыбке. Это самодовольство тем легче могло сойти за любезность и приветливость, что Филеас выработал себе особый язык, примечательный неумеренным употреблением учтивых и елейных оборотов. Он всегда «имел счастье», осведомляясь о здоровье отсутствующих лиц, он неизменно пользовался такими выражениями, как «дражайший», «любезнейший», «милейший». Он щедро расточал соболезнования и поздравления по поводу малейших горестей или радостей человеческой жизни. Так он прикрывал этим потоком общих мест свое ничтожест-

во, свое глубокое невежество и совершенную бесхарактерность, которую можно определить лишь несколько устаревшим словом: *флюгер*.

Впрочем, успокойтесь: осью этого флюгера была г-жа Бовизаж, прославленная на весь округ красавица Северина Гревен. Северина, узнав о том, что она называла предвыборной авантюрой г-на Бовизажа, в день собрания сказала ему: «Вы поступили похвально, выказав независимость, но к Жиге вы пойдете только в сопровождении Ахилла Пигу, которому я велела зайти за вами». Однако приставить к Бовизажу в качестве ментора Ахилла Пигу не значило ли ввести на собрание к Жиге соглядатая из партии Гондревиля? Поэтому нетрудно представить себе гримасу, исказившую пуританскую физиономию Симона, вынужденного оказать любезный прием постоянному гостю тетушки де Марион, влиятельному избирателю, в котором он тогда видел врага.

«Ах,— сказал он себе,— я поступил весьма опрометчиво, не дав ему денег на залог, когда он просил об этом. Старик Гондревиль оказался умнее меня...»

— Здравствуйте, Ахилл,— приветствовал он нотариуса, приняв развязный вид,— вы пришли испортить мне все дело?

— Я полагаю, что ваше собрание не является заговором против свободы наших выборов,— отозвался нотариус, улыбаясь.— Мы ведь играем в открытую?

— Конечно, в открытую! — повторил Бовизаж и засмеялся тем ничего не выражающим смехом, каким некоторые люди завершают все свои фразы и который является всего лишь ритурнелью к разговору. Затем господин мэр принял положение, которое можно было бы назвать «третьей позицией», то есть выпрямился, выпятил грудь, заложил руки за спину. Он был в черном фраке и таких же панталонах, в великолепном белом жилете, полурасстегнутом так, что можно было видеть две бриллиантовые запонки стоимостью в несколько тысяч франков.— Мы будем драться и все же останемся добрыми друзьями,— снова начал Филеас.— В этом вся суть конституционных нравов (хе! хе! хе!). Вот как я понимаю союз монархии и свободы (ха! ха! ха!)...

Здесь господин мэр взял Симона за руку и сказал:

— Как поживаете, дорогой друг? Надеюсь, ваша добрейшая тетушка и наш достойный полковник чувствуют себя сегодня так же хорошо, как и вчера... По крайней мере я так думаю (хе! хе! хе!) ...— прибавил он с блаженным видом,— разве что они слегка обеспокоены предстоящей церемонией... Да, да, молодой человек, итак, мы начинаем политическую карьеру (ха! ха! ха!). Вы сделали первый шаг... отступать поздно... Это — важное решение, и я предпочитаю, чтобы вы, а не я ринулись в бушующие пучины палаты (хи! хи! хи!), как бы ни было приятно олицетворять своей особой одну (хи! хи! хи!) четыреста пятьдесят третью часть высшей власти во Франции (хи! хи! хи!).

Голос Филеаса имел приятную звучность и вполне гармонировал с округлостями его лица, напоминавшего светло-желтую тыкву, с его жирной спиной и широкой выпуклой грудью. Этот голос, по своей мощи приближавшийся к басу, имел баритональную бархатность, а в смехе, которым Филеас заканчивал свои фразы, приобретал почти серебристую звонкость. Если бы господь бог, дабы пополнить свой земной рай новыми видами, пожелал поместить туда провинциального буржуа, то даже он не создал бы тип более законченный, более совершенный, чем Филеас Бовизаж.

— Я восхищаюсь самопожертвованием тех, кто способен ринуться в бури политической жизни (хе! хе! хе!), но для этого нужны более крепкие нервы, чем мои. Кто бы сказал в тысяча восемьсот двенадцатом или в тысяча восемьсот тринадцатом году, что мы достигнем таких успехов... Я лично готов сему поверить в наш век, когда асфальт, каучук, железные дороги и пар изменяют почву, сюртуки и расстояния (хе! хе! хе!).

Последние слова были обильно сдобрены смехом — мы его берем в скобки,— каким Филеас имел обыкновение подчеркивать свои пошлые шуточки, доставляющие большое удовольствие буржуа. Он сопровождал эти шутки особым жестом, а именно — весело потирал руки, сжимая правый кулак горстью левой. Этот прием сопутствовал смеху; чаще всего он прибегал к такому жесту, когда, по его мнению, ему удавалось сказать что-нибудь остроумное, и он сам же первый покатывался с хохоту.

Быть может, излишне добавлять, что Филеас слыл в Арси человеком любезным и обаятельным.

— Я постараюсь,— ответил Симон Жиге,— достойно представлять...

— Баранов Шампани,— живо подхватил Ахилл Пигу, прерывая своего друга.

Кандидат молча проглотил насмешку, так как ему пришлось поспешить навстречу двум новым избирателям.

Один из них был хозяин «Мула», лучшего трактира в Арси, стоявшего на Большой площади, на углу Бриеннской улицы. Этот почтенный трактирщик, по фамилии Пупар, был женат на сестре знаменитого Готара, верного слуги графини де Сен-Синь, одного из действующих лиц процесса Симезов. В свое время Готар был оправдан. Пупар, правда, принадлежал к числу обитателей Арси, наиболее преданных семье Сен-Синь, но лакей полковника Жиге в течение двух дней так ловко и усердно обрабатывал трактирщика, что тот решил пустить в ход все свое влияние в пользу кандидатуры Симона, уверенный, что этим он подстроит каверзу врагу Сен-Синей, и уже успел потолковать в этом смысле с аптекарем Фромаже. Последний же, не будучи поставщиком замка Гондревиль, с радостью воспользовался случаем, чтобы затеять интригу против семьи Келлера.

Благодаря своим многочисленным связям эти представители мелкой буржуазии могли воздействовать на известное число колеблющихся избирателей, ибо с ними советовалось немало арсийцев, для которых политические убеждения кандидатов не играли роли. Поэтому адвокат завладел Пупаром, предоставив аптекаря Фромаже своему отцу, который вышел приветствовать явившихся избирателей.

Младший инженер округа, делопроизводитель мэрии, четыре судебных пристава, трое стряпчих, секретарь окружного суда и секретарь местного суда, регистратор и сборщик налогов, два врача — соперники Варле, шурина Гревена, мельник, два помощника Филеаса, издатель-типограф и еще с десяток буржуа города Арси гуськом вошли в сад и, разбившись на кучки, принялись прогуливаться по аллеям в ожидании, пока соберется достаточно народу, чтобы открыть собрание. Наконец,

около полудня, пятьдесят человек, вырядившиеся по-праздничному,— причем большинство явилось скорее из желания поглядеть богатые парадные комнаты г-жи Марион, о которых шло столько россказней во всей округе,— расселись на стульях, приготовленных хозяйкой. Окна оставили открытыми, и вскоре воцарилась столь глубокая тишина, что слышно было шуршание шелковой юбки г-жи Марион, которая не устояла перед соблазном — спустилась в сад и уселась в таком месте, откуда можно было слышать все, что происходило в гостиной. Кухарка, горничная и лакей собрались в столовой и волновались не меньше своих хозяев.

— Господа,— начал Симон Жиге,— некоторые из вас пожелали оказать честь моему отцу, предложив ему председательствовать на этом собрании, но полковник Жиге поручил мне передать его извинения и выразить при этом его благодарность, ибо в вашем пожелании он видит награду за свои заслуги перед отечеством. Мы собрались в его доме, поэтому он считает своим долгом отказаться от обязанности председателя и предлагает вместо себя всеми уважаемого коммерсанта, которому вы доверили высшую должность в городском самоуправлении,— господина Бовизажа.

— Браво! Браво!

— Я думаю, мы все согласны с тем, что нам необходимо на нашем собрании — в высшей степени дружеском... но вместе с тем совершенно свободном и которое ни в какой мере не предвосхищает предвыборного собрания, где вы будете предлагать вопросы кандидатам и взвешивать их заслуги... необходимо, говорю я, соблюдать конституционные... формы... палаты представителей.

— Да! Да! — закричали все в один голос.

— Итак,— снова начал Симон,— согласно воле собрания, я имею честь просить господина мэра занять председательское кресло.

Филеас встал и прошел через всю гостиную, чувствуя, что покраснел, как вишня. Потом, когда он уселся за стол, то увидел перед собой не сотню глаз, а сто тысяч свечей. Ему даже почудилось, будто солнце зажгло в гостиной пожар, и он ощутил, по его собственному выражению, что в горле у него сухо, как в соляной копи.

— Поблагодарите,— шепнул ему Симон.

— Господа...

Воцарилось столь напряженное молчание, что Филеас почувствовал резь в животе.

— Что нужно сказать, Симон? — спросил он вполголоса.

— Ну, что же вы молчите? — обратился к нему Ахилл Пигу.

— Господа,— сказал адвокат, возмущенный дерзким возгласом нотариуса,— честь, которую вы оказали господину мэру, быть может, застала его врасплох, но едва ли удивила.

— Вот именно,— подхватил Бовизаж,— я так тронут вниманием моих сограждан, что не могу не чувствовать себя крайне польщенным.

— Браво! — крикнул один только нотариус.

«Да будь я проклят! — сказал про себя Бовизаж.— Если меня еще раз заставят выступать с речью...»

— Угодно ли господам Фромаже и Марсело взять на себя обязанности счетчиков? — спросил Симон Жиге.

— Было бы правильней,— заявил Ахилл Пигу, вставая,— если бы собрание само наметило двух членов президиума, раз уж мы решили следовать примеру палаты.

— В самом деле, так будет лучше,— сказал тучный г-н Молло, секретарь окружного суда,— иначе все это собрание — просто комедия, и его участники не свободны. Тогда уж давайте и дальше все делать так, как хочется господину Симону.

Симон шептал что-то Бовизажу, после чего тот встал и разразился возгласом: «Господа», который должен был привлечь «внимание всего зала».

— Простите, господин председатель,— сказал Ахилл Пигу,— но вам надлежит председательствовать, а не совещаться...

— Господа, если мы хотим действовать... сообразуясь... с парламентскими правилами,— начал Бовизаж, повторяя то, что ему подсказывал Симон,— то я бы просил... высокочтимого господина Пигу подойти к этому столу и говорить отсюда.

Пигу ринулся к столику, выпрямился и, опершись на него кончиками пальцев, заговорил без малейшего стеснения, почти как прославленный господин Тьер.

— Господа, не я внес предложение подражать палате, ибо до сегодняшнего дня палаты действительно казались мне неподражаемыми; тем не менее я вполне согласен, что собрание из шестидесяти с лишним видных жителей Шампани должно обзавестись председателем, ведь не бывает стада без пастуха. Если бы мы прибегли к тайному голосованию, то я уверен, что имя нашего уважаемого мэра было бы названо единогласно; противодействие, которое он оказывает кандидатуре, поддерживаемой его семьей, убеждает нас, что он обладает величайшим гражданским мужеством, ибо сумел пренебречь крепчайшими узами, узами семьи! Поставить отечество выше семьи — это требует величайших усилий, и на них способен только тот, кто неустанно повторяет себе, что Брут с высоты своего судилища взирает на нас вот уже две с половиной тысячи лет, и даже больше. Нашему уважаемому господину Жиге кажется естественным, поскольку он сумел предугадать наши желания относительно выбора председателя, руководить нами и в выборе счетчиков; но, поддержав меня, вы тем самым решили, что одного раза достаточно, и вы совершенно правы! В противном случае могло бы показаться, что наш общий друг Симон Жиге, которому надлежит выступать здесь в роли кандидата, ведет себя, как указчик, а это ослабило бы благоприятное впечатление, производимое на нас скромностью его высокочтимого отца. Что же делает наш достойный председатель, соглашаясь руководить собранием по тому принципу, который предложил ему кандидат? Он посягает на нашу свободу! Я спрашиваю вас, правильно ли действует избранный нами председатель, предлагая нам выбрать вставанием двух счетчиков? Ведь это значит, господа, заранее предопределить наше решение. Будем ли мы свободны в своем выборе? Можно ли не встать, когда встает сосед? Если бы выдвинули меня, все, вероятно, встали бы из вежливости; и так как за каждого из нас вставали бы все, то никаких выборов не получилось бы, ибо все неизбежно голосовали бы за всех.

— Он прав! — сказали все шестьдесят слушателей.

— Итак, пусть каждый из нас напишет на листке бумаги два имени, и тогда те, кто воссядет по обе стороны господина председателя, с полным правом будут

считать себя украшением общества. Они будут правомочны, совместно с господином председателем, устанавливать большинство, когда мы будем голосовать вставанием наши предложения. Мы пришли сюда, я полагаю, чтобы обещать кандидату нашу посильную поддержку на предвыборном собрании, куда явятся все избиратели округа. Я позволю себе утверждать, что это шаг чрезвычайной важности. Разве дело не касается одной четырехсотой доли власти, как некогда выразился господин мэр со свойственным ему остроумием, которое мы так высоко ценим в нем.

Полковник Жиге принялся разрезать на полоски листок бумаги, а Симон послал за пером и чернильницей. Собрание было прервано. Этот предварительный спор по формальному вопросу сильно встревожил Симона, ибо все шестьдесят собравшихся здесь буржуа насторожились. Наконец приступили к заполнению бюллетеней, и хитрому Пигу удалось провести г-на Молло, секретаря суда, и г-на Годиве, регистратора. Их избрание, естественно, вызвало неудовольствие аптекаря Фромаже и стряпчего Марсело.

— Вы помогли нам показать нашу независимость,— сказал им Ахилл Пигу,— и вы должны испытывать бóльшую радость оттого, что вас отвергли, чем если бы вы были избраны.

Все рассмеялись.

Как только Симон Жиге попросил слова у председателя и тот, уже весь взмокший от пота, собрав все свое мужество, произнес: «Слово предоставляется господину Симону Жиге»,— в зале наступила тишина.

— Господа,— начал адвокат,— разрешите мне поблагодарить господина Ахилла Пигу, который на нашем собрании, хотя оно и является совершенно дружеским...

— Но это предварительное собрание перед большим предвыборным собранием,— вставил стряпчий Марсело.

— Именно это я и хотел сказать,— продолжал Симон.— Прежде всего я благодарю господина Ахилла Пигу за то, что он напомнил нам о строгом соблюдении парламентских форм. Впервые избирательный округ Арси свободно...

— Свободно? — переспросил Пигу, прерывая оратора.

— Свободно! — воскликнуло собрание.

— Свободно,— повторил Симон,— воспользуется своими правами в той великой битве, какую представляют собой всеобщие выборы в парламент; а так как через несколько дней состоится собрание, на котором будут присутствовать все избиратели, дабы оценить по достоинству выдвинутых кандидатов, то мы должны почитать себя счастливыми, что нам дана возможность здесь, в тесном кругу, привыкнуть к порядку таких собраний. Благодаря этому мы сможем успешнее решить будущую политическую судьбу города Арси, ибо речь идет о том, чтобы в палате были представлены интересы не одной семьи, а всего города, не одного человека, а целого округа...

После этого Симон изложил историю выборов в Арси за двадцать лет. Одобрив неизменное переизбрание Франсуа Келлера, он заявил, что все же настало время свергнуть иго дома Гондревилей. Арси больше не должен быть ни вотчиной либералов, ни вотчиной Сен-Синей. Сейчас во Франции возникают передовые течения, которых Келлеры не представляют. С тех пор как Шарль Келлер стал виконтом, он принадлежит двору и уж, конечно, не сможет поступать независимо; ибо выставляющие здесь его кандидатуру видят в нем прежде всего преемника его отца и будущего пэра Франции, а не преемника депутата, и т. д. и т. д. Словом, Симон представлялся своим согражданам в качестве достойного кандидата, обязующегося восседать в палате рядом со знаменитым господином Одилоном Барро и никогда не изменять славному знамени *прогресса*.

Прогресс — это одно из тех слов, за которыми в ту пору стояли не столько идеи, сколько лицемерные и честолюбивые замыслы; ибо после 1830 года оно уже не выражало ничего, кроме притязаний неких изголодавшихся демократов. Но на жителей Арси это слово все еще производило сильное впечатление и придавало вес тому, кто писал его на своем знамени. Объявить себя сторонником прогресса означало быть во всем философом, а в политике — пуританином. Вы тем самым подтверждали, что стоите за железные дороги, макинтоши, исправительные тюрьмы, деревянные мостовые, освобождение негров, сберегательные кассы, башмаки без шва,

газовое освещение, асфальтированные тротуары, всеобщее избирательное право, сокращение цивильного листа. И наконец, что вы против договоров 1815 года, против старшей ветви Бурбонов, против Северного Колосса, коварного Альбиона, против всех, хороших или плохих, мероприятий правительства. Итак, слово «прогресс» могло в равной мере означать и «да» и «нет»... Это был как бы *реставрированный либерализм*, новый лозунг для новых честолюбцев.

— Насколько я понимаю,— сказал Жан Виолет, чулочный фабрикант, купивший два года тому назад дело Бовизажа,— мы пришли сюда затем, чтобы пообещать всеми доступными нам средствами помогать избранию в палату господина Симона Жиге вместо графа Франсуа Келлера. Если мы все согласны объединиться для этой цели, то нам остается только сказать «да» или «нет».

— Это было бы слишком поспешно! Политика так не делается, иначе это уже не политика! — вскричал Пигу, в то время как в зал входил его дедушка, старик восьмидесяти шести лет.— Предыдущий оратор уже предрешает то, что, по моему слабому разумению, должно сегодня только еще обсуждаться. Прошу слова.

— Слово предоставляется господину Ахиллу Пигу,— сказал Бовизаж, которому наконец удалось произнести эту фразу со всем своим муниципальным и конституционным достоинством.

— Господа, — начал маленький нотариус,— если есть в Арси дом, где не следовало бы восставать против влияния графа де Гондревиля и Келлеров, то именно этот дом... Достойный полковник Жиге здесь единственный, кто может считать себя ничем не обязанным сенатору, ибо, разумеется, он ни о чем не просил графа де Гондревиля, тот сам вычеркнул его из списка осужденных на изгнание в тысяча восемьсот пятнадцатом году и выхлопотал ему пенсию, которой полковник пользуется и поныне,— и все это без каких-либо шагов со стороны высокочтимого господина Жиге, красы и гордости нашего города...

Эти лестные для старца слова были встречены одобрительным шепотом.

— Но,— продолжал оратор,— милости графа так и сыпались на семью Марион. Без его покровительства

покойный полковник Жиге никогда бы не командовал жандармерией департамента Об. Покойному господину Мариону не быть бы председателем суда, если бы не поддержка графа, перед которым я лично всегда буду чувствовать себя в долгу... Поэтому вас не удивит, что я здесь, перед этим собранием, выступаю в его защиту! И во всем нашем округе не много найдется людей, которые бы не пользовались благодеяниями этой семьи... (Глухой ропот.) Перед нашим собранием предстает кандидат в депутаты, и я вправе рассмотреть его жизнь, прежде чем облечь его моим доверием,— с жаром продолжал Ахилл.— Я не хочу, чтобы моим избранником был человек неблагодарный, ибо неблагодарность подобна несчастью — одна неблагодарность влечет за собой другую. Мы служили, говорите вы, трамплином для Келлеров? А то, что я здесь слышал, заставляет меня опасаться, как бы мы не стали трамплином для Жиге. Мы живем в век положительных знаний, не правда ли? Так вот, рассмотрим, каковы будут для округа Арси последствия избрания Симона Жиге. Вам говорят о независимости? Симон, которого я отвергаю в качестве кандидата,— мой друг, он друг всех, кто здесь слушает меня, и я лично весьма был бы рад видеть его оратором левой, восседающей между Гарнье-Паже и Лафитом; но что от этого выиграет наш округ?.. Ничего. Округ потеряет поддержку графа де Гондревиля и Келлеров. А мы все на протяжении пяти лет будем постоянно нуждаться в этой поддержке. Когда мы хотим освободить от воинской службы какого-нибудь парня, вытащившего несчастливый номер, мы идем к госпоже де Карильяно, супруге маршала. Мы нередко прибегаем также к авторитету Келлеров и многие дела предпринимаем по их указанию. Старый граф де Гондревиль ни разу не отказывал нам в своей помощи; достаточно быть уроженцем Арси, чтобы проникнуть к нему, не дожидаясь часами в прихожей. Эти три семейства известны всем жителям... А где казна дома Жиге и каково будет его влияние в министерстве?.. Каким кредитом будет он пользоваться на парижской бирже? Если мы захотим вместо нашего дрянного деревянного моста построить каменный, сумеет ли Жиге добиться от департамента и от правительства необходимых

средств?.. Избрав Шарля Келлера, мы продолжим тот дружественный союз, который до сих пор приносил нам столько выгод. Избрав достойнейшего Симона Жиге, моего дорогого друга и школьного товарища, мы будем терпеть убытки до тех пор, пока он не станет министром! Но я, зная его скромность, уверен, что он не станет спорить, если я позволю себе усомниться в его назначении на этот пост! (Смех.) Я пришел на это собрание, чтобы воспротивиться шагу, который считаю пагубным для всего нашего округа. Шарль Келлер, скажут мне, приверженец королевского двора! Тем лучше! Нам не придется тратиться, чтобы воспитывать из него политика; он знает дела и нужды нашего края, знает все, что необходимо знать в парламенте, и более подходит для роли государственного деятеля, чем мой друг Симон, который не претендует на то, чтобы играть роль Питта или Талейрана в таком глухом городишке, как наш Арси...

— Дантон был из Арси! — воскликнул полковник Жиге, приведенный в ярость этой меткой импровизацией.

— Браво!..— Его возглас послужил знаком для овации: все шестьдесят избирателей зааплодировали.

— Умный старик мой отец,— шепнул Симон Жиге Бовизажу.

— Не понимаю,— сказал, весь побагровев и порывисто вставая, старик полковник,— для чего нужно из-за этих выборов копаться в наших отношениях с графом де Гондревилем. Мой сын получил свое состояние от матери, он ничего не просил у графа де Гондревиля. И без графа Симон был бы тем, что он есть: сыном артиллерийского полковника, награжденного чинами за боевые заслуги, адвокатом, который никогда не изменял своим убеждениям. А я сказал бы графу де Гондревилю прямо в лицо: «Мы выбирали вашего зятя в течение двадцати лет, а нынче мы хотим показать, что делали это по доброй воле, и обращаемся к уроженцу Арси, дабы все видели, что былой дух революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года, которому вы обязаны своим богатством, все еще жив на родине Дантонов, Маленов, Гревенов, Пигу и Марионов...» Вот оно как!

И старик сел. В зале поднялся невообразимый гам. Ахилл открыл рот, намереваясь возразить. Бовизаж, ко-

торый не чувствовал бы себя председателем, если бы не звонил беспрерывно в колокольчик, только усиливал шум, требуя тишины. Было уже два часа.

— Я беру на себя смелость указать уважаемому полковнику Жиге, чьи чувства легко понять, что он самовольно взял слово, а это противно парламентским правилам,— заявил Ахилл Пигу.

— А я не считаю нужным призывать полковника к порядку,— отозвался Бовизаж.— Ведь он — отец... (Снова воцарилась тишина.)

— Мы не за тем пришли сюда,— воскликнул Фромаже,— чтобы подпевать во всем господам Жиге, отцу и сыну...

— Нет! Нет! — зашумели собравшиеся.

— Плохо дело! — сказала г-жа Марион своей кухарке.

— Господа,— продолжал Ахилл,— я ограничусь тем, что категорически потребую от моего друга Симона Жиге ответа на вопрос: что он намерен предпринять в наших интересах?

— Да, да.

— С каких это пор,— ответил Симон Жиге,— честные граждане, а таковы наши арсийцы, решили превратить священную миссию депутата в торговую сделку?

Трудно себе представить, какое действие оказывают возвышенные чувства на людское сборище. Люди рукоплещут великим идеям и тем не менее голосуют за то, что унижает их страну; они подобны каторжнику, который, глядя на представление в театре, жаждет, чтобы кара постигла Робера Макэра, а сам, не задумываясь, убьет какого-нибудь господина Жермейля.

— Браво,— вскричали несколько избирателей.— Вот это Жиге!

— Вы пошлете меня в палату,— если пошлете,— чтобы я представлял там определенные принципы, принципы тысяча семьсот восемьдесят девятого года, чтобы я, хотя бы в качестве ничтожного винтика оппозиции, голосовал вместе с нею, просвещал правительство, вел войну с злоупотреблениями и добивался прогресса во всем...

— А что вы называете прогрессом? Для нас про-

грессс — это расцвет культуры в нашей *Нищей Шампани*,— сказал Фромаже.

— Прогресс! Я вам сейчас объясню, что я понимаю под прогрессом,— воскликнул Жиге, взбешенный тем, что его прервали.

— Это граница Франции на Рейне,— сказал полковник,— и уничтожение договоров тысяча восемьсот пятнадцатого года!

— Это продажа зерна по дорогой цене и покупка хлеба по дешевой,— насмешливо крикнул Ахилл Пигу, который, желая сострить, выразил одну из распространенных во Франции нелепых идей.

— Это всеобщее благо, достигнутое победой гуманитарных учений.

— А что я вам говорил? — сказал хитрый нотариус своим соседям.

— Ш-ш! Тише! Внимание! — воскликнул кое-кто из присутствующих, которым хотелось послушать.

— Господа,— заявил толстяк Молло, улыбаясь,— прения разгораются, не мешайте оратору, дайте ему высказаться.

— Во все переходные эпохи, господа,— торжественно продолжал Симон Жиге,— а мы живем именно в такую эпоху...

— Бээээ... бээээ...— заблеял один из друзей Ахилла Пигу, обладавший (незаменимым в деле выборов) даром чревовещания. Все присутствующие, истые жители Шампани, покатились со смеху. Симон Жиге, скрестив руки, ожидал, пока не смолкнет этот ураган смеха.

— Если меня хотели отчитать здесь за то,— начал он,— что я принадлежу к стаду славных защитников прав человека, тех, что не устают выступать с призывами, пишут книгу за книгой, что я иду с бессмертным пастырем, ратующим за спасение Польши, с мужественным памфлетистом, надзирающим за цивильным листом, с философами, требующими честности от наших учреждений,— то я благодарю неизвестного, прервавшего меня. Для меня прогресс — это осуществление всего, что было нам обещано Июльской революцией, это избирательная реформа, это...

— Так, значит, вы демократ! — сказал Ахилл Пигу.

— Нет,— возразил кандидат.— Разве желать посте-

пенного, законного развития наших учреждений — значит быть демократом? Для меня прогресс — это восстановление братства среди всех членов нашей великой французской семьи, и мы не должны скрывать от самих себя, что многие наши страдания...

В три часа Симон Жиге все еще разъяснял, что такое прогресс, и кое-кто из присутствующих уже мирно похрапывал, погрузившись в глубокий и крепкий сон. Коварный Ахилл Пигу призвал избирателей благоговейно внимать оратору, увязавшему в бесконечных фразах и парафразах...

В это время несколько буржуа — избирателей и неизбирателей — стояли группами перед замком Арси, ограда которого выходит на площадь — сюда же выходит и подъезд особняка Марионов.

К этой площади ведут несколько улиц и проезжих дорог. На ней расположен крытый рынок, а прямо против замка, с другой стороны площади, которая не замощена и не утрамбована и где дожди успели размыть немало мелких рытвин, тянется великолепный бульвар, именуемый Аллеей Вздохов — к чести обитательниц города или в осуждение им — неизвестно. Это двусмысленное название, вероятно, плод присущего здешним жителям остроумия. Две поперечные аллеи, обсаженные старыми, очень густыми липами, ведут от площади к круглому скверу, который невероятно запущен, как все провинциальные скверы, и где преспокойно лежит всякий мусор и, в противоположность Парижу, очень мало гуляющей публики. В самый разгар прений, которые Ахилл Пигу искусно драматизировал с хладнокровием и отвагой, достойными оратора в парламенте, четыре человека прогуливались под липами Аллеи Вздохов. Дойдя до площади, они останавливались, словно по уговору, и окидывали взглядом жителей Арси, жужжавших перед замком, словно пчелы, когда они вечером возвращаются в свой улей. Эти четыре человека составляли всю министерскую партию Арси: супрефект, королевский прокурор, его помощник и следователь г-н Мартене. Председатель суда, как уже известно, был приверженцем старшей ветви и преданным слугой Сен-Синей.

— Нет, я не понимаю правительства,— повторил супрефект, показывая на группы буржуа, к которым при-

соединялись все новые арсийцы.— В таких важных обстоятельствах оставить меня без указаний!

— В данном случае — это судьба многих! — улыбаясь, ответил Оливье Вине.

— В чем, собственно, вы можете упрекнуть правительство? — спросил королевский прокурор.

— Министерство в большом затруднении,— продолжал молодой Мартене,— там знают, что наш департамент до известной степени — вотчина Келлеров, и побоятся идти против них. Приходится считаться с единственным в своем роде человеком, которого можно сравнить с господином Талейраном. Вам следовало бы послать полицейского комиссара не к префекту, а к графу Гондревилю.

— А пока,— заметил Фредерик Маре,— оппозиция поднимает голову, и вы видите, каково влияние полковника Жиге. На этом предварительном совещании председательствует наш мэр, господин Бовизаж.

— В конце концов,— лукаво заметил Оливье Вине, обращаясь к супрефекту,— Симон Жиге — ваш друг, ваш школьный товарищ; он принадлежит к партии Тьера, и вы ничем не рискуете, содействуя его избранию.

— Раньше чем выйти в отставку, нынешний министр может меня сместить. Но если мы знаем, когда нас хотят сместить, нам совершенно неизвестно, когда нас восстановят в должности,— сказал Антонен Гулар.

— Бакалейщик Кофине!.. Вот и семьдесят седьмой избиратель вошел в дом полковника Жиге,— проговорил г-н Мартене, который и тут был верен своей профессии следователя и считал избирателей.

— Если Шарль Келлер — правительственный кандидат,— снова начал Антонен Гулар,— то надо было меня вовремя предупредить, а не предоставлять Симону Жиге возможность воздействовать на избирателей!

Четыре человека медленно дошли до конца бульвара, где уже начиналась площадь.

— Господин Гроспье! — воскликнул следователь, заметив приближавшегося всадника.

Это был полицейский комиссар; он увидел представителей арсийской администрации, стоявших на проезжей дороге, и направился к четырем чиновникам.

— Ну что, господин Гроспье? — спросил супрефект и

отошел на несколько шагов от трех остальных, чтобы поговорить с комиссаром.

— Сударь,— сказал полицейский, понизив голос,— господин префект поручил мне сообщить вам печальную новость: виконт Шарль Келлер скончался. Известие получено третьего дня в Париже по телеграфу, и оба Келлера, граф де Гондревиль, супруга маршала Карильяно, словом, все семейство со вчерашнего дня в Гондревиле — Абд-эль-Кадир пошел в наступление в Африке, и там началась кровопролитная война. Несчастный молодой человек стал одной из первых жертв этой войны. А относительно выборов, сказал мне господин префект, вы получите здесь, на месте, указания, не подлежащие разглашению.

— Указания? От кого? — спросил супрефект.

— Если бы я знал, то это не было бы тайной,— ответил комиссар,— сам господин префект ничего не знает. Это останется, сказал он мне, между вами и министром.

И комиссар отправился дальше, заметив, как супрефект с довольным видом приложил палец к губам, в знак того, что советует ему помалкивать.

— Ну, какие же новости в префектуре? — спросил королевский прокурор Антонена Гулара, когда тот вернулся к трем чиновникам.

— Ничего особенно приятного,— с таинственным видом ответил Антонен, ускоряя шаг и словно желая отойти от них.

Трое чиновников, обиженных поспешностью супрефекта, направились, почти не разговаривая, к середине площади, как вдруг г-н Мартене заметил старуху Бовизаж, мать Филеаса, окруженную почти всеми проживавшими возле площади буржуа, которым она, видимо, что-то рассказывала. Некто Сино, ходатай по делам, клиентами которого были роялисты арсийского округа и который предпочел воздержаться от присутствия на собрании у Жиге, отделился от этой группы, почти бегом направился к дому Марионов и решительно позвонил у входа.

— Что случилось? — спросил Фредерик Маре, опустив свой лорнет и указывая супрефекту и следователю на звонившего Сино.

— Случилось то, господа,— ответил Антонен Гулар,—

что Шарль Келлер убит в Африке, а это событие дает Симону Жиге огромные шансы. Вы знаете Арси, здесь не могло быть иного кандидата правительственной партии, кроме Шарля Келлера. Против всякого другого восстали бы наши местные патриоты, которые на все смотрят только со своей колокольни.

— И такой болван, как Жиге, будет избран? — подхватил Оливье Вине, смеясь.

Помощник прокурора, молодой человек лет двадцати трех, старший сын одного из самых известных окружных прокуроров, получившего назначение после Июльской революции, благодаря влиянию своего отца попал в прокуратуру. Окружной прокурор, неизменный депутат от города Провена, был одним из главарей центра в палате депутатов. Поэтому сын,— мать его была урожденная Шаржбеф,— отличался и на службе и в жизни большой самоуверенностью, которую ему придавало положение отца. Свое мнение о людях да и другие свои суждения он высказывал не стесняясь, ибо надеялся, что застрянет в Арси ненадолго и вскоре сделается королевским прокурором в Версале, откуда был всего один шаг до судебной должности в Париже. Развязность молодого Вине и своеобразное судейское фатовство, порождаемое уверенностью в том, что он сделает карьеру, раздражали Фредерика Маре тем сильнее, что его подчиненный обладал весьма бойким умом, дававшим ему некоторое право на эти притязания. Королевский прокурор, человек сорока лет, положивший во время Реставрации шесть лет на то, чтобы добиться должности первого помощника, и, несмотря на восемнадцать тысяч дохода, забытый Июльской революцией в арсийском суде, постоянно колебался между желанием заслужить благоволение окружного прокурора, который не сегодня-завтра мог стать министром юстиции, как многие другие юристы-депутаты, и необходимостью блюсти свое достоинство.

Оливье Вине, щуплый блондин, с бесцветной физиономией, которую оживляли зеленоватые лукавые глаза, принадлежал к числу тех молодых насмешников и любителей удовольствий, которые, однако, умеют напускать на себя чопорный, спесивый и педантичный вид, какой обычно принимают юристы за судейским столом.

Рослый, толстый, плотный и важный королевский

прокурор за последние несколько дней, наконец, придумал, как ему быть с этим невыносимым Вине,— он обращался с ним, как отец с балованным ребенком.

— Оливье,— обратился он к своему подчиненному, похлопывая его по плечу,— вы человек дальновидный и, вероятно, понимаете, что достоуважаемый господин Жиге имеет шансы стать депутатом. Вы могли бы сказать свое веское слово и перед жителями Арси, а не только среди друзей.

— Имеется кое-что и против Жиге, — заметил, в свою очередь, г-н Мартене.

Этот молодой человек, на вид довольно неловкий, но весьма способный, сын провенского врача, был обязан своим назначением окружному прокурору Вине, который много лет занимался адвокатурой в Провене и так же покровительствовал уроженцам Провена, как Гондревиль — уроженцам Арси.

— Что же? — спросил Антонен.

— Местный патриотизм избирателей, когда им навязывают не того человека,— страшная вещь,— пояснил судья,— но если нашим дорогим арсийцам придется выдвинуть одного из своих, ревность и зависть окажутся сильнее даже этого патриотизма.

— Все это очень понятно,— заметил королевский прокурор,— и так оно и есть... Если вам удастся объединить пятьдесят голосов правительственной партии, то вы, по всей вероятности, окажетесь хозяином здешних выборов,— добавил он, взглянув на Антонена Гулара.

— Достаточно противопоставить Симону Жиге кандидата с такими же данными,— сказал Оливье Вине.

На лице супрефекта мелькнуло выражение явного удовольствия, которое не могло ускользнуть от его сотоварищей,— кроме того, они отлично понимали друг друга. Все четверо были холосты, все довольно состоятельны и с самого начала образовали как бы союз, чтобы спастись от провинциальной скуки. Трое чиновников уже успели заметить ту особого рода зависть, которую Жиге внушал Гулару и которая будет понятна, если мы коснемся их прошлых отношений.

Сын доезжачего Симезов, разбогатевший на покупке национальных имуществ, Антонен Гулар был, как и Симон Жиге, уроженцем Арси. Его отец, старик Гулар,

покинул аббатство Вальпре (искаженное Валь-де-Пре) и, переехав после смерти жены на жительство в Арси, отдал Антонена в императорский лицей, куда полковник Жиге уже поместил своего сына Симона. Земляки, оказавшись школьными товарищами, вместе изучали в Париже право и продолжали дружить, предаваясь юношеским развлечениям. Когда впоследствии они пошли разными дорогами, то обещали друг другу взаимную поддержку. Но судьбе было угодно сделать их соперниками. Несмотря на довольно существенные преимущества Антонена и на украшавший его петлицу крест Почетного легиона, выхлопотанный ему графом Гондревилем взамен повышения, ему тем не менее вежливо отказали, когда он за полгода до начала этой истории втайне от всех явился к г-же Бовизаж предложить руку и сердце ее дочери.

Попытки подобного рода в провинции недолго остаются тайной. Прокурор Маре, у которого, как и у Антонена Гулара, были и состояние и орденская ленточка, три года назад также получил отказ, со ссылкой на слишком большую разницу в летах.

Поэтому супрефект и королевский прокурор держались по отношению к Бовизажам в границах холодной учтивости, а в своей компании издевались над ними. И сейчас, прогуливаясь по городской площади, они поделились друг с другом своими догадками о тайном замысле Симона Жиге, ибо только накануне узнали, какие надежды питает по этому случаю г-жа Марион. Их объединяло чувство, которое обычно приписывают *собаке на сене:* каждый втайне решил любой ценой помешать адвокату жениться на богатой наследнице, в чьей руке им было отказано.

— Дай бог, чтобы я стал вершителем судеб на выборах,— заявил супрефект,— и чтобы граф де Гондревиль назначил меня префектом, потому что мне хочется остаться здесь не больше, чем вам, хотя я и уроженец Арси.

— Вам представляется прекрасный случай, дорогой мой, попасть в депутаты,— сказал Оливье Вине, обращаясь к Маре.— Отправляйтесь к моему отцу, который, наверное, через несколько часов прибудет в Провен, и мы попросим его выдвинуть вас кандидатом от министерства.

— Оставайтесь здесь,— прервал его Антонен,— у министерства свои виды на выборы в Арси.

— Ах, вот как! Но ведь есть два министерства — одно мнит, что оно решает судьбу выборов, другое — что воспользуется их результатами,— заметил Вине.

— Не будем усложнять трудностей Антонена,— ответил Фредерик Маре, подмигнув своему помощнику.

Четыре судейских чиновника миновали Аллею Вздохов и были уже на площади, но, заметив Пупара, который вышел от г-жи Марион, остановились у постоялого двора «Мул». Из ворот дома г-жи Марион высыпали шестьдесят семь заговорщиков.

— Значит, вы все-таки побывали там? — спросил Пупара Антонен Гулар, указывая на садовую ограду Марионов, тянувшуюся вдоль бриеннской дороги против конюшен «Мула».

— Я туда не вернусь, господин супрефект,— ответил хозяин постоялого двора,— сын господина Келлера умер, и мне там больше делать нечего. Господу было угодно освободить место...

— Каково! Недурно, Пигу? — заметил Оливье Вине, увидев всю оппозицию, шествующую с собрания у Марионов.

— Да, недурно,— отозвался нотариус, вспотевший лоб которого свидетельствовал о его рвении.— Сино сообщил нам новость, которая всех примирила! За исключением пяти отколовшихся: Пупара, моего деда, Молло, Сино и меня,—все собравшиеся поклялись, как в Зале для игры в мяч, приложить все усилия к тому, чтобы победил Симон Жиге, мой смертельный враг. Да, мы здорово сразились! Я всячески подбивал сторонников Жиге, чтобы они дали выход своим чувствам против Гондревилей. Уж теперь-то старый граф будет на моей стороне. Не позже завтрашнего дня он узнает все, что говорили о о нем, о его лихоимстве и его подлостях наши так называемые патриоты Арси, жаждущие избавиться от его покровительства, или, как они выражались, от ига.

— Они проявили полное единодушие,— смеясь, сказал Оливье Вине.

— На один день,— вставил г-н Мартене.

— О,— вскричал Пигу,— общее желание арсийцев —

выбрать местного уроженца! Кого же вы хотите противопоставить Симону Жиге,— человеку, который разглагольствовал битых два часа, объясняя слово *прогресс*?

— Мы разыщем старика Гревена! — воскликнул супрефект.

— У него нет честолюбия,— ответил Пигу,— но прежде всего нужно посоветоваться с графом Гондревилем. Посмотрите, как почтительно Симон провожает эту раззолоченную тупицу Бовизажа,— сказал он, указывая на адвоката, который держал мэра за локоть и нашептывал ему что-то. Бовизаж раскланивался направо и налево, здороваясь со всеми жителями, смотревшими на него с тем почтением, с каким провинциалы относятся к самому богатому человеку в городе.

— Еще бы ему не ухаживать за папашей Бовизажем,— заметил Вине,— как можно не проводить с честью мэра и тестя.

— О, напрасно он старается и лебезит перед Бовизажем,— отозвался Пигу, уловив скрывавшуюся за этой шуткой мысль помощника.— Согласие Сесили не зависит ни от отца, ни от матери...

— В таком случае от кого же?

— От моего бывшего хозяина. Если даже Симон и пройдет в депутаты Арси, симпатий его жителей он не завоюет.

Как ни расспрашивали Пигу супрефект и Фредерик Маре, тот не пожелал объяснить им свое восклицание, которое справедливо показалось им намеком на важные события и обнаружило его знакомство с кое-какими планами семейства Бовизаж.

Весь город заволновался — не только из-за горестной утраты, постигшей Гондревилей, но также вследствие важного решения, принятого в доме Жиге, где в это время трое слуг и г-жа Марион усиленно приводили в порядок комнаты, готовясь к обычному вечернему приему гостей, которые из любопытства, несомненно, должны были собраться в большом количестве.

Шампань производит впечатление бедного края, и действительно это бедный край. Пейзаж его печален, всюду — однообразные равнины. Всюду, где бы вы ни проезжали, в деревнях и даже в городах, вы видите только деревянные или глинобитные домишки; кирпич-

ные дома — это уже роскошь. Камень идет лишь на общественные строения. Так, в Арси только замок, здание суда и собор сложены из камня. И все-таки в Шампани, или, вернее, в департаментах Об, Марны и Верхней Марны, с их богатыми, всему миру известными виноградниками, осталось до сих пор немало процветающих предприятий.

Не говоря уже о реймских мануфактурах, почти вся вязальная промышленность Франции,— притом весьма крупная,— сосредоточена в округе Труа. Сельская местность, на десять лье в окружности, населена ремесленниками, и, проезжая деревни, вы видите в открытые двери домов, каким ремеслом они занимаются. Кустари имеют дело с посредниками, а те со спекулятором, именуемым фабрикантом. Этот фабрикант поставляет готовые изделия парижским фирмам или мелким лавочникам, причем у тех и у других та же вывеска: «Производство вязальных изделий». Но ни те, ни другие сами не занимаются изготовлением чулок, ночных колпаков, носков. Вязаные изделия поступают главным образом из Шампани, хотя есть и в Париже кустари, соперничающие с шампанцами.

Посредничество между производителями и потребителями составляет печальную особенность не одного только чулочно-вязального дела: оно существует в большинстве отраслей торговли, причем на товар накидывается та сумма, которая составляет прибыль посредника. Уничтожение этих дорогостоящих перегородок между ремесленником и покупателем, наносящих большой ущерб ремесленникам, явилось бы важным делом, которое по своим результатам могло бы стоять рядом с крупными политическими событиями. Действительно, производство в целом от этого бы только выиграло, установив внутри государства те дешевые цены, которые столь необходимы с точки зрения внешних отношений, ибо дают возможность побеждать в промышленной войне с заграницей; а это бой не менее кровопролитный, чем бои на ратном поле.

Однако современные филантропы не стремятся покончить с подобными злоупотреблениями, ибо это не сулит им ни той славы, ни тех преимуществ, какие дает, например, бесконечная полемика по поводу упраздне-

ния рабства или карательнои системы в судах; поэтому контрабандистские действия банкиров торговли еще долго будут тяготеть и над производством и над потреблением. Во Франции, столь интеллектуальной стране, принято считать, что упростить — значит разрушить. Революция 1789 года и поныне внушает здесь страх.

По одному тому, какую мощную промышленную энергию развивают там, где природа оказывается мачехой, мы видим, насколько улучшилось бы земледелие, если капитал согласился бы вложить деньги в почву, которая в Шампани ничуть не хуже, чем в Шотландии, а там капиталы творят чудеса. Таким образом, в тот день, когда земледелие завоюет и бесплодные земли этого департамента, когда промышленность вложит какие-то средства в разработку меловых залежей Шампани, процветание увеличится в три раза. Сейчас эта область не знает изобилия, людские жилища убоги, а тогда в них проникнет английский комфорт и начнется тот быстрый оборот денег, который уже составляет половину богатства и теперь осуществляется во многих областях Франции, где до сих пор царил упадок.

Писатели, государственные деятели, церковь со своих кафедр, печать со столбцов своих газет, все те, кому случай предоставляет возможность влиять на массы, должны неустанно твердить одно: держать деньги в кубышке — общественное преступление! Неразумная бережливость провинции задерживает развитие промышленной жизни и вредит здоровью нации.

Итак, маленький городок Арси, не имеющий ни транзита, ни путей сообщения и как будто обреченный на полнейший социальный застой, на самом деле — город относительно богатый, который изобилует капиталами, медленно накопляющимися в вязальном производстве.

Господин Филеас Бовизаж был в этой области Александром или, если хотите, Аттилой. Вот каким образом этот почтенный промышленник одержал победу над хлопком.

Из всех детей Бовизажа Филеас был единственный, оставшийся в живых. Сам Бовизаж арендовал доходную ферму «Белаш», стоявшую на земле Гондревилей; в 1811 году родители за большие деньги откупили сына от рекрутского набора. После этого овдовевшая

г-жа Бовизаж благодаря влиянию графа Гондревиля в 1813 году еще раз избавила своего единственного сына от призыва в народное ополчение... Филеас, которому тогда исполнился двадцать один год, уже в течение трех лет мирно торговал изделиями вязальной промышленности. К этому времени кончился срок аренды на ферму «Белаш», и старуха арендаторша не пожелала возобновить договор. Она полагала, что ей на старости лет хватит дела, если она хочет извлекать доход из своих угодий. Желая спокойно дожить свою жизнь, она решила с помощью г-на Гревена, городского нотариуса, привести в порядок наследство своего супруга, хотя сын и не требовал у нее отчета. Оказалось, что она ему должна около ста пятидесяти тысяч франков. Почтенная старушка не хотела продавать землю, большая часть которой в свое время принадлежала несчастному Мишю, бывшему управляющему Симезов, и вручила сыну всю сумму чистоганом, предложив ему купить предприятие его патрона, сына судьи г-на Пигу, дела которого настолько ухудшились, что он, как подозревали его сограждане и о чем уже было упомянуто, покончил жизнь самоубийством. Филеас Бовизаж, юноша рассудительный, глубоко почитавший мать, не откладывая, заключил сделку со своим патроном, а так как он унаследовал от родителей шишку, знаменующую собой, по мнению френологов, *склонность к стяжательству*, то со всем пылом юности ринулся в эту торговлю, которую почитал необычайно выгодной и которую решил расширить путем спекуляции. Имя *Филеас* может показаться необычным, но это одна из бесчисленных странностей, которыми мы обязаны Революции. Будучи приверженцами Симезов, а следовательно, верующими католиками, Бовизажи пожелали окрестить своего ребенка. Духовник Сен-Синей, аббат Гуже, запрошенный фермерами, посоветовал им избрать покровителем их сына святого Филеаса, чье греческое имя вполне удовлетворило бы муниципалитет; ибо этот ребенок родился в ту пору, когда детей записывали в акты гражданского состояния, давая им причудливые имена из республиканского календаря.

В 1814 году торговля вязаными изделиями, дело в обычные времена вполне надежное, была подвержена всем неожиданным колебаниям, которые испытывали тогда це-

ны на хлопок. А цены на хлопок зависели от успехов и поражений императора Наполеона, ибо противники его, генералы английской армии, распоряжались в Испании так: «Город взят, подвозите товары...»

Пигу, бывший хозяин молодого Филеаса, поставлял сырье ремесленникам, работавшим на него по деревням. Перед тем как он продал свое предприятие сыну Бовизажа,— у него была закуплена большая партия хлопка по высокой цене,— а в это время, согласно знаменитому декрету императора, в империю из Лисабона уже везли тюки хлопка по шесть су за килограмм. Последствия, к которым привел во Франции этот массовый ввоз хлопка, явились причиной смерти Пигу, отца Ахилла, но они же положили начало процветанию Филеаса, ибо он не только не потерял голову, как это случилось с его патроном, но сумел установить, выгодную для себя, среднюю цену, покупая по дешевке вдвое больше товара, чем его предшественник. Эта нехитрая выдумка позволила Филеасу расширить свое производство втрое против прежнего, выставить себя благодетелем в глазах ремесленников и, кроме того, дала ему возможность торговать прибыльно своими изделиями и в Париже и по всей Франции, тогда как и самые удачливые торговцы вынуждены были сбывать товар по себестоимости. К началу 1814 года Филеас распродал все, что у него лежало на складах. Перспектива войны на территории Франции и все сопряженные с войной бедствия, которые грозили обрушиться главным образом на Шампань, заставили его быть осторожным: он не делал никаких заказов и, обратив свои капиталы в золотую монету, приготовился ко всем неожиданностям.

Таможенные границы в то время охранялись плохо. Наполеон, ведя войну на собственной территории, не мог обойтись без своих тридцати тысяч пограничников. Хлопок, проникая через тысячи брешей в сторожевой заставе наших границ, появлялся на всех французских рынках. Трудно даже и вообразить, какой пронырливостью и прыткостью отличался в то время хлопок и с какой алчностью набрасывались англичане на страну, где бумажные чулки стоили шесть франков пара, а коленкоровые рубашки считались предметом роскоши. Второразрядные фабриканты и крупные ремесленники, полагаясь на

гений Наполеона, скупили хлопок, пришедший из Испании. Пустив его в дело, они надеялись, что в дальнейшем смогут диктовать свои условия парижским купцам. Филеас внимательно наблюдал за всем происходившим, а затем, когда война опустошила Шампань, стал орудовать между фронтом французской армии и Парижем. После каждого проигранного сражения он являлся к ремесленникам, которые прятали свои изделия в бочках, в картофельных ямах, и, расплачиваясь золотой монетой, этот атаман чулочного дела скупал за бездельцу по деревням целые возы товара, который мог со дня на день сделаться добычей врагов, ибо ноги их не меньше нуждались в чулках, чем их глотки в шампанской влаге.

В этих тяжелых обстоятельствах Филеас проявил, пожалуй, не меньше энергии, чем сам император. Сей чулочный генерал проводил свою торговую кампанию 1814 года с неслыханной доселе отвагой. Орудуя на одно лье позади, там, где генерал маневрировал на одно лье впереди, он пожинал в своих успешных операциях вязаные колпаки и чулки, подобно тому как император в своих фланговых кампаниях пожинал лавры бессмертия. В гениальности они не уступали друг другу, но каждый проявлял ее в своей области, и в то время как один старался покрыть побольше голов колпаками, другой стремился побольше срубить голов. Вынужденный изыскивать средства передвижения, дабы вовремя вывозить огромные запасы своих товаров, которые он хранил на складах одного из парижских предместий, Филеас нередко прибегал к реквизиции лошадей и фургонов, как будто речь шла по меньшей мере о спасении империи. Но разве величие коммерции уступало величию Наполеона? И разве английские купцы, взявшие на откуп Европу, не сломили сопротивление колосса, который угрожал их лавкам? В тот день, когда император подписывал отречение в Фонтенебло, Филеас праздновал победу и диктовал свои законы на чулочном рынке. С помощью искусных маневров он поддерживал низкую цену на хлопок и удвоил свое состояние, меж тем как другие фабриканты рады были отделаться от своих товаров за полцены. Филеас вернулся в Арси с капиталом в триста тысяч франков, половину его он поместил в государствен-

ные бумаги в шестидесятифранковых облигациях, что доставило ему пятнадцать тысяч франков годового дохода; сто тысяч пошли на удвоение оборотных средств, необходимых для его предприятия. Остальное он употребил на постройку, отделку и обстановку роскошного дома в Арси на площади дю-Пон.

По возвращении победоносного чулочника г-н Гревен, естественно, оказался посвященным во все его дела. У нотариуса в то время была на выданье единственная дочь, девица двадцати лет. Старик, тесть Гревена, бывший в течение сорока лет лекарем в Арси, еще здравствовал. Гревен, который к тому времени уже овдовел, был хорошо осведомлен насчет капиталов мамаши Бовизаж. Он поверил в энергию и способности молодого человека, у которого хватило отваги проделать такую кампанию в 1814 году. Северина Гревен получила в приданое от матери шестьдесят тысяч франков — что мог оставить Северине старик Варле? Самое большее— такую же сумму. Гревену уже стукнуло пятьдесят. Он боялся умереть; у него не было никаких надежд во времена Реставрации выдать замуж дочку так, как ему хотелось,— а во всем, что касалось дочери, он был полон самых честолюбивых мечтаний. Взвесив все эти обстоятельства, он поступил предусмотрительно, заставив Филеаса просить руки Северины.

Северина Гревен, хорошо воспитанная, красивая молодая девушка, считалась одной из самых завидных невест в Арси. И конечно, сын фермера Гондревиля не мог не считать для себя честью породниться с близким другом сенатора и пэра Франции графа де Гондревиля. Вдова Бовизаж пошла бы ради этого на любые жертвы, но, узнав об успехах сына, она сочла излишним выделять ему что-либо из своего капитала,— мудрая осторожность,— ее примеру последовал и сам нотариус. Итак, сын фермера, некогда столь преданного Симезам, соединился брачными узами с дочерью одного из их злейших врагов. Быть может, это единственный случай, когда знаменитое изречение Людовика XVIII: *«Единение и забвение»* — осуществилось на деле.

После вторичного возвращения Бурбонов старик доктор, г-н Варле, умер, дожив до семидесяти шести лет; он оставил после себя двести тысяч франков золо-

том, припрятанных в подвале, а кроме того, недвижимое имущество примерно на такую же сумму. Таким образом, Филеас с женой, начиная с 1816 года, располагали тридцатью тысячами франков годового дохода, не считая торгового дела; ибо приданое дочери Гревен решил поместить в недвижимость, и Бовизаж против этого не возражал. Капитал, доставшийся Северине Гревен в наследство после деда, приносил всего лишь пятнадцать тысяч франков дохода, несмотря на все старания старика Гревена поместить его как можно выгоднее.

В первые же два года г-жа Бовизаж и Гревен убедились в непроходимой глупости Филеаса. Сбитый с толку коммерческой хваткой Бовизажа, которая показалась ему каким-то выдающимся даром, старик нотариус принял молодость Филеаса за силу, а его удачу — за гений дельца. Но Филеас, даже если он умел читать, писать и недурно считал, никогда в жизни не брал книги в руки. Говорить с ним было не о чем, ибо он отличался крайним невежеством и на все отвечал набором избитых фраз, которые старался преподносить как нельзя более любезно. При всем том, будучи сыном фермера, он был не лишен чисто практической смекалки. Люди, которые вели с ним дела, должны были обращаться к нему с ясными, краткими и вполне понятными предложениями, но сам он никогда не отвечал тем же своим конкурентам. Добрый и даже мягкосердечный, Филеас проливал слезы, стоило ему услышать какой-нибудь жалостный рассказ. Эта же доброта проявлялась в его почтительном отношении к жене, чье превосходство вызывало у него самое искреннее восхищение. Северина, женщина, не лишенная фантазии, по мнению Филеаса, знала решительно все. Ее суждения отличались тем большей проницательностью, что она обо всем советовалась с отцом. При этом она еще обладала твердым характером, благодаря чему стала полновластной хозяйкой у себя в доме. После того как она этого добилась, старик нотариус уже не так сильно огорчался, глядя на свою дочь; он видел, что Северина счастлива своим владычеством, ибо власть всегда приносит удовлетворение женщинам с таким характером; но ведь она была женщина. И вот что, как рассказывают в Арси, обрела женщина.

В период реакции 1815 года в Арси на должность су-

префекта назначили виконта де Шаржбефа, отпрыска обедневшей линии старинного аристократического рода. Он получил это назначение по протекции своей родственницы маркизы де Сен-Синь. Молодой человек просидел в супрефектах целых пять лет. Говорят, столь затянувшееся пребывание виконта в этой должности, отнюдь не способствовавшее его карьере, было в какой-то мере связано с прекрасной г-жой Бовизаж. Впрочем, считаем своим долгом заметить, что все эти слухи отнюдь не подтверждались ни одним из тех скандалов, с помощью коих в провинции изобличают пылкие чувства, которые так трудно скрыть от аргусов маленького городка. Если Северина и любила виконта де Шаржбефа и виконт любил Северину, все это было в высшей степени благородно и благопристойно, как говорили друзья Гревена и друзья Марионов. А эта двойная клика умела диктовать свои мнения всей округе. Но ни Марион, ни Гревены не имели ни малейшего влияния на роялистов, а роялисты называли супрефекта счастливчиком и говорили, что ему повезло.

Как только до маркизы де Сен-Синь дошли разговоры, которые велись в светских гостиных о ее родственнике, она вызвала его в Сен-Синь, и так непреодолимо было ее отвращение ко всем тем, кто хоть в какой-либо мере был связан с участниками судебной драмы, столь роковой для ее семьи, что она заставила виконта покинуть Арси. Она добилась, чтобы ее кузена назначили супрефектом в Сансер, и пообещала ему сделать его префектом. Некоторые наблюдатели, не лишенные тонкости, утверждали, будто виконт нарочно разыграл из себя влюбленного, чтобы сделаться префектом, ибо он знал, как ненавистно маркизе имя Гревена. Другие замечали, что появления виконта де Шаржбефа в Париже неизменно совпадали с поездками, которые совершала туда г-жа Бовизаж под самыми пустячными предлогами.

Беспристрастному историку было бы весьма затруднительно составить мнение по поводу этих фактов, погребенных в прошлом вместе с другими тайнами личной жизни. Казалось, только одно обстоятельство могло дать некоторый повод к злословию. Сесиль-Ренэ Бовизаж родилась в 1820 году, в тот самый год, когда виконт де

Шаржбеф оставил должность супрефекта, а одним из имен осчастливленного супрефекта, оказывается, было также имя Ренэ. Это имя было дано Сесили ее крестным отцом графом де Гондревилем. Если бы мать воспротивилась тому, чтобы дочь ее носила это имя, она бы в некотором роде подтвердила существовавшие подозрения. Но так как свет, вопреки всему, всегда хочет остаться правым, то все сочли, что это просто хитрая выдумка старого пэра Франции. Г-жа Келлер, дочь графа, носившая имя Сесиль, была крестной матерью. Что же касается родственного сходства Сесили-Ренэ Бовизаж, оно было прямо поразительно. Эта юная особа ничем не напоминала ни отца, ни мать, а со временем стала живым портретом виконта, от которого она унаследовала его аристократические манеры. Впрочем, это двойное сходство, духовное и физическое, никак не могло быть подмечено жителями Арси, ибо виконт туда более не показывался.

Северина все же сумела сделать Филеаса по-своему счастливым. Он любил хорошо поесть и не отказывать себе во всяких благах жизни; она держала для него тончайшие вина, стол, достойный самого епископа; у них была лучшая повариха во всем департаменте, но все это безо всяких претензий на какую-то роскошь, ибо Северина поставила свой дом, как полагалось, строго следуя всем правилам буржуазного уклада жизни в Арси. Арсийцы так и говорили, что обедать надо у г-жи Бовизаж, а вечера проводить у г-жи Марион. Господство дома Сен-Синей в департаменте Арси, вновь обретенное им благодаря Реставрации, естественно, повело к еще более тесному сближению всех тех семей, которые имели касательство к уголовному процессу по делу похищения де Гондревиля. Марионы, Гревены, Жиге объединились тем теснее, что успех их так называемой *конституционной* партии на выборах требовал полного единодушия.

Северина из расчета заставила Бовизажа вести торговлю чулочными изделиями, от чего всякий другой на его месте, разумеется, отказался бы. По ее настоянию он поддерживал торговые связи с Парижем, разъезжал по деревням. Таким образом, вплоть до 1830 года Филеас, которому предоставлялась возможность удовлетворять свои стяжательские наклонности, выручал из года в год

столько же, сколько они проживали, не считая процентов, нараставших на капитал; и занимался он своим предприятием не всерьез, а как говорят в просторечье — походя. Проценты с капитала супругов Бовизажей, превратившиеся за шестнадцать лет благодаря стараниям Гревена в солидный капитал, составляли в 1830 году пятьсот тысяч франков. Таково было к тому времени приданое Сесили, которое старый нотариус поместил в трехпроцентные облигации по курсу в пятьдесят франков, что приносило тридцать тысяч франков дохода в год. Таким образом, можно было безошибочно определить, чему равнялось состояние Бовизажей, ибо оно приносило им в то время восемьдесят тысяч франков дохода в год. В 1830 году они продали свое чулочное предприятие торговому агенту Жану Виолету, внуку одного из главных свидетелей обвинения в процессе Симезов, и поместили свои капиталы, достигшие к тому времени трехсот тысяч франков, в государственные бумаги. Но у супругов Бовизажей была, кроме того, перспектива получить наследства — от старика Гревена и от старухи фермерши Бовизаж, причем каждое должно было прибавить к их доходам от пятнадцати до двадцати тысяч франков в год. Крупное состояние в провинции — это результат, который получается от умножения времени на бережливость. Тридцать лет старости — верный капитал.

Назначив в приданое Сесили-Ренэ пятьдесят тысяч франков ренты, супруги Бовизаж оставляли себе эти два наследства, тридцать тысяч франков ренты и дом в Арси. После смерти маркизы де Сен-Синь Сесиль, разумеется, могла бы выйти замуж за молодого маркиза, но цветущее здоровье этой женщины, которая в шестьдесят лет все еще была чуть ли не красавицей, подрывало в корне все надежды, если даже они и успели пустить ростки в сердцах Гревена и его дочери, как утверждали некоторые добрые люди, не скрывавшие своего удивления по поводу того, что даже такие достойные претенденты, как супрефект и прокурор, получили отказ.

Дом Бовизажей, один из самых красивых в Арси, стоит на площади дю-Пон, там, где улицу Видбурс пересекает улица дю-Пон, выходящая на Церковную площадь. Хотя при доме нет ни двора, ни сада, как у мно-

гих провинциальных домов; он все же имеет довольно внушительный вид, невзирая на свои безвкусные украшения. Низкая двустворчатая дверь выходит на площадь. Из окон нижнего этажа, что глядят на улицу, видна гостиница «Почтовая», а из тех, что обращены к площади, открывается довольно живописный вид на реку Об, по которой ниже моста уже ходят суда. На том берегу, за мостом, видна другая площадь, поменьше, где живет г-н Гревен; оттуда начинается дорога на Сезанн. И со стороны улицы и со стороны площади дом Бовизажей, аккуратно выкрашенный белой краской, производит впечатление каменного. Высокие решетчатые ставни, резные наличники на оконных рамах — все придает этому жилищу какой-то своеобразный характер, не лишенный известного благородства, которое отличает его от жалких домишек Арси, в большинстве случаев деревянных, но покрытых какой-то особой штукатуркой, затем чтобы дерево не уступало в прочности камню. Впрочем, дома эти не лишены некоторой простодушной наивности хотя бы потому, что каждый строитель или каждый владелец старался по-своему решить задачу, которую представляет собой постройка подобного рода. На обеих площадях, раскинувшихся одна против другой по обе стороны моста, можно видеть образцы этой характерной для здешнего края архитектуры.

Среди ровного ряда домов, что стоят на площади, налево от дома Бовизажей виднеется выкрашенная в темно-красную краску с зелеными ставнями и наличниками невзрачная лавочка Жана Виолета, внука знаменитого фермера из Груажа, одного из главных свидетелей в деле похищения сенатора; после 1830 года Бовизаж передал ему свое предприятие, свою клиентуру и, говорят, даже снабдил его деньгами.

Мост через реку в Арси деревянный. В ста метрах от этого моста, вверх по течению реки Об, виднеется другой мост — плотина с высокими деревянными сооружениями водяной мельницы о нескольких поставах. Пространство между городским мостом и мостом-плотиной, принадлежащим частному владельцу, представляет собой широкую запруду, по берегам которой стоят большие дома. В просвете между домами и над крышами виден холм; на нем высится замок Арси, с парком, сада-

ми, каменной оградой и вековыми деревьями, господствующими над верховьями Обы и над тощими лужками на левом ее берегу.

Шум реки, прорывающейся из-за плотины через мельничные колоды, пение колес, взметающих бурливую пену, плеск воды, низвергающейся водопадом,— все это придает оживление улице дю-Пон и представляет резкий контраст со спокойной гладью реки, которая чуть пониже течет между садом г-на Гревена, чей дом стоит у моста, на левом берегу, и пристанью на правом берегу, где разгружаются барки и лепятся у самой воды бедные, но живописные домики. Реку Об видно далеко, она бежит, мелькая между деревьями, которые то стоят одиночками, то сходятся стеной,— большие, маленькие, разнолиственные, самые разнообразные, в зависимости от прихоти хозяев, чьи владения тянутся по берегам.

Дома здесь так непохожи один на другой, что путешественник найдет среди них любые архитектурные образцы всех стран. Так, на северной стороне, на берегу пруда, где полощутся утки, виден дом совершенно южного типа, с покатой желобчатой черепичной крышей, как у итальянских домов; он стоит в глубине маленького садика, разбитого по самому краю обрывистого берега; в саду растут виноградные лозы, два-три деревца и виднеется увитая виноградом беседка. Этот дом напоминает какой-то уголок Рима,— там на берегу Тибра попадаются иной раз вот такие домики. Напротив, на той стороне пруда, стоит большой дом с выступающей крышей, с крытыми галереями, очень похожий на швейцарское шале, а в довершение сходства между домом и прудом расстилается широкий луг, обсаженный по краям тополями, и через него вьется дорожка, усыпанная песком. А там дальше массивные стены замка, который рядом с этими скромными жилищами кажется еще более внушительным, возвращают нас к пышному великолепию старинных домов французской знати.

Несмотря на то, что через обе прилегающие к мосту площади проходит дорога на Сезанн — прескверное шоссе в отвратительном состоянии,— и несмотря на то, что эта площадь — самая оживленная часть города, ибо на улице Видбурс помещается камера мирового судьи и

мэрия Арси,— парижанин, попавший сюда, сказал бы, что это удивительно уединенная сельская местность. В этом пейзаже столько наивной простоты, что, например, на площади дю-Пон, прямо против «Почтовой гостиницы», красуется обыкновенный деревенский колодезь. Впрочем, примерно такой же колодезь красовался когда-то на великолепном дворе Луврского дворца.

Самая отличительная черта провинциальной жизни — это необычайная тишина, в которую погружен городок и которая царит всюду, даже в самой оживленной его части. Нетрудно представить себе, какое смятение вызывает здесь всякий приезжий, хотя бы он задержался в Арси всего лишь на несколько часов, с каким жадным вниманием следят за ним высунувшиеся из каждого окошка лица и с какой самозабвенной страстью неустанно шпионят друг за другом обитатели городка. Жизнь здесь подчинена таким монастырским строгостям, что, кроме как в воскресные и праздничные дни, проезжий не увидит ни души ни на бульваре, ни в Аллее Вздохов, ни даже на улице. Теперь всякому будет понятно, почему нижний этаж дома Бовизажей находился на одном уровне с улицей и площадью. Площадь заменяла ему двор. Сидя у окна, бывший чулочник мог одним взглядом окинуть сразу и расстилающуюся перед ним Церковную площадь, и обе площади у моста, и дорогу на Сезанн. Ему видно было, как к «Почтовой гостинице» подъезжают нарочные, как высаживаются путешественники. И наконец, в присутственные дни он мог наблюдать оживленную толкотню возле суда и мэрии. Поэтому Бовизаж не променял бы свой дом и на замок, несмотря на его барский вид, каменные стены и роскошное местоположение.

Войдя в дом Бовизажей, вы оказываетесь в просторной передней, в глубине которой виднеется лестница. Дверь направо ведет в большую гостиную, оба окна которой глядят на площадь, а налево — в роскошную столовую с окнами на улицу. В бельэтаже помещаются жилые комнаты.

Несмотря на богатство Бовизажей, вся их домашняя челядь состояла только из кухарки да горничной — деревенской девушки, в чьи обязанности вменялось главным образом стирать, гладить и убирать комнаты, а

не одевать барыню и барышню, которые, чтобы скоротать время, сами одевали друг друга. Расставшись со своим чулочным предприятием, Филеас расстался также и со своей лошадкой и шарабаном, стоявшим обычно на конюшне «Почтовой гостиницы»; он продал и то и другое.

Когда Филеас вернулся к себе домой, его жена, уже осведомленная о решении, принятом на собрании в доме Жиге, только что надела ботинки и накинула на себя шаль, собираясь пойти к отцу, ибо она не сомневалась, что г-жа Марион не преминет сегодня вечером посвятить ее в свои планы относительно Сесили и Симона. Рассказав жене о смерти Шарля Келлера, Филеас простодушно спросил: «Ну, а ты что скажешь, женушка?», показывая этим, до какой степени он привык во всем считаться с мнением супруги. Засим он уселся в кресло и расположился поудобней, ожидая, что она ему скажет.

В 1839 году г-же Бовизаж было сорок четыре года, но она так превосходно сохранилась, что вполне могла бы дублировать мадемуазель Марс. Если припомнить самую очаровательную Селимену на сцене Французского театра, это даст нам ясное представление о внешности Северины Гревен: те же роскошные формы, то же прелестное личико, та же четкость линий. Но только жена чулочника была маленького роста, и это лишало ее той величественной грации, того кокетливого изящества а ля Севинье, которыми великая актриса запечатлелась в памяти людей, видевших Империю и Реставрацию. Жизнь в провинции и некоторая небрежность в туалете, к которой мало-помалу привыкла Северина за последние десять лет, наложили отпечаток грубости на этот прекрасный профиль, на эти прелестные черты, а излишняя полнота изуродовала ее фигуру, отличавшуюся такой красотой форм в первые двенадцать лет замужества. Но все эти недостатки Северины искупались величественным, надменным и повелительным взором и какой-то особой манерой гордо закидывать голову. Волосы ее, еще черные, длинные и густые, были уложены высокой короной, и эта прическа удивительно молодила ее. У нее были белоснежные плечи и грудь, но все так расплылось и разбухло, что казалось, она с трудом может повернуть шею, ставшую чересчур короткой. И руки у

нее были такие же полные и округлые, с красивой, но чересчур пухлой кистью, с маленькими, толстенькими пальчиками. Это было такое обилие пышущей жизнью и здоровьем плоти, что она выпирала даже из ее ботинок, тесно облегавших ее пухлые ноги. Большие серьги в виде колец, по тысяче экю каждая, украшали ее уши. На ней был кружевной чепец с розовыми бантами, платье в талию из тонкой шерстяной материи в розовую и серую полоску, отделанное внизу зеленой каймой, и с расходящимися полами, из-под которых выглядывала юбка с кружевными оборками. На плечах — зеленая кашемировая шаль, расшитая пальмовыми листьями, конец которой сзади спускался до полу. Башмачки из коричневатой кожи были ей, видимо, несколько тесноваты.

— Я думаю, вы еще не успели проголодаться,— сказала она, бросив взгляд на Бовизажа,— и можете подождать полчаса. Отец уже пообедал, а я не могу есть спокойно, не узнав, что он обо всем этом думает и нужно ли нам ехать в Гондревиль?

— Иди, иди, душенька, я подожду! — отвечал чулочник.

— Ах, неужели я никогда не отучу вас от этой привычки говорить мне «ты»,— сказала она, выразительно передернув плечами.

— Да ведь на людях этого со мной никогда не случается чуть ли не с тысяча восемьсот семнадцатого года.

— Вечно это с вами случается, и перед прислугой и перед дочерью.

— Как вам будет угодно, Северина...— грустно ответил г-н Бовизаж.

— Главное, не говорите Сесили ни слова о том, что решили эти избиратели,— добавила г-жа Бовизаж, глядя на себя в зеркало и поправляя шаль.

— Может быть, ты хочешь, чтобы я пошел с тобой к отцу? — спросил Филеас.

— Нет. Оставайтесь с Сесилью. Кстати, кажется, Жан Виолет собирался принести вам сегодня остаток долга? Ведь он должен вам двадцать тысяч франков. Вот уже три раза он оттягивает платеж и каждый раз на три месяца. Не давайте ему больше отсрочки. А не может заплатить, отнесите его вексель судебному приставу Куртелю: будем действовать по правилам, пода-

дим в суд. Ахилл Пигу объяснит вам, как получить наши деньги. Этот Виолет, видно, достойный внучек своего дедушки. Я считаю, что он вполне способен ради наживы объявить себя несостоятельным! У него нет ни стыда, ни совести.

— Он очень неглупый человек,— сказал Бовизаж.

— Вы уступили ему клиентуру на тридцать тысяч франков и заведение, которое во всяком случае стоит не дешевле пятидесяти тысяч. А он за восемь лет выплатил вам всего десять тысяч...

— Никогда я ни с кем не заводил тяжбы,— отвечал Бовизаж.— По мне, уж лучше деньги потерять, чем донимать судом бедного человека...

— Человека, который насмехается над вами!

Бовизаж промолчал. Он не нашелся, что ответить на это жестокое замечание, и, опустив глаза в пол, стал разглядывать паркет своей гостиной. Быть может, постепенное ослабление умственных способностей Бовизажа, а также и его воли объяснялось тем, что он слишком много спал. Он неизменно укладывался спать в восемь вечера, вставал в восемь утра и, таким образом, вот уже двадцать лет спал по двенадцати часов в сутки, никогда не просыпаясь ночью; а если когда-нибудь и случалась с ним такая оказия,— это было для него целое событие, нечто совершенно необычайное, и он весь день только об этом и говорил. Примерно около часу уходило у него на одевание, потому что жена приучила его являться к завтраку не иначе, как чисто выбритым, вычищенным и тщательно одетым. Когда у него еще было торговое предприятие, он тотчас же после завтрака уезжал по делам и возвращался только к обеду. После 1832 года эти деловые поездки заменились визитом к тестю, к кому-нибудь из знакомых или прогулкой. Во всякое время года, в любую погоду, он ходил в сапогах, в синих суконных брюках, белом жилете и синем сюртуке, чего опять-таки требовала его жена. Белье его отличалось удивительной тонкостью и еще более удивительной белизной, ибо Северина приучила его менять белье каждый день. Привычка заботиться о своей внешности, которую редко кто соблюдает в провинции, способствовала тому, что Филеас считался в Арси образцом элегантности, точь-в-точь как какой-нибудь светский щеголь в Па-

риже. Итак, всем своим внешним видом почтенный торговец вязаными изделиями производил впечатление важной особы, ибо супруга его была достаточно сообразительна и никто никогда не слышал от нее ничего такого, что могло бы позволить обывателям Арси догадаться об ее разочаровании или заподозрить ничтожество ее супруга, который своими любезными улыбками, предупредительными фразами и замашками богача заслужил себе репутацию солидного человека. Говорили, что Северина так ревнует его, что никуда не пускает по вечерам, а Филеас тем временем отлеживал себе бока и портил свой лилейный цвет лица, предаваясь блаженным сновидениям.

Словом, Бовизаж жил так, как ему нравилось, жена ухаживала за ним, обе его служанки служили ему исправно, дочка ластилась к нему, он считал себя самым счастливым человеком в Арси, да, пожалуй, и был им. Чувство Северины к этому ничтожному человеку не было лишено некоторой покровительственной жалости, с какой мать относится к своим детям; когда ей надо было отчитать его, проявить строгость, она старалась сделать это в шутливом тоне. Трудно было представить себе более мирное супружество, а то, что Филеас испытывал отвращение ко всяким светским сборищам, где он неизменно засыпал от скуки, так как не умел играть в карты и никому не мог составить партию, позволяло Северине свободно распоряжаться своими вечерами.

Появление Сесили вывело Филеаса из замешательства.

— Да какая ты сегодня красавица! — воскликнул он.

Госпожа Бовизаж тотчас же обернулась и бросила на дочь пронизывающий взор, от которого Сесиль вспыхнула.

— Что это вы вздумали так нарядиться, Сесиль? — спросила мать.

— Но ведь мы же сегодня собирались к госпоже Марион. Вот я и оделась, мне хотелось посмотреть, идет ли мне новое платье.

— Сесиль! Сесиль! — сказала Северина.— Хорошо ли это, обманывать свою мать? Я недовольна вами. Вы что-то задумали и скрываете от меня.

— А что она такое сделала? — спросил Бовизаж, любуясь своей нарядной дочкой.

— Что она сделала?.. Мы с ней об этом поговорим потом...— ответила г-жа Бовизаж, погрозив пальцем своей единственной дочери.

Сесиль бросилась к матери на шею и, обняв ее, стала ласкаться к ней, что для единственных дочек является верным способом доказать свою правоту.

Сесиль Бовизаж, юная девятнадцатилетняя особа, была в шелковом платье светло-серого цвета, с фестонами из темно-серой тесьмы; оно было сшито в талию; лиф с маленькими пуговками и кантом заканчивался спереди мыском, а сзади зашнуровывался как корсет. Эта имитация корсета изящно обрисовывала ее спину, бедра и бюст. Юбка с тремя рядами оборок ложилась очаровательными складками, и ее элегантный покрой свидетельствовал о высоком мастерстве парижской портнихи. На плечи была накинута хорошенькая кружевная косынка, а на шейке милой наследницы был повязан красивым бантом розовый платочек. Соломенная шляпка с пышной розой, черные ажурные митенки, коричневые башмачки завершали ее наряд; если бы не возбужденно-праздничный вид Сесили, эта изящная фигурка, похожая на картинку из модного журнала, казалось, должна была восхитить ее родителей. К тому же Сесиль была прекрасно сложена — среднего роста, удивительно гибкая и стройная. Ее каштановые волосы были причесаны по моде 1839 года,— две толстые косы, заплетенные у висков, спускались ей на щеки, а сзади были заколоты узлом. В этом свежем, здоровом личике с прелестным овалом было что-то аристократическое, чего Сесиль никак не могла унаследовать ни от отца, ни от матери. Ее светло-карие глаза были совершенно лишены того мягкого, кроткого и чуть ли не грустного выражения, столь свойственного молодым девушкам.

Но все, что было романтического и необычного в ее внешности, бойкая, живая, пышущая здоровьем Сесиль портила какой-то мещанской положительностью и развязностью манер, присущей избалованным детям. Однако супруг, способный перевоспитать ее и уничтожить все следы, которые успела наложить на нее провинциальная жизнь, мог бы сделать из этого сырого материала совершенно очаровательную женщину. Сказать правду, Северина так гордилась своей дочерью, что это чувст-

во возмещало тот ущерб, который она наносила ей своей любовью. У г-жи Бовизаж оказалось достаточно мужества для того, чтобы хорошо воспитать свою дочь. Она приучила себя обращаться с ней с притворной строгостью и таким способом добилась повиновения и подавила те зачатки зла, которые обретались в этой натуре. Мать и дочь никогда не разлучались, и благодаря этому Сесиль сохранила то, что далеко не так часто, как мы думаем, встречается у юных девиц,— чистоту мысли, истинное простосердечие и живую непосредственность чувств.

— Ваш наряд внушает мне подозрения,— заметила г-жа Бовизаж,— может быть, Симон Жиге сказал вам вчера вечером что-то такое, что вы от меня скрыли?

— Ну что ж! — вмешался Филеас,— человек, который вот-вот получит мандат депутата от своих граждан...

— Мамочка, дорогая,— зашептала Сесиль матери на ухо,— он скучный, надоедает... Но ведь, кроме него, для меня никого нет в Арси.

— Ты правильно о нем судишь, но подожди, пока не выскажет своих намерений дедушка,— отвечала г-жа Бовизаж, целуя дочку, чье признание обнаруживало большой здравый смысл, но вместе с тем показывало, что мысль о браке уже успела смутить ее невинный покой.

Дом Гревена на углу маленькой площади за мостом, на правом берегу Обы,— один из самых старинных домов в Арси. Он сбит из теса, и промежуток между его тонкими стенами засыпан щебнем; сверх того он покрыт толстым слоем штукатурки и выкрашен серой краской. Несмотря на весь этот кокетливый грим, он все же напоминает карточный домик.

Сад Гревена разбит по берегу Обы и со стороны обрыва огорожен низкой каменной стеной, на которой стоят горшки с цветами. Все окна дома защищены плотными ставнями, выкрашенными в такой же серый цвет, как и его стены, а простота убранства этого скромного жилища вполне соответствует его непритязательной внешности. Входя в маленький, усыпанный щебнем дворик, вы видите в глубине его зеленую ограду, за которой начинается сад. Прежнее помещение конторы в нижнем этаже теперь превращено в гостиную, окна которой выходят на реку и на площадь. Здесь стоит старинная ме-

бель, обитая совершенно вытертым зеленым утрехтским бархатом. Из прежнего кабинета бывший нотариус сделал столовую. Все здесь свидетельствует о глубокой философической старости, о мирном существовании, которое течет себе изо дня в день, как вода в лесном ручейке, и нередко вызывает зависть разных политических фигляров, разочаровавшихся в блеске и славе общественной жизни и бессмысленных попытках противостоять путям человечества.

В то время как Северина идет через мост, стараясь разглядеть издали, поднялся ли из-за обеденного стола ее отец, нам не мешает поинтересоваться характером, жизнью и взглядами этого старика, которому его дружба с графом Маленом де Гондревилем снискала уважение всего округа

Вот простая и нехитрая история этого нотариуса, бывшего, можно сказать, долгие годы единственным нотариусом в Арси. В 1787 году двое молодых людей из Арси отправились в Париж с рекомендательными письмами к некоему адвокату в совете, по имени Дантон. Прославленный патриот был родом из Арси; здесь еще сохранился его дом и живет кто-то из его семьи. Этим можно было бы объяснить и то влияние, которое оказала революция на этот уголок Шампани. Дантон устроил своих земляков на службу к некоему прокурору в Шатэле, прославившемуся своей тяжбой с графом Мортон-де-Шабрианом из-за ложи на первое представление «Женитьбы Фигаро»; в дело вмешался парламент, который счел себя обиженным в лице своего прокурора, и выступил на его стороне.

Один из этих молодых людей был Мален, другой — Гревен. Оба — единственные сыновья у своих родителей. Отец Малена был владельцем того самого дома, где и поныне живет Гревен. Молодые люди питали друг к другу крепкую привязанность. Мален, юноша изворотливый, хитрый, честолюбивый, обладал даром красноречия. Честный, трудолюбивый Гревен нашел свое призвание в том, чтобы восхищаться Маленом. После того как разразилась революция, они вернулись к себе на родину, один был назначен адвокатом в Труа, другой — нотариусом в Арси. Гревен, смиренный слуга Малена, помог ему сделаться депутатом Конвента, а Мален, в свою

очередь, сделал Гревена главным прокурором Арси. Член Конвента Мален пребывал в полной безвестности вплоть до 9 термидора; он всегда держал сторону сильного, помогая таким образом сокрушить слабого; но Тальен убедил его в необходимости свалить Робеспьера. Вот тут-то, во время этой страшной, парламентской битвы, и отличился Мален — храбрость его оказалась весьма своевременной. С этой минуты начинается политическая роль этого человека, одного из тех героев, чья деятельность протекает незримо. Порвав с партией термидорианцев, он примкнул к партии клуба Клиши и был выбран членом Совета старейшин. Сблизившись с Талейраном и Фуше, он вместе с ними участвовал в заговоре против Бонапарта, а после победы Бонапарта при Маренго стал, подобно им, одним из самых горячих его приверженцев. Выбранный трибуном, Мален одним из первых вошел в Государственный совет, участвовал в составлении Кодекса и одним из первых удостоился звания сенатора, получив при этом титул графа де Гондревиля. Такова политическая сторона его жизни, а вот сторона финансовая.

Гревен в Арсийском округе оказался как нельзя более деятельным и ловким посредником, содействовавшим обогащению графа де Гондревиля. Поместье Гондревиль принадлежало Симезам, старинному аристократическому роду, из которого многие погибли на эшафоте, а оставшиеся в живых наследники — двое молодых людей — служили в армии Конде. Поместье было продано с торгов как национальное имущество и заботами Гревена было приобретено для Малена на имя г-на Мариона. Гревен скупил для своего друга лучшую часть церковных угодий, проданных Республикой в департаменте Об. Мален посылал Гревену необходимые суммы для всех этих сделок, не забывая при этом и своего поверенного. Во времена Директории, когда Мален играл видную роль в советах Республики, все эти покупки были уже переведены на его имя. Гревен стал нотариусом, а Мален — государственным советником. Затем Гревен сделался мэром Арси, а Мален — сенатором и графом де Гондревилем. Мален женился на дочери поставщика-миллионера, а Гревен — на единственной дочке г-на Варле, лучшего доктора в Арси. Граф де Гондревиль имеет

триста тысяч франков годового дохода, у него особняк в Париже и роскошный замок де Гондревиль. Одну из своих дочерей он выдал замуж за видного парижского банкира из дома Келлеров, а другую — за маршала, герцога Карильяно.

У Гревена — пятнадцать тысяч годового дохода и дом, где он мирно доживает свои дни, экономя на всем и делая сбережения. Он управлял делами своего друга, и тот продал ему этот дом за шесть тысяч франков.

Графу де Гондревилю восемьдесят лет, а Гревену — семьдесят шесть. Пэр Франции прогуливается у себя в парке, а бывший нотариус — в садике, принадлежавшем отцу Малена. И тот и другой ходят в толстых суконных сюртуках и копят денежки. Никогда никакая тень не омрачала этой дружбы, которая длится вот уже шестьдесят лет. Нотариус всегда признавал превосходство члена Конвента, государственного советника, сенатора и пэра Франции. Однажды, после Июльской революции, Мален, будучи проездом в Арси, спросил Гревена: «Хочешь получить крест?» — «А на что он мне?» — отвечал Гревен. Ни один из них никогда не отступался от другого, они во всем советовались и всегда поверяли друг другу свои дела,— один безо всякой зависти, другой без малейшего высокомерия или каких-либо обидных претензий. Малену всегда приходилось самому заботиться о Гревене, ибо вся гордость Гревена заключалась в графе де Гондревиле. Гревен был столько же графом де Гондревилем, насколько им был сам граф де Гондревиль.

Но вскоре после Июльской революции Гревен почувствовал, что он стареет, ему стало не под силу управлять графскими делами, да и граф начал замечать, что на нем тоже сказываются годы и пережитые политические бури, и его потянуло к спокойной жизни — и вот оба старика, по-прежнему уверенные друг в друге, но уже не столь нуждавшиеся один в другом, почти что перестали встречаться. Приезжая к себе в поместье или возвращаясь в Париж, граф по пути заглядывал к Гревену, а тот во время пребывания графа в Гондревиле навещал его раза два. Дети их никогда не встречались друг с другом. Ни г-жа Келлер, ни герцогиня Карильяно не имели никаких отношений с мадемуазель Гревен ни до,

ни после ее брака с чулочником Бовизажем. Это пренебрежение, нечаянное или намеренное, очень удивляло Северину.

Гревен, будучи во времена Империи мэром Арси, старался услужить всем, и за те годы, что он пребывал на этом посту, ему удалось уладить и предотвратить множество всяких недоразумений. Его прямота, добродушие, честность завоевали ему уважение и любовь всей округи; к тому же всякий почитал в нем человека, пользовавшегося милостью, доверием и поддержкой графа де Гондревиля. Тем не менее, после того как его деятельность как нотариуса и всякое связанное с ней участие в общественных и в частных делах прекратились, жители Арси за какие-нибудь восемь лет совершенно забыли старика, и все только ждали, что не сегодня-завтра услышат о его смерти. Гревен, следуя примеру своего друга Малена, отошел от жизни, ибо жизнь его стала похожа на растительное существование. Он нигде не показывался, копался у себя в садике, подстригал деревья, следил, как принимаются овощи, как наливаются почки, и по-стариковски примеривался понемножку к состоянию трупа. Жизнь этого старца, перевалившего за семьдесят лет, отличалась строгой размеренностью. Подобно своему другу, полковнику Жиге, Гревен вставал на рассвете, укладывался спать в девятом часу и во всем проявлял умеренность и воздержанность скупца. Вина он пил очень мало, но вино это было отменного качества. Он не употреблял ни кофе, ни ликеров; единственное физическое усилие, которое он позволял себе, была работа по уходу за садом. Одевался он всегда одинаково в любую погоду: смазанные оливковым маслом сапоги на толстой подошве, грубые крестьянские чулки, серые суконные брюки на пряжке без подтяжек, синий жилет из тонкого сукна с костяными пуговицами и серый сюртук из той же материи, что и брюки. На голове он всегда носил круглый маленький картуз из норки и не снимал его даже дома. Летом картуз заменялся бархатной черной ермолкой, а вместо толстого суконного сюртука надевался тонкий, шерстяной, светло-серого цвета. Росту Гревен был пять футов четыре дюйма и отличался дородностью здорового, крепкого старика; это делало его походку несколько грузной, а у него и без того была привычка хо-

дить медленно, присущая всем людям, которые ведут сидячий образ жизни.

С раннего утра он тщательно одевался и приводил себя в порядок; брился он сам, затем выходил в сад поглядеть, какая сегодня погода, шел взглянуть на барометр и сам открывал ставни своей гостиной. Затем он брался за лопату, перекапывал грядку, обирал гусениц или полол сорняки, и так у него всегда находилось какое-нибудь дело до завтрака. После завтрака он сидел часов до двух, не вставая с места, переваривая пищу, и думал о чем-нибудь, что придет в голову. Почти каждый день от двух до пяти его навещала внучка; иногда ее приводила служанка, иногда она приходила с матерью. Бывали дни, когда этот точно заведенный порядок жизни нарушался: старик принимал арендную плату и плату натурой; все взносы натурой тут же немедленно продавались. Но эти маленькие треволнения случались только в рыночные дни, раз в месяц. Что он делал с деньгами, этого не знал никто, даже Северина и Сесиль. На этот счет Гревен словно связал себя обетом молчания. Однако все чувства старика к концу жизни сосредоточились исключительно на его дочери и внучке. Их он любил больше, чем свои деньги.

Этот чистенький семидесятилетний старичок с круглой физиономией, высоким облысевшим лбом, голубыми глазами и седой головой отличался удивительной цельностью натуры, что удается сохранить людям, которым никто и ничто в жизни не становилось поперек дороги. Единственный его недостаток, таившийся очень глубоко — Гревену никогда не представлялось случая его обнаружить,— было страшное злопамятство, обидчивость, которую Мален никогда не задевал. Если Гревен оказывал услуги графу де Гондревилю, у него никогда не было повода упрекнуть Малена в неблагодарности; Мален ни разу не обидел, не оскорбил своего друга, которого он знал в совершенстве. Они и теперь говорили друг другу «ты», как в юности, и так же горячо трясли друг другу руки при встрече. Ни разу сенатор не дал почувствовать Гревену разницу в их положении, он всегда старался предупредить желания своего друга детства и не упускал случая предложить ему все, хорошо зная, что тот удовольствуется немногим. Гревен, люби-

тель классическои литературы, поклонник чистоты стиля, отличный администратор, обладал серьезными и глубокими познаниями в законоведении; он много потрудился для Малена в этой области: и именно его работа и положила начало славе графа де Гондревиля в Государственном совете как составителя Кодекса. Северина была очень привязана к отцу. Она сама с дочкой чинила его белье; они вместе вязали ему чулки на зиму, заботились обо всех его нуждах, не упуская из виду ни одной мелочи, и Гревен знал, что их чувства к нему лишены всякой корысти: потеряв его, они не утешились бы и миллионным наследством. Старики очень чувствительны к бескорыстной ласке. Каждый день, уходя от отца, г-жа Бовизаж и Сесиль заботились о его обеде на завтра и всегда посылали ему самые ранние фрукты и овощи.

Госпоже Бовизаж всегда очень хотелось, чтобы отец ввел ее в замок Гондревиль и помог ей подружиться с графскими дочками, но мудрый старик много раз объяснял дочери, как трудно было бы ей, жене чулочника из Арси, поддерживать сколько-нибудь прочные отношения с герцогиней Карильяно, которая жила в Париже и только изредка появлялась в Гондревиле, или с блестящей г-жой Келлер.

— Твоя жизнь прожита,— говорил Гревен дочери,— теперь у тебя одна радость — Сесиль, и она, конечно, будет достаточно богата, чтобы предоставить тебе, когда ты прикроешь дело, другие условия, блестящую светскую жизнь, на которую ты имеешь право. Подыщи в зятья человека со средствами, честолюбивого, и тогда ты сможешь уехать в Париж, оставив здесь дурачка Бовизажа. Если я доживу до того, что моя внучка выйдет замуж, я поведу ваш корабль в плавание, минуя подводные камни политических дрязг, как когда-то вел корабль Малена, и вы займете положение не хуже того, какое занимают Келлеры.

В этих скупых словах, которые старый нотариус обронил как-то давно, еще до революции 1830 года, спустя год после того как он удалился на покой в этот домик, мы находим объяснение его растительного существования. Гревен хотел жить, он хотел добиться блестящего положения в обществе для своей дочери, внучки и будущих правнуков. Честолюбие старика простиралось вплоть

до третьего поколения. В то время, к которому относятся эти слова, он мечтал выдать Сесиль замуж за Шарля Келлера, и вот теперь он оплакивал свои разрушенные надежды и не знал, что ему предпринять. Не имея никаких связей в парижском свете и не видя в департаменте Об ни одного подходящего жениха для Сесили, кроме молодого маркиза де Сен-Синя, он сомневался, удастся ли ему с помощью золота преодолеть те препятствия, которые Июльская революция воздвигла между убежденными роялистами и их победителями... Счастье его внучки, которой пришлось бы зависеть от гордой маркизы де Сен-Синь, казалось ему до такой степени сомнительным, что он решился положиться в этом деле на друга стариков — на Время. Он надеялся, что его главный враг, маркиза де Сен-Синь, умрет, а тогда, может быть, ему удастся соблазнить ее сына при помощи деда маркиза, старика д'Отсэра, который жил в то время в Сен-Сине и, как полагал Гревен, мог по своей скупости оценить преимущества этого выгодного предложения. Когда течение событий приведет к развязке драмы в замке Сен-Синь, мы объясним, каким образом дед маркиза носил другое имя, чем его внук.

Гревен рассчитывал, что в крайнем случае, когда Сесили исполнится двадцать два года, он обратится за советом к своему другу, де Гондревилю, и тот выберет ему в Париже среди герцогов империи подходящего мужа для внучки, такого, который пришелся бы ему по вкусу и отвечал бы его честолюбивым замыслам.

Северина застала отца в саду, он сидел на скамье под цветущим кустом сирени и пил кофе, так как было уже половина шестого. По его огорченному лицу она сразу увидела, что ему уже все известно. Действительно, старый пэр Франции только что прислал к нему слугу с просьбой навестить его. До сих пор старик Гревен избегал поощрять честолюбие дочери, но сейчас, поглощенный горьким раздумьем и одолеваемый самыми противоречивыми мыслями, он нечаянно проговорился и выдал свой секрет.

— Дитя мое,— сказал он,— у меня были самые широкие и блестящие планы относительно твоего будущего. И вот теперь с этой смертью все рухнуло. Сесиль была бы графиней Келлер, потому что Шарль благодаря

моим стараниям прошел бы в депутаты от Арси и в будущем унаследовал бы от своего отца звание пэра. Ни Гондревиль, ни его дочь, госпожа Келлер, не отказались бы от шестидесяти тысяч франков ренты, составляющих приданое Сесили, тем более что в перспективе имеется еще сто тысяч, которые вы когда-нибудь да получите. Ты жила бы с дочерью в Париже и как теща Шарля пользовалась бы всеобщим уважением в большом свете. (У г-жи Бовизаж вырвался восхищенный жест.) Но на нас обрушился удар судьбы, смерть скосила этого прекрасного юношу, сумевшего уже снискать дружбу принца из царствующего дома... А вот теперь этот Симон Жиге пытается вылезти на политическую арену, а ведь он же дурак, да еще опасный дурак, ибо воображает себя орлом... Вы слишком тесно связаны с Жиге и с домом Марионов, и потому надо соблюсти все приличия и постараться найти самую учтивую форму отказа,— но отказать надо...

— Мы, как всегда, сходимся с вами во мнениях, папа.

— Так вот, из-за всего этого мне надо повидаться со стариком Маленом прежде всего, чтобы его утешить, а потом и посоветоваться. Ведь и ты и Сесиль чувствовали бы себя несчастными в старинной родовитой семье из Сен-Жерменского предместья; вам всеми способами старались бы дать почувствовать ваше происхождение; надо нам поискать какого-нибудь разорившегося герцога, из тех, что выскочили при Бонапарте, и тогда мы заполучили бы для Сесили завидный титул, дав ей приличное приданое с раздельным от мужа владением имущества. Ты можешь говорить всем, что я уже обещал руку Сесили; таким образом мы избавимся от всяких дурацких предложений и претендентов вроде Антонена Гулара. Разумеется, молодой Вине тоже метит в женихи, и, пожалуй, он получше всех прочих, что будут зариться на ее приданое: он способный, проныра и родня Шаржбефам по матери, но уж очень характер у него крут... наверняка будет командовать женой, и молод еще, может влюбить ее в себя; и вот тогда ты и не выдержишь, ведь я тебя наизусть знаю.

— Мне сегодня будет очень неловко у Марионов,— сказала Северина.

— А ты, дочка, пришли госпожу Марион ко мне,— отвечал Гревен,— я сам с ней поговорю.

— Я знала, отец, что вы заботитесь о нашем будущем, но я никак не ожидала, что оно сулит нам такие блестящие перспективы,— сказала г-жа Бовизаж, поднося к губам руки отца.

— Я так тщательно все это обдумал,— отвечал Гревен,— что в тысяча восемьсот тридцать первом году купил особняк Босеан.

Госпожа Бовизаж чуть не подскочила от удивления при таком неожиданном открытии, ибо до сих пор отец держал это в строжайшем секрете, но она не сказала ни слова, не решаясь прервать его.

— Это будет мой свадебный подарок,— продолжал Гревен.— В тысяча восемьсот тридцать втором году я сдал его на семь лет каким-то англичанам за двадцать четыре тысячи франков в год; я обделал недурное дельце, потому что он обошелся мне всего в триста двадцать пять тысяч франков, и я таким образом вернул около двухсот тысяч. Срок найма кончается в нынешнем году, пятнадцатого июля.

Северина расцеловала отца в обе щеки и в лоб. Этот секрет, в который он ее посвятил, открывал перед ней такие великолепные перспективы, что у нее даже голова закружилась. «Я посоветую отцу оговорить в завещании,— рассуждала она сама с собой, идя по мосту,— что внукам переходит только право владения на этот особняк, а право пользования остается за мной; я не хочу, чтобы моя дочь и зять выгнали меня когда-нибудь из дому: пусть живут у меня».

За десертом, когда прислуга отправилась к себе в кухню обедать и г-жа Бовизаж могла быть совершенно уверена, что никто ее не подслушивает, она сочла необходимым сделать Сесили маленькое наставление.

— Дочь моя,— сказала она,— вы должны вести себя сегодня вечером, как подобает хорошо воспитанной девице. И вообще, начиная с этого дня, старайтесь держаться более положительно, не болтайте пустяков, не прогуливайтесь наедине ни с господином Жите, ни с господином Оливье Вине, ни с супрефектом, ни с господином Мартене — словом, ни с кем, даже с Ахиллом Пигу. Вы не выйдете замуж ни за кого из здешних молодых

людей, ни из Арси, ни из нашего департамента. Вам суждено блистать в Париже. Поэтому вы теперь каждый день должны одеваться как можно изящней, чтобы приучиться быть элегантной. Мы постараемся переманить к себе горничную от молодой герцогини де Мофриньез и тогда узнаем, где шьют себе наряды княгиня Кадиньян и маркиза де Сен-Синь. Я хочу, чтобы в вас не осталось ничего провинциального, ни малейших следов. Вы будете по три часа в день заниматься игрой на рояле, я приглашу господина Моиза из Труа, он будет приходить каждый день, пока мне не удастся выписать учителя из Парижа. Вы должны совершенствовать все ваши таланты, потому что вам уже недолго оставаться в девицах, самое большее год. Так вот, я вас предупредила, и посмотрим, как вы будете вести себя сегодня вечером. Вы должны держать Симона на расстоянии и не забавляться им.

— Можете быть совершенно спокойны, мама. Я сегодня же примусь обожать *незнакомца*.

Это слово, вызвавшее улыбку на губах г-жи Бовизаж, требует объяснения.

— Я его еще и не видал,— сказал Филеас,— а все только о нем и говорят. Когда мне понадобится узнать, что это за птица, я пошлю к нему кого-нибудь из полиции либо господина Гролье, чтобы они проверили его паспорт.

Нет во всей Франции такого городка, в котором рано или поздно не разыгралась бы какая-нибудь комедия или драма с участием *незнакомца*. Очень часто *незнакомец* оказывается авантюристом, который одурачивает людей, а затем исчезает, похитив репутацию женщины или состояние какой-нибудь семьи. Еще чаще *незнакомец* — это действительно никому неведомое лицо, и его жизнь долгое время окружена такой тайной, что весь городок начинает интересоваться каждым его шагом. Так вот, надо сказать, что вероятное возвышение Симона Жиге было не единственным важным событием в городе. Вот уж два дня, как внимание жителей Арси было приковано к некоей персоне, появившейся три дня тому назад и оказавшейся *первым незнакомцем* за много лет. Этот *таинственный незнакомец* обсуждался теперь на тысячу ладов и служил неистощимой темой для разго-

воров в каждом доме. Точь-в-точь как тот чурбан, который упал с неба в лягушачье царство.

Местоположение городка Арси-сюр-Об вполне объясняет то впечатление, которое неизменно производит здесь всякое новое лицо. Не доезжая шести лье до Труа по большому Парижскому тракту, как раз напротив фермы «Ясная Звезда», начинается казенная шоссейная дорога, которая ведет в город Арси, через гладкую равнинную местность, где бежит Сена, образуя узкую зеленую долину, окаймленную тополями и резко выделяющуюся среди белой меловой почвы Шампани. Дорога, соединяющая Арси с Труа, тянется всего на шесть лье и образует хорду дуги, на концах которой находятся Арси и Труа; так что самый короткий путь из Парижа в Арси это и есть та самая шоссейная дорога, которая начинается от фермы «Ясная Звезда». Об, как мы уже говорили, судоходна только ниже Арси и дальше до своего устья. Таким образом, этот городок, расположенный в шести лье от большого тракта и отделенный от Труа голыми равнинами, лежит среди пустынной местности, где нет ни торговли и никаких путей сообщения, ни по воде, ни по суше. В самом деле, взять хотя бы Сезанн, что находится всего в нескольких лье от Арси на той стороне реки Об,— через него проходит большая дорога, и по ней можно сэкономить ровно восемь перегонов по сравнению со старинной дорогой, ведущей через Труа в Германию. Но Арси отовсюду отрезан, через него нет никакой езды, и он сообщается с Труа и с почтовой станцией в «Ясной Звезде» только посредством нарочных. Все обитатели городка знают друг друга в лицо, знают даже всех коммивояжеров, наезжающих сюда по торговым делам разных парижских фирм, и, как во всех таких захолустных провинциальных городках, всякий приезжий, естественно, вызывает толки по всей округе и разжигает воображение жителей, в особенности если он пробудет в городе больше двух суток и никому не известно, как его зовут и зачем он сюда явился.

Так вот, поскольку за три дня до того рокового утра, когда волею сочинителя стольких историй началась и эта и городок Арси еще пребывал в полном спокойствии, все видели, как по дороге от «Ясной Звезды» подъехал какой-то неизвестный в красивом тильбюри, запряжен-

ном породистой лошадью, и в сопровождении крошечного грума ростом с кулачок. Нарочный, через которого поддерживается связь между Арси и конторой почтовых дилижансов в Труа, доставил из «Ясной Звезды» три сундука, отправленные из Парижа без адреса и принадлежащие незнакомцу, который остановился в «Муле».

Вечером в Арси все уже решили, что этот неизвестный приехал с намерением купить в Арси участок, и во многих семействах уже начали поговаривать о нем, как о будущем богатом помещике, владельце замка. Его экипаж, сам он, его лошади, его слуга — все указывало на то, что этот человек пожаловал сюда из самых что ни на есть высших сфер. Незнакомец, разумеется, устал с дороги и не появлялся; а может быть, ему требовалось некоторое время на то, чтобы устроиться по своему вкусу в комнатах, которые он себе выбрал, предполагая, видимо, пожить здесь некоторое время. Он настоял, чтобы ему показали, какое место в конюшне отведут его лошадям, и проявил при этом крайнюю требовательность, распорядившись поставить своих лошадей отдельно от хозяйских и от всех других, которые будут стоять на конюшне. Судя по всем эти претензиям, хозяин гостиницы «Мул» решил, что приезжий, должно быть, англичанин. В первый же вечер кое-кто из любопытных сунулся было в «Мул» в надежде что-нибудь выведать. Но никому так и не удалось ничего добиться от маленького грума, который не желал вести никаких разговоров о своем хозяине, причем вовсе не отделывался молчанием или говорил «да» и «нет», а отвечал на все расспросы таким ехидным зубоскальством и такими шуточками, которые отнюдь не подобали его возрасту и свидетельствовали о глубокой испорченности.

Незнакомец, совершив тщательнейшим образом свой туалет и пообедав, часов около шести отправился верхом в сопровождении своего *тигра* по дороге в Бриенн, а вернулся уже совсем поздно.

Хозяин, его жена и служанки, обследовав сундуки и вещи незнакомца, не нашли в них ровно ничего, что могло бы удовлетворить их любопытство относительно имени, звания, положения или намерений таинственного постояльца. Все это произвело необычайный эффект. Высказывались тысячи всяких соображений и догадок

такого невероятного свойства, что дело, казалось, явно требовало вмешательства самого прокурора.

Когда незнакомец вернулся, к нему постучалась хозяйка гостиницы, чтобы вручить ему книгу для приезжих, в которую, согласно распоряжениям полиции, каждому вновь прибывшему полагалось вписать свое имя, звание, цель прибытия в город и место, куда он намеревается отбыть.

— Ничего я не буду писать,— сказал он хозяйке.— Если вас станут беспокоить по этому поводу, скажите, что я отказался, и пришлите супрефекта ко мне, потому что у меня нет никакого паспорта. К вам, разумеется, будут приставать с разными расспросами на мой счет,— продолжал он,— но вы, сударыня, можете отвечать на них как вам угодно; мне угодно, чтобы вы ничего не знали обо мне, даже если вам что-нибудь и удастся выведать помимо меня. Если же вы будете меня беспокоить, я перееду в «Почтовую гостиницу» на площадь дю-Пон; и заметьте, что я рассчитываю пробыть здесь по крайней мере недели две... Мне это было бы крайне неприятно, потому что я знаю, ведь вы сестра Готара, одного из главных участников процесса Симезов.

— Слушаю, сударь,— отвечала ему сестра Готара, управляющего из замка Сен-Синь.

После того как он обронил это замечание, незнакомцу не стоило ни малейшего труда задержать хозяйку и, потратив примерно часа два, выспросить у нее все, что она знала об Арси, о доходах здешних жителей, о том, кто чем занимается, и обо всех чиновниках. На другой день он снова ускакал верхом в сопровождении своего *тигра* и вернулся уже за полночь.

Таким образом, становится понятной шутливая фраза Сесили, которая г-же Бовизаж показалась лишенной смысла. Выслушав с удивлением новое расписание дня, объявленное Севериной, Бовизаж и Сесиль остались очень довольны. Покуда его жена переодевалась, чтобы идти к г-же Марион, отец сидел с дочкой, и та делилась с ним разными предположениями, которые так естественно возникают у молодых девушек в подобных случаях. Затем, как только жена с дочерью ушли, Филеас, утомившись за день, тотчас же улегся спать.

Всякий, кто знает Францию или Шампань,— что вов-

се не одно и то же,— или, вернее, всякии, кто знает захолустные городки, может догадаться, что у г-жи Марион в этот вечер собралась масса народу. Успех сына Жиге рассматривался как решительная победа над графом де Гондревилем, и независимость Арси в проведении выборов казалась теперь прочно и навсегда обеспеченной. Известие о кончине бедного Шарля Келлера было воспринято как перст божий и заставило притихнуть всех конкурентов. Антонен Гулар, Фредерик Маре, Оливье Вине, г-н Мартене — словом, все представители власти, посещавшие до сих пор этот салон, который, казалось, никак нельзя было заподозрить в несогласии с правительством, избранным волею народа в июле 1830 года, пришли, как всегда, но снедаемые страстным любопытством,— им не терпелось посмотреть, как отнесется ко всему этому семейство Бовизажей.

В гостиной, где все было приведено в порядок, не наблюдалось ни малейших следов того собрания, которое, казалось, решило судьбу молодого Симона. В восемь часов на четырех ломберных столах — за каждым партия по четыре игрока — уже шла игра. В маленькой гостиной и в столовой было полным-полно народу. Никогда еще, если не считать бальных вечеров или каких-нибудь торжественных празднеств, г-же Марион не приходилось видеть в дверях своей гостиной такой огромной толпы, которая, вытягиваясь, подобно хвосту кометы, медленно вливалась в столовую.

— Смотрите, вот заря успеха,— сказал Оливье, показывая ей на это пышное зрелище, столь отрадное для хозяйки дома, которая любит устраивать приемы.

— Кто знает, Симон может далеко пойти...— отвечала г-жа Марион.— Мы живем в такое время, когда люди настойчивые и осмотрительные могут добиться всего...

Эти слова предназначались не столько для Вине, сколько для г-жи Бовизаж, которая как раз в эту минуту появилась с дочкой и подошла поздравить свою приятельницу.

Чтобы уклониться от всяких окольных выспрашиваний и не слышать никаких замечаний, сделанных в сторону, мать Сесили направилась к ломберному столу и села играть в вист с твердым намерением выиграть сто фи-

шек. Сто фишек — это пятьдесят су! Когда кому-нибудь из игроков случится проиграть такую сумму, в Арси об этом идут разговоры целых два дня.

Сесиль принялась оживленно болтать с мадемуазель Молло, одной из своих близких подруг, к которой она, казалось, воспылала необыкновенной нежностью. Мадемуазель Молло считалась самой красивой девушкой в Арси, так же как Сесиль считалась самой богатой наследницей.

Господин Молло, секретарь суда города Арси, жил на главной площади, и дом его был расположен примерно так же, как дом Бовизажей на площади дю-Пон. Г-жа Молло, имевшая обыкновение сидеть целыми днями у окна своей гостиной, в нижнем этаже, была подвержена в результате такого сидения острым приступам нестерпимого любопытства, которое со временем перешло у нее в хронический, неизлечимый недуг. Г-жа Молло предавалась подглядыванию с такой же страстью, с какой нервическая дама рассказывает из кокетства о своих воображаемых болезнях. Стоило только какому-нибудь крестьянину подъехать к площади по дороге, ведущей из Бриенна, как она, уже не отрываясь, следила за всеми его движениями, стараясь угадать, зачем это он приехал в Арси? И она не успокаивалась до тех пор, пока ей не удавалось разузнать про этого крестьянина все, что только можно было узнать. Жизнь ее проходила в том, что она разбирала по косточкам все, что бы ни случилось в Арси, каждое происшествие в каждом доме и каждого человека в отдельности. Эта высокая, сухопарая особа, дочь судьи из Труа, принесла в приданое г-ну Молло, бывшему в то время старшим клерком у Гревена, довольно солидное приданое, позволившее ему купить себе должность секретаря суда. Известно, что секретарь окружного суда приравнивается к судье, подобно тому как в королевском суде главный секретарь суда приравнивается к советнику. Своим положением г-н Молло был всецело обязан графу де Гондревилю, которому достаточно было замолвить словечко в министерстве юстиции, чтобы уладить дело старшего клерка Гревена. Все мечты семейства Молло, отца, матери и дочери, сходились на том, чтобы Эрнестина Молло, единственная дочка, вышла замуж за Антонена Гулара. А потому отказ,

которым ответили Бовизажи на поползновение супрефекта, еще прочнее скрепил дружеские узы, связывающие семейство Молло с семьей Бовизажей.

— Посмотри, как ему не терпится! — сказала Эрнестина Сесили, показывая на Симона Жиге.— Ему хочется поболтать с нами, но всякий, кто ни приходит, считает своим долгом поздравить его и вступить с ним в разговор. По-моему, я уже раз пятьдесят слышу, как он отвечает: «Я полагаю, что пожелания моих сограждан обращены не столько ко мне, сколько к моему отцу, но во всяком случае вы можете быть уверены,— я буду отстаивать не только наши общие интересы, но и ваши собственные...» Смотри, я уже могу угадать эти слова по движению его губ,— и при этом он каждый раз смотрит на тебя взглядом мученика...

— Эрнестина,— сказала Сесиль,— не отходи от меня сегодня весь вечер, я не хочу выслушивать его объяснений в любви, приправленных всякими туманными фразочками, которые начинаются с «увы» и перемежаются вздохами.

— Так ты, значит, не хочешь быть женой министра юстиции?

— Ах, вот как! А выше они еще не забрались? — расхохоталась Сесиль.

— Нет, право же, уверяю тебя,— продолжала Эрнестина,— вот только что перед твоим приходом господин Миле, регистратор, с восторгом заявил, что не пройдет и трех лет, как Симон станет министром юстиции.

— Уж не по протекции ли графа де Гондревиля? — спросил супрефект, который подошел к молодым девушкам, угадав, что они подшучивают над его другом Жиге.

— Ах, господин Антонен,— сказала красотка Эрнестина,— а ведь вы обещали маме узнать, кто этот прекрасный незнакомец. Что же вы нам можете сообщить нового?

— События сегодняшнего дня, мадемуазель, гораздо более значительны,— усаживаясь рядом с Сесилью, отвечал Антонен, который, подобно дипломату, обрадовался случаю ускользнуть от общего внимания, занявшись болтовней с молоденькими девушками.— Вся моя бу-

дущность на поприще супрефекта или префекта поставлена на карту...

— Как? Разве вы не выбираете вместе со всеми вашего друга Симона?

— Симон мой друг, но хозяин, которому я служу,— это наше правительство. И я собираюсь сделать все, что только в моих силах, чтобы помешать пройти Симону. А вот и госпожа Молло, я надеюсь, что она не откажется поддержать меня как супруга человека, которому его долг службы повелевает хранить верность правительству.

— Мы очень рады, что у нас с вами одинаковые взгляды,— отвечала супруга секретаря суда.— Молло рассказывал мне, что́ здесь творилось нынче утром,— продолжала она, понизив голос.— Какой стыд! Один только человек и показал себя даровитым и выступал дельно — Ахилл Пигу; все говорят, что это будет выдающийся оратор, который еще прославится в палате. И хотя у него нет ни гроша за душой, а наша дочь — это наше единственное дитя и у нее шестьдесят тысяч франков приданого, уж не говоря о том, что и после нас ей кое-что достанется, и она еще получит наследство от дядюшки Молло, мельника, и от моей тетушки из Труа, госпожи Ламбер; так вот я прямо вам скажу,— если бы господин Пигу сделал нам честь и попросил ее руки, я бы не отказала ему, ну, конечно, если бы он нравился моей дочери; но наша дурочка хочет выйти замуж только за того, кто ей будет по душе. И это все мадемуазель Бовизаж забивает ей голову такими фантазиями...— Супрефект выдержал эту двойную атаку, как подобает человеку с тридцатью тысячами франков дохода и с префектурой впереди.

— Мадемуазель права,— заметил он, поглядывая на Сесиль.— Но она достаточно богата и может позволить себе брак по любви...

— Не надо говорить о браках,—сказала Эрнестина,— вы огорчаете мою дорогую, мою бедненькую милочку Сесиль, она только сейчас призналась мне, ей так хочется, чтобы на ней женились не из-за денег, а ради нее самой, она мечтает встретиться с каким-нибудь незнакомцем, который ничего не знал бы ни об Арси, ни о наследствах, ни о том, что она будущая леди Крез, и чтобы

у них завязался роман, конечно, с счастливой развязкой... чтобы он ее полюбил и женился на ней ради нее самой...

— Прелестно придумано! Я всегда знал, что у мадемуазель Сесили ума не меньше, чем денег! — воскликнул Оливье Вине, подсаживаясь к группе молодых девиц, высмеивающих почитателей Симона Жиге — сегодняшнего кумира.

— Вы видите, господин Гулар,— сказала, улыбаясь Сесиль,— вот мы и опять незаметно вернулись к нашему разговору о незнакомце.

— Его-то она и выбрала в герои романа, который я вам только что рассказала,— добавила Эрнестина.

— Ка-ак? — воскликнула г-жа Молло.— Пятидесятилетнего мужчину! Фу, на что это похоже!

— Откуда вы знаете, что ему пятьдесят лет? — спросил, усмехаясь, Оливье Вине.

— Сказать вам правду,— призналась г-жа Молло,— меня нынче утром до того разобрало любопытство, что я вооружилась лорнеткой...

— Браво! — воскликнул окружной инженер, который мечтал заполучить дочку и потому ухаживал за матерью.

— И тогда я увидела, как он собственноручно бреется,— продолжала г-жа Молло,— а бритва у него просто игрушка: вся отделана золотом или, может быть, позолоченным серебром...

— Золотом, золотом!—подхватил Вине.—То, чего не знаешь, всегда надо воображать как можно прекраснее! Вот я, например, в глаза не видал этого господина, но я совершенно убежден, что это какой-нибудь сказочный принц!

Все засмеялись. Этот маленький кружок, в котором так веселились, вызвал зависть пожилых матрон и привлек внимание кучки мужчин в черных фраках, столпившихся вокруг Симона Жиге. Что же до самого адвоката, он был в отчаянии, что ему никак не удается подойти к Сесили и сложить свой успех и свое будущее к ногам богатой наследницы.

«Ах, отец! — воскликнул про себя помощник прокурора, видя, что слова его поняты превратно.— В каком суде заставляешь ты меня выступать?» — Сказочные принцы, сударыни, бывают не только в сказке,— это

может быть какой-нибудь прекрасный незнакомец, который поражает всех своей аристократической внешностью, осанкой и окружающей его роскошью,— словом, то, что называется светский лев, денди, «желтые перчатки».

— У него, господин Оливье, прелестнейший тильбюри в мире! — сказала Эрнестина.

— Как? Антонен, что же ты мне не сказал, что у него свой тильбюри, когда мы с тобой говорили утром об этом заговорщике? Ведь тильбюри — это смягчающее обстоятельство,— значит, он уж наверняка не республиканец.

— Сударыни,— заявил Антонен Гулар, обращаясь к молодым девушкам,— чтобы доставить вам удовольствие, я готов на все. Мы сейчас выясним, граф это или нет, и вы тогда сможете продолжать вашу сказку о незнакомце.

— И, может быть, из нее даже выйдет какая-нибудь история,— заметил окружной инженер.

— В которой придется разбираться супрефекту,— прибавил Оливье Вине.

— А каким же способом вы это узнаете? — спросила г-жа Молло.

— А вы попробуйте спросить у мадемуазель Бовизаж, кого бы она взяла себе в мужья, если бы ей пришлось выбирать только из присутствующих,— она вам ни за что не ответит,— возразил супрефект,— так вот, люди, облеченные властью, тоже иной раз не прочь пококетничать. Будьте покойны, сударыня, через каких-нибудь десять минут вам будет известно в точности — граф ваш незнакомец или просто коммивояжер.

Антонен Гулар отошел от группы девиц, где, кроме мадемуазель Бертон, дочери сборщика налогов, бесцветной молодой особы, вечно жавшейся к Сесили и Эрнестине и состоявшей при них в качестве немой фигуры, была еще мадемуазель Эрбело, дочь младшего нотариуса в Арси, тощая, сухая старая дева лет тридцати, одетая, как полагается старой деве: на ней было платье из зеленого алепина, а поверх него вышитая косынка, завязанная крест-накрест на талии, что было весьма модно во времена террора.

— Жюльен! — сказал супрефект в передней своему

лакею,— ты полгода служил у Гондревилей, знаешь ты, как выглядит на гербе графская корона?

— У нее девять зубцов, унизанных жемчугом.

— Так вот, сбегай-ка поскорей в «Мул» и постарайся разглядеть тильбюри господина, который у них остановился. А потом возвращайся и расскажи, что там на нем изображено. Да постарайся разузнать все, что можно, послушай, что говорят о приезжем. А если увидишь его слугу, спроси, в котором часу господин граф может принять завтра супрефекта,— это, конечно, в том случае, если действительно окажется корона с девятью зубцами и жемчугом. Не пей, не болтай лишнего, а когда вернешься, выгляни в дверь гостиной, чтобы я тебя увидал.

— Слушаю, господин супрефект.

Гостиница «Мул», как мы уже говорили, стоит на площади, а прямо напротив, через дорогу, которая ведет на Бриенн, выходит углом садовая ограда дома г-жи Марион, так что на разрешение загадки требовалось немного времени. Антонен Гулар вернулся в гостиную и снова уселся около мадемуазель Бовизаж.

— Мы вчера столько говорили здесь об этом незнакомце,— рассказывала г-жа Молло,— что он мне сегодня всю ночь снился...

— Вот как! — заметил Вине.— Вам все еще снятся незнакомцы, сударыня!

— Вы грубиян! Да стоит мне только захотеть, вы думаете, я не заставила бы вас видеть меня во сне,— возразила она.— Так вот, сегодня утром, когда я вставала...

Считаем не лишним заметить, что г-жа Молло слывет в Арси весьма остроумной женщиной,— это значит, что она за словом в карман не лезет и даже злоупотребляет своим красноречием. Парижанину, попавшему в эти края, подобно нашему незнакомцу, она, вероятно, показалась бы просто несносной болтуньей.

— Я, разумеется, как всегда, встаю и занимаюсь своим туалетом, а сама машинально гляжу прямо перед собой...

— В окошко! — подсказал Антонен Гулар.

— Ну, конечно, окно моей туалетной комнаты выходит на площадь. Вам, должно быть, известно, что Пупар

поместил незнакомца в одну из тех комнат, у которых окна смотрят прямо в мои.

— В одну из комнат, мама? — возмутилась Эрнестина.— Да, граф занимает три комнаты! В одной поместился его маленький слуга, который ходит весь в черном, вторая у него что-то вроде гостиной, а третья служит спальней.

— Он что же, занял половину всех комнат в «Муле»? — спросила мадемуазель Эрбело.

— Ну какое это имеет отношение к его особе! — раздраженно ответила г-жа Молло, недовольная тем, что ее перебивают девицы.— Речь идет о нем самом.

— Не прерывайте оратора,— сказал Оливье Вине.

— И вот, когда я нагнулась...

— Сидя! — ввернул Антонен Гулар.

— Мадам находилась в том положении, в каком ей надлежало находиться,— заметил Оливье Вине.— Она совершала свой туалет и поглядывала на «Мула».— В провинции подобные шутки в ходу, потому что здесь так давно все сказано и пересказано, что не грех иной раз и посмеяться над какой-нибудь чепухой, как смеялись когда-то наши родители, пока в страну не проникло английское ханжество — товар, против которого бессильны таможенные заставы.

— Не прерывайте оратора! — сказала мадемуазель Бовизаж, улыбаясь и переглядываясь с Вине.

— Взгляд мой нечаянно упал на окно той самой комнаты, где накануне ночевал незнакомец... В котором часу он лег, этого я уж не могу сказать, хотя сама я заснула уже долго спустя после полуночи... Я, на свое несчастье, состою в супружестве с человеком, который так громко храпит, что пол ходуном ходит и стены дрожат... Хорошо, если я засну первая, ну тогда у меня такой крепкий сон, что я ничего не слышу, но если Молло захрапит первый, для меня вся ночь пропала!

— А разве вам не случается иной раз всхрапнуть дуэтом? — спросил Ахилл Пигу, подсаживась к этой веселой компании.

— Замолчите вы, негодник! — кокетливо отмахнулась от него г-жа Молло.

—Ты понимаешь? — шепнула Сесиль на ухо Эрнестине.

— Во всяком случае в час ночи его еще не было! — продолжала г-жа Молло.

— Значит, он вас провел!—воскликнул Ахилл Пигу.—Ухитрился вернуться так, что вы не заметили! Вот ловкач! Как бы он нас всех не зажал в кулак да не сунул за пазуху, чтобы потом продать по рыночным ценам.

— Кому же это? — спросил Вине.

— Ну, какой-нибудь афере, выдумке или какой-нибудь системе,— отвечал нотариус, перехватив многозначительную улыбку помощника прокурора.

—Так вот, представьте себе мое удивление,— продолжала г-жа Молло,— когда я вдруг увидела необыкновенно роскошную материю, такой изумительной красоты и блеска... что я тут же подумала: должно быть, это у него халат из той узорчатой материи, какую мы видели на Выставке промышленных изделий. Ну, тут уж я бросилась за своей лорнеткой, чтобы как следует разглядеть... и — боже мой! — что же я вижу! Поверх этого самого халата, на том месте, где у него должна быть голова, я вижу что-то огромное, гладкое, похожее на коленку! Нет, я даже вам не могу передать, какое меня разобрало любопытство!

— Представляю себе,— заметил Антонен.

— Нет, вы не представляете себе,— возразила г-жа Молло,— потому что эта самая коленка...

— Ах, понял! — воскликнул Оливье Вине, покатываясь со смеху.— Незнакомец тоже совершал свой туалет, и вы увидели обе его коленки.

— Да нет же! — воскликнула г-жа Молло.— Вы заставляете меня говорить бог знает что! Незнакомец стоял выпрямившись во весь рост и держал губку над громадным тазом, и с вашей стороны просто гадко так шутить, господин Оливье, потому что, если бы это было то, что вы думаете, я бы сразу узнала!

— Как узнали, сударыня,— вы же себя компрометируете! — сказал Антонен Гулар.

— Ах, дайте же мне договорить! — вскричала г-жа Молло.— Это была его голова! Он мыл голову, и она у него совершенно лысая, без единого волоска.

— Какая неосмотрительность!—заметил Антонен Гулар.— Но тогда, значит, он приехал сюда не за тем,

чтобы жениться. У нас, чтобы жениться, обязательно надо иметь волосы. На них у нас большой спрос.

— Так вот и выходит, я права, когда говорю, что нашему незнакомцу по меньшей мере пятьдесят. Никто раньше этого возраста парика не наденет. И потом, в самом деле, после того как он окончил свой туалет, я отошла и смотрю — он открыл окошко, и тут уж у него была великолепная шевелюра. А когда я вышла на балкон, он уставился на меня в монокль. Так вот, дорогая моя Сесиль, вряд ли этот господин годится в герои вашего романа.

— А почему бы и нет? Не стоит пренебрегать и пятидесятилетним, если это граф,— сказала Эрнестина.

— А может быть, у него еще есть волосы,— лукаво заметил Оливье Вине,— и тогда это вполне подходящий муж. Тут надо выяснить, действительно ли он показал госпоже Молло свою лысую голову или...

— Да замолчите вы! — сказала г-жа Молло.

Антонен Гулар, чтобы ускорить дело, послал в «Мул» слугу г-жи Марион, чтобы он немедленно разыскал Жюльена.

— Ах, боже мой! Ну какое это имеет значение, возраст мужа! — промолвила мадемуазель Эрбело.

— Главное, чтобы муж был,— съязвил помощник прокурора, которого многие побаивались за его злоязычие и ехидство.

— Ну, знаете,— возразила старая дева, почувствовав иронию,— я бы предпочла пятидесятилетнего человека, доброго, снисходительного и внимательного к своей жене, какому-нибудь бессердечному юнцу двадцати пяти лет, который старается уязвить каждого, даже собственную жену.

— Это все хорошо на словах,— сказал Оливье Вине,— но, для того чтобы предпочесть пятидесятилетнего молодому, надо, чтобы было из кого выбирать.

— Ах,— вмешалась г-жа Молло, желая положить конец этой перепалке между старой девой и молодым Вине, имевшим обыкновение заходить слишком далеко,— всякая женщина, если у нее есть кой-какой жизненный опыт, знает, что между пятидесятилетним и двадцатипятилетним мужем нет, в сущности, никакой разницы, если подходить к этому только... Главное в браке — это те

преимущества, которые он может вам предоставить. Если мадемуазель Бовизаж хочется поехать в Париж, блистать в свете,— а я на ее месте так бы и рассуждала,— я бы, конечно, не стала искать себе мужа в Арси. Будь у меня такое состояние, какое будет у нее, я бы, конечно, вышла замуж за какого-нибудь графа, то есть за человека, который доставил бы мне положение в обществе, и я, право, не стала бы требовать метрической выписки о его рождении.

— Вам было бы достаточно увидать его за туалетом,— тихонько шепнул г-же Молло Оливье Вине.

— Но ведь графов, сударыня, делает король,— вмешалась г-жа Марион, которая вот уж несколько минут прислушивалась к разговору девиц.

— Ах, сударыня! — возразил Вине.— Есть юные девицы, которые любят уже готовых сказочных принцев...

— Так как же, господин Антонен,— сказала Сесиль, посмеиваясь над колкостями Вине,— десять минут уже прошло, а мы так и не знаем, граф наш незнакомец или нет.

— Слово представителя власти должно быть нерушимо,— добавил Вине, поглядывая на Антонена.

— И я сдержу свое слово,— отвечал супрефект, увидев голову Жюльена, мелькнувшую в дверях гостиной.

И, вскочив со своего кресла, стоявшего около Сесили, он вышел из комнаты.

— Вы говорите о приезжем? — спросила г-жа Марион.— Ну, что же? Известно о нем что-нибудь?

— Нет, сударыня,—отвечал Ахилл Пигу,—но он сам, того не зная, уподобился силачу в цирке: на него устремлены взоры двух тысяч жителей. Я-то кое-что знаю,— добавил маленький нотариус.

— Ах, расскажите нам, пожалуйста, господин Ахилл! — взмолилась Эрнестина.

— Его слугу зовут Парадиз [1]...

— Парадиз! — воскликнула девица Эрбело.

— Парадиз! — повторили все хором.

— Но разве может быть такое имя, Парадиз? — сказала только что подошедшая г-жа Эрбело, усаживаясь рядом со своей невесткой.

---

[1] Paradis — рай *(франц.)*.

— По-видимому, если надо показать, что хозяин слуги не кто иной, как Ангел,— отвечал нотариус.— Потому что, когда Парадиз провожает его, они идут, ну вы же понимаете сами...

— По райской дорожке! Мило придумано, очень мило,— сказала г-жа Марион, которой хотелось привлечь Ахилла Пигу на сторону своего племянника.

— Тильбюри, сударь, с гербами! — докладывал тем временем в столовой слуга Антонена своему хозяину.

— С гербами?

— Да, сударь, и какие-то чудные гербы. Наверху корона с девятью зубцами, унизанными жемчугом...

— Значит, граф!

— А под ней какое-то крылатое чудовище, которое несется сломя голову, словно курьер, потерявший свою сумку... А вот что написано на гербовой ленте,— добавил он, доставая бумажку из-за пазухи.— Анисета, горничная княгини Кадиньян, только что приехала в карете (карета из замка Сен-Синь и сейчас стоит у ворот «Мула»!) и привезла письмо приезжему господину, она мне это и переписала.

— Ну-ка, дай сюда!

И супрефект прочел: «Quo me trahit fortuna» [1]. И хотя Антонен был не настолько сведущ во французской геральдике, чтобы распознать род, которому был присвоен сей славный девиз, все же он подумал, что вряд ли Сен-Сини предоставили бы свою карету, а княгиня Кадиньян стала бы посылать нарочного, если бы этот господин не принадлежал к высшей знати.

— А ты, значит, знаком с горничной княгини Кадиньян? Везет тебе...— сказал Антонен своему слуге.

Жюльен, малый из здешних мест, прослужил полгода у Гондревилей, а потом поступил к господину супрефекту, которому хотелось иметь хорошо вышколенного слугу.

— Да ведь Анисета, сударь, крестница моего отца. Отец жалел девочку, ее-то родители померли, вот он и отправил ее в Париж учиться на швею, потому что мать моя терпеть ее не могла.

— А девочка хорошенькая?

---

[1] «Куда влечет меня судьба» *(лат.)*.

— Да ничего себе, сударь, коли судить по тому, что в Париже с ней беда приключилась. Но она ловкая девка, все умеет, и шить и прически делать, вот она и поступила к княгине по рекомендации господина Марена, старшего лакея герцога Мофриньеза.

— А что она тебе рассказывала про Сен-Синь? Много там народу?

— Много, сударь. Там сейчас княгиня и господин д'Артез... герцог Мофриньез с герцогиней и молодой маркиз. Полон замок народу. А сегодня вечером ждут еще епископа из Труа.

— Его преосвященство господина Трубера? Ах, вот это мне важно было бы узнать, долго ли он там у них пробудет?

— Анисета думает, что погостит... Она думает, что их преосвященство приедут из-за этого самого графа, который остановился в «Муле». И еще ждут гостей... Кучер говорил — все что-то о выборах толкуют... Господин председатель Мишю тоже должен приехать на несколько дней...

— Постарайся-ка заманить эту горничную в город, ну, выдумай там,— может быть, ей что-нибудь купить надо... У тебя как... есть на нее виды?

— Да, будь у нее хоть что-нибудь за душой, я бы не прочь... девчонка хоть куда!..

— Ты ей предложи прийти к тебе на свиданье в супрефектуру.

— Хорошо, сударь, я мигом...

— Да не говори ей ничего обо мне. А то она не придет; скажи, что есть место выгодное...

— Будьте покойны, сударь! Сообразим. Я ведь у Гондревилей служил.

— А ты не знаешь, для чего этот нарочный из Сен-Синь, да еще в такой поздний час? Ведь сейчас уж половина десятого!

— Да уж, видно, какие-то важные дела, коли так загорелось. Ведь и граф-то сам только что из Гондревиля приехал.

— Как? Приезжий был в Гондревиле?

— Как же, он там обедал, сударь. Да вот бы вы поглядели, истинная потеха! Этот его мальчишка, слуга, насосался, простите за выражение, вдрызг. Столько вы-

лакал шампанского в буфетной, что едва на ногах стоит. Наверно, его там для смеху подпоили.

— Ну, а что же граф?

— Граф-то уж был в постели, когда письмо принесли, а как прочел, так сразу вскочил. Сейчас одевается. Ему экипаж заложили. Он проведет вечер в замке Сен-Синь.

— Так, видно, это какая-то важная персона?

— Да, да, сударь! Готар, управляющий Сен-Синей, приезжал сегодня утром к своему зятю, Пупару, и советовал ему держать язык за зубами, не болтать ничего про этого господина и служить ему, как самому королю!..

«Неужели Вине прав? — подумал супрефект.— Может быть, тут и впрямь какой-нибудь заговор?..»

— Готар приезжал в «Мул» по поручению герцога Мофриньеза. А то, что Пупар нынче утром явился на собрание, так это ему граф велел. А прикажи этот граф Пупару поехать сегодня в Париж, он тут же поскачет. Готар велел своему зятю ни в чем не отказывать этому господину да подальше отваживать всех любопытных.

— Если тебе удастся заманить Анисету, сейчас же дай мне знать,— сказал Антонен.

— Так уж, коль на то пошло, я бы мог наведаться к ней и в Сен-Синь, ежели бы вам угодно было, сударь, послать меня в Вальпре.

— Это мысль! И ты ведь можешь поехать с ней в их карете. Ну а что ты скажешь об этом мальчишке, о его слуге?

— Отчаянный малый, сударь! Вы подумайте только, господин супрефект, ведь он еле на ногах держится, а поскакал сейчас сломя голову на призовой английской лошадке своего хозяина, а ведь это породистая лошадка, она семь лье в час делает,— письмо какое-то повез в Труа, чтобы оно завтра же в Париже было... Ведь ему еще и десяти лет нет! Что ж это будет, когда ему двадцать стукнет?

Супрефект рассеянно слушал эти поучительные сплетни; Жюльен говорил без умолку еще несколько минут. Антонен Гулар слушал его, а сам думал о незнакомце.

— Подожди-ка здесь,— сказал супрефект своему лакею.

«Что за чудеса! — думал он, медленно возвращаясь

в гостиную.— Обедает человек с графом де Гондревилем, а ночует в замке Сен-Синь... таинственная история!»

— Ну? Что? — встретили его дружным хором в кружке мадемуазель Бовизаж, едва только он появился в гостиной.

— Так вот... это граф, и из самых что ни есть родовитых. За это могу поручиться.

— Ах, как бы мне хотелось его увидать! — воскликнула Сесиль.

— Мадемуазель! — сказал Антонен, поглядывая с хитрой улыбкой на г-жу Молло.— Он высокого роста, статный, и он не носит парика. Его мальчишка-слуга насосался сегодня, как губка, его напоили шампанским в буфетной Гондревиля,— так вот этот девятилетний малютка, когда Жюльен заговорил с ним о парике его хозяина, ответил ему с высокомерием старого лакея: «Парик? У моего хозяина? Да разве я бы стал у него служить? Хватит и того, что он красит волосы».

— Ваша лорнетка сильно увеличивает предметы,— сказал Ахилл Пигу г-же Молло, которая только расхохоталась в ответ.

— И вот этот маленький тигр прекрасного графа, как он ни пьян, поскакал сейчас верхом в Труа с каким-то письмом, и, хотя на дворе ночь, ни зги не видно, он мчится сломя голову.

— Хотел бы я посмотреть на этого тигра,— заметил Вине.

— Если незнакомец обедал в Гондревиле,— сказала Сесиль,— мы узнаем, кто он такой, этот граф. Мой дедушка поедет туда завтра с утра.

— А вот что вам всем покажется странным,— продолжал Антонен Гулар,— из замка Сен-Синь только что прислали к незнакомцу горничную княгини Кадиньян, прелестную Анисету, с приглашением на вечер.

— Вот как! — воскликнул Оливье Вине.— Ну тогда, значит, это не человек, а какой-то дьявол или оборотень. На дружеской ноге с обеими семьями! Каково! Утром жуировать...

— Ах, сударь, что за выражение! — возмутилась г-жа Молло.

— Жуировать, сударыня,— это чистейшая латынь! — важно возразил ей помощник прокурора.— Так вот, зна-

чит, утром — жуировать у короля Луи-Филиппа, а вечером — метать банк в Холи-Руд у Карла Десятого. Есть только одна-единственная причина, которая может позволить христианину принадлежать одновременно к двум лагерям: и к Монтекки и к Капулетти... А-а! Догадался, я знаю, кто этот незнакомец!

— Да кто же? Кто? — посыпалось со всех сторон.

— Директор каких-нибудь железных дорог: из Парижа в Лион, или из Парижа в Дижон, или из Монтеро в Труа.

— Верно! — поддержал Антонен.— Вы угадали. Только банк, промышленность или биржевые аферы могут быть желанными гостями повсюду.

— Да! В наше время носители знатных имен, старинных фамилий, старые и новые пэры — все жаждут войти в какое-нибудь предприятие,— сказал Ахилл Пигу.

— Франков привлекают франки,— без тени улыбки сострил Оливье Вине.

— А вы, господин Оливье, совсем не похожи на оливковую ветвь мира,— заметила, улыбаясь, г-жа Молло.

— Но разве это не развращающий пример, когда такие имена, как Верней, Мофриньез и Эрувиль, красуются рядом с какими-то господами Тийе и Нусингенами во всяких биржевых спекуляциях?

— А в самом деле, должно быть, наш незнакомец — это действительно какое-нибудь железнодорожное акционерное общество в зачаточном состоянии.

— Тогда, значит, завтра же в Арси поднимется настоящий содом! — сказал Ахилл Пигу.— Да я сам сейчас же отправлюсь к этому господину и предложу ему взять меня в нотариусы. Ему ведь придется выпустить две тысячи акций!

— А наш роман станет просто паровозом...— грустно сказала Эрнестина Сесили.

— Граф, да еще подбитый акциями железной дороги,— сказал Ахилл Пигу,— это тем более завидный супруг. А он не женат?

— Это я узнаю завтра же от дедушки! — с притворным жаром воскликнула Сесиль.

— Ах, что за шутница! — промолвила г-жа Марион, выдавив насильственную улыбку.— Как, Сесиль, душенька моя, вы мечтаете о незнакомце?

— А почему же мне не помечтать о нем? — спросила Сесиль.— Что тут дурного? И потом все говорят, что это или какой-нибудь крупный биржевик, или очень знатный господин. Сказать правду, мне подходит и тот и другой. Я люблю Париж, я хочу, чтобы у меня был свой выезд, особняк, ложа в Итальянской опере... и все прочее.

— Верно! — поддержал Вине.— Уж если мечтать, так не надо ни в чем себе отказывать. А если бы я имел счастье быть вашим братом, я выдал бы вас за молодого маркиза де Сен-Синя; мне кажется, этот молодчик умеет сорить деньгами и не придает никакого значения антипатиям своей бабушки к участникам знаменитой драмы, в которой так печально погиб отец нашего председателя.

— Скорее вы станете премьер-министром! — сказала г-жа Марион.— Никогда внучке Гревена не быть женой Сен-Синя.

— Ромео чуть-чуть не женился на Джульетте! — заметил Ахилл Пигу.— А мадемуазель гораздо красивее, чем...

— Ну, если уж пошли разговоры из оперы...— простодушно заметил нотариус Эрбело, только что кончивший партию в вист.

— Мой собрат не слишком силен в истории средних веков,— сказал Ахилл Пигу.

— Идем, Мальвина,— позвал жену толстый нотариус, пропустив мимо ушей замечание своего молодого коллеги.

— Скажите, пожалуйста, господин Антонен,— обратилась Сесиль к супрефекту,— вы тут говорили об Анисете, горничной княгини Кадиньян,— а вы ее знаете?

— Нет. Ее знает мой Жюльен. Она крестница его отца. И они, кажется, друзья.

— Ах, постарайтесь, пожалуйста, через Жюльена уговорить ее перейти к нам! За жалованьем мама не постоит.

— Слушать — значит повиноваться, мадемуазель! Так отвечают повелителям Азии,— отозвался супрефект.— Вы сейчас сами увидите, что для вас я готов на все...

Он вышел и приказал Жюльену отправиться в каре-

те, которая возвращалась в Сен-Синь, и во что бы то ни стало переманить Анисету.

В эту минуту Симон Жиге, который только что кончил раскланиваться и любезничать со всеми сколько-нибудь влиятельными людьми в Арси и теперь уже совершенно уверенный в своем избрании, присоединился к кружку, собравшемуся около Сесили и мадемуазель Молло. Время было довольно позднее. Пробило десять часов. Поглотив массу пирожных, оршаду, пунша, лимонаду и всяких иных напитков, те из гостей, которые пришли сегодня к г-же Марион исключительно из политических соображений и чувствовали себя несколько непривычно и стесненно в этом чересчур великосветском для них обществе, стали поспешно расходиться, тем более что они не привыкли ложиться так поздно. Остался тесный круг своих, близких людей. Симон Жиге, надеясь, что теперь ему, наконец, удастся поговорить с Сесилью, окинул ее взглядом победителя. Сесиль почувствовала себя задетой этим взглядом.

— Ты, милый мой,— сказал Антонен Симону, заметив торжествующее выражение на лице своего друга,— являешься к нам как раз в такую минуту, когда все наши обитатели Арси окончательно помешались.

— Да, да, окончательно...— подхватила Эрнестина, которую Сесиль тихонько толкнула локтем.— Сесиль и я, мы обе без ума от незнакомца, мы прямо вырываем его друг у друга.

— Во-первых, это уже не незнакомец,— заявила Сесиль,— мы знаем, что он граф.

— Какой-то проходимец! —презрительно проронил Симон Жиге.

— А вы бы позволили себе, господин Симон,— накинулась на него возмущенная Сесиль,— сказать это в лицо человеку, к которому княгиня Кадиньян присылает нарочных, который сегодня обедал в Гондревиле, а вечером будет у маркизы де Сен-Синь?

В голосе Сесили слышалось такое негодование, такая подчеркнутая резкость, что Симон пришел в полное замешательство.

— Ах, мадемуазель! — вмешался Оливье Вине.— Если бы мы все говорили друг другу в лицо то, что мы говорим за спиной, какое же у нас было бы общество. В об-

ществе, а особенно в провинции, только и удовольствия, что позлословить.

— Господин Симон ревнует, ему не нравится, что ты так восхищаешься каким-то неведомым графом,— сказала Эрнестина.

— Мне кажется,— возразила Сесиль,— что господин Симон не имеет никакого права ревновать меня, как бы я к кому ни относилась.

С этими словами, сказанными совершенно уничтожающим тоном, Сесиль поднялась с места; все расступились, давая ей пройти, а она направилась через всю комнату к матери, которая подсчитывала свой выигрыш в вист.

— Милочка моя! — вскричала г-жа Марион, догоняя богатую наследницу.— Мне кажется, вы чересчур жестоко обошлись с моим бедным Симоном!

— А что же она такого сделала, эта проказница? — спросила г-жа Бовизаж.

— Мама! Господин Симон оскорбил моего незнакомца, он обозвал его *проходимцем*.

Симон последовал за своей тетушкой и вместе с ней подошел к карточному столу. Итак, все четыре действующих лица, чьи интересы были столь сильно затронуты, сошлись вместе посреди гостиной: Сесиль с матерью — по одну сторону стола, а г-жа Марион с племянником — по другую.

— Сказать по правде, сударыня,— заговорил Симон Жиге,— только тот, кто хочет непременно придраться, может рассердиться на то, что я сказал о господине, который остановился в «Муле»,— о нем сейчас говорит весь город.

— Уж не думаете ли вы, что он собирается соперничать с вами? — шутливо промолвила г-жа Бовизаж.

— Я бы, конечно, никогда не простил ему, если бы он оказался причиной хотя бы самого ничтожного недоразумения между мадемуазель Сесиль и мной,— сказал кандидат, глядя на молодую девушку умоляющим взглядом.

— У вас был такой решительный тон, сударь, не допускающий никаких возражений, когда вы изрекли этот ваш приговор, что сразу можно сказать,— вы будете ужасным деспотом; впрочем, вам это подобает, потому

что, раз вы собираетесь стать министром, вы и не должны допускать никаких возражений.

Между тем г-жа Марион, взяв под руку г-жу Бовизаж, увлекла ее к дивану. Сесиль, видя, что она осталась одна, тотчас же вернулась к своему прежнему кружку, не желая слушать того, что ей собирался ответить Симон. И кандидат в депутаты, оставшись в преглупом положении, один-одинешенек, возле пустого стола, начал машинально переставлять разбросанные на сукне фишки.

— Бывает иногда, что фишки приносят счастье,— заметил Оливье Вине, наблюдавший эту маленькую сценку. И хотя это было сказано вполголоса, Сесиль все же услышала и громко расхохоталась.

— Вы видите, дорогая,— тихонько уговаривала между тем г-жа Марион г-жу Бовизаж,— теперь уж ничто не может помешать избранию моего племянника.

— Я от души рада и за вас и за палату депутатов,— отвечала Северина.

— Мой племянник, дорогая, далеко пойдет... И вот почему: его состояние, то, что ему отойдет после отца, и мое дадут ему примерно около тридцати тысяч франков дохода; а будучи депутатом, с таким состоянием можно рассчитывать на все...

— Мы будем в восторге, сударыня, и искренне желаем ему всяких успехов на политическом поприще. Но...

— Я не прошу у вас ответа! — поспешно перебила г-жа Марион свою приятельницу.— Я только прошу вас подумать об этом предложении. Подходят наши дети друг другу? Можем мы их поженить?.. Мы стали бы жить в Париже во время сессий. И кто знает, может быть, депутат от Арси выдвинется со временем на какой-нибудь высокий пост... Посмотрите, какую карьеру сделал господин Вине из Провена! Все осуждали мадемуазель де Шаржбеф, когда она выходила за него, а вот теперь она скоро станет женой министра, и господин Вине, стоит ему только захотеть, сделается пэром Франции.

— Не в моей власти, сударыня, выдать мою дочку за того, кто мне по душе. Во-первых, и отец и я, мы предоставляем ей полную свободу выбора. Даже если бы ей и впрямь вздумалось выйти замуж за незнакомца,

будь он только порядочный человек, мы не отказали бы ей в нашем согласии. Ну, а потом, ведь Сесиль полностью зависит от своего дедушки, он ей дает при заключении брачного контракта дом в Париже — особняк Босеанов, который он купил для нас десять лет тому назад, ему сейчас цена — восемьсот тысяч франков. Это один из самых роскошных особняков в Сен-Жерменском предместье. А сверх того он отложил для нее еще двести тысяч франков на обстановку и устройство. Ну, вы сами понимаете, дедушка, который так печется о внучке, да к тому же еще хочет уговорить и мою свекровь выделить ей кое-что и тем помочь сделать хорошую партию, должен иметь право голоса...

— Безусловно...— ответила г-жа Марион, потрясенная этим признанием, которое отнюдь не облегчало для ее племянника возможность брака с Сесилью.

— Но если бы даже Сесиль и не рассчитывала получить что-либо от своего дедушки Гревена,— продолжала г-жа Бовизаж,— все равно она не выйдет замуж, не посоветовавшись с ним. Человек, которого отец прочил себе в зятья, умер, а есть ли у него сейчас другие планы, я не знаю. Если у вас имеются какие-нибудь предложения, вам лучше всего пойти и поговорить с моим отцом.

— Ну что же, я пойду,— сказала г-жа Марион.

Госпожа Бовизаж поманила Сесиль, и они вместе покинули гостиную.

На другой день Антонен и Фредерик Маре, встретившись по своему обыкновению после обеда с г-ном Мартене и с Оливье в Аллее Вздохов, прогуливались все вместе под липами, покуривая сигары. Эта прогулка принадлежит к числу тех скромных удовольствий, которые разрешают себе наши провинциальные власти, когда между ними царит полное согласие.

Пройдясь несколько раз взад и вперед, они встретили Симона Жиге, и тот, взяв под руку своего школьного товарища Антонена, увел его в дальний конец аллеи, выходивший на площадь, и сказал с таинственным видом:

— Ты должен быть верен старому товарищу, он постарается добыть тебе орден и префектуру...

— Я вижу, ты уже начинаешь свою политическую

карьеру,— смеясь, отвечал Антонен,— ты хочешь подкупить меня, мерзкий пуританин!

— Так ты меня поддержишь?

— Дорогой мой! Ты же знаешь, что Бар-сюр-Об будет голосовать у нас. Как можно при таких обстоятельствах поручиться за большинство? Мой коллега из Бар-сюр-Об сейчас же донесет на меня, если я не буду делать того, что надлежит нам обоим в прямых интересах правительства. И твои посулы — это то ли будет, то ли нет, а вот что я полечу с места, это уж наверняка.

— Но у меня же нет никаких конкурентов.

— Ты так думаешь? — сказал Антонен.— Но знаешь песенку...

Они вот-вот появятся, остерегись, мой друг!

— А тетка все не идет, ведь знает, что я как на иголках! Ах, эти три часа, какая пытка! Они мне стоят больше, чем три года!

И он нечаянно выдал свой секрет. Он рассказал своему приятелю, что г-жа Марион отправилась к старику Гревену сватать его в женихи Сесили.

Тем временем они вышли на дорогу, ведущую в Бриенн, и остановились против гостиницы «Мул». В то время как адвокат поглядывал на сбегающую вниз уличку, на которой, перейдя мост, должна была появиться его тетушка, супрефект рассматривал глубокие рытвины, размытые дождями на площади. Улицы в Арси не вымощены ни щебнем, ни песчаником, потому что на равнинах Шампани не водится никакого материала, пригодного для мощения, а тем более крупных камней, чтобы сделать булыжную мостовую. Кое-где, на двух-трех улицах, есть какое-то подобие мостовой, все же остальные просто утоптаны, и можно себе представить, что здесь творится во время дождей. Супрефект сделал вид, что все его внимание поглощено этим неприятным обстоятельством, а сам с интересом наблюдал за исказившимся лицом своего друга, невольно выдававшим его мучительные переживания.

В это время на дороге появился незнакомец, возвращавшийся из замка Сен-Синь, где он, по-видимому, провел ночь. Гулар решил, что сейчас сам выяс-

нит эту тайну, окутывающую незнакомца, который и в самом деле кутался в редингот из толстенного сукна, носивший название пальто и бывший в то время в большой моде. На коленях у него лежал плащ, который мешал разглядеть его фигуру, а громадный шарф из красного кашемира закрывал его лицо до самых глаз. Однако шляпа, небрежно сдвинутая набок, не давала никаких поводов для насмешек. Трудно было вообразить себе более закутанную и столь загадочно укрытую тайну.

— Берегись! — звонко крикнул *тигр*, скакавший верхом впереди тильбюри.— Эй, папаша Пупар, откройте!— завопил он еще более пронзительно.

Трое слуг «Мула» кинулись к воротам, и экипаж вкатил во двор с такой стремительностью, что никто так и не успел разглядеть ни одной черты незнакомца. Супрефект последовал за тильбюри и остановился на пороге гостиницы.

— Госпожа Пупар! — сказал Антонен.— Не угодно ли вам будет спросить вашего постояльца, господина... господина...

— Я не знаю, как их зовут,— отвечала сестра Готара.

— Напрасно. На этот счет существуют совершенно точные распоряжения полиции. И господин Гролье шутить не любит, как и все полицейские комиссары, которым нечего делать.

— Во время выборов хозяева гостиниц ни за что не отвечают! — вмешался *тигр*, соскакивая с лошади.

«Непременно повторю это Вине»,— подумал супрефект.— Поди-ка, любезный, спроси у своего барина, не угодно ли ему будет принять супрефекта города Арси.

И Антонен Гулар вернулся к своим приятелям, которые, дойдя до конца аллеи, остановились, видя, что супрефект вступил в разговор с *тигром*, уже успевшим прославиться на весь Арси и своим именем и своим зубоскальством.

— Барин просит господина супрефекта пожаловать к нему. Он будет очень рад видеть вас у себя,— сказал Парадиз, появившись через несколько секунд.

— Послушай, малыш,— спросил Оливье,— а сколько же твой хозяин платит такому смышленому и зубастому мальчугану, как ты?

— Платит, сударь? За кого вы нас принимаете? Гос-

подин граф позволяет обсчитывать себя, с меня хватит...

— Этот мальчишка прошел хорошую школу,— сказал Фредерик Маре.

— Высшую школу, господин прокурор,— поправил Парадиз, изумляя своим апломбом всех пятерых друзей.

— Экий Фигаро! — воскликнул Вине.

— Напрасно вы нас принижаете,— возразил Парадиз,— мой барин зовет меня Робер Макэр-младший. А с тех пор как у нас завелись доходы, мы стали Фигаро, но только с деньгами...

— И намного ты его облегчаешь?

— Бывают заезды, когда мне перепадает и тысяча экю. Но я не продаю моего господина...

— Бесценный малютка! — воскликнул Вине.— Он разбирается в лошадках!

— И в благородных ездоках, которые загребают денежки,— отпарировал мальчишка, повертываясь к Вине и показывая ему язык.

— По этой Парадизовой дорожке можно далеко уйти,— заметил Фредерик Маре.

Хозяин гостиницы проводил Антонена Гулара в комнату, в которой приезжий устроил себе гостиную, и Гулар, войдя, увидел бесцеремонно направленный на себя монокль.

— Сударь! — не без некоторой важности произнес Антонен Гулар.— Я только что узнал от жены хозяина, что вы отказываетесь подчиняться распоряжениям полиции. И так как я не сомневаюсь, что вы человек почтенный, я почел за благо явиться сам, чтобы...

— Вас зовут Гулар? — невозмутимо спросил незнакомец.

— Я здешний супрефект, сударь,— отвечал Антонен Гулар.

— Ваш отец, кажется, служил у Симезов?..

— А я, сударь, служу моему правительству,— времена меняются.

— У вас есть слуга по имени Жюльен, который собирается сманить горничную княгини Кадиньян?

— Я, милостивый государь, никому не позволю разговаривать со мной в таком тоне! — сказал Гулар.— Вы, по-видимому, еще не знаете моего характера...

«ДЕПУТАТ ОТ АРСИ».

«ШУАНЫ, ИЛИ БРЕТАНЬ В 1799 ГОДУ».

— А вам, я вижу, не терпится ознакомиться с моим,— отпарировал незнакомец.— Так вот, позвольте отрекомендоваться. Можете записать в книге вашей гостиницы: «Наглец... приехал из Парижа... пристает с расспросами, возраст неизвестен... путешествует для собственного удовольствия». А знаете, это было бы очень недурно завести у нас во Франции такой же обычай, как у англичан, там людям разрешается приезжать и уезжать куда им вздумается и не пристают к ним на каждом шагу с требованием документов... Вот... у меня, например, нет паспорта... Ну-с, что же вы со мной сделаете?

— Господин прокурор города Арси здесь неподалеку: вон там, под липами,— отвечал супрефект.

— А, господин Маре!.. Кланяйтесь ему от меня.

— Но кто же вы, наконец?

— Да все, что вам будет угодно, дорогой господин Гулар,— отвечал незнакомец,— ибо это вам предстоит решить, что именно буду я представлять собой в вашем округе. Подумайте и дайте мне хороший совет. Вот вам, читайте.

И незнакомец протянул супрефекту письмо следующего содержания:

«ПРЕФЕКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА ОВ

(Секретно)

Господин супрефект!

Вам надлежит договориться с подателем сего относительно выборов в Арси и неукоснительно следовать всему, что он сочтет нужным потребовать от вас. Предлагаю вам соблюдать во всем, что касается этого лица, строжайшую секретность и оказывать ему внимание и уважение, подобающие его сану».

Письмо было написано и подписано рукой самого префекта.

— Вот видите, вы, сами того не подозревая, говорили прозой,— сказал незнакомец, пряча письмо.

Антонен Гулар, совершенно сбитый с толку аристократическим видом и надменными манерами незнакомца, принял почтительный тон.

— Как так, сударь? — спросил он.

— Да вот, вашими попытками совратить Анисету... она пришла и рассказала нам о поползновении вашего Жюльена, которого вам теперь следует называть не Жюльеном, а Юлианом-Отступником, ибо он потерпел поражение и сдался моему *тигру*, юному Парадизу, признавшись в конце концов, что вы поручили ему переманить Анисету в дом самой богатой семьи в городе. А так как первые богачи в Арси — это Бовизажи, то у меня нет никаких сомнений, что не кто иной, как мадемуазель Сесиль, жаждет завладеть этим сокровищем.

— Да, сударь...

— Так вот. Анисета сегодня же перейдет в услужение к Бовизажам.— Он свистнул. Парадиз появился столь молниеносно, что незнакомец сказал ему: — Ты подслушивал!

— Нечаянно, господин граф. Перегородки картонные. Если господину графу угодно, я могу подняться этажом выше.

— Нет. Можешь подслушивать. Это — твое право. Это я должен говорить тише, когда мне не угодно, чтобы ты был осведомлен о моих делах. Ты сейчас вернешься в Сен-Синь и передашь от меня вот эту монетку в двадцать франков крошке Анисете... Пусть думают, будто Жюльен соблазнил ее за ваш счет. Этот золотой означает, что она может последовать за Жюльеном,— объяснил незнакомец, оборачиваясь к Гулару.— Анисета может оказаться весьма полезной для успеха нашего кандидата.

— Анисета?

— Да, господин супрефект. Вот уже тридцать два года, как я пользуюсь услугами горничных... Первое мое похождение было у меня в тринадцать лет, точь-в-точь как у принца-регента, прапрапрадедушки нашего короля... А вам известно, каков капитал у этой девицы Бовизаж?

— Трудно определить, сударь. Потому что как раз вчера у госпожи Марион мадам Северина рассказала, что дедушка Сесили, господин Гревен, собирается поднести своей внучке особняк Босеанов и двести тысяч франков в качестве свадебного подарка.

В глазах незнакомца не выразилось ни малейшего

удивления, можно было подумать, что такое приданое кажется ему совершенно ничтожным.

— Вы хорошо знаете Арси? — спросил он Гулара.

— Я — супрефект и родился в этих краях.

— Так вот, скажите, как можно было бы здесь провести любопытных?

— Да только удовлетворив их любопытство. У господина графа, конечно, есть имя, которое он получил при крещении. Запишите его в книгу для приезжих вместе с вашим титулом.

— Хорошо: граф Максим...

— А если господину графу угодно предстать перед нами в качестве директора железнодорожной компании, Арси будет вполне удовлетворен. Ему этой погремушки хватит по крайней мере недели на две...

— Нет, я предпочитаю что-нибудь по части орошения, это как-то менее заурядно... Я приехал сюда с целью поднять цены на земли в Шампани... Вот вам и предлог, господин Гулар, пригласить меня завтра обедать вместе с Бовизажами. Мне надо увидать их, присмотреться к ним.

— Я чрезвычайно польщен и сочту за честь принять вас у себя,— сказал супрефект,— но заранее прошу снисхождения к моему убогому жилищу и более чем скромной обстановке.

— Если я добьюсь успеха на выборах в Арси, согласно желанию тех, кто послал меня сюда, вы, мой дорогой, будете префектом,— сказал незнакомец.— Вот вам еще, почитайте! — сказал он, протягивая Антонену два письма.

— Отлично, господин граф,— сказал Гулар, возвращая ему письма.

— Вы должны проверить и подсчитать все голоса, которыми располагает правительство. Но самое главное, помните, у нас с вами нет ничего общего. Я биржевик, и мне нет никакого дела до ваших выборов.

— А вот я пришлю к вам полицейского комиссара, чтобы заставить вас вписать ваше имя в книге гостиницы Пупара!

— Отлично. До свиданья, сударь! Ну и дыра, черт возьми! — воскликнул незнакомец.— Шагу нельзя сту-

пить без того, чтобы все, вплоть до супрефекта, не наступали тебе на пятки.

— Вам, милостивый государь, придется иметь дело с начальником полиции,— сказал Антонен.

Спустя двадцать минут у г-жи Молло уже шли оживленные разговоры о столкновении, которое произошло между незнакомцем и супрефектом.

— Ну, из чего же он сделан, этот чурбан, который слетел с неба в наше болото? — спросил Оливье Вине Гулара, когда тот вышел из «Мула».

— Какой-то граф Максим, приехал сюда для геологических изысканий в Шампани, надеется, по-видимому, открыть здесь какие-то минеральные источники,— пренебрежительным тоном отвечал супрефект.

— Вернее, источники дохода? — поправил Оливье.

— И что же, он надеется собрать капиталы в наших краях? — спросил Мартене.

— Сомневаюсь, чтобы наши роялисты клюнули на такую наживку,— заметил, усмехнувшись, Оливье Вине.

— А что вы можете заключить по выражению лица и по жестам госпожи Марион? — спросил супрефект, прерывая разговор и показывая на Симона, объяснявшегося со своей теткой.

Симон, увидав издали г-жу Марион, бросился к ней навстречу, и теперь они стояли на площади и разговаривали.

— Если бы его приняли, я думаю, она могла бы сообщить ему об этом одним словом,— сказал прокурор.

— Ну что? — воскликнули в один голос оба чиновника, когда Симон присоединился к ним под липами.

— Что же... тетушка говорит, что можно надеяться. Госпожа Бовизаж и старик Гревен, который сейчас уезжает в Гондревиль, ничуть не удивились нашему предложению; поговорили о том, какое у каждого из нас состояние; они предоставляют Сесили полную свободу выбора. Одним словом, госпожа Бовизаж сказала, что с ее стороны нет решительно никаких возражений против этого брака, она очень польщена предложением, но пока что хочет подождать с ответом до выборов и, может быть, до моего выступления в палате. А старик Гревен думает посоветоваться с графом де Гондревилем, пото-

му что он никогда не принимает никаких важных решений без его совета.

— Так,— спокойно заключил Гулар,— не жениться тебе на Сесили, мой милый.

— Почему это? — насмешливо спросил Жиге.

— А потому, дорогой мой, что госпожа Бовизаж бывает у твоей тетки четыре раза в неделю, с мужем и дочкой. Твоя тетка — самая почтенная женщина в Арси, и, хотя между ней и госпожой Бовизаж двадцать лет разницы, госпожа Бовизаж ей завидует,— ну, так как же ты думаешь, разве она позволит себе отказать ей, не позолотив пилюлю?

— Не сказать ни да, ни нет,— подхватил Вине,— это все равно что сказать нет, принимая во внимание тесные отношения ваших семейств. Если госпожа Бовизаж — первая богачка в Арси, то госпожа Марион — самая уважаемая особа в нашем городе, потому что, если не считать жены нашего председателя суда, а ее никто не видит,— это единственная женщина, у которой действительно настоящий салон. Она королева Арси. Госпожа Бовизаж просто старается придать своему отказу как можно более учтивую форму, вот и все.

— Мне думается, старик Гревен надсмеялся над твоей теткой,— сказал Фредерик Маре.

— Ведь вы вчера напали на графа де Гондревиля, вы проезжались на его счет, вы оскорбили его, так что даже Ахилл Пигу бросился его защищать. А теперь с графом будут советоваться относительно вашего брака с Сесилью.

— Н-да, папаша Гревен — лукавый старик, другого такого не сыщешь,— заметил Вине.

— А госпожа Бовизаж — дама честолюбивая,— подхватил Гулар,— и она отлично знает, что у дочки ее будет два миллиона; ей хочется стать тещей какого-нибудь министра или посланника, чтобы царить в Париже.

— Ну что ж! А почему бы и нет? — сказал Симон Жиге.

— Желаю тебе от всей души! — отвечал супрефект, и, переглянувшись с помощником прокурора, он отошел с ним на несколько шагов, и оба расхохотались.— Не попадет он даже и в депутаты,— сказал супрефект г-ну

Оливье,— у правительства свои виды. Вас ждет дома письмо от вашего отца, он предлагает вам проверить подведомственных вам лиц, чьи голоса должны принадлежать правительству. От этого будет зависеть ваше повышение; засим он рекомендует вам держать все это в строжайшем секрете.

— А за кого же должны будут голосовать наши судебные приставы, наши присяжные, судьи, нотариусы? — спросил прокурор.

— За кандидата, которого я вам назову.

— А вы-то откуда знаете, что отец прислал мне письмо и о чем он там пишет.

— От незнакомца.

— От этого изыскателя-геолога?

— Друг мой Вине! Мы ничего не должны о нем знать, он для нас незнакомец. Проезжая через Провен, он виделся с вашим отцом. И только сейчас этот человек передал мне послание префекта касательно выборов в Арси; мне предписывается подчиняться всем указаниям, которые соизволит сделать граф Максим. Я так и знал, что без драки дело не обойдется. Пойдемте-ка обедать и проверим как следует наши силы; для вас это перспектива стать главным прокурором в Манте, а для меня — стать префектом. И мы должны держать себя так, как будто нам нет никакого дела до этих выборов. Ибо мы с вами находимся между молотом и наковальней. Симон выставлен кандидатом от партии, которая пытается свалить нынешнее правительство, и, может быть, ей это и удастся. Но для людей умных, как мы с вами, существует только один путь...

— А именно?

— Служить тем, которые сами ставят и сваливают правительства. А письмо, которое мне показали, написано одним из тех, кто сочувствует незыблемому положению вещей...

Прежде чем продолжать наш рассказ, необходимо пояснить, кто был этот изыскатель и что намеревался он откопать в Шампани.

Приблизительно за два месяца до победы Симона Жиге на предвыборном собрании, в одиннадцать часов вечера, в одном из особняков предместья Сен-Оноре, за чаем у маркизы д'Эспар, ее деверь, кавалер д'Эспар, по-

ставив чашку на стол и глядя на расположившихся у камина гостей, сказал:

— Максим был очень мрачен сегодня, не правда ли?

— Да,— ответил Растиньяк,— но его мрачность легко объяснить: ведь ему сорок восемь лет,— в этом возрасте не заводят новых друзей; со смертью де Марсе Максим потерял единственного человека, который понимал его, оказывал ему услуги и умел пользоваться его услугами...

— Наверно, у него есть неотложные долги, не можете ли вы помочь ему уплатить их? — сказала маркиза Растиньяку.

В ту пору Растиньяк был во второй раз министром, он только что, почти против своего желания, получил графский титул; его тесть, барон де Нусинген, был назначен пэром Франции; брат его был епископом, а зять, граф де ла Рош-Гюгон, посланником; и считалось, что в будущих правительственных комбинациях без него не смогут обойтись.

— Вы всегда забываете, дорогая маркиза,— ответил Растиньяк,— что наше правительство обменивает свои сребреники только на золото; в людях оно не разбирается.

— Способен ли Максим пустить себе пулю в лоб? — спросил дю Тийе.

— Ага! Тебе бы очень этого хотелось, мы были бы квиты,— ответил банкиру граф Максим де Трай, к изумлению присутствующих, уверенных, что граф уже покинул гостиную.

И граф, поднявшись с глубокого кресла, которое стояло позади кавалера д'Эспар, возник перед гостями, как привидение. Все рассмеялись.

— Хотите чаю? — обратилась к нему молодая графиня де Растиньяк, которую маркиза просила заменить ее за чайным столом.

— С удовольствием,— ответил граф, подходя к камину.

Этот человек, король парижских прожигателей жизни, до сих пор сумел сохранить то привилегированное положение, которое занимали денди, именовавшиеся тогда «желтыми перчатками», а потом «львами». Нет на-

добности рассказывать историю его юности, полную любовных похождений и отмеченную тяжелыми трагедиями, в которых он всегда умел сохранять внешнюю благопристойность. Для него женщины всегда были только средством, он так же мало считался с их страданиями, как и с их радостями; он видел в них, как и покойный де Марсе, просто капризных детей. Промотав свое состояние, он пустил по ветру и состояние известной куртизанки, прозванной «прекрасной голландкой», матери знаменитой Эсфири Гобсек. Это он поверг в бездну несчастий г-жу де Ресто, сестру г-жи Дельфины де Нусинген, матери молодой графини де Растиньяк.

Парижский свет полон невообразимых странностей. Баронесса де Нусинген находилась в этот вечер в гостиной г-жи д'Эспар вместе с виновником всех страданий ее сестры, с убийцей, который, впрочем, убил только счастье женщины. Поэтому-то, вероятно, он и мог быть здесь. Г-жа де Нусинген обедала у маркизы со своей дочерью, год тому назад вышедшей за графа де Растиньяка, который начал свою политическую карьеру с должности помощника секретаря в знаменитом министерстве покойного де Марсе, единственного крупного деятеля, созданного Июльской революцией.

Никто, кроме самого Максима де Трай, не знал, сколько бедствий он причинил; но ему всегда удавалось избежать осуждения общества, ибо он неизменно придерживался кодекса мужской чести. Хотя он промотал в своей жизни больше денег, чем за то же время награбили будущие обитатели четырех каторжных тюрем Франции, правосудие относилось к нему почтительно. Ни разу не нарушил он правил чести. Карточные долги он платил с щепетильной пунктуальностью. Изумительный игрок, он садился за карточный стол с самыми родовитыми аристократами и посланниками. Он бывал на обедах у всех членов дипломатического корпуса. Он неоднократно дрался на дуэли и отправил на тот свет двух-трех противников, можно сказать, попросту убил их, так как отличался непревзойденной ловкостью и хладнокровием. Никто из молодых людей не мог сравниться с ним в умении одеваться, в тонкости манер, в изяществе речи, в непринужденности, во всем, что когда-то считалось высшим аристократизмом. Будучи пажом импера-

тора, он с двенадцатилетнего возраста упражнялся в верховой езде и слыл одним из самых искусных наездников. Граф всегда держал пять лошадей, которых пускал на скачки, и всегда был законодателем мод. И, наконец, он был самым неутомимым за ужином в компании молодых людей; пил больше, чем самые выносливые его собутыльники, и вставал из-за стола бодрый, готовый хоть сейчас начать сызнова, точно кутеж был его родной стихией. Максим принадлежал к тем презираемым людям, которые умеют подавлять это презрение наглостью и внушать людям страх, но он отнюдь не заблуждался относительно своей репутации. В этом была его сила. Люди сильные всегда первые критикуют самих себя.

При Реставрации он довольно удачно извлекал выгоду из своего звания пажа императора; он приписывал своим якобы бонапартистским взглядам ту неприязнь, с которой его встречали в различных министерствах, когда он предлагал свои услуги Бурбонам; ибо, несмотря на большие связи, родовитость и опасные таланты, Максим де Трай не достиг ничего, и тогда он принял участие в заговоре, который вызвал падение старшей ветви Бурбонов. Максим принадлежал к сообществу, затеянному поначалу ради забавы, случайно (см. «История тринадцати»), и которое впоследствии, естественно, обратилось к политике всего за пять лет до Июльской революции. Когда младшая ветвь вслед за народом Парижа двинулась на старшую ветвь и завладела троном, Максим снова пустил в ход свою приверженность к Наполеону, о котором помышлял столь же мало, сколько о своей первой любовной шалости. Он оказал тогда весьма важные услуги, признававшиеся, впрочем, с крайней неохотой, так как он слишком уж настойчиво требовал вознаграждения от людей, знавших счет деньгам. При первом же отказе Максим занял враждебную позицию, угрожая разгласить некоторые малоприятные подробности, ибо у молодых династий, как и у младенцев, пеленки в пятнах.

Когда де Марсе получил пост министра, он исправил ошибку тех, кто не сумел оценить этого человека; он стал давать ему тайные поручения, для которых нужна совесть, обработанная молотом нужды, ловкость, готовая

на все, бесстыдство и особенно хладнокровие; нужны дерзость и верный глаз, присущие бандитам мысли и высокой политики. Подобные люди, способные служить ее орудиями, столь же редки, сколь необходимы. Ради своих целей де Марсе ввел Максима в высшее общество; он изобразил его как человека, созревшего в страстях, умудренного опытом, знающего жизнь и людей, которому путешествия и известная наблюдательность помогли изучить европейские дела, политику иностранных кабинетов и связи всех влиятельных семей в Европе. Де Марсе убедил Максима в необходимости создать для себя собственный кодекс чести; он показал ему, что умение молчать есть не столько добродетель, сколько расчет; что правители никогда не откажутся от услуг человека солидного и ловкого, надежного и гибкого.

— В политике шантаж действителен только один раз,— сказал он Максиму, порицая его за то, что тот прибег к угрозе.

Максим был человеком, способным оценить всю глубину этих слов.

Когда де Марсе умер, граф Максим де Трай вернулся к прежней жизни. Каждый сезон он ездил на воды, чтобы играть, а зимой возвращался в Париж; но если он иногда и получал значительные суммы из весьма ревниво охраняемых кошельков, то эта полуподачка, эта плата за бесстрашие человеку, который мог пригодиться в любую минуту и, кроме того, был посвящен в секреты тайной дипломатии, являлась недостаточной для пышной и расточительной жизни, какую вел король всех денди, тиран нескольких парижских клубов. Поэтому вопрос о деньгах часто причинял графу Максиму сильное беспокойство. Не владея недвижимостью, он, сделавшись депутатом, был лишен возможности укрепить свое положение; не занимая определенной должности, он не мог приставить нож к горлу какому-нибудь министру, чтобы вырвать у него звание пэра Франции. А он уже чувствовал на себе неумолимую работу времени, ибо излишества истощили и его самого и разнообразные источники его доходов. Невзирая на свой внешний блеск, он знал себя и не обманывался на собственный счет; он чувствовал, что пора всему этому положить конец и — жениться.

Как человек умный, он отлично разбирался в своем положении и понимал, что оно весьма сомнительно. Поэтому он не мог рассчитывать найти себе жену ни в высшем парижском обществе, ни в буржуазной среде; требовалось необычайное коварство, притворное добродушие и умение услужить, чтобы его терпели, ибо все желали его падения, и малейшая неудача могла его погубить. Попади он в тюрьму Клиши или в изгнание из-за каких-нибудь просроченных векселей, он уже не мог бы подняться со дна этой пропасти, где обретается столько политических мертвецов, которые вряд ли способны утешить друг друга. В настоящее время он опасался, как бы на него не обрушилась часть того грозно нависшего свода, которым долги нависают над головой многих парижан. Он сидел мрачный, нахмуренный, отказался играть в карты, в беседе с дамами обнаружил какую-то странную рассеянность и, наконец, совсем замолчал, погруженный в свои думы, удобно устроившись в глубоком кресле, откуда он сейчас внезапно поднялся, подобно призраку Банко. Стоя посреди комнаты, спиной к камину, в ярком свете канделябров, освещавших его с обеих сторон, граф Максим де Трай чувствовал, что взоры всех присутствующих прямо или украдкой обращены на него. Те несколько слов, которые он услышал о себе, обязывали его принять горделивую позу, но он был достаточно умен, чтобы держаться без вызова и вместе с тем показать себя выше подозрений.

Живописец не мог бы более удачно выбрать минуту, пожелай он запечатлеть облик этого, без сомнения, незаурядного человека. Разве не исключительные качества нужны для того, чтобы играть подобную роль, чтобы в продолжение тридцати лет неизменно покорять женщин, чтобы решиться применить свои таланты только за кулисами, то подстрекая народ к возмущению, то перехватывая секреты коварной политики, одерживая победы только в дамских будуарах или в кабинете министра. Разве нет своего рода величия в том, кто, поднявшись до самых сложных расчетов высокой политики, снова бесстрастно погружается в пустоту рассеянной жизни? Какой железной волей должен обладать тот, кого не могут сломить ни переменчивое счастье игрока, ни крутые повороты в политике, ни жестокие требования моды

и света, ни расточительство, к коему вынуждают необходимые для карьеры любовные связи,— кто постоянно прибегает к разным уловкам и обманам, кто так искусно прячет свои намерения, скрывает столько коварных замыслов, столько различных махинаций под непроницаемым изяществом манер? Если бы ветер фортуны надул эти всегда поднятые паруса, если бы счастливый случай помог Максиму, он стал бы Мазарини, маршалом Ришелье, Потемкиным или, скорее, быть может, Лозеном, но без тюрьмы Пиньероль.

Хотя граф был довольно высокого роста и сухощав, у него уже намечалось брюшко, но он не позволял ему, по выражению Брийа-Саварена, переступать границы благородной величавости. Впрочем, фраки Максима де Трай были так превосходно сшиты, что его фигура еще сохраняла юношескую стройность, легкость и гибкость, которыми он, вероятно, был обязан постоянным физическим упражнениям, фехтованию, верховой езде и охоте. В наружности Максима было то пленительное изящество и обаяние, которые присущи аристократу, и они еще подчеркивались гордой осанкой. Его продолговатое лицо, чертами напоминавшее фамильный тип Бурбонов, было обрамлено бородой и бакенбардами, тщательно завитыми, подстриженными по моде и черными как смоль. Этот цвет, равно как и цвет пышной шевелюры, поддерживался при помощи весьма дорогого индийского косметического средства, применяемого в Персии; Максим хранил его секрет в строгой тайне. Таким образом ему удавалось скрыть седину, уже давно убелившую его голову. Особенность этого средства, которым персы красят бороду, заключается в том, что оно совсем не придает никакой жесткости чертам лица; прибавляя или убавляя в его составе индиго, можно менять оттенок краски в соответствии с цветом кожи. Вероятно, эту операцию и увидела в окно г-жа Молло; однако гости до сих пор поддразнивают ее, спрашивая, что именно она увидела. У Максима был прекрасный лоб, голубые глаза, греческий нос, красивый рот и резко очерченный подбородок; глаза были окружены сетью тоненьких черточек, словно наведенных лезвием бритвы, и настолько неприметных, что издали их не было видно. Такие же черточки проступали и на висках. Все лицо также было

изрезано мелкими морщинками. Глаза, как у всех игроков, проводящих ночи за карточным столом, сверкали каким-то стеклянным блеском; и от этого взгляд, хотя и потускневший, был еще страшнее, он внушал ужас. В этом непроницаемом взгляде чувствовался скрытый огонь, лава неугасших страстей. Рот, некогда столь свежий и алый, теперь уже потерял свою яркость; линия губ перекосилась, правый угол рта опустился. Эти искривленные черты как бы говорили о лживости. Порок наложил на них свою печать; но прекрасные зубы сохранили свою ослепительную белизну.

Эти следы времени исчезали в общем впечатлении от лица и фигуры. Весь облик его был по-прежнему столь привлекателен, что ни один из молодых людей не мог соперничать с Максимом на прогулках верхом в Булонском лесу, где он казался более юным, более изящным, чем самые изящные и юные из них. Этой привилегией вечной молодости обладали некоторые люди того времени.

Граф был тем более опасен, что производил впечатление человека покладистого, беспечного и ничем не обнаруживал тех страшных замыслов, которые руководили им во всем. В этом чудовищном безразличии, которое позволяло ему с одинаковым искусством сеять смуту в народе и участвовать в придворной интриге с целью укрепить королевскую власть, было даже какое-то своеобразное обаяние. Внешнее хладнокровие, сдержанность поведения никогда не кажутся подозрительными, особенно во Франции, где люди привыкли поднимать шум из-за любой безделицы.

Граф, как того требовала мода в 1839 году, был в черном фраке, темно-синем кашемировом жилете, вышитом голубыми цветочками, в черных панталонах, серых шелковых чулках и лакированных туфлях. Часы, лежавшие в одном из жилетных карманов, были прикреплены к петлице изящной цепочкой.

— Растиньяк,— сказал он, принимая чашку чая из рук миловидной г-жи де Растиньяк,— поедемте со мной в австрийское посольство?

— Дорогой друг, я слишком недавно женат, чтобы возвращаться к себе врозь с женой.

— Значит, в будущем...— проговорила молодая графиня, обернувшись и посмотрев на своего мужа.

— Кто думает о будущем? — ответил Максим.— Но если вы разрешите мне обратиться с петицией к графине, я не сомневаюсь в успехе.

Мягким движением Максим отвел графиню в сторону и шепнул ей несколько слов; а она взглянула на свою мать и сказала Растиньяку:

— Если хотите, поезжайте с господином де Трай в посольство, матушка проводит меня домой.

Несколько минут спустя баронесса де Нусинген и графиня де Растиньяк вышли вместе. Максим и Растиньяк спустились вслед за ними и уселись в карету барона де Нусингена.

— Чего вы от меня хотите? — спросил Растиньяк.— Что случилось, Максим? Вы меня просто за горло хватаете... Что вы сказали моей жене?

— Что мне нужно поговорить с вами,— ответил г-н де Трай.— Вы-то счастливец! Вы в конце концов женились на наследнице миллионов Нусингена, правда, вы это заслужили... двадцатью годами каторги!

— Максим!

— А я... я, по-видимому, внушаю всем какие-то странные подозрения,— продолжал он в ответ на восклицание Растиньяка.— Ничтожество, какой-то дю Тийе смеет спрашивать, хватит ли у меня духу покончить с собой! Пора остепениться. Возможно, от меня хотят отделаться? Или нет? Вы можете это узнать, вы это узнаете,— сказал Максим, жестом останавливая Растиньяка.— Вот мой план, выслушайте меня. Вы должны оказать мне услугу, я уже вам оказывал их и еще могу оказать. Жизнь, которую я веду, наскучила мне, я хочу на покой. Помогите мне вступить в брак, который даст мне полмиллиона; когда я буду женат, назначьте меня посланником в какую-нибудь захудалую американскую республику. Я останусь на этом посту столько, сколько понадобится, чтобы можно было получить назначение на такого же рода пост в Германии. Если я чего-нибудь стою, меня вытащат оттуда; если ничего не стою, мне дадут отставку. Быть может, у меня родится ребенок, я воспитаю его в строгости; у его матери будет состояние, я сделаю из него дипломата, он может стать послом.

— Вот мой ответ,— сказал Растиньяк.— Между властью в пеленках и властью малолетней идет борьба более ожесточенная, чем предполагают простаки. Власть в пеленках — это палата депутатов, и не будучи сдерживаемой палатой пэров...

— Ах, да! — сказал Максим.— Ведь вы пэр Франции.

— Разве я теперь не был бы пэром при любом режиме? — спросил Растиньяк.— Но не прерывайте меня, ведь вся эта неразбериха и вас касается. Палата депутатов неизбежно станет полновластной, как и предсказывал де Марсе, единственный человек, который мог бы спасти Францию, или, вернее, кабинет министров,— ибо народы не умирают: они либо порабощены, либо свободны, вот и все. Малолетняя власть — это король, получивший корону в августе тысяча восемьсот тридцатого года. Нынешний кабинет побежден, он распустил палату и хочет провести выборы, чтобы их не провел будущий кабинет; но он не верит в успех. Если он одержит победу на выборах, династия будет в опасности; если же кабинет окажется побежденным — династическая партия еще сможет успешно бороться. Ошибки палаты пойдут на пользу воле одного, воле, которая, к несчастью, в сфере политики — все. Если один человек становится всем, как это было с Наполеоном, то наступает момент, когда нужно себя заместить, но так как все талантливые люди отстранены — великое «все» не находит себе заместителя. Заместитель — это то, что называют кабинетом министров, а во Франции нет кабинета, есть только преходящая воля одного. Во Франции ошибаться могут только люди, стоящие у власти. Оппозиция же не может ошибаться, она может проиграть все сражения, но ей достаточно, как союзникам в тысяча восемьсот четырнадцатом году, победить один-единственный раз. И тогда в «три славных дня» она сокрушает все. Поэтому, чтобы унаследовать власть, нужно не управлять, а выжидать. По своим личным убеждениям я принадлежу к аристократии, а по своим общественным взглядам — к Июльской монархии. Орлеанский дом помог мне восстановить состояние моего дома, и я навсегда останусь ему предан.

— Ну, это «навсегда» господина Талейрана, разумеется,— сказал Максим.

— В настоящий момент я ничего не могу для вас сделать,— продолжал Растиньяк,— через полгода мы уже не будем у власти. Да, эти полгода будут агонией, я это знал. Мы предвидели нашу участь, когда составлялось министерство, наш кабинет — это временная затычка. Но если вы отличитесь во время предстоящей предвыборной борьбы, если вы привлечете на сторону династии один лишний голос, одного надежного депутата, то ваше желание будет исполнено. Я могу сказать о ваших благих намерениях, я могу заглянуть в кое-какие секретные документы, в не подлежащие оглашению отчеты и найти для вас какое-нибудь дело потруднее. Если оно вам удастся, я могу указать на ваши таланты, вашу преданность и потребовать для вас награды. Взять себе жену, дорогой мой, вы можете только в семье какого-нибудь падкого на титулы фабриканта, и то в провинции. В Париже вас слишком хорошо знают. Значит, нужно найти миллионера, выскочку, у которого есть дочь и которого снедает желание покрасоваться в Тюильри.

— А до тех пор пусть ваш тесть даст мне взаймы двадцать пять тысяч франков; тогда он будет заинтересован в том, чтобы в случае успеха от меня не отделались одними обещаниями, и, кроме того, будет содействовать моему браку.

— Вы хитры, Максим, вы мне не доверяете. Но я люблю умных людей, я займусь вашим делом.

Они подъехали к посольству. Войдя в гостиную, Растиньяк подошел к министру внутренних дел и отвел его в сторону. Граф Максим де Трай, казалось, был всецело занят старухой графиней де Листомер, но на самом деле следил за беседой двух пэров Франции; он ловил каждый жест, старался понять выражение их лиц и наконец перехватил благосклонный взгляд, брошенный на него министром.

В час ночи, когда Максим и Растиньяк, выйдя из посольства, остановились на крыльце, прежде чем сесть каждый в свою карету, Растиньяк сказал:

— Зайдите ко мне, когда дело будет ближе к выборам. За это время я разузнаю, где оппозиция имеет меньше всего шансов и какую выгоду можем мы с вами извлечь из этого.

— Двадцать пять тысяч франков нужны дозарезу,— ответил ему де Трай.

— Ну так скройтесь.

Однажды на рассвете, спустя полтора месяца, граф де Трай тайно, в наемном экипаже прибыл на улицу Бурбонов. У подъезда роскошного особняка, купленного бароном де Нусингеном для своего зятя, он отпустил экипаж, оглянулся, не следят ли за ним, и, войдя в дом, стал ждать в маленькой гостиной пробуждения Растиньяка. Несколько минут спустя лакей провел Максима в кабинет, куда уже вышел этот государственный муж.

— Мой друг,— сказал ему Растиньяк,— я могу сообщить вам тайну, которая через два дня будет разглашена всеми газетами и из которой вы сможете извлечь выгоду. Бедняга Шарль Келлер, который так ловко танцевал мазурку, убит в Африке, а он был нашим кандидатом в округе Арси. Его место не должно остаться пустым. Вот копии с двух донесений — помощника префекта и полицейского комиссара,— предупреждающие министра, что избрание нашего бедного друга натолкнулось бы на некоторые препятствия. В донесении полицейского комиссара содержатся сведения об Арси, которых такому человеку, как ты, будет вполне достаточно; соперник покойного Шарля притязает на звание депутата, ибо рассчитывает жениться на богатой наследнице... Для умного человека этим сказано все. Поместья Сен-Синей, княгини де Кадиньян и Жоржа де Мофриньеза — в двух шагах от Арси; вы сумеете, если понадобится, заполучить голоса легитимистов. Итак...

— Не трать лишних слов,— сказал Максим.— Полицейский комиссар там все тот же?

— Да.

— Достань мне письмо к нему.

— Здесь, мой друг,— сказал Растиньяк, вручая Максиму целую папку,— вы найдете два письма к графу Гондревилю. Вы были пажом, он сенатором, вы сговоритесь. Жена Франсуа Келлера весьма набожная дама, вот для нее письмо от госпожи Карильяно, супруги маршала. Она стала сторонницей династии, она горячо рекомендует вас и, кстати, едет в Арси следом за вами. Еще одно слово: остерегайтесь супрефекта, он способен козырнуть этим Симоном Жиге и заручиться поддержкой

бывшего председателя совета министров. Если вам понадобятся письма, полномочия, рекомендации — пишите мне.

— А двадцать пять тысяч франков? — спросил Максим.

— Подпишите этот вексель на имя дю Тийе — вот деньги.

— Я не сомневаюсь в успехе,— сказал граф,— вы можете обещать королю, что депутат округа Арси будет предан ему душой и телом. Если я не пройду, бросьте меня на произвол судьбы.

Час спустя Максим де Трай в своем тильбюри катил по дороге в Труа.

Сцены военной жизни

ШУАНЫ, ИЛИ БРЕТАНЬ В 1799 ГОДУ

Господину Теодору Даблену, негоцианту.
Первому другу — первое произведение.
Де Бальзак.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗАСАДА

В один из первых дней VIII года, в начале вандемьера, или, по обычному календарю, в конце сентября 1799 года, человек сто крестьян и довольно большое число горожан шли утром из Фужера в Майенну и уже поднимались на гору Пелерину, на полпути от Фужера до Эрне, маленького городка, где путешественники обычно останавливаются на отдых. Этот отряд, разделенный на группы, неодинаковые по своей численности, представлял собою соединение столь странных костюмов и столь необычное сборище людей разных профессий и уроженцев разных местностей, что нелишним будет привести их отличительные черты, дабы придать нашему повествованию те яркие краски, которые теперь так ценят, хотя, по мнению иных критиков, они мешают изображению чувств.

Крестьяне в большинстве своем шли босиком, одетые только в длинный козий мех, прикрывавший их от шеи до колен, да в штаны из очень грубого белого холста,— толстая и неровная его пряжа изобличала слабое развитие промыслов в этом крае. Длинные космы прямых волос так естественно переплетались с шерстью и так

плотно закрывали лица, склоненные к земле, что легко можно было счесть козий мех, облекавший эти жалкие существа, за их собственный и принять их за тех животных, чьи шкуры служили им одеждой. Однако, присмотревшись, вы увидели бы, как сквозь волосы блестят глаза, словно капли росы в густой листве, но взгляд этих глаз, хотя в них и отражался человеческий разум, несомненно, скорее отпугивал, чем привлекал. На голове у каждого была грязная шапка из красной шерсти, похожая на фригийский колпак, который Республика в ту пору избрала эмблемой свободы. Каждый нес на плече крепкую дубовую палку, и на конце этой суковатой дубинки висел длинный, но тощий холщовый мешок.

У некоторых поверх колпака была надета грубая войлочная шляпа с широкими полями, украшенная чем-то вроде синели — пестрым шерстяным шнурком, обвивавшим тулью; вся одежда была у них сшита из такого же холста, как штаны и мешки их спутников, и в ней едва были заметны признаки современной цивилизации. Длинные их волосы ниспадали на воротник куртки с круглыми полами, доходившими до бедер, и с боковыми квадратными кармашками,— одежда, весьма обычная у крестьян Западной Франции. Под курткой, открытой на груди, виднелся холщовый жилет с большими пуговицами. Одни из этих крестьян были обуты в деревянные сабо, другие бережно несли в руках кожаные башмаки. Их одежда, заношенная, грязная, потемневшая от пота и пыли и менее своеобразная, нежели описанная нами выше, имела свою историческую ценность, являясь как бы переходной ступенью к почти нарядному одеянию нескольких человек, рассеянных в толпе и блиставших в ней подобно цветам. В самом деле, их синие холщовые шаровары, красные или желтые жилеты, украшенные двумя параллельными рядами медных пуговиц и похожие на квадратные латы, выступали среди белых и меховых одежд яркими пятнами, как васильки и маки в поле пшеницы. У иных на ногах были сабо, которые бретонские крестьяне сами превосходно умеют делать, но у большинства — очень грубые башмаки с железными подковками, а платье, сшитое из толстого сукна, весьма напоминало старинные французские кафтаны, ибо и до наших дней крестьяне все еще свято хранят этот покрой. Воротник рубашки застегивал-

ся серебряной запонкой, изображавшей сердце или якорь. Котомки были у них набиты плотнее, чем у других, а многие добавили к своему дорожному снаряжению флягу, несомненно с водкой, и держали ее на бечевке, надетой через голову.

Несколько горожан выделялись среди этих полудикарей приметами самой последней местной моды: они носили круглые шляпы, треуголки или фуражки, сапоги с отворотами или башмаки и гетры, но так же, как и у крестьян, в их костюмах не было однообразия. Человек десять были одеты в короткие куртки, известные при Республике под именем *карманьолы*. Другие, судя по всему, богатые ремесленники, с головы до ног облеклись в одноцветное сукно. Самые щеголеватые отличались более или менее потертыми фраками или сюртуками из синего или зеленого сукна; эти горожане, несомненно, именитые особы, были обуты в сапоги различных фасонов и шли, бодро помахивая толстой тростью, как люди, примирившиеся со своей участью. Тщательно напудренные головы и довольно искусно заплетенные косицы свидетельствовали даже о некоторой изысканности, какую прививают начатки богатства или воспитания. Всех этих людей, казалось, удивленных тем, что их как бы случайно собрали из разных мест, можно было счесть за толпу удрученных погорельцев, изгнанных пожаром из родных гнезд. Но время и место такого сборища придавали ему совсем иное значение. Отряд почти целиком состоял из людей, которые четыре года тому назад воевали против Республики, и наблюдатель, посвященный в тайны гражданских распрей, волновавших в те годы Францию, легко распознал бы тут немногих граждан, на чью верность страна могла рассчитывать. Одна довольно резкая черта не оставляла никакого сомнения в том, что этих соединенных вместе людей разделяла разница в убеждениях. Только республиканцы шли весело. Остальные, хотя и заметно отличались друг от друга одеждой, все же сохраняли нечто общее в выражении лица, в позах и в движениях, равно отмеченных несчастьем: и на горожанах и на крестьянах лежал отпечаток глубокого уныния. В их молчании была угрюмая скорбь; казалось, они сгибались под бременем одной и той же мысли, вероятно, зловещей, но тщательно сокрытой, ибо лица их были непро-

ницаемы, и только необычная медлительность шагов могла выдать какие-то тайные замыслы этих людей. У некоторых из них висели на груди четки, несмотря на опасность выставлять напоказ символы религии, скорее отмененной, чем уничтоженной; время от времени они встряхивали волосами, осторожно поднимали голову, украдкой разглядывали лес, тропинки, скалы, обступившие дорогу, и всем своим видом напоминали тогда охотничью собаку, которая держит нос по ветру, стараясь учуять дичь; не слыша ничего, кроме однообразного звука шагов своих безмолвных спутников, они вновь опускали голову, и вновь возвращалось к ним выражение безнадежности, словно у преступников, которых гонят на каторгу, где им суждено жить и умереть.

Движение отряда на Майенну, разнородный его состав и различные чувства этих людей довольно просто объяснились присутствием другого отряда: в голове колонны шло около ста пятидесяти вооруженных солдат в походном снаряжении. под командой *начальника полубригады*. Для тех, кто не был свидетелем драматических событий революции, нелишним будет указать, что такое

наименование заменило чин полковника, упраздненный патриотами как слишком аристократический. Солдаты принадлежали к пехотной полубригаде, стоявшей гарнизоном в Майенне. В те времена раздоров жители Западной Франции называли всех солдат Республики *синими*. Такое прозвище связано с первым республиканским мундиром, синим с красной выпушкой, и воспоминание о нем еще настолько свежо, что описывать этот мундир излишне. Итак, отряд синих служил конвоем целого сборища людей, которые почти все испытывали глубокое недовольство оттого, что их направляли в Майенну, где военная дисциплина должна была быстро придать им единообразие духа, одежды и выправку, пока совершенно у них отсутствовавшую.

Колонна эта представляла собою контингент ополченцев, с трудом собранный в Фужерском округе по закону от 10 мессидора о массовом наборе, принятому Исполнительной директорией Французской республики. Правительство потребовало сто миллионов деньгами и сто тысяч солдат, желая спешно послать подкрепление французским армиям, ибо в ту пору их разбили австрийцы в

Италии, пруссаки в Германии, а в Швейцарии угрожали им русские, которым Суворов внушил надежду победить Францию. Западные департаменты, известные под именем Вандеи, Бретань и часть Нижней Нормандии, за три года до того усмиренные после четырехлетней войны стараниями генерала Гоша, видимо, воспользовались моментом и возобновили борьбу. Пред лицом стольких врагов Республика вновь обрела свою первоначальную энергию. Прежде всего она приняла меры для защиты департаментов, подвергшихся нападению, и одной из статей закона от 10 мессидора поручила заботу об этом местным патриотам. На деле же правительство, не имея ни денег, ни войск для борьбы с внутренним врагом, вышло из затруднения законодательным фанфаронством: оно не могло ничего послать в восставшие департаменты, зато оказало им доверие. Может быть, оно надеялось, что эта мера, вооружив одних граждан против других, подавит мятеж *в самом его зародыше*. Статья закона, источник кровавых раздоров, составлена была следующим образом: *сформировать в западных департаментах вольные дружины*. Это недипломатичное мероприятие принято было на западе Франции столь враждебно, что Директория сразу потеряла надежду восторжествовать и в скором времени потребовала у двух национальных собраний особых мер в отношении тех небольших контингентов, которые следовало набрать в силу статьи закона о «вольных дружинах». Незадолго до начала событий, описываемых в этом повествовании, был обнародован новый закон, изданный в третий дополнительный день VII года,— он предписывал сводить эти слабые контингенты в легионы. Легионы должны были носить название департаментов Сарты, Орна, Майенны, Иля-и-Вилены, Морбигана, Нижней Луары, Мэна-и-Луары. *Эти легионы,*— гласил закон,—*предназначенные исключительно для борьбы с шуанами, ни в коем случае не подлежат переводу на границы Франции*. Такие скучные, но мало кому известные подробности нужны для того, чтобы понять и слабость Директории и причину похода этого сборища людей под конвоем синих. Пожалуй, не лишним будет добавить также, что прекрасные и патриотические постановления Директории никогда не получали иного осуществления, кроме опубликования их в «Бюллетене законов». Декреты

Республики уже не опирались на идеи, обладавшие великой моральной силой, на патриотизм или террор, которые когда-то заставляли выполнять их,— на бумаге создавались миллионы франков и сотни тысяч солдат, но ни деньги не поступали в казну, ни солдаты — в армию. Пружина революции ослабла в неумелых руках, и законы, вместо того, чтобы подчинять себе обстоятельства, приспособлялись к ним.

В департаментах Иля-и-Вилены и Майенны командующим войсками был тогда старый офицер; увидев на месте, какие меры лучше всего принять, он решил попытаться вырвать рекрутов у Бретани и особенно у Фужера, одного из самых опасных очагов восстания шуанов. Он надеялся ослабить таким путем силы округов, угрожавших Республике. Преданный родине солдат воспользовался мнимой предусмотрительностью закона и объявил, что он тотчас же экипирует, вооружит рекрутов и готов выплатить месячное жалованье, обещанное правительством этим особым войсковым частям. Хотя Бретань в те годы отказывалась от всякого рода военной службы, призыв благодаря этим посулам прошел весьма удачно и с такой быстротой, что командующий даже встревожился. Но старого вояку трудно было провести. Как только он увидел, что часть ополченцев немедленно явилась в округ, он заподозрил какую-то скрытую причину столь быстрого сбора, и, пожалуй, верно угадал ее, предположив, что бретонцы хотят добыть себе оружие. Он решил тогда, не дожидаясь запоздавших, отойти на Алансон, ближе к покорным округам, хотя из-за восстания, разраставшегося в крае, успех этого плана был весьма гадательным. Повинуясь инструкциям, он хранил в глубочайшей тайне неудачи французских армий и малоутешительные вести из Вандеи и в то утро, с которого начинается наш рассказ, сделал попытку достичь форсированным маршем Майенны, где он намеревался применить закон по-своему: пополнить *новобранцами* из Бретани состав полубригады. Слово «новобранец», впоследствии столь распространенное, впервые заменило в тексте законов название «рекрут», первоначально данное молодым солдатам республиканских войск. Прежде чем выступить из Фужера, командир полубригады отдал своим солдатам приказ тайно взять для всего отряда запас зарядов и хлеба,

скрыв от новобранцев, что им предстоит долгий путь: он твердо решил не делать привала в Эрне, где его рекруты, оправившись от неожиданности, могли бы соединиться с шуанами, без сомнения, рассеянными в окрестностях города. Мрачное безмолвие, царившее среди новобранцев, ошеломленных маневром старого республиканца, и медлительность, с которой они поднимались в гору, в высочайшей степени возбуждали подозрения начальника полубригады, носившего фамилию Юло. Характерные подробности, указанные в нашем описании, представляли для него жизненный интерес, и поэтому он шел в безмолвном раздумье среди пяти офицеров, которые почтительно молчали, видя его озабоченность. Но в ту минуту, когда Юло поднялся на вершину Пелерины, он вдруг, точно по инстинкту, обернулся, желая взглянуть на встревоженные лица новобранцев, и сам прервал молчание. Бретонцы шли все медленнее и уже отстали от конвоя шагов на двести. Юло возмутился и сделал свойственную ему одному гримасу.

— Какого дьявола! Что творится с этими неженками!— крикнул он зычным голосом.— Наши новобранцы, видно, не раскрывают, а закрывают свои циркули.

При этих словах сопровождавшие его офицеры разом обернулись, словно проснувшись от внезапного шума. Сержанты и капралы последовали их примеру, и рота остановилась, не дожидаясь желанной команды «стой!». Сначала офицеры бросили взгляд на колонну, поднимавшуюся по склону горы подобно длинной черепахе, но затем эти молодые люди, которых защита отчизны оторвала, как и многих других, от возвышенных умственных трудов и в которых война еще не угасила артистического чувства, поразились зрелищем, открывшимся перед ними, и оставили без ответа замечание Юло, не подозревая всей его важности. Они пришли из Фужера, откуда также видна картина, представшая их глазам, с тою лишь разницей, какую вносят в нее изменения перспективы, и все же они не могли отказаться от удовольствия в последний раз полюбоваться ею, подобно тому как dilettanti [1] тем больше наслаждаются музыкальным произведением, чем лучше знают все его детали.

С вершины горы перед ними развернулась долина

[1] Любители искусства *(итал.)*.

Куэнона, а на горизонте самая возвышенная точка занята была городом Фужером. Крепость его, построенная на высокой скале, господствует над четырьмя важного значения дорогами, и благодаря этой позиции он некогда был одним из ключей Бретани. С Пелерины офицеры увидели во всей его шири бассейн Куэнона, столь же замечательный необычайным плодородием почвы, как и разнообразием пейзажей. Со всех сторон поднимаются здесь амфитеатром сланцевые горы; красноватые их склоны одеты дубовыми лесами, и меж них таятся прохладные лощины. Скалы стоят широкой, с виду округлой оградой, а внутри нее, будто английский парк, мягко раскинулся огромный луг. Множество живых изгородей вокруг наследственных неравных клочков земли, обсаженных деревьями, придают этому зеленому ковру облик, редкостный среди французских пейзажей, и тайна его очарования заключается в многообразии контрастов, которые могут поразить даже самую холодную душу. В эту минуту вся картина края была оживлена мимолетным блеском, каким природа любит порою усилить красоту своих нетленных творений. Пока отряд пересекал равнину, восходящее солнце постепенно рассеяло реявший над лугами белый легкий туман сентябрьского утра, и в тот миг, когда офицеры обернулись, словно чья-то незримая рука сняла с пейзажа последний из окутавших его покровов — дымку, тонкую, как пелена прозрачного газа, наброшенная на драгоценности, которые просвечивают сквозь нее, дразня любопытство. На всем широком горизонте не было в небе ни единого облачка, чья серебристая белизна могла бы убедить, что этот огромный голубой купол — действительно небосвод. Он казался скорее шелковым шатром, опиравшимся на неровные горные вершины и как будто воздвигнутым в воздухе для того, чтобы защитить от непогоды великолепное сочетание полей, лугов, ручьев и рощ. Офицеры не могли налюбоваться этим простором, где нежданно возникло перед ними столько сельских красот. Одни колебались, не зная, на какой рощице остановить свой взгляд, ибо каждая изумляла разнообразием окраски, казавшейся еще богаче от суровых бронзовых тонов пожелтевшей листвы на фоне изумрудной зелени неравномерно скошенных лугов. Других привлекали контрастами своих оттенков убранные нивы, че-

редование золотистых полос сжатои ржи и красноватых полей гречихи, где снопы стояли в конических копнах, словно ружья, составленные солдатами в козлы на бивуаке. То тут, то там виднелись темные шиферные кровли жилищ, и над ними поднимался белый дымок; но больше всего манили взор обманчивой оптической игрой и почему-то пробуждали в душе смутную мечтательность живые серебристые линии извилистых притоков Куэнона. Благоуханная свежесть осеннего ветра, мощные запахи лесов поднимались облаком фимиама, опьяняя наших зрителей, с восхищением созерцавших этот прекрасный край, его незнакомые цветы, буйную растительность и яркую зелень, которой он соперничает с Британией, своей одноименной соседкой. Небольшие стада оживляли эту сцену, уже столь захватывающую. Пели птицы, и над долиной в воздухе трепетала негромкая нежная мелодия. Если читатели пожелают призвать на помощь силу воображения и оно нарисует им роскошную игру света и тени, мглистый горный горизонт, фантастические дали, открывавшиеся там, где пространство не заслоняли деревья, где воды разливались плесами или бежали прихотливыми излучинами, если воспоминания, так сказать, раскрасят этот набросок, столь же беглый, как и то мгновение, когда он возник,— люди, для которых такие картины не лишены прелести, все же получат несовершенное представление о волшебном зрелище, поразившем офицеров до глубины молодой впечатлительной души.

Они подумали тогда, что беднягам новобранцам тяжело покинуть родной край и дорогие им обычаи,— быть может, для того, чтобы умереть на чужбине; они поняли и невольно простили этим людям их медлительность, но с великодушием, свойственным солдату, скрыли свое снисходительное сочувствие, делая вид, что они просто желают изучить военные позиции этой живописной местности. Однако Юло — лучше называть его «командир», чтобы избежать неблагозвучного наименования «начальник полубригады»,— был одним из тех солдат, которые пред лицом опасности не поддаются очарованию пейзажей, будь это даже рай земной. Он недовольно вскинул голову и насупил густые черные брови, придававшие его лицу суровое выражение.

— Какого дьявола они мешкают? Почему не идут?—

вторично спросил он голосом, огрубевшим в походах.— Или в деревне нашлась какая-нибудь добрая богоматерь, и они пожимают ей на прощание руку?

— Ты спрашиваешь — почему? — откликнулся чей-то голос.

Голос этот напоминал звук рога, которым крестьяне в долинах Бретани собирают свои стада; услышав его, командир резко обернулся, словно его кольнули шпагой, и в двух шагах от себя увидел существо, еще более странное, нежели новобранцы, которых вели в Майенну на службу Республике. У этого незнакомого человека, коренастого и плечистого, голова походила на бычью, и не только своей величиною; от широких мясистых ноздрей нос его казался короче, чем на самом деле; толстые губы, вздернутые над белоснежными зубами, черные круглые глаза и грозные брови, оттопыренные уши и рыжие волосы — все это менее соответствовало нашей прекрасной кавказской расе, чем роду травоядных. И, наконец, полное отсутствие признаков, свойственных человеку как существу общественному, делало эту обнаженную голову еще более примечательной. Лицо, бронзовое от загара, угловатыми своими контурами было сродни граниту, образующему подпочву в Бретани, и являлось единственной доступной взглядам частью тела этого необычайного существа, по самое горло закутанного в балахон из небеленого холста, еще более грубого, чем холст на шароварах самых бедных новобранцев. Балахон, в котором знатоки старины узнали бы «сей», или «сейон», древних галлов, доходил до пояса и пристегивался к штанам из козьей шкуры посредством кусочков дерева, грубо вырезанных и плохо очищенных от коры. Под этими меховыми чехлами, облегавшими бедра и ноги, нельзя было различить очертаний человеческого тела. Огромные сабо закрывали ступни. Длинные лоснящиеся волосы, почти не отличимые от козьей шерсти, окаймляли лицо двумя широкими прядями, как у средневековых статуй, еще встречающихся в старинных соборах. Вместо суковатой палки, которую несли на плече новобранцы, он прижимал к груди, точно ружье, искусно сплетенный из кожаных ремней кнут, вдвое длиннее обычных кнутов. Внезапное появление удивительного пришельца казалось легко объяснимым. Взглянув на него, офицеры предположили, что это

новобранец, или рекрут (слова эти еще употреблялись одно вместо другого), и что он поджидает остановившуюся колонну. Однако появление его почему-то поразило командира. Юло отнюдь не казался испуганным, но все же на лицо его легла тень беспокойства, и, смерив незнакомца взглядом, он повторил машинально, словно был поглощен мрачными мыслями:

— Да, почему они не идут? Ты не знаешь?

Сумрачный его собеседник ответил с акцентом, доказывавшим, что ему довольно трудно говорить по-французски.

— Потому что там начинается Мэн и кончается Бретань,— сказал он, протянув большую грубую руку по направлениею к Эрне.

И он с силой ударил тяжелым кнутовищем о землю у самых ног командира. Лаконическая отповедь незнакомца произвела на свидетелей этой сцены впечатление, подобное внезапному грохоту «тамтама» посреди плавных звуков музыкальной мелодии. Слово «отповедь» с трудом может передать ту ненависть и жажду мести, которую выразили высокомерный жест, отрывистая речь и весь облик незнакомца, носивший отпечаток свирепой и холодной энергии. Грубая, корявая оболочка этого человека, как будто вытесанная топором, черты лица, отмеченного тупым невежеством, придавали ему сходство с полубогом какого-то варварского культа. Он стоял в позе пророка, он появился словно дух самой Бретани, пробудившийся от трехлетнего сна для того, чтобы возобновить войну, где каждая победа неизменно влекла за собою двойной траур.

— Ну и образина! — тихо произнес Юло.— Очень похоже, что его подослали те молодчики, которые готовятся повести с нами переговоры ружейными выстрелами.

Пробормотав сквозь зубы эти слова, Юло перевел взгляд с незнакомца на пейзаж, с пейзажа на отряд, с отряда на крутые откосы дороги, поросшие вверху высокими кустами бретонского дрока, затем вновь обратил взор на незнакомца и, наконец, как будто подвергнув его немому допросу, резко сказал:

— Ты откуда?

Он впился в пришельца пронизывающим взглядом, стараясь разгадать тайну этого непроницаемого лица,

уже ставшего тупым и каменным,— обычная повадка отдыхающего крестьянина.

— С родины молодцов,— ответил незнакомец, не выказывая ни малейшего смущения.

— Как тебя зовут?

— Крадись-по-Земле.

— Почему ты носишь шуанскую кличку? Закон это запрещает.

Крадись-по-Земле, как назвал себя бретонец, посмотрел на Юло с неподдельно глупым недоумением, и старый воин подумал, что этот человек не понял его.

— Ты из фужерских новобранцев?

На этот вопрос Крадись-по-Земле ответил: «Не знаю»,— с такой интонацией, которая может привести в отчаяние и делает беседу невозможной. Он спокойно присел у дороги, вытащил из-за пазухи несколько кусков тонкой темной лепешки из гречневой муки — национальное лакомство, убогая прелесть которого понятна только бретонцам,— и с тупым, безразличным видом принялся за еду. В эту минуту он казался существом, вовсе лишенным разума, и офицеры сравнивали его то с одним из тех животных, что щипали траву на тучных пастбищах долины, то с дикарями Америки, то с каким-нибудь обитателем мыса Доброй Надежды. Даже самого командира обманул его вид, и он перестал было тревожиться, но вдруг, бросив из осторожности последний взгляд на этого человека, в котором он подозревал вестника близкой резни, он увидел у него в волосах, на балахоне и козьих шкурах колючки, обрывки листьев, веточки деревьев и кустов, как будто шуан долго пробирался сквозь лесную чащу. Тогда Юло многозначительно посмотрел на своего адъютанта Жерара, стоявшего рядом с ним, и, крепко сжав его руку, сказал вполголоса:

— Пошли за шерстью, а вернемся стриженными.

Удивленные офицеры молча переглянулись.

Здесь необходимо сделать отступление для того, чтобы опасения Юло стали понятны иным домоседам, привыкшим сомневаться во всем, ибо они ничего на своем веку не видели, и способным оспаривать самое существование Крадись-по-Земле и крестьян Западной Франции, чье поведение было в ту пору поразительным.

Слово gars, которое произносится как gâ (га), яв-

«ШУАНЫ, ИЛИ БРЕТАНЬ В 1799 ГОДУ».

«ШУАНЫ, ИЛИ БРЕТАНЬ В 1799 ГОДУ».

ляется остатком кельтского языка. Из нижнебретонского оно перешло во французский, и в современном нашем языке с этим словом связано особенно много воспоминаний о старине. Gais было главным оружием гаэлов, или галлов, gaisde означало — «вооруженный», gais — «храбрость», а gas — «сила». Эти сопоставления доказывают родство слова gars с выражениями, существовавшими в языке наших предков. Здесь мы находим аналогию с латинским словом vir—«муж», корнем слова virtus—«сила, доблесть». Оправданием такого длинного рассуждения послужит национальное чувство, и, быть может, нам удастся реабилитировать в умах некоторых людей слова: gars, garçon, garçonette, garce, garcette, обычно изгоняемые из нашей речи, как слова грубые, происхождение этих слов весьма воинственное, и порою они будут появляться в нашем повествовании. Выражение «молодчина баба» — вот плохо понятая похвала, которую г-жа де Сталь получила в глухом вандейском кантоне, где она провела несколько дней, будучи в изгнании.

Из всех областей Франции в Бретани нравы древних галлов оставили наиболее сильный отпечаток. Та часть Бретани, где еще и поныне дикая жизнь и суеверный дух наших суровых предков, так сказать, сохранили свою свежесть, называется «край молодцов». Если в каком-нибудь кантоне живет значительное число дикарей, подобных герою описываемой нами сцены, местные жители говорят: «молодцы такого-то прихода». И это укоренившееся прозвище как бы служит наградой за их верность старине и традициям гаэльских нравов и гаэльского языка: вся их жизнь хранит глубокие следы верований и суеверных обрядов древних времен. Тут все еще соблюдают феодальные обычаи. Тут любители старины находят в целости памятники друидов, а дух современной цивилизации страшится проникнуть сквозь дремучие, первобытные леса. Невероятная жестокость, дикое упрямство, но вместе с тем верность клятве; полное пренебрежение нашими законами, нашими нравами, нашей одеждой, нашей новой монетой, нашим языком и вместе с тем патриархальная простота и героическая доблесть — все способствует тому, что жители этих мест беднее мыслями, чем могикане и краснокожие Северной Америки, но столь же сильны духом, столь же хитры и выносливы,

как они. Положение Бретани в центре Европы делает ее более любопытной для наблюдателя, нежели Канада. Она окружена светом цивилизации, но благодетельные лучи не достигают ее, и этот край подобен промерзшему куску угля, остающемуся совсем темным посреди сверкающего очага. Все усилия некоторых великих умов привлечь к общественной жизни и процветанию эту прекрасную область Франции, богатую неразведанными сокровищами, и даже все попытки правительства разбиваются о косность населения, преданного мертвящим обычаям седой старины. Эту беду довольно легко объясняет характер местности, изрезанной оврагами, потоками, озерами и болотами, вздыбленная повсюду щетина живых изгородей, своего рода земляные бастионы, превращающие каждое поле в крепость, отсутствие во всей области дорог и каналов, а также дух невежественного населения, его закоренелые и опасные предрассудки, как то покажут некоторые подробности нашей повести, и нежелание усвоить современные способы земледелия. Гористая поверхность края и суеверия его жителей мешали возникновению больших поселений, а следовательно, благодетельному воздействию общения и обмена идей. Здесь нет деревень. Непрочные постройки, именуемые здесь дворами, разбросаны в одиночку. Каждая семья живет в своем *дворе*, как среди пустыни. Единственные известные здесь сборища — сходки, созываемые в каждом приходе по воскресеньям и другим церковным праздникам. На этих молчаливых собраниях царит «ректор» — властитель этих грубых умов, и длятся они иногда несколько часов. Выслушав грозную речь священника, крестьянин на всю неделю возвращается в свое вредное для здоровья жилище, выходит из него утром на работу и возвращается на ночлег. Если кто и навещает его, то только ректор — душа края. Не удивительно, что по призыву священников тысячи людей ринулись против Республики и за пять лет до того времени, к которому относится наше повествование, эта часть Бретани доставила множество солдат для первого мятежа шуанов. Братья Котро, смелые контрабандисты, которые дали название этой войне, занимались своим опасным ремеслом на всем пространстве от Лаваля до Фужера. Но в восстании этой провинции не было ничего благородного, и можно с уве-

ренностью сказать, что если Вандея разбой превратила в войну, то Бретань войну превратила в разбой. Изгнание королевского дома и запрещение религии служили шуанам лишь поводом для грабежей, и события этой междоусобной войны отмечены дикой жестокостью, свойственной местным нравам. Когда подлинные защитники монархии явились в Бретань с целью набрать солдат среди ее невежественного и воинственного населения, они тщетно пытались придать при помощи белого знамени какое-то величие гнусным действиям мятежников. Шуаны показали памятный пример, насколько опасно поднимать нецивилизованные массы страны. Набросок первой долины Бретани, открывающейся путешественнику, описание людей, входивших в отряд новобранцев, портрет бретонца, появившегося на вершине Пелерины, дают вкратце верную картину этой провинции и характера ее жителей. Изощренное воображение может по этим деталям нарисовать театр и способы войны шуанов — тут были налицо все ее элементы. В живописных долинах, за цветущими изгородями прятались невидимые враги, готовые к нападению. Каждая нива была тут крепостью, каждое дерево прикрывало западню, каждый дуплистый ствол старой вербы таил какую-нибудь военную хитрость. Поле сражения было повсюду. Шуаны подстерегали синих на поворотах дорог, девушки улыбками завлекали их под огонь ружей, не видя в том предательства. Они ходили с отцами и братьями на богомолье просить деревянную, источенную червями богоматерь наставить их в новых хитростях и отпустить им грехи. Религия или, вернее, фетишизм, этих невежественных созданий избавлял убийцу от угрызения совести. И поэтому, едва началась такая война, все в этом краю стало опасным: шум и тишина, милость и террор, домашний очаг и большая дорога. В предательствах тут была убежденность. Эти дикари служили богу и королю такими же способами, какими ведут войну могикане. Но для того, чтобы дать правдивую и совершенно точную картину этой борьбы, историк должен добавить, что, лишь только был подписан мир, предложенный Гошем, весь край вновь стал веселым и дружественным. Семьи, еще накануне готовые растерзать друг друга, на следующий день спокойно ужинали под одной кровлей.

В ту минуту, когда Юло разгадал тайну вероломных замыслов, которую выдали ему козьи шкуры Крадись-по-Земле, он убедился, что благодетельный мир, каким Франция обязана была дарованиям Гоша, нарушен и сохранить этот мир невозможно. Итак, в результате трехлетнего бездействия правительства война возобновлялась и, несомненно, более ужасная, чем прежде. Революция, смягчившаяся после 9 термидора, теперь, очевидно, должна была вновь прибегнуть к террору, который сделал ее ненавистной для благонамеренных умов. И как всегда, внутренние раздоры во Франции разжигало золото Англии. Республика, покинутая молодым Бонапартом, казавшимся ее гением-покровителем, видимо, была не в состоянии сопротивляться стольким врагам, а самый жестокий из них выступил последним. Гражданская война, возвещенная множеством отдельных мелких восстаний, явно принимала новый, небывало серьезный характер, раз шуаны задумали напасть на такой сильный конвой. Вот какие размышления, хотя и гораздо менее краткие, возникли в голове Юло, как только он увидел в появлении Крадись-по-Земле признак искусно подготовленной засады; но сначала лишь он один проник в тайну опасности.

Молчание, наступившее после пророческой фразы Юло, обращенной им к Жерару в конце предыдущей сцены, помогло командиру вновь обрести хладнокровие. Старый солдат едва не растерялся. Он не мог прогнать облако заботы, омрачившее его лоб, когда подумал о том, что его уже подстерегают ужасы войны, зверской жестокости которой устыдились бы и каннибалы. Его друзья, капитан Мерль и майор Жерар, пытались объяснить себе столь новое для них боязливое выражение на лице Юло: они смотрели на Крадись-по-Земле, который жевал лепешку, сидя у дороги, и оба не могли найти ни малейшей связи между этим подобием животного и тревогой их отважного командира. Но вскоре лицо его просветлело. Горюя о бедствиях Республики, Юло радовался случаю послужить ей в сражении и весело дал себе слово не попасть впросак и разгадать дьявольски хитрого лазутчика, которого подослали шуаны, оказав таким выбором честь неприятелю. Прежде чем принять решение, он принялся рассматривать позицию, где враги

хотели напасть на него врасплох. Увидев, что дорога, на которой он остановился, проходит через овраг неглубокий, но окаймленный лесом, и что к этому оврагу ведет несколько тропинок, он нахмурил густые черные брови и взволнованным голосом тихо сказал двум своим друзьям:

— Мы попали в осиное гнездо.

— Чего же вы боитесь? — спросил Жерар.

— Боюсь? — переспросил Юло.— Да, боюсь. Я всегда боялся, как бы меня, словно собаку, не пристрелили из лесу, даже не крикнув: «Берегись!»

Мерль засмеялся:

— Ну, «берегись» — это уж роскошь!

— Нам в самом деле грозит опасность? — спросил Жерар, удивляясь хладнокровию Юло не меньше, чем его мимолетному страху.

— Тс-с! — сказал командир.— Мы залезли в волчью пасть. Темно, как в печи, и тут надо зажечь свечку. Хорошо еще,— добавил он,— что мы поднялись на вершину этой горы!..

Он наградил гору энергичным эпитетом и добавил:

— А все-таки я, пожалуй, разберусь, в чем тут дело.

Командир поманил обоих своих друзей, и втроем они обступили Крадись-по-Земле. Шуан вскочил, как будто боясь помешать им.

— Сиди на месте, бездельник! — крикнул Юло и толкнул шуана на откос, с которого тот поднялся.

С этого мгновения командир полубригады не отводил от беспечного бретонца внимательного взгляда.

— Друзья! — тихо сказал он обоим офицерам.— Пора вам сказать, что в парижской лавочке разгром. После потасовки в национальных собраниях Директория опять прошлась метлой по нашим рядам. Эти пентархи или, вернее сказать, пентюхи только что потеряли хорошего солдата: Бернадот больше не хочет с ними связываться.

— А кто теперь вместо него? — быстро спросил Жерар.

— Миле-Мюро, старый режим. Неподходящее время давать ход таким болванам. У наших берегов уже взлетают английские ракеты. Все вандейские и шуанские жуки гудят в воздухе, и те, кто управляет этими марионет-

ками, сумели выбрать момент, когда наш корабль дал течь.

— Как так? — спросил Мерль.

— Наши армии повсюду разбиты,— продолжал Юло, еще более понижая голос.— Шуаны уже дважды перехватывали курьеров: последние депеши и декреты я получил только с нарочным, которого послал Бернадот, когда уходил из министерства. К счастью, друзья тайком сообщили мне об этом разгроме. Парижские предатели, как это открыл Фуше, известили тирана, Людовика Восемнадцатого, что ему надо послать главаря своим приспешникам во Франции. Думают, что Баррас изменяет Республике. Короче говоря, Питт и принцы послали сюда одного «бывшего», человека напористого и талантливого; говорят, он хочет соединить силы вандейцев и шуанов и сбить с Республики ее фригийский колпак. Мошенник уже высадился в Морбигане. Я это узнал первым и сообщил парижским умникам. Он взял себе прозвище «Молодец». Все эти скоты,— сказал Юло, указывая на Крадись-по-Земле,— придумывают себе такие клички, что честного патриота схватили бы колики, если б он вздумал так назвать себя. Итак, Молодец в нашем округе. Появление подосланного шуана,— и он снова указал на Крадись-по-Земле,— ясно говорит, что за нами гонятся. Но старую обезьяну гримасам не учат, а вы поможете мне в два счета доставить моих коноплянок в клетку. Хорош я буду, если сваляю дурака и дам себя облапошить какому-то «бывшему», который явился из Лондона и желает стряхнуть пыль с наших треуголок!

Услышав эти тайные вести о критических обстоятельствах и зная, что их командир никогда не тревожится понапрасну, оба офицера сразу стали серьезными, как и подобает солдатам в час опасности, если они люди крепкой закалки и привыкли разбираться в делах человеческих. Жерар по своему чину, впоследствии уничтоженному, больше всех связанный с командиром, хотел было ответить, а также расспросить о тех политических новостях, о которых Юло явно умолчал, но тот знаком остановил его, и все трое устремили взгляд на Крадись-по-Земле. Шуан не выказывал ни малейшего волнения, хотя видел, что за ним наблюдают люди, опасные для него своим умом и физической силой. Обоим офицерам

война такого рода была внове, любопытство их было возбуждено завязкой сражения, представлявшего для них интерес почти романтический; им даже захотелось пошутить, но при первом же веселом слове, которое вырвалось у них, Юло строго посмотрел на своих друзей и сказал:

— Разрази меня гром! На бочке с порохом не курят, граждане. Храбриться не вовремя — все равно, что воду решетом носить.

И, наклонившись к своему адъютанту, он шепнул ему на ухо:

— Майор, незаметно подойдите к этому разбойнику и будьте готовы при первом подозрительном движении проткнуть его шпагой. А я приму меры к тому, чтобы должным образом поддержать разговор, ежели наши невидимки вздумают его завести.

Жерар слегка наклонил голову в знак повиновения, затем принялся рассматривать уже знакомые нам виды куэнонской долины. Казалось, он хотел получше разглядеть их и двигался, так сказать, сам по себе, без всякого тайного умысла, но, понятно, пейзаж занимал последнее место в его наблюдениях. Со своей стороны, Кра-дись-по-Земле ничем не показывал, что маневр офицера опасен для него. Он поигрывал своим длинным кнутом, как будто ловил удочкой рыбу в придорожной канаве.

В то время как Жерар старался занять позицию возле шуана, командир тихо сказал Мерлю:

— Дайте кому-нибудь из сержантов десяток отборных солдат и лично поставьте их над нами, на вершине холма,— там, где дорога расширяется и идет по площадке: оттуда им будет виден довольно большой кусок пути на Эрне. Выберите такое место, где около дороги нет леса, чтобы сержант мог наблюдать за окрестностью. Из сержантов возьмите Сердцеведа, он толковый парень... Дело нешуточное, я и гроша не дам за наши шкуры, если мы не будем начеку.

Пока Мерль с большой поспешностью выполнял приказание, поняв всю его важность, командир поднял правую руку, и солдаты, которые стояли вокруг и весело болтали, мгновенно умолкли. Другим жестом он приказал разобрать ружья. Когда наступила тишина, Юло посмотрел по обеим сторонам дороги, прислушиваясь с тревож-

ным волнением, словно надеялся уловить заглушенный шум, бряцанье оружия или шаги—предвестники ожидаемой битвы. Его черные, зоркие глаза, казалось, проникали взглядом в самую глубину леса; но, не заметив никаких признаков опасности, он, подобно дикарям, стал осматривать песок на дороге, пытаясь открыть на нем следы невидимых врагов, дерзость которых была ему известна. Отчаявшись найти хоть что-нибудь, что подтверждало бы его беспокойство, он подошел к обочине дороги, тяжело взобрался на косогор и медленно прошелся по его гребню. Вдруг он почувствовал, как необходима его опытность для спасения отряда, и спустился на дорогу. Лицо его еще более омрачилось, ибо в те времена командиры всегда сожалели, что не могут одни взять на себя самые опасные задачи.

Офицеры и солдаты, заметив озабоченный вид своего начальника, которого они любили за характер и ценили за испытанное мужество, поняли, что настороженность старого воина предвещает какую-то опасность; они не могли и подозревать, насколько серьезна эта опасность, но безотчетно замерли на месте, затаив дыхание. Подобно собакам, когда они пытаются угадать намерения искусного охотника и, даже не понимая цели приказаний, в точности ему повинуются, солдаты смотрели то на долину Куэнона, то на лес у дороги, то на суровое лицо командира, стараясь прочесть на нем свою участь. Они переглядывались, и не раз улыбка перелетала с одних уст на другие.

Когда Юло сделал обычную свою гримасу, Скороход, молодой сержант, прослывший ротным остряком, тихо сказал:

— Куда же это нас занесла нелегкая? Старый рубака Юло строит постную мину! Прямо как на военном совете!

Юло бросил на него строгий взгляд, и сразу настала тишина, как и подобает в строю. В этой торжественной тишине равномерный звук шагов запоздавших новобранцев, глухой хруст песка под их ногами вносили что-то зловещее во всеобщую тревогу. Это неизъяснимое ощущение могут понять только те, кто в мучительный час ожидания беды чувствовал среди безмолвия ночи, как монотонное повторение какого-нибудь звука усили-

вает бурные толчки сердца и капля за каплей вливает в него ужас. Юло снова встал посреди дороги и снова спросил себя: «Не ошибаюсь ли я?» В его глазах уже сверкнула молния нараставшего гнева, когда он посмотрел на спокойное и тупое лицо Крадись-по-Земле, но, уловив в тусклом взгляде шуана свирепую иронию, он убедился, что нельзя прекращать спасительные меры. В эту минуту вернулся капитан Мерль, выполнив приказание Юло. Немые участники этой сцены, подобной множеству других сцен, которые сделали эту войну самой драматической из всех войн, нетерпеливо ждали новых впечатлений, сгорая любопытством и надеясь, что другие маневры командира осветят непонятную им военную обстановку.

— Правильно мы сделали, капитан,— сказал Юло,— что в хвосте отряда поставили тех немногих патриотов, которые оказались среди новобранцев. Возьмите с десяток лихих ребят под командой лейтенанта Лебрена и немедленно отведите их в конец отряда — они там подкрепят патриотов и заставят быстрее двигаться все стадо этих гусей, чтобы нам поскорее собрать их вон на том месте, где стоят наши товарищи. Я подожду вас.

Капитан исчез в рядах. Командир поочередно оглядел четырех солдат-храбрецов, известных ему своей сметливостью и проворством, и молча подозвал их: указал на каждого рукой и дружески поманил к себе, быстро помахав пальцем у самого своего носа. Солдаты подошли.

— Вы служили со мной еще при Гоше,—сказал он,— когда мы проучили этих разбойников, которые называют себя *королевскими егерями*. Вам ли не знать, как они прятались и палили в синих из засады!

В ответ на эту похвалу их опытности все четверо с многозначительным видом кивнули головой. Их героически-воинственные лица выражали беспечную покорность, говорившую, что с начала борьбы, завязавшейся между Францией и Европой, границами их мыслей были — патронташ позади и штык впереди. Плотно сжав губы, словно кисет, стянутый шнурочком, они внимательно и с любопытством смотрели на своего командира.

— Так вот,— сказал Юло,— обладавший искусством говорить живописным солдатским языком,— такие орлы,

как вы, не дадут шуанам напакостить нам, а шуаны тут есть, не будь я Юло! Ступайте вчетвером в разведку, прочешите обе стороны дороги. Отряд скоро тронется. Поэтому не зевайте. Постарайтесь не попасть на мушку и разузнайте, что там творится. Да поживей!

И он указал солдатам на опасные вершины у дороги. Все четверо в знак благодарности за доверие приложили руку к старой треуголке, у которой избитое дождями и обмякшее от времени поле загнулось на тулью. Один из четверки, капрал Лароз, хорошо знакомый Юло, сказал ему, звякнув ружьем:

— Мы им сыграем песенку на этой дудочке, командир.

И они отправились—двое направо, а двое налево. Отряд с тайным волнением смотрел, как они исчезли за откосами дороги. Юло разделял эту тревогу: он считал, что посылает разведчиков на верную смерть. Он невольно вздрогнул, когда скрылись из виду их треуголки. С тоской, глубоко затаенной и оттого особенно острой, офицеры и солдаты прислушивались к замирающему звуку шагов по сухим листьям. На войне бывают случаи, когда зрелище четырех человек, рискующих жизнью, вызывает ужас более глубокий, чем тысячи павших у Жемаппа. Выражение лиц бывает тогда у солдат столь разнообразным и столь мимолетным, что живописцу приходится обратиться к воспоминаниям участников сражений, а мирным умам — предоставить самим изучать эти драматические лица, ибо бури войны, столь богатые подробностями, невозможно описать полностью без нескончаемых длиннот.

В то мгновение, когда исчезли сверкающие штыки четырех солдат, вернулся капитан Мерль, исполнив с быстротой молнии приказ командира. Тогда Юло двумя-тремя словами команды построил солдат на дороге в боевом порядке, затем приказал им подняться на вершину Пелерины, где стоял его маленький авангард; но сам он шел последним, спиной к отряду, чтобы следить за малейшими возможными изменениями в любой точке этого ландшафта, который природа создала таким чудесным, а человек сделал таким грозным. Отряд дошел до того места, где Жерар стерег Крадись-по-Земле, и вдруг шуан, казалось равнодушно наблюдавший

за маневрами командира, а на деле удивительно умным взглядом следивший за двумя солдатами, которые вошли в лес справа от дороги, свистнул три-четыре раза, подражая звонкому, пронзительному крику совы. Меняя переливы этого звука, три знаменитых контрабандиста, чьи имена мы уже упомянули, по ночам извещали друг друга таким способом о засадах, опасностях — обо всем, что для них было важно. Отсюда и возникло прозвище *шуан*, означающее на местном наречии «сова» или «филин». Это испорченное произношением слово послужило прозвищем всех участников первого восстания, подражавших повадкам и сигналам трех братьев. Услышав подозрительный свист, командир сразу остановился и пристально поглядел на Крадись-по-Земле. Однако он сделал вид, что верит притворной глупости шуана, решив держать его возле себя как барометр, указывающий движение врага. Поэтому он схватил за руку Жерара, который хотел было прикончить шуана. Затем он поставил в нескольких шагах от шпиона двух солдат и громко, отчетливо приказал им пристрелить его при малейшем подозрительном знаке, который он подаст. Несмотря на явную опасность, Крадись-по-Земле не выказал никакого волнения, и командир, наблюдавший за ним, отметил эту бесчувственность.

— Хитрец пересолил,— сказал он Жерару.— Да, да! Нелегко прочесть что-нибудь на лице шуана, но этот мошенник выдал себя желанием показать свою отвагу. Видишь ли, Жерар, если бы он разыграл ужас, я бы просто принял его за дурака. И мы бы с ним были два сапога пара; я уж не знал, что и думать. Сейчас на нас нападут! Но пусть попробуют! Теперь я готов.

Старый солдат произнес эти слова очень тихо и, с торжествующим видом потирая руки, насмешливо посмотрел на Крадись-по-Земле; затем он скрестил руки на груди и стал посреди дороги, между двух офицеров, своих любимцев, ожидая результата принятых мер. Он был уверен, что предстоит схватка, и спокойно осматривал своих солдат.

— Ого, быть бане!..— тихонько сказал Скороход.— Командир потирает руки!..

Юло и его отряд оказались в критическом положении, когда действительно на карту поставлена жизнь и

когда люди решительные считают для себя честью проявить самообладание и спокойствие мысли. В такие минуты о человеке судят по его делам и выносят ему бесповоротный приговор. Поэтому для Юло, который лучше, чем его офицеры, знал о грозившей опасности, было даже вопросом самолюбия казаться самым спокойным из всех. Поочередно переводил он глаза на Крадись-по-Земле, на дорогу, на леса и с каким-то мучительным нетерпением ждал, когда же раздастся залп шуанов, которые, думалось ему, притаились вокруг, словно лесные духи. Но лицо его оставалось бесстрастным. Зная, что глаза всех солдат устремлены на него, он сморщил свое смуглое и рябое от оспы лицо, вздернул правый уголок рта и прищурил глаза — эту его гримасу солдаты всегда принимали за улыбку. Затем он ударил Жерара по плечу и сказал:

— Ну, теперь мы спокойны. О чем вы хотели меня спросить?

— Какая новая напасть на нас обрушилась, командир?

— Дело не новое,— тихо ответил Юло.— Вся Европа против нас, и теперь ей легко вести игру. Пока господа члены Директории дерутся друг с другом, как лошади у пустой кормушки, все их правление трещит по швам, и они оставляют армию без помощи. В Италии нас расколотили! Да, друзья, мы ушли из Мантуи в результате поражения при Требии, а Жубер только что проиграл сражение при Нови. Надеюсь, что Массена отстоит горные проходы в Швейцарии, захваченные Суворовым. На Рейне мы отброшены. Директория послала туда Моро. Удержит ли этот смельчак границу?.. Допустим! Но коалиция в конце концов раздавит нас, и, к несчастью, единственный генерал, который в силах нас спасти,— у черта на куличках, в Египте! Да и как ему вернуться? Англия хозяйничает на море.

— Отсутствие Бонапарта меня не беспокоит, командир,—ответил молодой майор Жерар, человек образованный и незаурядного ума.— Наша революция от этого не остановится. Нет! Мы должны не только защищать французскую землю, у нас двойная миссия. Мы обязаны сохранить душу страны, благородные принципы свободы, независимость и человеческий разум, про-

бужденный нашими национальными собраниями,— надеюсь, что он будет распространяться все дальше и дальше. Франция — словно путник, которому вверен светоч: одной рукой он держит его, другой охраняет; если ваши известия верны, то еще никогда за последние десять лет не окружало нас столько врагов, которые стремятся загасить этот светильник. Доктрины и страна—все на краю гибели.

— Увы, да! — со вздохом согласился Юло.— Эти шуты, члены Директории, ухитрились поссориться со всеми, кто мог бы умело вести ладью. Бернадот, Карно, все, даже гражданин Талейран, покинули нас. Короче говоря, у нас остался только один добрый патриот — хитрец Фуше, он все держит в руках с помощью своей полиции. Вот это голова! Он-то и предупредил меня вовремя об этом восстании. И все же я уверен, что мы попали в западню.

— Да! Если армия не вмешается в дела правительства,— сказал Жерар,— адвокаты доведут нас до того, что будет хуже, чем до революции. Разве эти фитюльки умеют командовать!

— Я всегда опасаюсь одной вести,— продолжал Юло:— вдруг мы узнаем, что они столковались с Бурбонами! Разрази их гром! Если они сговорятся, то в каком положении мы здесь окажемся?

— Нет, нет, командир, до этого не дойдет,— возразил Жерар.— Армия, как вы говорите, поднимет голос,— только бы она не выбирала выражений из лексикона Пишегрю, и тогда, надеюсь, мы увидим, что не для того же мы рубились целых десять лет, чтобы в конце концов другие пряли лен, который мы растили.

— О да! — воскликнул командир.— Недешево нам стоило переменить одежду!

— Ну так вот,— сказал капитан Мерль,— будем по-прежнему действовать как добрые патриоты и постараемся не давать шуанам сообщаться с Вандеей,— ведь если они стакнутся с ней, да если еще Англия сюда замешается,— на этот раз я не поручусь за фригийский колпак единой и нераздельной Республики.

Но тут разговор прервал крик совы, раздавшийся довольно далеко. Командир встревожился и сразу посмотрел на Крадись-по-Земле, но ни один мускул

не дрогнул на застывшем, бесстрастном лице шуана. Рекруты, собранные одним из офицеров, сгрудились, как стадо, на дороге, шагах в тридцати от роты, построенной для боя. За ними, в десяти шагах, стояли солдаты и патриоты под командой лейтенанта Лебрена. Командир окинул взглядом боевое расположение и в последний раз посмотрел на пикет, выставленный на дороге. Довольный этой диспозицией, он обернулся и уже хотел скомандовать: «Марш!» — как вдруг заметил трехцветные кокарды двух солдат, возвращавшихся из леса по левую сторону дороги. Увидев, что с правой стороны патруль еще не возвратился, Юло решил подождать его.

— Может быть, как раз оттуда и вылетит бомба,— сказал он офицерам, указывая на тот лес, который, казалось, похоронил в своей чаще двоих его разведчиков.

Пока вернувшиеся стрелки отдавали ему нечто вроде рапорта, Юло выпустил из поля зрения Крадись-по-Земле. Шуан вдруг засвистел, да так громко, что этот свист можно было услышать на громадном расстоянии, и, раньше чем его сторожа успели прицелиться в него, он ударом кнута опрокинул обоих на откос у дороги. И тотчас же республиканцев ошеломили крики, вернее, дикие вопли. Из леса, поднимавшегося над откосом, где сидел шуан, грянул залп, и семь-восемь солдат упали. Пять-шесть солдат выстрелили в Крадись-по-Земле, но промахнулись; он с быстротой дикой кошки вскарабкался на косогор и скрылся в лесу; его сабо скатились в канаву, и оказалось, что он обут в грубые башмаки с железными подковками, какие носили королевские егеря. При первых же криках шуанов новобранцы бросились в лес направо от дороги, словно стая птиц, взлетевшая при виде путника.

— Огонь по этим мерзавцам! — крикнул командир.

Отряд выстрелил, но беглецы укрылись от пуль за деревьями и, прежде чем солдаты перезарядили ружья, исчезли.

— Вот! Извольте-ка выполнять декрет о создании легионов в департаментах...—сказал Юло Жерару.—Только наша умница Директория могла рассчитывать на ополчение в этом краю. А еще голосует в законодатель-

ных собраниях решения об отпуске нам обмундирования, денег и снаряжения... Лучше бы их давали нам на самом деле.

— Видно, этим жабам их лепешки вкуснее солдатского хлеба,— сказал Скороход, ротный балагур.

Из рядов республиканцев раздались свист и хохот, заклеймившие дезертиров, но вдруг снова наступила тишина. Солдаты увидели, что по откосу с трудом спускаются два стрелка, которых командир посылал на разведку в лес справа от дороги. Один из солдат, раненный легко, поддерживал товарища, обагрявшего землю кровью. Бедняги добрались до середины спуска, но вдруг показалось отвратительное лицо Крадись-по-Земле; он так метко прицелился в разведчиков, что одним выстрелом прикончил обоих, и они рухнули в канаву. Лишь только солдаты увидели его большую голову, поднялось тридцать ружейных стволов, но, подобно фантастическому видению, он исчез в предательских кустах дрока. Все эти события, для описания которых потребовалось столько слов, произошли в мгновение ока, и в одно мгновение патриоты и солдаты арьергарда присоединились к остальной части отряда.

— Вперед! — крикнул Юло.

Рота быстро двинулась к тому высокому и открытому месту, где был выставлен пикет. Юло построил там солдат в боевом порядке; однако, не заметив никаких враждебных действий со стороны шуанов, он решил, что единственной целью засады было освобождение новобранцев.

— Судя по крикам,— сказал он двум своим друзьям,— их немного. Двинемся быстрым шагом — может быть, дойдем до Эрне, не чувствуя их за спиной.

Эти слова услышал один из новобранцев-патриотов, он вышел из рядов и встал во фронт перед Юло.

— Командир,— сказал он,— я уже участвовал в войне против шуанов. Разрешите сказать два слова?

— Он, поди, адвокат,— шепнул Юло на ухо Мерлю, эта братия всегда воображает себя на заседании суда. Ну, держи речь,— ответил он молодому фужерцу.

— Командир, шуаны наверняка завербовали этих людей и принесли для них оружие. Если мы только двинемся с места, они будут стрелять из-за каждого де-

рева и перебьют нас всех до единого, прежде чем мы доберемся до Эрне. Придется *держать речь*, как ты сказал, но не языком, а пулями. Во время боя,— а он протянется дольше, чем ты думаешь,— кто-нибудь из моих товарищей сбегает в Фужер за национальной гвардией и вольными дружинами. Хотя мы всего лишь новобранцы, ты увидишь, что мы не из породы ворон.

— Так, по-твоему, шуанов очень много?

— Суди сам, гражданин командир!

Он повел Юло к тому месту, где песок был словно взрыт граблями, и, указав на это, прошел с ним довольно далеко по тропинке, на которой они увидели следы большого числа людей. В землю были втоптаны ногами листья.

— Тут прошли молодцы из Витре,— сказал молодой фужерец,— они двинулись на соединение с шуанами из Нижней Нормандии.

— Как твоя фамилия, гражданин? — спросил Юло.

— Гюден, командир.

— Ну, Гюден, назначаю тебя капралом. Командуй своими земляками. Ты, видно, человек надежный. Поручаю тебе выбрать среди твоих товарищей, кого послать в Фужер. Сам держись около меня. Но прежде всего возьми ополченцев, ступайте и снимите ружья и амуницию с наших бедных товарищей, которых разбойники шуаны уложили на дороге. Тогда не придется вам получать вражеские гостинцы, не отвечая таким же угощением.

Смелые фужерцы отправились за снаряжением убитых; вся рота защищала их сильным огнем в направлении леса, им удалось, не потеряв ни одного человека, снять с мертвецов оружие и одежду.

— Из этих бретонцев,— сказал Юло адъютанту,— выйдут славные пехотинцы, если только солдатское житье придется им по нутру.

Гонец Гюдена помчался кратчайшей тропинкой через лес с левой стороны от дороги. Солдаты осмотрели оружие и приготовились к бою; командир сделал им смотр, улыбнулся и встал на несколько шагов впереди, меж двух офицеров, своих любимцев, с твердостью ожидая атаки шуанов. Снова воцарилась тишина, но ненадолго. Триста шуанов в таких же одеждах, как и новобран-

цы, выбежали из леса справа от дороги и беспорядочной толпой, с каким-то звериным воем, заняли всю дорогу перед малочисленным отрядом синих. Командир построил солдат двумя равными колоннами, по десять человек в шеренге. В промежутке между этими отрядами он поставил двенадцать наспех вооруженных новобранцев и сам встал впереди них. С обеих сторон дороги его маленькую армию прикрывали два крыла, по двадцати пяти человек в каждом, под командой Жерара и Мерля. Оба офицера должны были, выждав момент, нажать с флангов и не дать шуанам *рассыпаться*. Это слово на местном наречии обозначает: рассеяться по полю сражения, чтобы каждый мог со своей позиции безопасно для себя стрелять в синих; при таком маневре республиканские войска не знали, где искать врага.

Меры, принятые командиром с быстротой, необходимой в подобных обстоятельствах, вселили в солдат уверенность, и все молча двинулись на шуанов. Через несколько минут, когда противники сошлись, раздался залп в упор, и смерть вырвала у них много бойцов. В это время оба крыла республиканцев, которым шуаны ничего не могли противопоставить, обошли их с флангов и сильным сосредоточенным огнем посеяли смерть и смятение среди врагов. Этот маневр почти установил численное равенство обеих сторон. Однако у шуанов храбрость сочеталась с упорством; они не дрогнули от потерь, сомкнулись и попытались окружить маленький отряд синих, стоявший темными стройными рядами, но занимавший так мало места, что он походил на пчелиную матку среди роя пчел. Завязалось одно из тех яростных сражений, когда редкие выстрелы мушкетов сменяет лязг холодного оружия — рукопашная схватка врагов, равных своим мужеством, когда победу решает численный перевес. Шуаны сразу же взяли бы верх, если бы крыльям республиканского отряда под командой Мерля и Жерара не удалось двумя-тремя перекрестными залпами поразить вражеский арьергард. Флангам синих следовало сохранить свою позицию и продолжать метким огнем уничтожать грозного противника; но опасность, которой подвергался героический батальон, уже полностью окруженный королевскими егерями, встревожила их, они, как бешеные, бросились на дорогу в штыко-

вую атаку, и на некоторое время силы почти уравнялись. Обоими отрядами овладело ожесточение, обостренное всей яростью политической вражды, которая придала этой войне столь исключительный характер. Каждый дрался молча, поглощенный грозившей ему опасностью. Битва была мрачной и холодной, как смерть. Слышался только звон оружия, хруст песка под ногами да глухие возгласы и стоны тяжелораненых или умирающих, падавших на землю. В республиканском отряде двенадцать новобранцев с такой отвагой защищали командира, поглощенного наблюдением и приказами, что не раз солдаты кричали:

— Браво, рекруты!

Юло, не терявший в бою невозмутимого спокойствия и зоркости взгляда, скоро приметил среди шуанов человека, как и он, окруженного отборным отрядом,— несомненно, их предводителя. Он счел необходимым хорошенько рассмотреть этого офицера и несколько раз пытался сделать это, но лицо шуанского главаря все время заслоняли красные колпаки и широкополые шляпы. Юло ясно видел только Крадись-по-Земле, который стоял рядом со своим начальником и повторял хриплым голосом его распоряжения, не переставая в то же время действовать карабином. Непрерывная помеха привела Юло в раздражение. Он обнажил шпагу и, воодушевив своих новобранцев, с такой яростью атаковал центр неприятеля, что прорвался сквозь толпу шуанов и на мгновение увидел их вожака, но, к сожалению, черты его скрывала фетровая шляпа с белой кокардой. Столь дерзкое нападение изумило незнакомца, он отпрянул, резко сдвинул назад шляпу, и тогда Юло удалось наскоро запечатлеть в памяти его приметы. На взгляд он дал этому молодому вожаку не больше двадцати пяти лет; на нем была охотничья куртка зеленого сукна, за белым поясом торчали пистолеты, на ногах были грубые башмаки с подковками, как у всех шуанов; охотничьи гетры до колен, прикрепленные к коротким штанам из плотного толстого тика, довершали костюм, ловко сидевший на этом невысоком, но стройном, хорошо сложенном человеке. Увидев, что синим удалось пробиться к его особе, он пришел в бешенство и, надвинув шляпу, кинулся им навстречу, но тотчас же его обступили

Крадись-по-Земле и несколько других встревоженных шуанов. Между головами людей, теснившихся вокруг этого юноши, Юло, как ему показалось, увидел на его полурасстегнутой куртке широкую красную ленту. Этот знак королевского ордена, в те годы уже совершенно забытого, привлек на секунду внимание командира, затем он снова перевел взгляд на лицо незнакомца, но скоро потерял его из виду, ибо должен был в сражении наблюдать за безопасностью и действиями своего маленького отряда. Он едва успел заметить блестящие глаза, не уловив, однако, их цвета, светло-русые волосы и довольно тонкие черты загорелого лица. Его поразила ослепительная белизна обнаженной шеи, подчеркнутая черным небрежно завязанным мягким галстуком. Поза этого молодого человека, исполненного бурного воодушевления, была воинственна, как у тех, кто ищет в сражениях условной поэзии. Рука, обтянутая перчаткой, размахивала в воздухе шпагой, сверкавшей на солнце. Движения его отличались изяществом и силой. Искренняя экзальтация, очарование молодости, утонченные манеры этого эмигранта делали его образцовым представителем французского дворянства. Он был полной противоположностью Юло, находившемуся в двух шагах от него,— старый солдат казался живым символом энергичной Республики, за которую он сражался: суровое лицо, синий мундир с красными обтрепанными отворотами, почернелые эполеты, сползавшие на спину,— все так ясно рисовало ее нужду и ее нравственный облик.

Красивая осанка и манеры юноши не ускользнули от взгляда Юло, и он крикнул, пытаясь пробиться к нему:

— Эй ты! Оперный плясун, подходи! Я тебя искрошу!

Вождь роялистов, разгневанный таким окриком, бесстрашно бросился к Юло, но как только его люди увидели, что он рискует жизнью, все они ринулись на синих. Вдруг над шумом сражения поднялся нежный и чистый голос:

— Здесь умер святой Лескюр! Неужели вы не отомстите за него?

Слова эти оказали магическое действие: натиск шуанов стал ужасным, и солдатам Республики стоило боль-

шого труда сдержать его, не расстроив боевого порядка своего маленького отряда.

«Будь этот человек постарше,— думал Юло, отступая шаг за шагом,— на нас бы не напали. Когда это видано, чтоб шуаны давали сражение? Но тем лучше! Нас не перебьют дорóгой, как собак».

Возвысив голос, он крикнул так громко, что эхо прокатилось по лесу:

— А ну, поднажмем, ребята! Неужто дадим разбойникам напакостить нам?

Глагол, которым мы здесь заменили выражение, употребленное храбрым командиром, является лишь слабым его эквивалентом, но ветераны сражений, конечно, сумеют поставить вместо него соответствующие слова в самом высоком солдатском стиле.

— Жерар, Мерль! — крикнул затем Юло.— Соберите ваших людей, постройте их в каре, отойдите назад, стреляйте по этим псам, и покончим с ними!

Команду Юло выполнили с трудом, потому что молодой главарь шуанов, услышав голос противника, крикнул:

— Во имя святой Анны Орейской, не выпускайте их! Рассыпайтесь, молодцы!

Когда оба крыла республиканцев, которыми командовали Мерль и Жерар, вышли из рукопашной схватки, за этими маленькими отрядами кинулись враги, упорные и значительно превосходившие их числом. Козьи шкуры со всех сторон окружили солдат Мерля и Жерара, вновь испуская зловещие вопли, похожие на звериный вой.

— Тише, вы, судари! А то и убьют, не услышишь!— крикнул Скороход.

Эта шутка ободрила синих. Республиканцам пришлось теперь драться уже не в одном месте, а защищаться на плоской вершине Пелерины в трех пунктах, и треск ружейной перестрелки разбудил эхо во всех окрестных долинах, еще недавно столь мирных. Победа не давалась ни той, ни другой стороне, и сражение могло бы окончиться само собою, за отсутствием бойцов. Синие и шуаны дрались с равной отвагой. В обоих отрядах ярость все возрастала, но вдруг вдали глухо прозвучал барабан, и по направлению этого звука ясно было, что

воинская часть, о которой он возвещал, пересекала долину Куэнона.

— Это фужерская национальная гвардия! — громко крикнул Гюден.— Наверно, Ванье встретился с ней.

Возглас Гюдена долетел до слуха молодого вождя шуанов и его свирепого адъютанта. Роялисты бросились было вспять, но Крадись-по-Земле звериным криком остановил их; молодой вожак вполголоса подал две-три команды, Крадись-по-Земле повторил их шуанам на нижнебретонском наречии, и они отступили с большим искусством, озадачившим республиканских солдат и даже их командира. По первому приказу самые крепкие шуаны построились в одну линию, образовав внушительный фронт, за ними укрылись раненые и остальные шуаны, чтобы заряжать передовым ружья. Затем, с нежданной легкостью, пример которой недавно показал Крадись-по-Земле, раненые, а вслед за ними половина отряда шуанов вскарабкались на бугор справа от дороги, спрятались наверху, и синие уже видели только их энергичные лица. Шуаны укрылись за деревьями и направили стволы своих ружей на оставшуюся внизу часть республиканского конвоя, которая по команде Юло быстро выстроилась на дороге, желая противопоставить противнику равный фронт. Шуаны постепенно отступали со своей позиции, отстреливаясь и поворачивая таким образом, чтобы быть под прикрытием огня своих товарищей. Достигнув придорожной канавы, они, в свою очередь, взобрались на косогор, гребень которого заняли их собратья, и присоединились к ним, стойко выдерживая меткий огонь республиканцев, усеявший канаву трупами. С косогора шуаны отвечали не менее убийственным огнем. В это время на поле сражения бегом примчалась фужерская национальная гвардия, и ее появление прекратило бой. Национальные гвардейцы и несколько разгорячившихся солдат уже перескочили через канаву, намереваясь броситься в лес, но командир крикнул громовым голосом:

— Эй! Вы что? Хотите, чтобы вас ухлопали?

Тогда они присоединились к республиканскому отряду, за которым осталось поле битвы, хотя и ценой немалых потерь. Все солдаты вскинули на штыки свои старые треуголки и, подняв ружья, два раза дружно

крикнули: «Да здравствует Республика!» Даже раненые, сидевшие на обочине дороги, разделяли общий восторг, а Юло, сжав руку Жерара, сказал:

— А? Вот это удальцы, так удальцы!

Мерлю было поручено похоронить мертвых в придорожном овраге. Остальные занялись отправкой раненых. На соседних фермах реквизировали лошадей, телеги и спешно уложили раненых солдат на одежду, снятую с убитых. Перед уходом фужерская национальная гвардия передала Юло тяжелораненого шуана — его подобрали у крутого откоса, по которому ускользнули враги, меж тем как умирающему изменили силы, и он скатился вниз.

— Спасибо за помощь, граждане,— сказал Юло.— Разрази меня гром! Без вас нам пришлось бы туго. Берегитесь и вы! Война началась. Прощайте, храбрецы!

Затем он повернулся к пленному:

— Как зовут твоего начальника!

— Молодец.

— Кто это?.. Крадись-по-Земле?

— Нет. Молодец.

— Откуда явился ваш Молодец?

На этот вопрос королевский егерь ничего не ответил, угрюмое и свирепое лицо его исказилось от боли; он взял четки и принялся читать молитвы.

— Молодец — это, верно, тот молодой аристократ в черном галстуке? Он послан сюда тираном и его сообщниками, Питтом и Кобургом...

Шуан, видимо плохо разбиравшийся в политике, гордо поднял голову.

— Послан богом и королем!

Он произнес эти слова с энергией, исчерпавшей его силы. Командир увидел, что трудно допрашивать умирающего человека, чье поведение обличало темный фанатизм, и, нахмурив брови, отвернулся от него. Два солдата — друзья тех часовых, которых Крадись-по-Земле так зверски уложил ударом кнута на обочине дороги, где они и погибли оба,— отступили на несколько шагов и прицелились в шуана; неподвижные глаза его не опустились перед наведенными на него ружьями; оба выстрелили в упор, и он упал. Но когда солдаты подошли, что-

бы снять с него одежду, он крикнул все еще звучным голосом:

— Да здравствует король!

— Ладно, ладно, мошенник! — сказал Сердцевед.— Ступай угощаться лепешками у доброй своей богородицы!.. Гляди, пожалуйста: думали, что он скапутился, а он кричит нам прямо под нос: «Да здравствует тиран!»

— Командир, вот и документ этого разбойника,— сказал Скороход.

— Ого-го! — воскликнул Сердцевед.— Идите-ка поглядите на этого божьего пехотинца. Какая у него роспись на брюхе!

Юло и несколько солдат обступили обнаженное тело шуана и заметили на груди у него синеватую татуировку — изображение пылающего сердца. То был условный знак посвящения в братство *Сердца господня*. Под этим изображением Юло разобрал слова: «Мари Ламбрекен»— должно быть, имя шуана.

— Ну, Сердцевед, видел? — сказал Скороход.— А вот сто декад будешь думать — не догадаешься, для чего нужна эта штука!

— Да разве я понимаю толк в папских мундирах! — ответил Сердцевед.

— Пехтура несчастная, когда же ты образуешься! — подхватил Скороход.— Как ты не понимаешь, что этому гусю лапчатому обещано воскресение из мертвых,— вот он и разрисовал себе зоб, чтобы его опознали.

На эту шутку, не лишенную основания, невольно улыбнулся даже Юло, разделяя общее веселье. Тем временем Мерль похоронил убитых, а раненых товарищи с трудом разместили на двух телегах. Солдаты по собственному почину построились двумя колоннами вдоль этих импровизированных санитарных повозок, и отряд двинулся вниз по горному склону, обращенному к Мэну, откуда видна красивая долина Пелерины, соперница куэнонской долины. Юло в сопровождении своих друзей, Мерля и Жерара, медленно шел за солдатами, поглощенный одной мыслью, как бы добраться без новых злоключений до Эрне, где раненым могли оказать помощь. Это сражение, оставшееся почти неизвестным

среди больших событий, назревавших тогда во Франции, получило название по той местности, где оно произошло. Впрочем, на него обратили некоторое внимание на западе Франции, и жители ее, встревоженные новым восстанием шуанов, заметили перемену в их военной тактике: раньше эти люди не решились бы напасть на такой значительный отряд. Юло предполагал, что тот молодой роялист, которого он приметил, был Молодец— новый вождь шуанов, присланный во Францию принцами, и что, по обыкновению роялистов, он скрывал свое имя и титул под боевой кличкой. Этим обстоятельством командир полубригады после печальной своей победы встревожился не меньше, чем в ту минуту, когда заподозрил засаду на дороге; несколько раз он оглядывался, смотрел на плоскую вершину Пелерины; порою с той стороны все еще доносился далекий звук барабанов национальной гвардии, которая спускалась в долину Куэнона, в то время как синие спускались в долину Пелерины.

— Кто из вас может разгадать, ради чего напали на нас шуаны? — внезапно спросил он двух своих друзей.— Для них ружейные выстрелы — дело коммерческое, а я все еще не вижу, что они тут выгадали? Ведь они потеряли самое малое сто человек, а мы — меньше шестидесяти,— добавил он, вздернув для изображения улыбки правую щеку и прищурив глаз.— Разрази меня гром! Не понимаю такой торговой сделки. Дураки! К чему им было нападать на нас? Мы бы проскочили благополучно, как письма по почте, и я не знаю, зачем им понадобилось дырявить пулями наших солдат!

И он жестом сожаления указал на две телеги, нагруженные ранеными.

— Может, они просто хотели поздороваться с нами,— добавил он.

— Но, командир, они на этом заработали полтораста наших олухов,— ответил Мерль.

— Да ведь если бы новобранцы и попрыгали в лес, как лягушки, мы не стали бы их оттуда вылавливать, особенно после того, как нас угостили залпом,— возразил Юло.— Нет, нет, по-моему, тут что-то кроется!..

Он еще раз оглянулся и посмотрел на Пелерину.

— Стой! — воскликнул он.—Поглядите!

Хотя офицеры были уже далеко от роковой площадки, опытным глазом они различили там Крадись-по-Земле и еще нескольких шуанов.

— Шире шаг! — крикнул Юло своему отряду.—Живей раздвигайте циркули да подгоняйте лошадей! Что у них, ноги закоченели? Может, эти клячи тоже состоят на службе у Питта и Кобурга?

Слова его заставили маленький отряд двигаться быстрее.

— Да, в эту тайну, мне думается, трудно проникнуть,— сказал Юло двум своим офицерам,— и дай бог, друзья, чтобы нам не пришлось ее разгадывать в Эрне ружейной пальбой. Очень боюсь, как бы не оказалось, что верноподданные короля перерезали нам дорогу на Майенну.

Стратегическая задача, от которой топорщились усы командира Юло, в эту минуту не меньше беспокоила и людей, замеченных им на вершине Пелерины. Лишь только умолк на ней треск барабана фужерской национальной гвардии и Крадись-по-Земле увидел, что синие уже спустились по длинному склону, он весело издал крик совы, и шуаны появились вновь, но уже в меньшем количестве. Многие из них, вероятно, заняты были перевязкой раненых в деревне Пелерина, расположенной на склоне горы, обращенном к долине Куэнона. Два-три начальника королевских егерей подошли к Крадись-по-Земле. В нескольких шагах от них на глыбе гранита сидел их молодой предводитель и, казалось, погружен был в мысли о трудностях, с которыми ему сразу пришлось столкнуться в своих военных действиях. Крадись-по-Земле приложил козырьком руку ко лбу, защищая глаза от яркого солнца, и печально посмотрел на дорогу, по которой республиканцы пересекали долину Пелерины. Маленькие черные и пронизывающие глазки шуана пытались разглядеть, что происходит на другом горном склоне, у края долины.

— Синие перехватят почту,— угрюмо сказал один из главарей, ближе всех стоявший к Крадись-по-Земле.

— Ради святой Анны Орейской, скажи: зачем ты

заставил нас драться? — спросил другой.— Для того чтобы спасти твою шкуру?

В ответ на эти вопросы Крадись-по-Земле бросил на него взгляд, словно напоенный ядом, и стукнул о землю тяжелым карабином.

— Разве я командир? — сказал он и, помолчав, добавил, указывая на остатки отряда Юло:— Дрались бы все, как я,— синим бы от нас не уйти, ни одному! Может, тогда дилижанс и доехал бы сюда.

— А что же, по-твоему, они вздумали бы провожать дилижанс или задержали бы его, если бы мы дали им спокойно пройти? — сказал третий.— Ты просто хотел спасти свою поганую шкуру: ведь ты не знал, что синие идут по дороге. Из-за этого борова,— добавил оратор, поворачиваясь к остальным,— да, из-за этого борова синие нам пустили кровь, да еще мы потеряем двадцать тысяч франков чистым золотом...

— Сам ты боров! — крикнул Крадись-по-Земле и, отступив на три шага, прицелился в обидчика.— Нет у тебя ненависти к синим, ты золото любишь! Грешник окаянный! Ты в этом году не был у причастия, вот и умрешь без исповеди.

Это оскорбление возмутило шуана, он побледнел и с глухим рычанием взял на прицел Крадись-по-Земле. Молодой предводитель бросился между ними и выбил у них из рук оружие, ударив по карабинам стволом своего ружья; затем он потребовал, чтобы ему объяснили причину ссоры: разговор шел на нижнебретонском наречии, мало ему знакомом.

— Маркиз,— сказал Крадись-по-Земле, заканчивая свою речь,— совсем напрасно они на меня злятся. И к тому же я позади оставил Хватай-Каравая, а уж он, поди, сумеет спасти дилижанс от когтей этих воров.

И шуан указал рукой на отряд синих: для верных служителей алтаря и трона все синие были убийцами Людовика XVI и разбойниками.

— Как? — гневно воскликнул молодой человек.— Значит, вы задержались тут для того, чтобы остановить дилижанс? Вы трусы, вы не могли одержать победу в первом сражении, которым я командовал! А впрочем, как можно побеждать при таких намерениях? Так, значит, защитники бога и короля — грабители? Клянусь святой

Анной Орейской, наше дело воевать с Республикой, а не с дилижансами! Впредь всякий, кто окажется виновным в таком позорном разбое, не получит отпущения грехов и лишится милостей, предназначенных для храбрых служителей короля.

В толпе шуанов поднялся глухой ропот. Ясно было, что авторитет нового вождя, который он с трудом установил среди этой недисциплинированной орды, вот-вот рухнет. Это возмущение не укрылось от молодого человека, и он уже искал способ, как спасти свою честь командира. Вдруг в наступившей тишине раздался быстрый конский топот. Все повернули голову в ту сторону, откуда он приближался. Показалась молодая женщина, сидевшая в седле на маленькой бретонской лошадке; заметив среди шуанов молодого человека, всадница пустила лошадь галопом, чтобы поскорее подъехать к отряду.

— Что с вами? — спросила она, переводя взгляд с шуанов на их вождя.

— Поверите ли, сударыня! Они подстерегают почтовый дилижанс, который выехал из Майенны в Фужер, и намереваются его ограбить. А ведь мы только что сражались ради освобождения наших фужерских молодцов, понесли большие потери и не могли уничтожить синих!

— Так в чем же тут горе? — спросила молодая дама, врожденным женским чутьем разгадав тайну этой сцены.— Вы потеряли людей, но в них у нас никогда не будет недостатка. Почта везет деньги, а нам они всегда нужны! Похороним наших покойников, они попадут на небо, а деньги возьмем, и пусть они достанутся всем этим молодцам. В чем же беда?

Шуаны единодушно одобрили улыбками ее речь.

— Неужели в этом нет ничего дурного, что заставило бы вас покраснеть? — тихо спросил молодой человек.—И разве вы уж так нуждаетесь в деньгах, что вам приходится добывать их на большой дороге?

— Я до такой степени изголодалась по деньгам, маркиз, что, кажется, отдала бы в заклад свое сердце, если бы его не похитили у меня! — сказала она, кокетливо улыбаясь ему.— Но откуда вы явились, если думаете, что можно пользоваться шуанами, не давая им иной раз по-

грабить синих? Разве вы не знаете поговорки: «Вороват, как сова»? А что такое шуан? К тому же,— произнесла она громко,— ведь это справедливое дело. Разве синие не захватили все имущество церкви и наше имущество?

Слова эти были встречены довольным гулом, совсем не походившим на то рычание, которым шуаны ответили маркизу. Лицо молодого человека омрачилось; он отвел даму в сторону и спросил ее с явным недовольством, но тоном благовоспитанного человека:

— Приглашенные приедут в назначенный день в Виветьер?

— Да,— ответила она,— все приедут: Ответчик, Большой Жак и, может быть, Фердинанд.

— Разрешите мне вернуться туда. Я не могу в своем присутствии допускать подобный разбой. Да, сударыня, я говорю — «разбой»! Стать жертвой воровства,— в этом есть какое-то благородство, но...

— Хорошо,— перебила она его,— я получу вашу долю, благодарю вас за то, что вы уступаете ее мне... Эта прибавка к моей добыче мне очень пригодится. Матушка так давно не присылала мне денег, что я в отчаянии...

— Прощайте! — воскликнул маркиз.

Он отошел, но молодая дама быстро нагнала его.

— Почему бы вам не остаться со мною? — спросила она, бросив на него взгляд деспотический и ласковый, каким женщины, имеющие право на уважение мужчины, так хорошо умеют выражать свои желания.

— Но вы же собираетесь ограбить дилижанс?

— Ограбить? — возразила она.— Какое странное слово! Позвольте вам объяснить...

— Не надо,— сказал он и, взяв ее руки, поцеловал их с небрежной галантностью придворного.— Выслушайте меня,— продолжал он, помолчав.— Если я буду тут, когда захватят дилижанс, наши люди убьют меня, потому что я их...

— Вы их не убьете,—горячо возразила она,—потому что они свяжут вам руки, при всем почтении к вашему рангу. А после того как они возьмут с республиканцев контрибуцию, необходимую для их снаряжения, пропитания и для покупки пороха, они слепо будут вам повиноваться...

— И вы хотите, чтобы я тут командовал? Если жизнь моя необходима для дела, которое я защищаю, то все же позвольте мне сохранить мою честь. Уйдя отсюда, я могу и не знать об этой подлости. Я вернусь позднее проводить вас.

И он быстро ушел. Молодая дама с явным огорчением смотрела ему вслед, прислушиваясь к звуку его шагов. Постепенно шорох сухих листьев стих, но еще несколько минут она не двигалась с места, словно ее ошеломило это объяснение. Затем она поспешно вернулась к шуанам. Вдруг она сделала презрительный жест и сказала Крадись-по-Земле, который помог ей сойти с лошади:

— Этот молодой человек хочет вести с Республикой войну по всем правилам!.. Ну что же, пройдет несколько дней, и он переменит свое мнение!.. «Но как он обошелся со мной!»— добавила она про себя.

Она села на глыбу гранита, где раньше сидел маркиз, и молча стала дожидаться появления дилижанса. Довольно знаменательным феноменом эпохи была эта молодая аристократка, которую бурные страсти бросили в борьбу монархий против духа времени, а пылкие чувства толкнули на плачевные поступки, хотя она, если можно так выразиться, не была сообщницей; в этом отношении она походила на многих женщин, которых увлекала экзальтация, нередко воодушевлявшая их и на подвиги. Немало женщин, захваченных, подобно ей, ураганом событий, играли тогда роль героическую или достойную осуждения. У роялистов не было более преданных, более деятельных эмиссаров, чем эти смелые особы, но ни одной из воительниц роялистской партии не приходилось так ужасно искупать заблуждения своей преданности и пагубное свое положение, запретное для женского пола, искупать таким отчаянием, какое испытала эта дама, когда она сидела на гранитной глыбе у дороги, невольно восхищаясь благородным презрением и честностью молодого вождя шуанов. Постепенно она погрузилась в глубокую задумчивость. Горькие воспоминания пробудили в ней тоску о невинности ее юных лет, и она пожалела, что не стала жертвой революции, победоносное шествие которой не могли остановить столь слабые руки.

Дилижанс, игравший некоторую роль в причинах нападения шуанов, выехал из маленького городка Эрне за несколько минут до начала схватки двух отрядов. Ничто не может лучше обрисовать любую страну, чем состояние ее материального быта. В этом смысле данный дилижанс заслуживает почетного упоминания. Сама революция не была в силах уничтожить его: он разъезжает еще и в наши дни. Когда Тюрго выкупил привилегию одной компании, полученную ею при Людовике XIV на монопольное право возить путешественников по всему королевству, он учредил извозные предприятия, названные *тюрготинами*, а старые экипажи господ Вуж, Шантеклера и вдовы Лакомба были изгнаны в провинцию. Один из таких рыдванов поддерживал сообщение между Майенной и Фужером. Некоторые упрямцы в насмешку назвали его тюрготиной, передразнивая парижан или из ненависти к министру, стремившемуся к нововведениям. Тюрготина представляла собою скверный кабриолет на двух большущих колесах, в котором, пожалуй, не могли бы поместиться два сколько-нибудь дородных седока. Теснота этого шаткого экипажа не позволяла очень его нагружать; ящик, служивший сиденьем, предназначался для почтовой службы, а если у пассажиров был багаж, им приходилось держать его между колен, и без того уже стиснутых в узком кузове, по форме довольно похожем на кузнечные мехи. Первоначальный цвет кареты и колес представлял для путешественников неразрешимую загадку. Две кожаных занавески, несмотря на долгую службу сгибавшиеся с трудом, должны были защищать мучеников-пассажиров от холода и дождя. Кучер сидел на высокой скамеечке, похожей на козлы самых дрянных парижских «кукушек», и поневоле принимал участие в разговорах, так как помещался между своими двуногими и четвероногими жертвами. Экипаж этот имел фантастическое сходство с дряхлыми стариками, претерпевшими множество катаров, апоплексических ударов, но избежавшими смерти, которая их как будто щадит: на ходу он охал, стонал, а временами, казалось, вскрикивал. Как путешественник в тяжелой сонливости, клонился он то назад, то вперед, словно пытаясь сопротивляться яростным усилиям двух маленьких бретонских лошадок, тащивших его по довольно ухабистой доро-

ге. В этом памятнике иного века находилось трое пассажиров; выехав из Эрне, где им сменили лошадей, они продолжали вести разговор с кучером, начатый еще до почтовой станции.

— Почему же вы думаете, что здесь появятся шуаны? — спросил кучер.— В Эрне люди говорили, что командир Юло еще не выступил из Фужера.

— Ну, ну, приятель,— ответил один из пассажиров, помоложе других,— ты-то рискуешь только своей шкурой. А вот если бы ты вез при себе, как я, триста экю да знали бы тебя за доброго патриота, ты не был бы так спокоен.

— А вы что-то уж очень болтливы,— ответил кучер, покачивая головой.

— Считанные овцы — волку добыча,— откликнулся второй пассажир.

Этот человек, на вид лет сорока, одетый в черное, вероятно, был ректором где-нибудь в окрестности. Тройной подбородок и румяные полные щеки явно свидетельствовали о его принадлежности к духовному званию. Приземистый толстяк проявлял, однако, проворство всякий раз, когда приходилось вылезти из кареты или снова залезать в нее.

— А вы кто такие? Шуаны? — воскликнул владелец трехсот экю, судя по одежде, богатый крестьянин, ибо у него пышная козья шкура прикрывала штаны из добротного сукна и весьма опрятную куртку.— Клянусь душой святого Робеспьера, вам не поздоровится, если...

Он перевел свои серые глаза с кучера на пассажира и указал на пару пистолетов, заткнутых у него за поясом.

— Бретонцев этим не испугаешь,—презрительно сказал ректор.— Да и разве похоже, что мы заримся на ваши деньги?

Всякий раз, как произносили слово «деньги», кучер умолкал, и у ректора было достаточно сообразительности, чтобы усомниться в наличии золотых экю у патриота и предположить, что деньги везет кучер.

— Ты нынче с грузом, Купьо? — спросил аббат.

— Э, господин Гюден, почитай что нет ничего,— ответил возница.

Аббат Гюден испытующе посмотрел на Купьо и на патриота, но у обоих лица были невозмутимо спокойны.

— Ну, тем лучше для тебя,— заметил патриот.— А в случае беды я приму меры, чтобы спасти свое добро.

Столь деспотическое посягательство на диктатуру возмутило Купьо, и он грубо возразил:

— Я своему экипажу хозяин, и ежели я вас везу...

— Ты кто? Патриот или шуан? — запальчиво перебил его противник.

— Ни то, ни другое,— ответил Купьо.— Я почтарь, а главное — бретонец и, значит, не боюсь ни синих, ни аристократов.

— Ты, верно, хочешь сказать: *аристократов*,— прервал его патриот.

— Они только отбирают то, что у них отняли,— с горячностью сказал ректор.

Оба пассажира *ели друг друга глазами*, если дозволительно употребить это выражение разговорного языка. В уголке экипажа сидел третий пассажир, хранивший во все время спора глубочайшее молчание. Кучер, патриот и даже Гюден не обращали никакого внимания на эту безмолвную фигуру. В самом деле, это был один из тех неудобных и необщительных пассажиров, которые напоминают бессловесных телят со связанными ногами, когда их везут продавать на ближний рынок. Они начинают с того, что завладевают законным своим местом, а кончают тем, что засыпают, бесцеремонно навалившись на плечо соседа. Патриот, Гюден и кучер предоставили этого пассажира самому себе, думая, что он спит, и убедившись к тому же в бесполезности попыток завести беседу с человеком, чье окаменевшее лицо говорило о жизни, заполненной отмериванием локтей полотна, и о мыслях, занятых лишь подсчетами барышей от его продажи. Этот толстый коротышка, забившись в угол, изредка открывал маленькие голубые глазки, точно сделанные из фаянса, и по очереди устремлял на спорщиков взгляд, исполненный страха, сомнения и недоверия. Но, казалось, он боялся только своих попутчиков и совсем не думал о шуанах. Когда же он смотрел на кучера, можно было предположить, что это два франкмасона. В это время началась перестрелка на вершине Пелерины. Купьо в замешательстве остановил лошадей.

— Ого! — сказал священник, видимо хорошо разби-

равшийся в таких делах.— Серьезная стычка. Народу там изрядно.

— Да, господин Гюден. Вот только как бы узнать, чья возьмет? — воскликнул Купьо.

На этот раз на всех лицах выразилась единодушная тревога.

— Завернем вон на тот постоялый двор,— сказал патриот,— и спрячем там карету, пока не узнаем, чем кончилось сражение.

Совет казался весьма благоразумным, и Купьо послушался его. Патриот помог вознице спрятать экипаж от чужих глаз за кучей хвороста. Ректор, улучив удобную минуту, шепотом спросил Купью:

— У него в самом деле есть деньги?

— Э-э, господин Гюден, если то, что у него есть, попадет в карманы вашего преподобия, они от этого не станут тяжелее.

Республиканцы, торопясь добраться до Эрне, прошли мимо постоялого двора, не заходя в него. Услышав их быстрый топот, Гюден и хозяин из любопытства вышли за ворота посмотреть на них. Вдруг толстый ректор подбежал к солдату, который шел позади колонны.

— Гюден, что же это? — крикнул он.— Упрямец! Ты все-таки уходишь к синим? Сын мой, ты подумал, что ты делаешь?

— Да, дядя,— ответил капрал.— Я поклялся защищать Францию.

— Ах ты, несчастный! Ведь ты душу свою погубишь! — вскричал аббат, пытаясь пробудить в племяннике религиозные чувства, столь сильные в сердцах бретонцев.

— Дядя, если бы король встал во главе своих армий, я не говорю, что...

— Эх, дурень! Кто тебе говорит о короле? А разве твоя Республика раздает аббатства? Она все перевернула. Чего ты добьешься? Оставайся с нами, рано или поздно мы победим, и ты станешь где-нибудь советником парламента.

— Парламента? — насмешливо переспросил молодой Гюден.— Прощайте, дядюшка!

— Ты не получишь от меня ни гроша! — гневно воскликнул дядюшка.— Лишаю тебя наследства!

— Спасибо! — ответил республиканец.

И они расстались. Пока проходил маленький отряд синих, пары сидра, которым патриот угостил Купьо, успели затуманить кучеру голову, но он тотчас же протрезвел и повеселел, когда хозяин постоялого двора, разузнав о результатах сражения, сообщил, что победу одержали синие. Купьо вновь выехал на большую дорогу, и вскоре его рыдван появился в долине Пелерины, где он хорошо был виден с плоскогорий Мэна и Бретани, словно обломок корабля, плывущий по волнам после бури.

Взобравшись на вершину холма, по которому поднимались синие и откуда была видна вдали Пелерина, Юло обернулся посмотреть, нет ли там еще шуанов, и увидел сверкающие точки — солнечные блики на стволах их ружей. Бросив последний взгляд на ту долину, с которой он расстался, спускаясь к пойме реки Эрне, Юло, как ему показалось, увидел на большой дороге экипаж Купьо.

— Не майеннский ли это дилижанс? — спросил он у двух своих друзей.

Оба офицера, вглядевшись, узнали старую тюрготину.

— Странно! — сказал Юло.— Как же это мы не встретились с ним?

Все трое молча переглянулись.

— Еще одна загадка! — воскликнул Юло.— Однако я начинаю добираться до истины.

В эту минуту Крадись-по-Земле тоже узнал тюрготину и сообщил о ней товарищам. Взрыв всеобщей радости вывел молодую даму из задумчивости. Незнакомка подошла к шуанам и увидела дилижанс, приближавшийся с роковой поспешностью к подъему на Пелерину. Вскоре злополучная тюрготина была уже на верхней площадке горы. Шуаны, которые снова там попрятались, ринулись на свою добычу с быстротой хищников. Безмолвный пассажир соскользнул на дно рыдвана, съежился и замер, стараясь придать себе вид багажного тюка.

— А-а! Учуяли! — крикнул Купьо с козел, указывая шуанам на крестьянина.— Вот у этого патриота полный мешок золота.

Шуаны встретили эти слова взрывом дружного хохота и закричали:

— Хватай-Каравай! Хватай-Каравай! Хватай-Каравай!

Под этот хохот, которому, словно эхо, вторил и сам Хватай-Каравай, смущенный Купьо слез с козел. Пресловутый Сибо, по кличке «Хватай-Каравай», помог своему соседу выбраться из экипажа. Поднялся почтительный гул.

— Это аббат Гюден! — крикнули несколько человек.

Очевидно, он пользовался уважением: все обнажили головы; шуаны встали на колени и попросили у него благословения; аббат с важностью благословил их.

— Он надул бы самого святого Петра и украл бы у него ключи от райской обители,— сказал ректор, ударив Хватай-Каравая по плечу.— Без него синие перехватили бы нас.

Заметив молодую даму, аббат Гюден отошел на несколько шагов и вступил с нею в разговор. Хватай-Каравай проворно открыл сундук в дилижансе и с дикой радостью показал всем мешок, судя по форме его наполненный свертками с золотыми монетами. Он не стал медлить с дележом добычи. Каждый шуан получил от него свою долю, и раздел был произведен с такой точностью, что не вызвал ни малейшей ссоры. Затем Хватай-Каравай подошел к молодой даме и священнику и протянул им около шести тысяч франков.

— Могу я со спокойной совестью взять эти деньги, господин Гюден? — спросила молодая дама, чувствуя потребность в чьем-то разрешении.

— А как же иначе, сударыня? Разве церковь не одобрила некогда конфискацию имущества у протестантов? И тем более это дозволительно в отношении революционеров — богоотступников, разрушителей храмов и гонителей религии.

Аббат подкрепил эту проповедь личным примером, без церемоний приняв своего рода десятину, которую принес ему Хватай-Каравай.

— К тому же,— добавил он,— я могу теперь отдать все свое достояние на защиту бога и короля: мой племянник ушел к синим!

Купьо плакался, что он разорен.

— Иди к нам,— сказал Крадись-по-Земле,— тогда и ты получишь долю.

— Но если не будет следов нападения, подумают, что я нарочно дал себя ограбить.

— Ну, за этим дело не станет! — сказал Крадись-по-Земле.

Он подал знак, и тотчас ружейный залп изрешетил тюрготину. При этом нежданном обстреле старый экипаж издал такой жалобный звук, что суеверные по природе шуаны попятились от страха. Но Крадись-по-Земле приметил, что в уголке кузова поднялось и снова спряталось бледное лицо молчаливого пассажира.

— А у тебя, оказывается, еще одна наседка в курятнике? — шепотом спросил у Купью Крадись-по-Земле.

Хватай-Каравай, поняв вопрос, многозначительно подмигнул ему.

— Да,— ответил возница,— но если вы хотите меня завербовать в свою компанию, позвольте мне целым и невредимым довезти этого славного человека до Фужера. Я обещал ему это именем святой Анны Орейской.

— А кто он такой? — спросил Хватай-Каравай.

— Этого не могу сказать,— ответил Купью.

— Ну, пускай везет,— сказал Крадись-по-Земле, подтолкнув Хватай-Каравая локтем.— Он ведь поклялся святой Анной Орейской. Надо ему сдержать обещание.

— Только вот что,— продолжал шуан, обращаясь к Купью,— не очень быстро спускайся с горы, мы тебя нагоним. Дело есть, хочу посмотреть морду твоего пассажира, а тогда мы дадим ему пропуск.

В эту минуту послышался топот лошади, мчавшейся галопом, все ближе и ближе к горе. Вскоре появился молодой вождь шуанов. Дама проворно спрятала за спину мешочек, который держала в руке.

— Вы можете спокойно взять эти деньги,— сказал молодой человек и отвел ее руку из-за спины.—Вот вам письмо, я нашел его в почте, ожидавшей меня в Виветьере,— письмо от вашей матушки.

Он посмотрел на шуанов, возвращавшихся в лес, на дилижанс, спускавшийся в долину Куэнона, и добавил:

— Как я спешил, а не успел вовремя! Дай бог, чтобы мои подозрения оказались ошибочными...

— Это деньги бедной моей матушки,— воскликнула

дама, когда она распечатала письмо и прочла первые строчки.

Из лесу донесся приглушенный смех. Молодой вождь не мог удержаться от улыбки, глядя на даму: она все еще держала в руке мешочек — доставшуюся ей долю от грабежа ее собственных денег.

Она и сама засмеялась:

— Ну, слава богу, маркиз. На этот раз я вышла сухой из воды.

— Как вы легкомысленны во всем, даже в угрызениях совести,— сказал молодой человек.

Она покраснела и взглянула на маркиза с таким искренним смущением, что это обезоружило его. Аббат вежливо, но довольно холодно возвратил ей только что полученную «десятину» и направился вслед за молодым вождем к окольной дороге, по которой тот приехал. Прежде чем присоединиться к ним, дама знаком подозвала Крадись-по-Земле. Тот подошел.

— Теперь устройте засаду перед Мортанью,— тихо сказала она.—Я узнала, что синие не сегодня-завтра отправят в Алансон на подготовку к войне большую сумму звонкой монетой. Я оставляю твоим товарищам сегодняшнюю добычу, но при условии, что они возместят мне убыток. Только смотри, чтобы Молодец не знал, для чего вы туда отправляетесь: он может воспротивиться. Но в случае такой беды я постараюсь умилостивить его.

— Сударыня,— сказал маркиз, когда она села на лошадь позади него, предоставив свою лошадь аббату,—из Парижа мне пишут, чтобы мы были настороже: Республика намерена бороться с нами хитростью и предательством.

— Что ж, это не так глупо,— ответила она.— У этих людей бывают довольно удачные идеи. Я могу принять участие в такой войне и найти в ней достойных противников.

— Разумеется! — воскликнул маркиз.— Пишегрю советует мне быть очень разборчивым и осторожным во всякого рода знакомствах. Республика оказывает мне честь, полагая, что я страшнее всех вандейцев, вместе взятых; она рассчитывает захватить меня, воспользовавшись моими слабостями.

— Неужели вы станете остерегаться и меня? — спросила она и рукой, которой держалась за него, тихонько похлопала его по груди у сердца.

— Как вы можете это думать, сударыня? — возразил он, повернув к ней голову; она поцеловала его в лоб.

— Стало быть,— заговорил аббат,— полиция Фуше для нас опаснее летучих батальонов и контршуанов.

— Совершенно верно, ваше преподобие.

— Ах, так! — воскликнула дама.— Фуше, стало быть, собирается подослать к нам женщин! — и после краткой паузы добавила грудным голосом: — Буду ждать их.

А на расстоянии трех-четырех ружейных выстрелов от опустевшего плоскогорья, откуда уехали предводители шуанов, происходила одна из тех сцен, которые в те времена нередко случались на больших дорогах. За околицей деревушки Пелерины, в небольшой ложбинке, Хватай-Каравай и Крадись-по-Земле снова остановили дилижанс. Оказав слабое сопротивление, Купьо слез с козел. Безмолвный пассажир, которого шуаны извлекли из угла кареты, очутился на коленях в зарослях дрока.

— Ты кто? — спросил у него Крадись-по-Земле зловещим тоном.

Путешественник молчал. Хватай-Каравай ударил его прикладом ружья и повторил вопрос.

— Я бедный человек, Жак Пиню, торгую полотнами,— сказал он тогда, бросив взгляд на Купьо.

Купьо отрицательно покачал головой, полагая, что этим не нарушает своего обещания. Этот знак воодушевил Хватай-Каравая — он прицелился в путешественника, а Крадись-по-Земле грозно и решительно заявил ему:

— Не прикидывайся бедняком,— ты слишком толстый. Если ты еще раз заставишь нас спросить твое настоящее имя, мой друг Хватай-Каравай одним выстрелом заслужит уважение и благодарность твоих наследников... Кто ты? — добавил он.

— Я д'Оржемон из Фужера.

— Ага! — воскликнули оба шуана.

— Это не я назвал вас, господин д'Оржемон,— ска-

зал Купьо.— Пресвятая дева свидетельница, я честно защищал вас.

— Ну, раз вы д'Оржемон из Фужера,— иронически-почтительно сказал Крадись-по-Земле,— мы вас оставим в полном покое. Но так как вас нельзя назвать ни добрым шуаном, ни настоящим синим, хоть вы и купили земли жювинийского аббатства,— то вы нам заплатите выкуп,— добавил шуан, делая вид, что пересчитывает по пальцам своих товарищей.— Вы заплатите нам триста экю по шести франков. Нейтралитет стоит таких денег.

— Триста экю по шести франков! — хором повторили несчастный банкир, Хватай-Каравай и Купьо, но все с различными интонациями.

— Что вы, дорогой мой! — сказал д'Оржемон.— Ведь я разорен. Эта чертова Республика объявила принудительный заем в сто миллионов франков; меня обложили на огромную сумму, и я остался без гроша.

— Сколько же потребовала с тебя твоя Республика?

— Тысячу экю, дорогой мой,— ответил с жалобным видом банкир, надеясь получить скидку.

— Вот какие большие деньги выхватывает у тебя твоя Республика на принудительный заем! Сам видишь, что с нами тебе будет выгоднее: наше правительство дешевле. Триста экю — разве это слишком много за твою шкуру?

— Где мне их взять?

— У себя в сундуке,— сказал Хватай-Каравай.— Да смотри, чтобы экю были полновесные, а не то мы убавим тебе весу на огне.

— Где же я должен заплатить вам?

— Твой фужерский загородный дом недалеко от фермы Жибари, а там живет мой двоюродный брат Налей-Жбан, иначе говоря — Сибо Большой; передай ему деньги,— сказал Хватай-Каравай.

— Это не по правилам! — воскликнул д'Оржемон.

— А нам какое дело! — ответил Крадись-по-Земле.— Помни, что если в течение двух недель ты не принесешь денег Налей-Жбану, мы заглянем к тебе ненадолго и вылечим твои ноги от подагры, если у тебя подагра. А ты, Купьо,— продолжал он, обращаясь к вознице,— будешь теперь называться «Вези-Добро».

С этими словами оба шуана ушли; путешественник снова сел в карету, и кучер, настегивая лошадей кнутом, погнал их к Фужеру.

— Будь у вас оружие,— сказал Купьо,— мы бы получше могли защищаться.

— Дуралей! У меня вот тут десять тысяч франков,— возразил д'Оржемон, показывая на свои грубые башмаки.— Разве можно защищаться, когда имеешь при себе такую сумму!

«Вези-Добро» почесал за ухом и обернулся назад, но оба его новых товарища уже скрылись из виду.

Отряд Юло ненадолго задержался в Эрне, чтобы сдать раненых в госпиталь этого городка; затем республиканцы отправились дальше и без всяких злополучных помех прибыли в Майенну. На следующий день командир мог разрешить свои сомнения относительно маршрута почтового дилижанса, ибо уже с утра горожане узнали, что дилижанс ограблен. Через несколько дней власти прислали в Майенну достаточное количество новобранцев-патриотов, чтобы Юло мог пополнить свою полубригаду. Вскоре вслед за этим пронеслись малоутешительные слухи: мятеж вновь охватил все те местности, которые в последнюю войну шуаны и вандейцы сделали главными его очагами. В Бретани роялисты завладели Понторсоном, чтобы получить доступ к морю; они захватили также городок Сен-Джемс, находившийся между Понторсоном и Фужером, и, видимо, решили временно обратить его в свой плацдарм — средоточие складов и центр военных операций. Оттуда они могли безопасно сноситься с Нормандией и Морбиганом. Второстепенные вожаки разъезжали по трем этим провинциям, стараясь поднять сторонников монархии и добиться объединенных действий. Эти происки совпадали с вестями из Вандеи — там весь край мутили подобные же интриги, которыми руководили четыре известных роялиста: аббат Верналь, граф де Фонтэн, де Шатильон и Сюзане. Рассказывали, что шевалье де Валуа, маркиз д'Эгриньон и господа Труавиль стали их союзниками в департаменте Орн. Руководителем всего широкого плана операций, которые развертывались медленно, но грозно, действительно был Молодец — такое прозвище дали шуаны маркизу де Монторану со времени его высадки во Франции. Сведения, сообщенные

Юло министрам, были совершенно верными. Авторитет предводителя, присланного из-за границы, тотчас получил признание. Маркиз приобрел большую власть над шуанами, старался внушить им подлинную цель войны и убедить, что их жестокости позорят благородное дело, которое они предприняли. Смелый характер, мужество, хладнокровие, способности этого молодого вельможи пробудили надежды врагов Республики и так разожгли мрачную экзальтацию в этих округах, что даже наименее ревностные содействовали теперь подготовке событий, которые могли иметь решающее значение для свергнутой монархии. Юло не получал из Парижа никакого ответа на свои многократные запросы и рапорты. Это странное молчание, несомненно, свидетельствовало о каком-то новом кризисе революции.

— Может быть, у них там в правительстве, так же как и в казне, пустое место, и все наши ходатайства напрасны,— говорил старый командир полубригады своим друзьям.

Но вскоре распространились вести о неожиданном возвращении генерала Бонапарта и событиях 18 брюмера. Командиры войск Западной Франции поняли тогда молчание министров. Это лишь усилило нетерпеливое желание офицеров избавиться от тяготившей их ответственности, и они с любопытством ждали, какие меры примет новое правительство. Узнав, что генерал Бонапарт стал первым консулом Республики, военные горячо обрадовались,— впервые видели они одного из своих у кормила власти. Франция встрепенулась, полная надежды: молодой генерал был ее кумиром. Энергия нации возродилась. Столица, утомленная мрачным своим унынием, предалась празднествам и удовольствиям, которых она так долго была лишена. Первоначальные мероприятия консула нисколько не уменьшили надежд и совсем не испугали Свободу. Первый консул обратился с прокламацией к жителям Западной Франции. Эти красноречивые воззвания к нации, так сказать, изобретенные Бонапартом, произвели в те годы патриотизма и чудес поразительное действие. Голос его прозвучал в мире как голос пророка, ибо каждое его воззвание неизменно подтверждалось победой.

«Французы!

Нечестивая война вторично охватила западные департаменты.

Мятеж подняли изменники, продавшиеся англичанам, или разбойники, которые ищут поживы в гражданских распрях и безнаказанности своим злодеяниям.

Таких людей правительство не обязано щадить или разъяснять им свои принципы.

Но есть граждане, дорогие своей отчизне, мятежники лишь хитростями совратили их; этих граждан необходимо просветить и открыть им истину.

Были изданы и применены несправедливые законы. Граждан встревожили акты произвола, посягавшие на их безопасность и свободу совести; повсеместно многим гражданам нанесли удар необоснованным занесением их в списки эмигрантов; словом, были нарушены великие основы общественного порядка.

Консулы объявляют, что в силу конституции, гарантирующей свободу вероисповедания, будет выполнен закон от 11 прериаля III года, предоставляющий гражданам право пользования зданиями, предназначенными для отправления религиозных культов.

Правительство простит и помилует раскаявшихся; помилование его будет полным и безоговорочным, но оно покарает всякого, кто после этой декларации еще осмелится сопротивляться верховной власти нации».

— Ну что ж,— говорил Юло, когда было публично прочитано консульское воззвание.— Разве это не по-отечески? А вот увидите, ни один из разбойников-роялистов не изменит своих взглядов!

Юло был прав. Прокламация привела лишь к тому, что каждый утвердился в своем выборе. Через несколько дней Юло и его коллеги получили подкрепление. Затем новый военный министр сообщил, что к ним прибудет генерал Брюн, назначенный командующим войсками Западной Франции. Юло, известный своей опытностью, временно получил командование войсками в Орнском и Майеннском департаментах. Вскоре небывалая деятельность оживила все пружины правительства. Циркуляр военного министра и министра полиции сообщал, что для подавления восстания *в самой его основе* будут приняты энергичные меры и выполнение их возложено на

войсковых командиров. Но шуаны и вандейцы уже воспользовались прежним бездействием Республики, подняли деревни и полностью овладели ими; поэтому было выпущено второе воззвание консулов. На этот раз генерал Бонапарт обращался к войскам:

«Солдаты!

На западе Франции остались лишь разбойники, эмигранты и наемники Англии.

В нашей армии более шестидесяти тысяч храбрецов. Жду в скором времени известий о том, что главарей мятежа уже нет в живых. Славу добывают тяжкими трудами; если б можно было ее добыть, держа штаб-квартиру в больших городах, кто бы не достигал славы?..

Солдаты, какой бы ранг вы ни занимали в армии, всех вас ждет признательность нации. Чтобы стать достойными ее, надо пренебрегать непогодой, гололедицей, снегом, жестокими ночными холодами, врасплох захватывать врагов на рассвете, истреблять негодяев, позорящих имя «француз».

Ведите кампанию быстро и смело. Будьте беспощадны к разбойникам, но соблюдайте строгую дисциплину.

Национальные гвардейцы, соедините свои усилия с усилиями линейных войск.

Если среди окружающих вы знаете приверженцев разбойников, арестуйте их! Пусть нигде не найдут они себе убежища от солдат, их преследующих, а если обнаружатся предатели, которые осмелятся приютить их и защищать,— пусть они погибнут вместе с мятежниками!»

— Вот голова! — воскликнул Юло.— Прямо как в Итальянской армии: сам к обедне звонит и сам ее служит. А как говорит!

— Да, но говорит он один, и только от своего имени,— заметил Жерар, уже начиная опасаться последствий 18 брюмера.

— Эх, святая душа! Подумаешь важность! Ведь он человек военный! — воскликнул Мерль.

В нескольких шагах от офицеров перед вывешенным на стене воззванием толпились солдаты, но так как никто из них не умел читать, то все только глазели на афишу — одни беспечно, другие с любопытством, а двое-трое

высматривали среди прохожих какого-нибудь грамотея по виду.

— Ну-ка, Сердцевед, погляди, что это там за бумажка,— с насмешливой улыбкой сказал Скороход своему товарищу.

— Догадаться нетрудно,— ответил Сердцевед.

При этих словах все посмотрели на двух приятелей, всегда готовых разыграть роль балагуров.

— Смотри сюда. Видишь? — продолжал Сердцевед, указывая на грубую виньетку над заголовком воззвания, на которой с недавних пор циркуль заменил нивелир 1793 года.— Это означает, что нашему брату, пехотинцам, немало придется пошагать. Замечаешь? Циркуль-то здесь раскрыт. Это называется «эмблема».

— Ну, молокосос, нечего тебе ученого корчить! Это называется «проблема». Я раньше служил в артиллерии,— сказал Скороход,— так у нас офицеры на проблемах собаку съели.

— Это эмблема.

— Нет, проблема.

— Давай спорить.

— На что?

— На твою немецкую трубку.

— По рукам.

— Извините за беспокойство, гражданин майор, ведь верно, что это эмблема, а не проблема? — спросил Сердцевед у Жерара, который, задумавшись, шел позади Юло и Мерля.

— И то и другое,— серьезно ответил Жерар.

— Майор посмеялся над нами,— сказал Скороход.— Эта бумажка означает, что наш генерал из командующего армией в Италии стал консулом — чин очень важный, и теперь у нас будут и башмаки и шинели.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИДЕЯ ФУШЕ

В самом конце брюмера, однажды утром, когда Юло проводил учение в своей полубригаде, уже полностью сосредоточенной по распоряжению свыше в Майенне, курьер из Алансона подал ему депеши; Юло принялся их читать, и лицо его выразило сильную досаду.

— В поход! — сердито крикнул он и, сложив депеши, засунул их на донышко треуголки.— Две роты выступят со мной на Мортань. Там шуаны. Вы тоже пойдете со мной,— сказал он Мерлю и Жерару.— Но пусть меня сделают дворянином, если я хоть слово понимаю в этой депеше. Может, я поглупел! Ну, все равно. Идем! Времени терять нельзя.

— А что за дичь была в этом ягдташе, командир? — сказал Мерль, указывая носком сапога на министерский конверт депеши.

— Разрази их гром! Ничего особенного. Опять только пакостят нам!

Если у командира вырывалось то солдатское выражение, которое мы передаем обиняками, оно всегда возвещало бурю,— различные его интонации представляли для полубригады своего рода градусы на термометре терпения командира, и открытый нрав старого вояки давал возможность разбираться в этой шкале так легко, что самый захудалый барабанщик знал ее наизусть, так же как и все вариации его гримасы, когда он вздергивал правую щеку и прищуривал глаза. На этот раз в тоне, которым он произнес эти слова, звучал глухой гнев, и оба его друга умолкли и насторожились. Даже следы оспы на смуглом воинственном лице их командира как будто стали глубже, и оно потемнело. Густая прядь волос, собранная в пучок, перекинулась на эполет, когда он нахлобучил треуголку, и была с такой яростью отброшена на спину, что косицы у висков растрепались. Усы у него встопорщились, он сжал кулаки и, крепко скрестив на груди руки, долго стоял неподвижно, так что Жерар осмелился наконец спросить:

— Когда выступаем? Сейчас?

— Да, если патронташи полны,— пробурчал Юло.

— Полны.

— Ружья на плечо! Шагом марш! — скомандовал Жерар по знаку своего начальника.

Барабанщики выбежали вперед, две роты, назначенные Жераром, двинулись, забили барабаны; командир, погруженный в размышления, казалось, очнулся и вышел из города с двумя своими друзьями, не перемолвившись с ними ни единым словом. Мерль и Жерар молча переглядывались, как будто спрашивая друг друга: «Долго

он будет сердиться?» На ходу оба украдкой наблюдали за ним, но он не обращал на них внимания и что-то бормотал сквозь зубы. Несколько раз до слуха солдат долетали фразы, звучавшие как ругательства, но никто не смел произнести при этом ни слова, ибо в серьезных случаях все умели соблюдать строгую дисциплину, привычную для солдат, воевавших в Италии под командой Бонапарта. Большинство из них, так же как и сам Юло, принадлежали к остаткам знаменитых батальонов, выпущенных из Майнца при капитуляции крепости под условием не сражаться на границах, и в армии их прозвали: *майнцы*. Трудно было встретить солдат и командиров, которые так хорошо понимали бы друг друга, как эти майнцы.

На следующий день после выступления командир Юло и оба его друга рано утром уже находились на пути к Алансону, в расстоянии около одного лье от этого города, близ Мортани, в той части дороги, которая идет вдоль пастбищ, орошаемых Сартой. С левой стороны здесь один за другим простираются живописные луга, а справа тянется густой лес вплоть до лесного массива Менильбру, представляя собою — если позволительно заимствовать этот термин у художников — *контрастный фон* для чудесных речных пейзажей. По краям дороги вырыты здесь глубокие канавы, и земля, которую постоянно выбрасывают из них на поля, образовала высокие откосы, поросшие *утесником*, как называют на западе Франции дикий дрок. Этот густой кустарник служит зимой прекрасным кормом для лошадей и другого скота, но пока его пышные темно-зеленые ветви еще не были срезаны, за ним прятались шуаны. Поэтому откосы и заросли утесника, возвещавшие путешественникам близость Бретани, в те времена делали эту часть дороги столь же опасной, сколь и красивой. Опасностями, подстерегавшими проезжих на пути от Мортани до Алансона и от Алансона до Майенны, и была вызвана экспедиция Юло; тут открылась, наконец, затаенная причина его гнева: ему пришлось конвоировать старую почтовую карету, запряженную парой лошадей, медленно тащившуюся за усталыми солдатами. Две роты синих, составлявшие часть мортаньского гарнизона, проводили этот безобразный рыдван до конца своего этапа и по-

шли обратно, виднеясь вдали черными точками, а их сменил Юло, выполняя ту же обязанность, которую его солдаты справедливо называли *патриотической докукой*. Одна рота старого республиканца двигалась в нескольких шагах впереди, а другая позади кареты. Юло шел между Мерлем и Жераром, на середине расстояния от авангарда до экипажа, вдруг он сказал:

— Разрази меня гром! Вы подумайте! Генерал послал нас из Майенны только для того, чтобы мы сопровождали двух вертихвосток, которые едут в этой старой колымаге!

— Однако, командир, вы только что поклонились этим гражданкам, когда мы сменяли конвой, и довольно ловко поклонились!

— Эх, в том-то и срамота! Ведь парижские франты предписывают нам оказывать величайшее уважение их проклятым бабам. Ну, как это можно! Унижать честных людей и храбрых патриотов! Превратить нас в свиту какой-то юбки! Нет, я иду прямой дорогой и не люблю, когда другие виляют! Когда я увидел, что у Дантона куча любовниц, у Барраса куча любовниц, я сказал им: «Граждане, Республика вручила вам бразды правления не для того, чтобы вы позволяли себе утехи старого режима». На это вы мне скажете, что женщины... Ну что ж, все мы люди грешные... Это верно. Славным удальцам, понятно, нужны бабы, славные бабы. Но когда приходит опасность, довольно баловства! Для чего же мы вымели прежние безобразия, если патриоты вздумали их повторять? Поглядите на первого консула,— вот это человек! Никаких баб, всегда за делом! Готов прозакладывать свой левый ус, что ему не известно, каким дурацким ремеслом нас заставили тут заниматься.

— Честное слово, командир,— смеясь, ответил Мерль,— я увидел носик той молодой дамы, что прячется в карете, и сознаюсь: всякий, не поступившись своей честью, может, вроде меня, почувствовать охоту покружиться около этой колымаги, чтобы завязать приятный разговор с путешественницами.

— Берегись, Мерль! — вставил Жерар.— Этих пройдох в шляпках сопровождает какой-то гражданин, и на вид он достаточно хитер, чтобы поймать тебя в ловушку!

— Кто? Это франтик с узенькими глазками? Как они

шныряют у него с одной стороны дороги на другую, будто он уже приметил шуанов! А когда за кузовом кареты не видно его лошади и собственного его туловища, он очень похож на селезня, торчащего головой из пирога. Ну, ежели этот олух вздумает помешать мне приголубить хорошенькую малиновку...

— Селезень, малиновка!.. Ох, бедняга Мерль, здорово же ты увлекся пернатыми! Но, смотри, не доверяй селезню,— глаза у него зеленые и предательские, как у гадюки, и хитрые, как у женщины, когда она «прощает» своего мужа. Я меньше боюсь шуанов, чем таких провожатых, у которых физиономия смахивает на графин с лимонадом.

— Ничего! — весело воскликнул Мерль.— С разрешения командира, рискну! У этой женщины очи, как звезды! Все можно поставить на карту, чтобы посмотреть на них.

— Попался наш товарищ! Начинает уже говорить глупости!..— заметил Жерар.

Юло сделал гримасу и, пожав плечами, ответил:

— Прежде чем садиться за похлебку, советую ее понюхать.

— Славный парень наш Мерль, веселый! — продолжал Жерар, заметив, что Мерль отстает для того, чтобы карета постепенно его догнала.— Единственный человек, который может пошутить над смертью товарища, и никто за это не обвинит его в бесчувственности.

— Настоящий французский солдат! — серьезно ответил Юло.

— Ого! Смотрите, подтягивает на плечи эполеты, чтобы видно было, что он капитан,— смеясь, воскликнул Жерар.— Как будто чин имеет большое значение в этих делах!

В экипаже, к которому старался приблизиться Мерль, действительно ехали две женщины: одна из них, видимо, была служанка, другая — ее госпожа.

— Такие женщины всегда орудуют вдвоем,— проворчал Юло.

То впереди, то позади кареты гарцевал на лошади сухопарый, невысокий человек; он, казалось, сопровождал этих привилегированных путешественниц, но никто не замечал, чтобы он обратился к ним хоть с одним словом.

Это молчание — доказательство презрения или почтительности,— многочисленные баулы и картонки той женщины, которую Юло называл *принцессой*,— все вплоть до костюма ее кавалера еще больше раздражало Юло. Костюм незнакомца представлял точный сколок моды того времени, которая породила бесчисленные карикатуры на так называемых «невероятных». Вообразите себе человека, одетого во фрак, спереди столь короткий, что жилет выступал из-под него на пять-шесть дюймов, а сзади украшенный длинными фалдами, действительно напоминавшими «рыбий хвост», как их тогда именовали; пышный галстук описывал вокруг шеи столько оборотов, что голова, торчавшая из этого кисейного лабиринта, почти оправдывала гастрономическое сравнение капитана Мерля. Незнакомец носил панталоны в обтяжку и высокие «*суворовские*» сапоги. Огромная камея, белая, на голубом фоне, служила булавкой для галстука, из-за пояса свешивались параллельно друг другу две часовые цепочки; волосы локонами окаймляли щеки и, спускаясь на лоб, почти совсем закрывали его. И, наконец, в качестве последнего украшения воротник сорочки и фрака поднимался так высоко, что голова напоминала букет в бумажной розетке. К этим вычурным ухищрениям туалета, которые противоречили друг другу, а не создавали гармонического целого, добавьте забавные контрасты цветов: желтые панталоны, красный жилет, фрак оттенка корицы — и вы получите верное представление о высшей изысканности той моды, которой повиновались все щеголи в начале периода Консульства. Казалось, этот нелепый костюм был нарочно придуман для того, чтобы подвергнуть испытанию природную грацию и доказать, что нет ничего столь смехотворного, чего не могла бы узаконить мода. Всаднику на вид было лет тридцать, хотя в действительности ему едва минуло двадцать два; возможно, на внешности его отразились кутежи или же опасности той эпохи. Несмотря на шутовской костюм, в его манерах была известная элегантность, свойственная человеку благовоспитанному. Когда капитан очутился возле кареты, щеголь, видимо, угадал его намерения и, как будто желая ему помочь, придержал свою лошадь. Бросив на него сардонический взгляд, Мерль увидел непроницаемое лицо человека, приученного превра-

ностями времени революции скрывать всякое движение чувства. Лишь только дамы заметили загнувшийся край старой треуголки и эполет капитана Мерля, ангельски нежный голосок промолвил:

— Господин офицер, не будете ли вы так любезны сказать, где мы сейчас находимся?

Есть неизъяснимое очарование в вопросе, который задает случайному спутнику молодая незнакомая путешественница: в самом незначительном ее слове как будто таится целый роман, а если она, опираясь на свою женскую слабость или неведение жизни, просит в чем-нибудь покровительства, разве не возникает у любого мужчины склонность создать несбыточную сказку, в которой ему выпадет роль счастливца? Поэтому простые слова «господин офицер» и учтивая форма вопроса внесли небывалое смятение в сердце капитана. Он попытался рассмотреть путешественницу, но был весьма разочарован: ревнивая вуаль скрывала ее черты, и он едва мог увидеть глаза, блестевшие сквозь шелковую дымку, как два оникса, озаренные солнцем.

— Вы теперь в одном лье от Алансона, сударыня.

— Алансон? Уже?

И незнакомка, не прибавив больше ни слова, откинулась или, вернее, отклонилась к стенке кареты.

— Алансон?—повторила вторая женщина, вероятно, пробудившись от сна.— Вы снова увидите родные места...

Она взглянула на капитана и умолкла. Мерль, обманувшись в своей надежде полюбоваться прекрасной незнакомкой, принялся разглядывать ее спутницу. Это была девушка лет двадцати шести, белокурая, статная, блиставшая свежестью и ярким, здоровым румянцем, отличающими женщин Валоньи, Байе и окрестностей Алансона. Взгляд ее голубых глаз не говорил о большом уме, но выражал несомненную твердость характера, сочетавшуюся с нежностью души. Платье на ней было из темненькой материи. Волосы были подобраны, по нормандскому обычаю, под небольшой чепчик, и эта незатейливая прическа придавала ее лицу прелесть милой простоты. Весь ее облик, не отличаясь условной салонной аристократичностью, не был, однако, лишен естественного достоинства скромной молодой девушки, которая может спокойно оглянуться на свое прошлое, не на-

ходя в нем никаких причин для раскаяния. Капитан Мерль с первого взгляда угадал в ней полевой цветок, перенесенный в парижские теплицы, где сосредоточено столько лучей, иссушающих душу, и все же не утративший там ни чистоты своих красок, ни сельской искренности. Наивный вид этой девушки и скромный ее взгляд говорили, что она не ищет собеседника. В самом деле, как только офицер удалился от кареты, обе незнакомки принялись разговаривать, и тихие голоса их еле долетали до его слуха.

— Вы собрались так поспешно, что не успели даже одеться в дорогу,— сказала молодая крестьянка.— Хороши вы теперь! Если мы едем дальше Алансона, вам обязательно надо там переменить туалет...

— Ах, ах, Франсина! — воскликнула незнакомка.

— Что скажете?

— Вот уже третий раз ты пытаешься узнать, куда и зачем мы едем.

— Разве я сказала хоть слово об этом? Я не заслужила такого упрека!..

— О, я прекрасно заметила твои уловки! Ведь теперь ты не такая наивная простушка, как раньше: ты побывала в моей школе и немножко научилась хитрить. Прямые вопросы ты уже считаешь нелепыми. И ты права, дитя мое. Из всех существующих способов выведать тайну — это, по-моему, самый глупый.

— Ну что ж,— промолвила Франсина,— видно, от вас ничего не скроешь. Но сознайтесь, Мари, что ваше поведение возбудило бы любопытство даже у святого. Вчера утром вы без денег, а сегодня у вас полны руки золота. В Мортани вам дают ограбленную почтовую карету, заменив убитого кучера другим, вас охраняют правительственные войска и сопровождает человек, которого я считаю вашим злым гением...

— Кто? Корантен? — спросила молодая незнакомка, указав рукой на всадника, и два эти слова были произнесены с глубочайшим презрением, которое сказалось даже в ее жесте.— Слушай, Франсина, ты помнишь мою обезьяну Патриота? Помнишь, я приучила ее передразнивать Дантона? Как она нас забавляла!

— Помню, мадемуазель.

— Ну что ж, разве ты боялась ее?

— Она была на цепочке.

— А Корантен в намордник, дитя мое.

— Я знаю, мы забавлялись Патриотом целые часы, но под конец он всегда ухитрялся сыграть с нами какую-нибудь скверную шутку.

При этих словах Франсина быстро откинулась к стенке кареты, поближе к своей госпоже, взяла ее за руки и, ласково поглаживая их, сказала с умильной улыбкой:

— Вы разгадали меня, Мари, но не ответили мне!.. Что случилось? Вы были так печальны, что мне было очень, очень больно, и как после этого вы могли вдруг, за одни сутки, стать совсем иной? Вам весело, безумно весело, как в те дни, когда вы хотели покончить с собой... Откуда эта перемена? Я немножко имею право спросить у вас отчета, узнать, что у вас на душе. Она прежде всего принадлежит мне, а потом уж кому-нибудь другому, потому что никто не будет вас любить больше, чем я. Говорите же, Мари...

— Ну, хорошо, Франсина. Разве ты не видишь вокруг, в чем тайна моей веселости. Посмотри на пожелтевшие султаны вон тех далеких деревьев: ни одно не похоже на другое. Когда смотришь на них издали, как будто видишь старый гобелен в каком-нибудь замке. Взгляни на эти живые изгороди: за ними каждую минуту может оказаться засада шуанов. И когда я смотрю на этот густой кустарник, мне мерещатся стволы ружей. Как хорошо, что вокруг нас опасность, непрестанно возрождающаяся опасность! Всякий раз, как дорога принимает мрачный вид, я все жду, что грянут выстрелы, сердце мое бьется и еще не изведанное ощущение волнует меня. И это не страх, не опьянение радостью, нет, это нечто другое, более высокое — это волнение всех чувств, всего, что движет мною,— это жизнь!.. Как же мне не радоваться, когда я хоть немного всколыхнула свою жизнь.

— Ах, какая вы жестокая! Ничего не хотите мне сказать. Пресвятая дева,— добавила Франсина, горестно поднимая глаза к небу,— кому же она откроется, если таится от меня!

— Франсина,— серьезным тоном сказала незнакомка,— я не могу признаться тебе в моих намерениях: на этот раз они ужасны.

— Зачем же нарочно творить зло?

— Что поделаешь? Я часто ловлю себя на том, что думаю я так, как будто мне пятьдесят лет, а поступаю, словно пятнадцатилетняя девочка. Ты всегда была моим разумом, бедная моя Франсина, но в этом деле я должна заглушить голос совести... А это мне не удается!..— прошептала она, помолчав, и глубоко вздохнула.— Как же ты хочешь, чтобы я вдобавок еще взяла себе такого строгого исповедника, как ты?

И она ласково похлопала Франсину по руке.

— А разве я когда-нибудь упрекала вас за ваши поступки? — воскликнула Франсина.— У вас даже зло какое-то милое. И столько я молюсь за вас святой Анне Орейской, что она, наверно, даст вам отпущение грехов. Да вы же видите,— разве я не еду с вами по этой дороге, не зная, куда вы держите путь?

В порыве нежности она поцеловала ее руки.

— Что ж,— промолвила Мари,— ты можешь покинуть меня, если твоя совесть...

— Полно, замолчите, сударыня,— прервала ее Франсина, сделав обиженную гримаску.— Но неужели вы не скажете?

— Ничего не скажу! — твердо ответила девушка.— Только знай, что это дело мне ненавистно еще больше, чем тот человек, который своими медоточивыми устами разъяснил его мне... Буду откровенна и признаюсь тебе, что я не сдалась бы на их уговоры, если б не увидела в этом гнусном фарсе сочетания ужаса и любви. Оно и соблазнило меня. Я не хочу уйти из этого мира, не попытавшись нарвать в нем цветов, и я надеюсь, что теперь это совершится, хотя бы ценою моей жизни. Но, ради доброй памяти обо мне, не забывай, что, будь я счастлива, то, даже увидев над своей головой страшный нож гильотины, я не согласилась бы принять на себя роль в этой трагедии, ибо это трагедия... А теперь,— добавила она с невольным жестом отвращения,— если б ее отменили, я бросилась бы в Сарту, и это не было бы самоубийством,— я еще не жила.

— Святая Анна Орейская, прости ей!

— Чего ты испугалась? Ты же знаешь, что жалкие превратности домашней жизни не возбуждают во мне страстей. Это нехорошо для женщины, но моя душа со-

зрела теперь для чувств более высоких, для испытаний самых тяжких. Возможно, что и я могла бы стать кротким созданием, подобным тебе. Зачем я поднялась выше или опустилась ниже уровня, назначенного моему полу? Ах, как счастлива жена генерала Бонапарта! Нет, я, видно, умру молодой, если уж дошла до того, что меня не страшит эта веселая прогулка, на которой придется *испить крови*, как говорил бедняга Дантон. Но забудь все, что я сказала тебе,— это говорила пятидесятилетняя старуха. Слава богу, скоро опять появится пятнадцатилетняя девочка.

Молодая крестьянка затрепетала. Только она одна знала бурную и порывистую натуру своей госпожи, только она была посвящена в тайны ее богатой, экзальтированной души, в сокровенные чувства этого создания, которое до той поры лишь видело, как жизнь проносится мимо неуловимой тенью, и тщетно пыталось ее поймать. Щедрой рукой сеяла эта женщина, и, не собрав жатвы, сердце ее осталось девственным, но, раздраженная множеством обманутых желаний, утомленная бесплодной борьбой, она в отчаянии своем дошла до того, что добро стала предпочитать злу, когда добро представлялось ей удовольствием, зло — добру, когда зло принимало облик поэтический, серенькому прозябанию — нищету, как нечто более высокое, а грозное, неведомое будущее и смерть — жизни, скудной надеждами и даже страданиями. Никогда еще не было собрано столько пороха, ожидающего единой искры, никогда еще пламени любви не предстояло пожрать столько сокровищ — словом, никогда еще ни одна из дочерей Евы не была создана из глины, где таилось столько золота. Франсина, словно земной ангел, оберегала это создание, преклонялась перед ним, считая его совершенством, и верила, что выполнит волю небес, если сохранит эту душу для хора серафимов, откуда она, казалось, была изгнана во искупление греха гордыни.

— Вон алансонская колокольня,— сказал всадник, подъезжая к карете.

— Вижу,— сухо ответила молодая дама.

— А! Хорошо,— сказал он и отъехал, сохраняя вид рабской покорности, несмотря на свое разочарование.

— Ну, погоняйте, погоняйте! — сказала дама воз-

нице.— Теперь вам нечего бояться. Пустите лошадей рысью, а если можете — галопом. Ведь мы уже почти на мостовой Алансона.

Проезжая мимо командира конвоя, она крикнула ему нежным голосом:

— До свидания, командир! Встретимся в гостинице. Приходите навестить меня.

— Еще что!—возмутился Юло.—«В гостинице! Приходите навестить!» Как разговаривает с начальником полубригады!..

И он погрозил кулаком карете, быстро катившей по дороге.

— Не обижайтесь, командир. У нее в рукаве ваш генеральский чин,— со смехом сказал Корантен, пытаясь пустить свою лошадь вскачь, чтобы догнать карету.

— Ну нет, я не позволю всяким проходимцам дурачить меня,— ворчливо сказал Юло своим друзьям.— По-моему, лучше швырнуть генеральский мундир в канаву, чем заработать его в постели. Что это за птицы и чего они хотят? Вы тут понимаете что-нибудь?

— О да! — сказал Мерль.— Я знаю, что никогда еще не видал такой красивой женщины! И, по-моему, вы плохо понимаете иносказания. Может быть, это жена первого консула.

— Вздор! Жена первого консула пожилая, а эта — молодая,— возразил Юло.— К тому же в приказе, который я получил от министра, написано, что ее зовут мадемуазель де Верней. Это, несомненно, одна из бывших. Разве я их не знаю? До революции все они занимались таким ремеслом. Тогда в два счета можно было стать начальником полубригады, стоило только разок-другой сказать понежнее такой особе: «Сердце мое!»

Пока солдаты конвоя, по выражению их командира, старались *пошире раскрывать циркули*, ветхий рыдван, служивший почтовой каретой, быстро доехал до гостиницы «Три мавра», находившейся в середине главной улицы Алансона. Услышав грохот и дребезжанье этой бесформенной колымаги, на пороге гостиницы появился хозяин. Никто из жителей Алансона не мог ожидать, что почтовая карета остановится у гостиницы «Три мавра», но ужасное происшествие в Мортани уже привлекло к этой карете столько зевак, что обе путешествен-

ницы, желая укрыться от всеобщего любопытства, поспешили войти в кухню — неизбежную прихожую каждой гостиницы на западе Франции. Оглядев экипаж, хозяин хотел было последовать за приезжими, но кучер взял его за руку и остановил:

— Слушай, гражданин Брут, за нами идет конвой синих. Ни почтаря, ни депеш нет, вот я и привез к тебе этих гражданок. Они, наверняка, заплатят тебе, как бывшие принцессы, и, стало быть...

— И, стало быть, мы с тобой, приятель, выпьем сейчас по стакану вина,— сказал хозяин.

Мадемуазель де Верней окинула взглядом закопченную, почерневшую кухню, стол с кровавыми пятнами от сырого мяса и упорхнула легкой птицей в соседнюю комнату, испугавшись вида и запахов этой кухни, а также любопытства неопрятного повара и низенькой толстой женщины, которые уже принялись внимательно ее рассматривать.

— Как же нам быть, жена? — сказал хозяин.— Вот чертовщина! Кто бы мог подумать, что в такие времена к нам наедет столько народу! Пока мы приготовим для этой женщины приличный завтрак, она выйдет из себя. Ага! Придумал!.. Ей-богу, мне в голову пришла хорошая мысль! Раз это благородные гости, я им предложу откушать вместе с той дамой, что остановилась у нас наверху. Правильно?

Хозяин пошел переговорить с новыми своими постояльцами, но увидел только Франсину. Он отвел ее в глубь кухни, в сторону двора, чтобы никто не мог подслушать, и сказал ей вполголоса:

— Если вы и другая дама желаете, чтобы вам подали отдельно,— а это, конечно, приятнее для вас,— так у меня приготовлены очень тонкие блюда для одной особы и ее сына. Они, я думаю, согласятся разделить с вами свой завтрак,— добавил он с таинственным видом.— Это знатные персоны.

Едва хозяин закончил свое предложение, как кто-то легонько толкнул его в спину кнутовищем; он быстро обернулся и увидел перед собою низенького, коренастого человека, который бесшумно вышел из соседней комнаты, где при его появлении толстая женщина, повар и поваренок оцепенели от ужаса. Хозяин отвернулся и по-

бледнел. Низенький человек тряхнул волосами, закрывавшими весь его лоб и глаза, приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха хозяина, и сказал:

— Ты знаешь, чего стоит предательство и даже простая неосторожность и какой монетой мы за это платим? Мы люди щедрые...

И к словам своим он добавил жест, послуживший грозным пояснением к ним. Хотя Франсина не видела этого человека, ибо его закрывала шарообразная фигура хозяина, она уловила некоторые из его слов, произнесенных резким тоном,—этот хриплый голос и звуки бретонской речи словно громом ее поразили. Она бросилась к низенькому человеку, повергнувшему всех в ужас, но он, казалось, обладал проворством дикого зверя и успел уже выйти через боковую дверцу во двор. Франсина подумала, что ошиблась в своих предположениях, когда перед ней мелькнула темно-бурая шкура существа, похожего на медведя средних размеров. В удивлении подбежала она к окну и сквозь пожелтевшее от дыма стекло увидела, как незнакомец вразвалку шел к конюшне. Прежде чем войти туда, он устремил черные глаза на второй этаж гостиницы, а затем на почтовую карету, словно хотел поделиться со своими друзьями каким-то важным наблюдением, касавшимся тюрготины. Благодаря этому движению незнакомца Франсина могла разглядеть его лицо и, несмотря на козьи шкуры, в которые он был одет, узнала в нем шуана, прозванного «Крадись-по-Земле»; она узнала его также по огромному кнуту и по его крадущейся походке, которая в случае нужды бывала, однако, весьма быстрой. Пристально вглядываясь в темный угол конюшни, Франсина лишь смутно видела шуана: он лег на солому, заняв такое место, откуда мог наблюдать за всем, что делалось в гостинице. Крадись-по-Земле так съежился, что издалека и даже вблизи самый хитрый шпион легко принял бы его за большого пса, который свернулся клубком и спит, положив морду на лапы. Поведение шуана ясно показывало, что он не узнал Франсины. И девушка не могла решить, радоваться этому или печалиться, вспомнив, в каком загадочном положении находилась ее госпожа. Однако ее любопытство подстрекнула таинственная связь между угрожающими словами шуана и

предложением хозяина гостиницы, довольно обычным у трактирщиков, всегда готовых с одного вола содрать две шкуры. Отойдя от грязного окна, сквозь которое она видела в конюшне бесформенное черное пятно на том месте, где притаился Крадись-по-Земле, она повернулась к хозяину гостиницы и угадала по его виду, что он совершил отчаянный промах и не знает, как его исправить. Несчастный окаменел от жеста шуана. Каждому на западе Франции было известно, какими утонченно жестокими пытками «королевские егеря» карали людей, заподозренных всего лишь в неосторожной болтливости, и хозяин гостиницы уже чувствовал нож у своего горла. Повар с ужасом уставился на пылающий очаг, вспоминая, что нередко шуаны на огне *грели* ноги доносчикам. Маленькая толстая женщина, держа в одной руке кухонный нож, а в другой половину разрезанной картофелины, испуганно смотрела на своего мужа. Поваренок пытался угадать неведомую ему причину всеобщего ужаса. Эта немая сцена, в которой главное действующее лицо отсутствовало, но было, однако, видно всем ее участникам, вполне естественно усилила любопытство Франсины. Грозная власть шуана была для нее лестна, и хотя хитрые проделки лукавых камеристок были чужды кроткому ее характеру, теперь ей так хотелось разгадать тайну, что она решила воспользоваться своим выгодным положением.

— Хорошо, барышня принимает ваше предложение,— важным тоном сказала она хозяину. Тот вздрогнул и словно очнулся при этих словах.

— Какое предложение? — спросил он с искренним удивлением.

— Какое? — спросил неожиданно появившийся Корантен.

— Какое? — спросила мадемуазель де Верней.

— Какое? — спросил четвертый человек, стоя на последней ступеньке лестницы, и легко спрыгнул с нее в кухню.

— Да ваше предложение позавтракать с какими-то знатными особами,— нетерпеливо ответила Франсина.

— Знатными? — с язвительной иронией подхватил человек, спустившийся с лестницы.— Это уж, милый мой, скверная шутка трактирщика. Однако, если ты

хочешь, любезный, предложить нам в сотрапезницы эту молодую гражданку, надо быть глупцом, чтобы отказаться от такого удовольствия,— сказал он, глядя на мадемуазель де Верней.— За отсутствием моей матушки я сам даю согласие на твое предложение,— добавил он, хлопнув по плечу озадаченного трактирщика.

Грациозное легкомыслие юности скрывало дерзкое высокомерие его слов, которые, вполне естественно, привлекли к говорившему внимание всех участников этой сцены. Хозяин повел себя, как Пилат, умывающий руки в знак своей непричастности к смерти Христа,— он отступил на два шага и сказал на ухо толстой жене:

— Если случится какая-нибудь беда, я не виноват, будь свидетельницей. А главное,— добавил он еще тише,— ступай сейчас же предупреди обо всем Крадись-по-Земле.

Путешественник, молодой человек среднего роста, был одет в синий редингот, суконные короткие панталоны такого же цвета и черные гетры выше колен. Это простое форменное платье без эполет носили тогда питомцы Политехнической школы. С первого же взгляда мадемуазель де Верней заметила стройную фигуру этого юноши в скромном костюме и *нечто такое* в его внешности, что говорило о врожденном благородстве. Лицо его вначале могло показаться довольно обыкновенным, но вскоре оно привлекало сочетанием черт, в которых сказывалась душа, способная на великие деяния. У него был смуглый от загара цвет лица, вьющиеся светло-русые волосы, сверкающие голубые глаза, тонкий нос, непринужденные движения, и все в нем свидетельствовало о жизни, руководимой высокими чувствами, а также о привычке повелевать. Но самыми характерными приметами одаренной натуры были его бонапартовский подбородок и нижняя губа: она соединялась с верхней грациозно изогнутой линией, подобной очертаниям акантового листа на капителях коринфских колонн. Природа вложила в две эти черты неотразимое обаяние.

«Для республиканца у этого молодого человека наружность уж слишком изящна»,— подумала мадемуазель де Верней.

Увидеть все это в одно мгновение, воодушевиться

желанием понравиться, мягко склонить головку набок, кокетливо улыбнуться, бросить бархатный взгляд, способный воскресить даже сердце, умершее для любви, прикрыть черные миндалевидные глаза тяжелыми веками, для того чтобы густые и длинные загнутые ресницы отбросили темную тень на щеки, найти в своем голосе самые мелодичные модуляции, придать глубокое очарование банальной фразе: «Мы очень вам обязаны, сударь!» — все эти уловки заняли меньше времени, чем его понадобилось нам для того, чтобы их описать. Затем мадемуазель де Верней обратилась к хозяину, спросила, где ее комната, увидела лестницу и исчезла вместе с Франсиной, предоставив молодому путешественнику догадаться, что означал ее ответ: согласие или отказ.

— Кто эта женщина? — быстро спросил питомец Политехнической школы у стоявшего неподвижно, изумленного хозяина.

— Гражданка де Верней, одна из бывших,— едко ответил Корантен и ревнивым взглядом смерил молодого человека с ног до головы.— А зачем тебе это знать?

Незнакомец, напевая республиканскую песню. гордо поднял голову и посмотрел на Корантена. Оба с минуту глядели друг на друга, как два петуха, готовых ринуться в бой, и этот взгляд пробудил в обоих ненависть на всю жизнь. Голубые глаза незнакомца выражали прямодушие, зеленые глаза Корантена говорили о лжи и хитрости; один отличался врожденным благородством манер, другой лишь вкрадчивой повадкой; один устремлялся ввысь, другой сгибался; один внушал уважение, другой пытался его добиться; один, казалось, говорил: «Завоюем!», а другой: «Поделим!»

— Кто здесь будет гражданин дю Га Сен-Сир? — спросил вошедший в комнату крестьянин.

— Зачем он тебе? — спросил молодой человек, выступая вперед.

Крестьянин, низко поклонившись, подал ему письмо. Молодой питомец Политехнической школы прочел письмо и бросил его в огонь. Вместо ответа он наклонил голову, и крестьянин ушел.

— Ты, конечно, приехал из Парижа, гражданин? — спросил тогда Корантен, подходя к нему с каким-то развязным и в то же время угодливо-общительным видом,

который, вероятно, показался гражданину дю Га невыносимым.

— Да,— сухо ответил он.

— И ты, верно, выпущен с каким-нибудь чином в артиллерию?

— Нет, во флот, гражданин.

— Ага! Ты, значит, едешь в Брест? — беспечным тоном спросил Корантен.

Но молодой моряк, не желая отвечать, быстро повернулся к нему спиной и вскоре опроверг лестное мнение, которое составила о нем мадемуазель де Верней, судя по его лицу. С ребяческим легкомыслием он занялся вопросом о завтраке: расспрашивал повара и хозяйку об их кулинарных рецептах; удивлялся провинциальным привычкам, как истый парижанин, вырванный из своей волшебной раковины, и проявлял брезгливость изнеженной модницы,— словом, обнаружил полное отсутствие тех черт характера, о которых говорили его манеры и лицо. Корантен жалостливо улыбнулся, увидев, как он поморщился, с отвращением отведав лучшего нормандского сидра.

— Фу! — воскликнул он.— Да разве возможно проглотить эту гадость? Что, ее пьют или едят? Республика права, не доверяя такой провинции, где виноград сбивают палками, а путешественников исподтишка подстреливают на дорогах. Смотрите, не вздумайте подать нам к столу графин с этим снадобьем,— дайте хорошего бордо, белого и красного. А кстати пойдите посмотрите, жарко ли горит камин наверху. Право, эти люди очень отстали от цивилизации. Ах! — продолжал он, вздыхая.— Париж! В целом мире нет лучше города! Как жаль, что нельзя захватить его с собою в плавание. О горе-кулинар! — крикнул он повару.— Ты подливаешь уксус в фрикасе из курицы!.. Но ведь у тебя есть лимоны!.. А вы, почтеннейшая,— заявил он хозяйке,— вы дали мне такие грубые простыни, что я всю ночь ворочался и не мог сомкнуть глаз.

Затем он принялся играть своей толстой тростью, с детской старательностью выделывая всякие фигуры,— большая или меньшая их замысловатость и четкость свидетельствовали о более или менее почетном положении молодых людей в категории *«невероятных»*.

— И с помощью таких вот вертопрахов хотят возродить флот Республики,— шептал Корантен хозяину, вглядываясь в его лицо.

— Это какой-нибудь шпион, подосланный Фуше,— сказал молодой моряк на ухо хозяйке,— по физиономии видно, что он из полиции. Готов поклясться, что пятно на его подбородке — это парижская грязь. Но погоди, нашла коса на камень...

В эту минуту в кухне появилась какая-то дама, и молодой моряк бросился к ней навстречу с самым почтительным видом.

— Дорогая матушка, идите сюда, идите,— сказал он.— Я без вас, кажется, завербовал гостей.

— Гостей? — переспросила она.— Какое легкомыслие!

— Это мадемуазель де Верней,— тихо промолвил моряк.

— Мадемуазель де Верней погибла на эшафоте после Савенейского сражения, она приезжала в Ман, надеясь спасти своего брата, принца Лудонского,— резко ответила ему мать.

— Вы ошибаетесь, мадам,— мягко сказал Корантен, подчеркивая слово «мадам».— Есть две мадемуазель де Верней,— в старинных родах всегда бывает несколько линий.

Незнакомка, удивленная таким бесцеремонным вмешательством, отступила на несколько шагов, словно желая окинуть взглядом своего неожиданного собеседника; она устремила на него живые черные глаза, исполненные чисто женской проницательности, и, казалось, хотела разгадать, в чьих интересах он заявил о существовании второй мадемуазель де Верней. В то же время Корантен, украдкой изучая наружность этой дамы, отказал ей во всех радостях материнства, оставив за нею лишь радости любви; он галантно отказал ей в счастье иметь двадцатилетнего сына, ибо все в этой женщине вызывало в нем восхищение: ослепительная белизна кожи, все еще густые, изогнутые дугой брови, длинные, почти не поредевшие ресницы и пышные бандо черных волос, подчеркивавшие моложавость ее умного лица. Легкие морщинки на лбу говорили вовсе не о прожитых долгих годах, но выдавали юные страсти. И если блеск

пронизывающих глаз немного потускнел, трудно было сказать, какая причина затуманила их: утомительное путешествие или слишком частые наслаждения. И, наконец, Корантен заметил, что незнакомка закутана в плащ из английской материи, а фасон ее шляпы, несомненно заграничной, не относится к какой-нибудь разновидности *греческой моды*, которая в те годы еще господствовала в парижских туалетах. Корантен принадлежал к породе людей, всегда склонных предполагать скорее дурное, чем хорошее, и сразу усомнился в благонадежности обоих путешественников. Дама, в свою очередь, с такою же быстротой произвела наблюдение над Корантеном и, повернувшись к сыну, посмотрела на него с многозначительным видом, который довольно точно можно передать следующими словами: «Что это за чудак? Из нашего он стана?» На эти безмолвные вопросы молодой моряк ответил позой, взглядом и жестом, которые говорили: «Право, ничего о нем не знаю. Мне он еще более подозрителен, чем вам». Затем, предоставив матери одной разгадывать тайну, он повернулся к хозяйке и сказал ей на ухо:

— Смотрите же, постарайтесь узнать, кто эта личность, действительно ли он сопровождает эту девицу и зачем?

— Итак, гражданин, ты уверен, что мадемуазель де Верней существует? — спросила г-жа дю Га, пристально глядя на Корантена.

— Существует, *мадам*, существует во плоти и крови, так же как и гражданин дю Га Сен-Сир.

Незнакомка прекрасно поняла затаенную глубокую иронию этого ответа, и любая женщина на ее месте почувствовала бы смущение. Сын ее внезапно посмотрел на Корантена пытливым взглядом, но тот хладнокровно вынул из кармашка часы, словно не замечая смятения, вызванного его ответом. Даму охватила тревога и желание немедленно узнать, скрывала ли эта фраза коварный умысел, или была брошена случайно; самым естественным тоном она воскликнула, обращаясь к Корантену:

— Боже мой, до чего теперь ненадежны дороги! За Мортанью на нас напали шуаны. Мой сын едва не погиб, защищая меня: две пули пробили ему шляпу.

— Как, мадам? Вы были в той карете, которую раз-

бойники ограбили, несмотря на то, что ее сопровождал конвой? Представьте, мы прибыли сюда в этой самой карете! Вы, вероятно, ее узнаете. Проезжая через Мортань, я слышал, что шуанов было не меньше двух тысяч и что погибли все, даже путешественники. Вот как пишется история!

Легкомысленный тон и глуповатый вид Корантена придавали ему в эту минуту большое сходство с завсегдатаем «Маленького Прованса», когда тот с грустью слышит, что важная политическая новость оказалась ложной.

— Увы, мадам,— продолжал он,— если проезжих убивают так близко от Парижа, подумайте, какие опасности ждут нас на дорогах Бретани. Право, мне дальше не хочется ехать! Вернусь-ка я в Париж!

— Скажите, мадемуазель де Верней хороша собой и молода? — спросила у хозяйки дама, внезапно пораженная какой-то мыслью.

Ответа она не успела получить: хозяин доложил, что завтрак подан, и это прервало разговор, представлявший для троих собеседников какой-то мучительный интерес.

Молодой моряк предложил матери руку с подчеркнутой фамильярностью, подтверждавшей подозрения Корантена, и, направляясь к лестнице, громко проговорил:

— Гражданин, если ты сопровождаешь гражданку Верней и если она принимает предложение хозяина, не стесняйся, пожалуйста...

Хотя эти слова были сказаны скороговоркой и не очень любезным тоном, Корантен тоже двинулся к лестнице. Молодой моряк крепко сжал даме руку и, когда они поднялись на семь-восемь ступенек выше парижанина, произнес еле слышно:

— Вот каким бесславным опасностям подвергают нас ваши безрассудные поступки. Если откроют, кто мы, как нам спастись? И какую роль вы заставляете меня играть?

Все трое вошли в довольно просторную комнату. Даже тот, кому не приходилось много путешествовать по Западной Франции, понял бы, что хозяин гостиницы щедро извлек все свои сокровища для приема гостей и обставил его с необыкновенной пышностью. Стол был

сервирован старательно; яркое пламя топившегося камина выгнало из комнаты сырость; скатерть, салфетки, посуда, стулья были не очень грязны. Корантен по всему заметил, что хозяин, стремясь угодить постояльцам, *из кожи лез вон* (воспользуемся этим народным выражением).

«Значит, эти люди вовсе не те, кем они хотят казаться,— подумал он.— Молодой человек хитер. Я принимал его за дурака, а теперь вижу, что он, пожалуй, в ловкости не уступит и мне».

Молодой моряк, его мать и Корантен ждали мадемуазель де Верней, за которой пошел хозяин. Но прекрасная путешественница все не появлялась. Питомец Политехнической школы, подозревая, что она жеманится, вышел и, напевая патриотическую песню «Спасем мы наше государство», направился к комнате мадемуазель де Верней, горя желанием преодолеть щепетильность девушки и привести ее с собой. Быть может, он хотел разрешить свои тревожные сомнения, а может быть, намеревался испробовать на этой незнакомке ту власть, на которую притязает каждый мужчина при встрече с красивой женщиной.

«Ну, если это республиканец, пусть меня повесят! — подумал Корантен, когда молодой моряк выходил из комнаты.— Так поводить плечами могут только придворные... А если это его мать,— продолжал он свои размышления, поглядев на г-жу дю Га,— тогда я — папа римский. Я поймал шуанов. Надо удостовериться, какого они ранга».

Вскоре дверь открылась, молодой моряк вошел в комнату под руку с мадемуазель де Верней и с самодовольной галантностью повел ее к столу. Истекший час не пропал даром для дьявола. С помощью Франсины мадемуазель де Верней прекрасно вооружилась: ее дорожный костюм был, пожалуй, опасней бального наряда. В простоте его таилась особая прелесть,— она зависела от того большого искусства, с которым женщина, достаточно красивая, чтобы обойтись без пышных уборов, умеет отвести своему туалету лишь второстепенную роль. Зеленое платье красивого покроя, спенсер, отделанный брандербурами, обрисовывали и подчеркивали ее формы, что было не совсем прилично для молодой де-

вушки, но хорошо выделяло ее гибкую талию, изящный бюст и грациозные движения. Она вошла, мило улыбаясь, что вполне естественно для женщины, которая может показать в улыбке румяные губы, правильный ряд зубов, прозрачных, как фарфор, и две ямочки на щеках, свежих, как у ребенка. Она уже сняла шляпу, почти совсем закрывавшую ее лицо от взглядов молодого моряка, и теперь ничто не мешало ей пустить в ход множество мелких и как будто невинных уловок, какими женщина умеет показать свою красоту, изящество головки и вызвать восхищение зрителей. Какая-то гармония между туалетом и манерами так молодила ее, что г-жа дю Га не решилась дать ей по виду и двадцати лет. Кокетливый ее наряд ясно говорил о желании понравиться, и это внушило надежды молодому моряку; но мадемуазель де Верней, даже не взглянув на него, поблагодарила его легким кивком головы и отошла в сторону с шаловливой беспечностью, которая обескуражила его. Подобную сдержанность посторонние люди не могли счесть ни осторожностью, ни кокетством, она казалась равнодушием— естественным или притворным. Молодая путешественница придала своему лицу непроницаемо-наивное выражение. Она не проявляла никакого стремления покорять сердца, но, очевидно, сама природа наделила ее милыми, пленительными манерами, и самолюбие молодого моряка уже стало их жертвой. С некоторой досадой вернулся он на свое место.

Мадемуазель де Верней взяла Франсину за руку и, обратившись к г-же дю Га, сказала учтивым тоном:

— Мадам, не будете ли вы добры разрешить этой девушке позавтракать с нами. Я вижу в ней скорее подругу, чем служанку. В столь бурное время за преданность можно платить лишь своим сердцем... ведь это все, что у нас осталось!

Последнюю фразу она произнесла вполголоса. Г-жа дю Га ответила легким церемонным реверансом, показавшим, что ей неприятна встреча с такой красивой женщиной, затем она повернулась к сыну и шепнула ему:

— Ого! «Бурное время», «преданность», «мадам» и «служанка». Ясно, что это не мадемуазель де Верней,— это девка, подосланная Фуше.

Все уже собирались сесть за стол, но вдруг мадему-

зель де Верней заметила Корантена,— он не переставал внимательно наблюдать за обоими незнакомцами, которых уже тревожили его упорные взгляды.

— Гражданин,— сказала она Корантену,— ты, конечно, настолько хорошо воспитан, что не будешь следовать за мной по пятам. Республика, отправив моих родителей на эшафот, и не подумала дать мне великодушно опекуна. Если из неслыханной рыцарской любезности ты сопровождаешь меня против моей воли (она вздохнула), я все же не могу допустить, чтобы твое покровительство и заботы, которые ты так щедро оказываешь мне, могли тебя стеснять. Здесь я в безопасности, ты спокойно можешь оставить меня.

Она бросила на него пристальный и презрительный взгляд. Корантен понял и, сдержав улыбку, змеившуюся в уголках его хитрого рта, почтительно поклонился.

— Гражданка,— сказал он,— всегда буду считать за честь повиноваться тебе. Красота — единственная королева, которой республиканец охотно может служить.

Когда мадемуазель де Верней увидела, что Корантен уходит, глаза ее заискрились такой простодушной радостью, она посмотрела на Франсину с такой красноречивой и счастливой улыбкой, что г-жа дю Га, которая от ревности стала осторожной, все же готова была отбросить подозрения, вызванные у нее безупречной красотой мадемуазель де Верней.

— Может быть, это действительно мадемуазель де Верней,— шепнула она на ухо сыну.

— А конвой? — ответил молодой человек: досада сделала его благоразумным.— В плену она или под защитой? Друг она или враг правительства?

Госпожа дю Га быстро прищурила глаза, словно хотела сказать, что она раскроет эту тайну. Однако с уходом Корантена подозрения моряка как будто уменьшились, и лицо его утратило суровое выражение; но взгляды, которые он бросал на мадемуазель де Верней, говорили о необузданной любви к женщинам, а не о пламени почтительной зарождающейся страсти. Девушка стала от этого еще более осмотрительной и обращалась теперь с приветливыми словами только к г-же дю Га. Молодой моряк сердился втихомолку и, скрывая горькое разочарование, тоже попытался разыграть равнодушие.

Мадемуазель де Верней как будто не замечала его маневра и держала себя просто, но без робости, сдержанно, но без чопорности. Итак, эта встреча людей, казалось, не предназначенных судьбою к тесному знакомству, не пробудила ни в ком из них большой симпатии. Вначале даже царила обычная неловкость, стесненность, разрушавшая все удовольствие, которое мадемуазель де Верней и молодой моряк за минуту до этого ожидали от совместной трапезы. Но женщины проявляют в обществе такой изумительный такт и знание условных приличий, их так сближает сокровенное взаимное понимание или горячая жажда волнений, что в подобных случаях они всегда умеют сломать лед. Внезапно обеим прекрасным собеседницам, видимо, пришла одна и та же мысль: они принялись невинно подшучивать над своим единственным кавалером, соперничая в милых насмешках, внимании и заботах; такое единодушие предоставляло им свободу. Взгляд или слово, приобретающее глубокий смысл, когда оно случайно вырвется в минуту замешательства, теряли теперь значение; короче говоря, через полчаса обе женщины, втайне уже ненавидевшие друг друга, казалось, были лучшими в мире друзьями. Молодой моряк поймал себя на том, что беспечное легкомыслие мадемуазель де Верней вызывает в нем такую же досаду, как ее прежняя сдержанность. Он плохо скрывал свой глухой гнев и сожалел, зачем они завтракают вместе.

— Мадам,— сказала мадемуазель де Верней, обращаясь к г-же дю Га,— ваш сын всегда так печален, как сейчас?

— Мадемуазель,— отозвался он,— я спрашивал себя, к чему судьба посылает счастье, если оно через мгновение исчезнет. Тайна моей печали — в слишком большом наслаждении.

— Ах, какие мадригалы! — смеясь, воскликнула мадемуазель де Верней.— Но они больше подходят придворному, чем питомцу Политехнической школы.

— Мадемуазель, мой сын лишь выразил вполне естественную мысль,— сказала г-жа дю Га, задавшись целью приручить незнакомку.

— Улыбнитесь же,— продолжала мадемуазель де Верней, сама улыбаясь молодому человеку.— Интересно, ка-

ким вы бываете, когда надо плакать, если вас так печалит то, что вам было угодно назвать «счастьем».

Эта улыбка и вызывающий взгляд, разрушив гармонию притворно-невинного ее облика, возродили смелую надежду у молодого моряка. Но, повинуясь своей женской натуре, которая всегда и во всем побуждает женщин делать слишком много или слишком мало, мадемуазель де Верней то как будто стремилась завладеть этим юношей и дарила ему взгляд, блиставший щедрыми обещаниями любви, то, в ответ на его галантные фразы, обливала его холодом строгой скромности — обычный прием, каким женщины маскируют свои истинные чувства. И только в одно-единственное мгновение, когда оба думали, что у другого глаза опущены, они взглядом сообщили друг другу свои мысли, но тотчас поспешили угасить сияние этого взгляда, которое в обоих озарило сердце и потрясло его. И больше они не осмеливались смотреть друг на друга, стыдясь, что одним взглядом сказали так много. Мадемуазель де Верней, решив обмануть надежды незнакомца, держалась с холодной учтивостью и, казалось, с нетерпением ожидала конца завтрака.

— Мадемуазель, вы, должно быть, очень страдали в тюрьме? — спросила г-жа дю Га.

— Да, мадам, но мне кажется, что я и не выходила из нее.

— А для чего предназначен ваш конвой, мадемуазель? Оберегать вас или стеречь? Дорожит вами Республика или подозревает вас?

Мадемуазель де Верней инстинктивно поняла, что г-жа дю Га весьма мало к ней расположена, и рассердилась на нее за эти вопросы.

— Мадам,— ответила она,— я не очень хорошо знаю, каков теперь характер моих отношений с Республикой.

— Может быть, вы внушаете ей трепет? — с некоторой иронией сказал молодой моряк.

— Зачем нескромно касаться секретов мадемуазель де Верней,— промолвила г-жа дю Га.

— О мадам, что может быть любопытного в секретах молодой девушки, которая до сих пор знала в жизни только несчастья.

— А ведь у первого консула, по-видимому, прекрасные намерения,— сказала г-жа дю Га, желая возобновить разговор, в котором она надеялась выведать то, что ей хотелось узнать.— Говорят, он собирается приостановить действие законов против эмигрантов.

— Это правда, мадам,— ответила мадемуазель де Верней, пожалуй, с чрезмерной горячностью.— Но почему же тогда мы поднимаем Вандею и Бретань? Зачем разжигать пожар во Франции?..

От этих великодушных, взволнованных слов, которыми она, казалось, бросала упрек самой себе, моряк вздрогнул. Он очень внимательно посмотрел на мадемуазель де Верней, но не мог прочесть в ее лице ни любви, ни ненависти: оно оставалось непроницаемым, не изменились в эту минуту даже нежные его краски, говорившие о тонкости кожи. Неодолимое любопытство вдруг потянуло его к этому странному существу, к которому его уже влекли бурные желания.

— Но скажите, мадам,— спросила мадемуазель де Верней, сделав короткую паузу,— вы едете в Майенну?

— Да, мадемуазель,— ответил молодой человек и вопрошающе посмотрел на нее.

— А знаете, мадам.— продолжала мадемуазель де Верней,— раз ваш сын служит Республике, то...

Она произнесла эти слова с внешним безразличием, но бросила на обоих незнакомцев один из тех беглых взглядов, какие присущи только женщинам и дипломатам.

— ...то вы должны опасаться шуанов,— продолжала она,— и вам бы не следовало пренебрегать конвоем. Мы почти стали попутчиками, поедемте вместе до Майенны.

Мать и сын молчали, видимо, советуясь друг с другом взглядами.

— Мадемуазель,— ответил молодой человек,— не знаю, может быть, это не очень благоразумно с моей стороны, но я признаюсь вам, что весьма важные дела требуют нашего присутствия этой ночью в окрестностях Фужера, а мы еще не нашли возможности выехать отсюда. Женщины по природе своей так великодушны, что мне было бы стыдно не доверять вам. Однако, прежде чем отдать себя в ваши руки, нам все же следует знать, выйдем ли мы из них живыми и невредимыми. Кто вы?

Повелительница или раба вашего республиканского конвоя? Простите моряка за откровенность, но ваше положение я нахожу каким-то неестественным.

— Мы живем в такое время, сударь, когда с нами и вокруг нас происходит только неестественное. Поверьте, вы совершенно спокойно можете принять мое предложение. А главное,— добавила она, подчеркивая свои слова,— не опасайтесь какого-нибудь предательства: предложение сделано вам очень просто, сделано женщиной, чуждой всяких политических страстей.

— Наше путешествие не лишено будет опасности,— заметил он и лукавым взглядом придал тонкий смысл этому банальному ответу.

— Чего же нам бояться? — насмешливо улыбаясь, спросила она.— Я не вижу никакой опасности... ни для кого!..

«Неужели это говорит та самая женщина, которая взглядом, казалось, разделяла мои желания? — спрашивал себя молодой человек.— А какой тон! Она, несомненно, готовит мне ловушку».

В эту минуту, словно мрачное предупреждение, раздался звонкий, пронзительный крик совы, и так близко, точно она сидела на дымовой трубе.

— Что это? — сказала мадемуазель де Верней.— Плохая примета! Нам не будет пути. Но почему это сова кричит среди бела дня? — спросила она с удивлением.

— Это случается иногда,— холодно ответил молодой человек.— Мадемуазель,— сказал он, помолчав,— может быть, мы принесем вам несчастье,— вы так подумали сейчас. Правда? Мы не поедем с вами.

Слова эти были сказаны с большим спокойствием и сдержанностью. Мадемуазель де Верней с удивлением взглянула на него.

— Сударь, я далека от желания принуждать вас,— сказала она с чисто аристократической надменностью. Сохраним ту ничтожную частицу свободы, какую оставила нам Республика. Если бы ваша матушка ехала одна, я бы, конечно, настаивала...

В коридоре раздались тяжелые шаги военного, и вскоре в дверях показалось нахмуренное лицо Юло.

— Идите сюда, полковник,— сказала, улыбаясь, мадемуазель де Верней и указала рукой на стул подле се-

бя.— Займемся государственными делами, раз это необходимо. Да улыбнитесь же! Что с вами? Уж нет ли здесь шуанов?

Командира поразила внешность молодого человека, и, широко раскрыв глаза, он с необычайным вниманием смотрел на него.

— Матушка, еще кусочек зайца? Мадемуазель, вы ничего не кушаете,— говорил моряк, ухаживая за сотрапезницами, как любезный хозяин.

Но в изумлении Юло и в настороженности мадемуазель де Верней чувствовалось что-то угрожающе-серьезное, и не замечать этого было опасно.

— Что с тобой, командир? Ты разве знаешь меня? — резко спросил молодой человек.

— Пожалуй,— ответил республиканец.

— В самом деле, мне кажется, ты приходил к нам в школу.

— Я никогда не бывал в школах,— резко возразил Юло.— А ты из какой школы?

— Из Политехнической!

— Ах, вот как! Казарма, где хотят воспитать солдат в дортуарах,— воскликнул Юло, питавший непреодолимое отвращение к офицерам, вышедшим из этого ученого питомника.— А где ты служишь?

— Во флоте.

— Да неужели? — воскликнул Юло и ехидно засмеялся.— А много ты знаешь воспитанников вашей школы, которые служили бы во флоте? Из Политехнической школы,— сказал он строгим тоном,— выпускают только артиллерийских офицеров и офицеров инженерных войск.

Молодой человек не смутился.

— Для меня сделали исключение, во внимание к фамилии, которую я ношу,— ответил он.— В роду у нас все были моряками.

— Вот оно что! А как твоя фамилия, гражданин?

— Дю Га Сен-Сир.

— Так, стало быть, тебя не убили в Мортани?

— Ах, он чуть было не погиб,— поспешно сказала мадам дю Га.— Две пули пробили шляпу моего сына...

— А есть у тебя документы? — спросил Юло, не слушая г-жу дю Га.

— Вы что, желаете их проверить? — дерзко спросил

моряк, переводя насмешливый взгляд голубых глаз то на сумрачное лицо командира, то на мадемуазель де Верней.

— А ты, желторотый, не вздумал ли, случаем, перечить мне? Давай документы, а не то пойдем!..

— Ну, ну, любезный! Я не дурак. Почему я обязан тебе отвечать? Кто ты такой?

— Командующий войсками департамента,— ответил Юло.

— Ого! Тогда мое дело окажется, пожалуй, серьезным. Я буду захвачен с оружием в руках.

И он протянул офицеру стакан бордо.

— Я не хочу пить,— ответил Юло.— Показывай документы.

В эту минуту на улице звякнули ружья и раздались шаги нескольких солдат. Юло подошел к окну, и мадемуазель де Верней вздрогнула, увидев, какая довольная улыбка появилась на его лице. Явное сочувствие девушки ободрило молодого моряка, лицо его приняло холодное и гордое выражение. Порывшись в кармане редингота, он достал из элегантного бумажника документы и подал их офицеру. Юло принялся медленно читать их, сравнивая указанные в паспорте приметы с чертами лица подозрительного путешественника. Во время такой проверки вновь послышался крик совы, но на этот раз нетрудно было различить в нем интонации и переливы человеческого голоса. С насмешливым видом командир вернул тогда бумаги молодому человеку.

— Прекрасно, замечательно,— сказал он,— а все-таки пойдем со мной в округ. Я не любитель музыки.

— Почему вы уводите его в округ? — спросила мадемуазель де Верней изменившимся голосом.

— Деточка, это вас не касается,— ответил командир и сделал обычную свою гримасу.

Тон, слова старого солдата, а главное — унижение, перенесенное в присутствии человека, которому она нравилась, возмутили мадемуазель де Верней; она встала, сразу сбросив с себя маску наивной скромности; лицо ее зарумянилось, глаза засверкали.

— Скажите, документы этого молодого человека удовлетворяют всем требованиям закона? — тихо спросила она слегка дрогнувшим голосом.

— Да, по видимости.

— Ну, так я хочу, чтобы вы его *по видимости* оставили в покое,— сказала она.— Вы боитесь, что он убежит? Но вы будете конвоировать его, так же как и меня, до Майенны; он поедет в почтовой карете вместе со своей матерью. Без возражений! Я так хочу! Ну, что? — продолжала она, заметив, что Юло позволил себе сделать недовольную гримасу.— Вы все еще находите его подозрительным?

— Еще бы! Довольно подозрительным.

— И что вы хотите сделать с ним?

— Ничего особенного. Только охладим кусочками свинца голову этому шалопаю! — с иронией ответил Юло.

— Вы шутите, полковник! — воскликнула мадемуазель де Верней.

— Идем, приятель! — сказал Юло, кивнув головой моряку.— Ну, живо!

Эти бесцеремонные слова вернули мадемуазель де Верней самообладание, и она улыбнулась.

— Ни шагу! — сказала она молодому человеку, ограждая его горделивым жестом.

— Ах, до чего хороша! — сказал моряк на ухо матери, и та нахмурила брови.

Досада и множество возбужденных, но подавленных чувств придавали в эту минуту новую прелесть лицу молодой парижанки. Франсина, г-жа дю Га, ее сын поднялись; мадемуазель де Верней быстро встала между ними и улыбавшимся командиром, проворно отстегнула две петлицы на своем спенсере, и в том ослеплении, которое охватывает женщину, когда жестоко задето ее самолюбие и когда она нетерпеливо стремится проявить свою власть, как ребенок, мечтающий поскорее испробовать подаренную ему игрушку, она мгновенно выхватила из-за корсажа и подала командиру распечатанное письмо.

— Прочтите,— сказала она, язвительно улыбаясь.

Она повернулась к молодому моряку и, в опьянении триумфа, бросила на него лукавый и влюбленный взор. У обоих взволнованные лица просветлели, оживились румянцем радости, а в душе поднялось множество противоречивых чувств. Г-жа дю Га с одного взгляда угадала, что великодушие мадемуазель де Верней скорее вызвано любовью, чем милосердием. И, конечно, она была

права. Прекрасная путешественница покраснела и скромно потупила глаза, угадав все, что говорил этот женский взгляд, затем, в ответ на безмолвное обвинение и угрозу, гордо подняла голову и вызывающе посмотрела на всех. Ошеломленный командир молча вернул ей письмо, скрепленное подписями министров: в нем предписывалось всем властям повиноваться приказаниям этой таинственной особы. Но затем Юло вытащил из ножен шпагу и, переломив ее о колено, бросил обломки на пол.

— Мадемуазель, вы, вероятно, хорошо знаете, что вам полагается делать, но у истого республиканца есть свои убеждения и гордость,— сказал он.— Я не могу служить там, где командуют красивые девицы. Нынче же вечером первый консул получит мой рапорт об отставке, и повиноваться вам будут другие, но только не Юло. Там, где я перестаю понимать, я останавливаюсь,— особенно тогда, когда я обязан понимать.

Он умолк. Наступила тишина. Но вдруг молодая парижанка нарушила ее. Она подошла к Юло и, протягивая ему руку, сказала:

— Полковник, хотя вы и запустили бороду, можете поцеловать меня. Вы настоящий мужчина.

— И я горжусь этим, мадемуазель,— ответил Юло, довольно неловко целуя руку этой странной девушки.— Ну, а ты, приятель, дешево отделался от большой беды,— добавил он, погрозив молодому человеку пальцем.

— Командир,— ответил тот, смеясь,— пора кончать шутку. Если хочешь, я пойду с тобой в округ.

— Ты что ж, возьмешь туда и своего свистуна-невидимку, Крадись-по-Земле?..

— Крадись-по-Земле? Кто это такой? — спросил моряк с самым неподдельным удивлением.

— А разве за окном не свистели недавно?

— Ну и что же? — возразил моряк.— Скажи, что общего между этим свистом и мною? Я думал, что таким способом тебя предупреждали о своем прибытии солдаты, которых ты, вероятно, вызвал для того, чтобы арестовать меня.

— Ты так думал? В самом деле?

— Ах, боже мой! Конечно! Выпей же стакан бордо. Превосходное вино!

Искреннее удивление моряка, беспечная непринужден-

ность его манер, его молодое лицо, казавшееся таким юным в рамке тщательно завитых светло-русых локонов,— все это сбивало командира с толку, он колебался, теряясь между множеством подозрений. Заметив, что г-жа дю Га как будто старается разгадать тайное значение взглядов, которые ее сын бросает на мадемуазель де Верней, он спросил у нее:

— Сколько вам лет, гражданка?

— Увы... какими жестокими становятся законы нашей Республики, господин офицер! Мне тридцать восемь лет.

— Не поверю, хоть расстреляйте меня. Крадись-по-Земле где-то здесь, это он свистел. Вы — переодетые шуаны. Разрази вас гром! Я прикажу оцепить гостиницу и произвести везде обыск...

Слова его пресек свист, раздавшийся во дворе, прерывистый и похожий на тот, который все недавно слышали. Юло бросился в коридор и, к счастью для г-жи дю Га, не видел, как она побледнела, услыхав его угрозу. В свистуне он обнаружил кучера, запрягавшего лошадей в почтовую карету, и отбросил свои подозрения,— настолько ему показалось невероятным, чтобы шуаны осмелились орудовать в самом центре Алансона.

— Я прощаю его, но потом он дорого поплатится за то, что заставил нас пережить здесь такие минуты,— сурово сказала мать на ухо сыну, когда Юло вновь появился на пороге комнаты. Смущенное лицо храброго офицера отражало происходившую в его душе внутреннюю борьбу между суровым долгом и природной добротой. Он все еще хранил сумрачный вид,— может быть, потому, что должен был признать свою ошибку. Все же он взял стакан бордо и сказал:

—Извини меня, товарищ. Но твоя школа выпускает в армию таких молодых офицеров...

— А что, у разбойников есть еще моложе? — смеясь, перебил его мнимый моряк.

— За кого же вы приняли моего сына? — подхватила г-жа дю Га.

— За Молодца, главаря шуанов и вандейцев, которого им послал лондонский кабинет. Настоящее его имя— маркиз де Монторан.

Юло снова окинул внимательным, испытующим

взором обоих подозрительных путешественников, но они посмотрели друг на друга с тем неописуемым выражением лица, которое свойственно высокомерным невеждам и которое мог бы передать следующий диалог: «Ты знаешь, в чем дело?» — «Нет, а ты?» — «Понятия не имею!» — «О чем же он толкует?» — «Он бредит». Затем — оскорбительный, издевательский смех глупцов, вообразивших себя победителями.

Лишь одна Франсина, изучившая все неуловимые оттенки в выражении юного лица своей госпожи, заметила, как она сразу переменилась и словно окаменела, услышав имя роялистского вождя. Юло, совершенно озадаченный, подобрал с полу обломки шпаги, посмотрел на мадемуазель де Верней и, вспомнив, как она растрогала его горячим порывом сердца, сказал:

— Что касается вас, мадемуазель, я от своих слов не отрекаюсь,— завтра же обломки моей шпаги будут у Бонапарта, если только...

— Ах, какое мне дело до Бонапарта, до вашей Республики, до шуанов, короля и Молодца! — воскликнула она, довольно плохо сдерживая запальчивость дурного тона.

Какая-то неведомая прихоть или страсть оживила яркими красками ее лицо, и ясно было, что весь мир перестал существовать для этой девушки с той минуты, как она отличила в нем одно-единственное создание. Но вдруг она вновь обрела вынужденное спокойствие, чувствуя, подобно великому актеру, что на нее обращены взоры всех зрителей. Командир резко повернулся и вышел из комнаты. Мадемуазель де Верней, взволнованная, встревоженная, последовала за ним и, остановив его в коридоре, спросила торжественным тоном:

— Скажите, у вас были очень веские основания подозревать, что этот человек — Молодец?

— Разрази меня гром! Ко мне явился тот фертик, что сопровождает вас, и сообщил, что путешественники, ехавшие в почтовой карете, и почтарь были убиты шуанами. Я это уже знал, но я не знал фамилии убитых путешественников, а их, оказывается, звали дю Га Сен-Сир!

— О, если тут замешан Корантен, я больше ничему не удивляюсь,— с отвращением воскликнула девушка.

Командир ушел, не осмелившись взглянуть на мадемуазель де Верней, ибо опасная ее красота смущала его сердце.

«Останься я на две минуты дольше, я бы сделал глупость: взял бы снова шпагу и согласился бы конвоировать эту девицу»,— подумал он, спускаясь с лестницы.

Заметив, что молодой человек не отрывает взгляда от двери, в которую вышла мадемуазель де Верней, г-жа дю Га шепнула ему на ухо:

— Всегда верны себе! Вы из-за женщин и погибнете. Ради какой-то куклы вы обо всем готовы забыть! Зачем вы допустили, чтобы она завтракала с нами? Какая же это мадемуазель де Верней, если она принимает приглашение позавтракать с незнакомыми людьми, если ее конвоируют синие и она обезоруживает их письмом, спрятанным на груди, словно любовная записочка? Это одна из тех тварей, с чьей помощью Фуше хочет захватить вас, а письмо, которое она показала, дано ей для того, чтобы синие содействовали ее замыслам против вас.

— Но, сударыня, великодушие этой девушки опровергает ваше предположение,— ответил молодой человек таким язвительным тоном, что сердце у нее сжалось и она побледнела.— Не забывайте, пожалуйста, что нас соединяют только интересы короля. Вы видели Шарета у ваших ног, и неужели вселенная теперь не опустела для вас? Неужели вы живете теперь не за тем, чтобы отомстить за него?

Дама стояла в раздумье, словно человек, который видит с берега, как гибнут в море его сокровища, и от этого лишь более пламенно жаждет обрести утраченные богатства. В комнату вошла мадемуазель де Верней. Молодой моряк обменялся с ней улыбкой и ласково-насмешливым взглядом. Каким бы неверным ни казалось им грядущее, как ни была мимолетна их близость, тем более их радовали пророчества надежды. Этот быстрый взгляд не мог ускользнуть от зорких глаз г-жи дю Га, и она поняла его: лоб ее слегка нахмурился, а лицо не могло полностью скрыть ревнивые мысли. Франсина наблюдала за незнакомкой: она увидела, как сверкнули ее глаза, как зарделись щеки, и бретонке показалось, что от грозного внутреннего потрясения адская злоба вспыхнула на этом лице. Но такое выражение промелькнуло на

нем быстрее молнии, быстрее мгновения смерти,— г-жа дю Га снова приняла веселый вид, исполненный спокойной самоуверенности, и Франсина решила, что все это ей почудилось. Все же она угадала в этой женщине натуру не менее, а может быть, более бурную, чем мадемуазель де Верней, и вздрогнула, предвидя возможность ужасного столкновения двух характеров такого склада; она затрепетала, увидев, что мадемуазель де Верней подошла к молодому офицеру, взяла его за руки и, повернув лицом к свету, посмотрела на него с кокетливым лукавством.

— Ну, теперь признайтесь,— сказала мадемуазель де Верней, стараясь прочесть правду в его глазах,— вы не гражданин дю Га Сен-Сир.

— Помилуйте, мадемуазель!

— Но гражданин дю Га Сен-Сир и его мать позавчера были убиты.

— Очень жаль! — сказал он, улыбаясь.— Но, как бы то ни было, я вам весьма обязан. Я навсегда сохраню к вам чувство глубокой признательности и хотел бы иметь возможность доказать вам это.

— Я думала, что спасла эмигранта, но в образе республиканца вы мне больше нравитесь.

Эти опрометчивые слова, казалось, нечаянно сорвались с ее уст; она сразу смутилась, покраснела до корней волос, и весь ее вид говорил теперь лишь о пленительной наивности чувств; мягким движением она отпустила руки молодого офицера — не потому, что сконфузилась, заметив, что пожимает их, но от какой-то мысли, лежавшей камнем у нее на сердце. А он стоял перед нею, опьяненный надеждой. Но вдруг мадемуазель де Верней как будто рассердилась на себя за свою вольность в обращении, пожалуй, допустимую в мимолетных дорожных приключениях; она снова приняла церемонный вид, поклонилась обоим своим попутчикам и скрылась вместе с Франсиной. Лишь только они вернулись к себе в комнату, Франсина в отчаянии заломила руки и, посмотрев на свою госпожу, сказала:

— Ах, Мари, Мари, сколько событий за такое короткое время! Только с вами могут случаться подобные истории!

Мадемуазель де Верней бросилась ей на шею.

— Ах, вот она жизнь! Я на небесах.

— Может быть, в аду,— возразила Франсина.

— Ну, пусть в аду! — весело сказала мадемуазель де Верней.— Погоди, дай руку, послушай, как бьется мое сердце! Я горю, словно в лихорадке. Что значит для меня теперь весь мир! Сколько раз я видела этого человека в мечтах! Как прекрасно его лицо, какой сверкающий взгляд!

— Но будет ли он любить вас? — упавшим голосом спросила простодушная крестьянка, и лицо ее стало печальным.

— И ты еще спрашиваешь? — воскликнула мадемуазель де Верней.— Разве это так трудно? — спросила она полушутливо, полусерьезно.

— О, конечно, нет! — улыбаясь, ответила Франсина.— Но будет ли он любить вас вечно?

С минуту они в замешательстве смотрели друг на друга: Франсина дивилась своей нежданной опытности, Мари впервые увидела счастливое для себя будущее в любви; она словно склонилась над пропастью, ожидая, что беспечно брошенный туда камень звуком своего падения покажет ее глубину.

—Ну, это уж от меня зависит! — воскликнула она тоном азартного игрока.— Никогда я не пожалею обманутую женщину. Если ее покинули, пусть пеняет на себя. Живым или мертвым, но я сумею сохранить человека, отдавшего мне свое сердце.— И, помолчав, добавила удивленно: — Но откуда у тебя столько опытности, Франсина?..

— Мари,—быстро сказала бретонка,—к нам идут по коридору...

— Увы! Это не он! — воскликнула Мари, прислушиваясь.— Но вот как ты отвечаешь на мой вопрос,— продолжала она.— Понимаю!.. Что ж, я подожду признания или разгадаю тебя.

Франсина была права. В дверь трижды постучали, прервав их разговор. Мари крикнула: «Войдите», и перед нею предстал капитан Мерль. Отдав честь мадемуазель де Верней, он осмелился, наконец, бросить на нее нежный взгляд и так был ослеплен ее красотою, что в смятении мог только сказать:

— Явился в ваше распоряженне, мадемуазель.

— Итак, теперь вы стали моим покровителем? Командир полубригады подал в отставку? Так, кажется, называется ваша часть?

— Меня послал мой непосредственный начальник — майор Жерар.

— Значит, полковник Юло очень боится меня? — спросила она.

— Прошу извинения, мадемуазель, Юло не боится, но, видите ли... Женщины... это не по его характеру,— ему обидно оказаться под командой генерала в чепчике...

— Однако его долг — повиноваться начальству,— возразила мадемуазель де Верней.— Предупреждаю, я люблю субординацию и не потерплю сопротивления. Слышите?

— Сопротивляться вам? О, это было бы весьма затруднительно,— ответил Мерль.

— Откроем совет,— сказала мадемуазель де Верней.— У вас здесь свежие войска, отсюда конвой проводит меня до Майенны, я могу прибыть в нее вечером. Найдем мы в Майенне новых солдат, чтобы ехать дальше, не останавливаясь? Шуаны не знают о нашей маленькой экспедиции. Если мы будем ехать ночью, маловероятно, чтобы, на свое несчастье, мы встретили их в таком большом количестве, что они решатся напасть на нас. Как, по-вашему, возможно это?

— Да, мадемуазель.

— Какова дорога от Майенны до Фужера?

— Тяжелая. Все время горы: то подъем, то спуск... Этот край создан только для белок.

— Ну, пора, пора, отправляемся! — сказала она.— А так как при выезде из Алансона опасаться нечего, идите вперед, мы вас догоним.

«Скажите, пожалуйста! Будто лет десять в командирском чине состоит! — думал Мерль, выходя из комнаты.—Юло ошибается, эта девушка не из тех, кто добывает себе ренту на перине. Тысяча чертей! Ежели капитан Мерль желает сделаться майором, не советую ему принимать архангела Михаила за дьявола».

Пока мадемуазель де Верней держала совет с капитаном Мерлем, Франсина вышла в коридор посмотреть из окошка на тот угол двора, куда непреодолимое любопытство влекло ее с самого ее приезда в гостиницу. Она гля-

дела на солому в конюшне с таким сосредоточенным вниманием, словно молилась перед статуей богоматери. Вскоре она заметила, что по двору к шуану пробирается г-жа дю Га, осторожно, точно кошка, когда та боится замочить себе лапки. Увидев ее, Крадись-по-Земле встал, и поза его говорила о глубочайшей почтительности. Такая странная встреча разожгла любопытство Франсины, она бросилась во двор, прокралась у стены и спряталась за дверью конюшни, постаравшись, чтобы г-жа дю Га не заметила ее; она шла на цыпочках, затаив дыхание, совсем бесшумно, и ей удалось подойти очень близко к шуану, не привлекая его внимания.

— ...и если после всех твоих расспросов окажется, что она присвоила это имя, пристрели ее без всякой жалости, как бешеную собаку.

— Ладно,— ответил Крадись-по-Земле.

Госпожа дю Га ушла. Шуан снова надел на голову красный шерстяной колпак и стоял в замешательстве, почесывая за ухом. Вдруг, словно по волшебству, перед ним появилась Франсина.

— Святая Анна Орейская! — воскликнул он, выронив кнут, сложил молитвенно руки и замер в экстазе. Слабый румянец окрасил его топорное лицо, глаза засверкали, как алмазы, затерянные в грязи.

— Неужто это котэнова девка? — сказал он глухим, еле слышным голосом.— Да какая же вы ладная!— добавил он, помолчав.

Довольно странное слово *ладный, ладная* является в местном наречии прилагательным превосходной степени; влюбленные обозначают им сочетание красоты и богатого наряда.

— Я не посмею теперь и прикоснуться к вам,— добавил Крадись-по-Земле, но все же протянул свою большую руку, словно хотел взвесить на ладони толстую золотую цепочку, обвивавшую шею Франсины и спускавшуюся до пояса.

— И вы хорошо сделаете, Пьер! — ответила Франсина, руководясь инстинктом, по которому женщина становится деспотом, когда ее не порабощают.

Она надменно отступила на шаг, однако суровость своих слов смягчила ласковым взглядом и, насладившись смущением шуана, снова приблизилась к нему.

— Пьер,— промолвила она,— эта дама говорила тебе о той барышне, у которой я служу. Верно?

Крадись-по-Земле молчал, и на его лице как будто свет утренней зари боролся с сумраком ночи. Он посматривал то на Франсину, то на толстый кнут, выпавший из его рук, то на золотую цепочку, видимо, пленительную для него не менее, чем девичья прелесть бретонки, затем, словно желая положить конец своему смятению, подобрал кнут и застыл в молчании.

— Ох, догадаться нетрудно! Эта женщина велела тебе убить мою госпожу,— сказала Франсина. Она знала молчаливую преданность шуана и хотела побороть его колебания.

Крадись-по-Земле с многозначительным видом кивнул головой. «Котэнова девка» поняла этот ответ.

— Так вот, запомни, Пьер, если с ней случится хоть самая малая беда, если хоть один волос упадет с ее головы, мы с тобой видимся здесь в последний раз, и уж навеки расстанемся, потому что я-то буду в раю, а ты — ты пойдешь в ад!

Глубокая вера придавала этому предсказанию характер непреложности, и Крадись-по-Земле, слушая его, корчился не меньше, чем бесноватые, из которых некогда церковь изгоняла с пышными церемониями злых духов. Взгляд его, сначала исполненный суровой нежности, вскоре побежденной фанатизмом, не менее требовательным, чем любовь, вдруг стал свирепым, когда шуан заметил властную осанку невинной возлюбленной, которую он когда-то избрал себе. Франсина по-своему истолковала молчание шуана.

— Ты, стало быть, ничего не хочешь сделать для меня? — спросила она с упреком.

В ответ на эти слова шуан бросил на нее взгляд темнее воронова крыла.

— А ты свободна? — буркнул он.

— Да разве иначе я была бы здесь? — возмущенно сказала Франсина.— А ты? Что ты здесь делаешь? Опять связался с шуанами? Опять рыскаешь по дорогам, как бешеный зверь, ищешь, кого бы тебе укусить? Ох, Пьер, пора бы образумиться. Поедем со мною. Так и быть, скажу тебе: эта красивая барышня, госпожа моя,

у нас в семье воспитывалась, и теперь она позаботилась обо мне. У меня двести ливров в год надежного дохода. Да еще она купила для меня за пятьсот экю дом у моего дяди Тома́, и, кроме того, я сама скопила две тысячи ливров.

Но ни ее улыбка, ни перечисление ее богатств не могли поколебать Крадись-по-Земле,— выражение его лица оставалось непроницаемым.

— Ректоры велели подняться на войну,— ответил он.— За каждого убитого синего получаешь отпущение грехов.

— А если синие убьют тебя?

Он только пожал плечами и махнул рукой, как будто сожалел о ничтожестве такой жертвы богу и королю.

— А что будет тогда со мной? — горестно спросила девушка.

Крадись-по-Земле оторопело посмотрел на Франсину, глаза его как будто расширились, две слезы скатились по волосатым щекам на козью шкуру, в которую он был закутан, а из груди его вырвался глухой стон.

— Святая Анна Орейская! Значит, тебе нечего и сказать мне после семилетней разлуки!.. Ты очень переменился, Пьер.

— Я люблю тебя по-прежнему,— резко сказал он.

— Нет,— шепнула она ему на ухо,— на первом месте у тебя король...

— Не смотри на меня такими глазами, а то я уйду,— ответил он.

— Что ж, прощай! — печально промолвила она.

— Прощай! — повторил Крадись-по-Земле

Он схватил руку Франсины, крепко ее поцеловал, перекрестился и шмыгнул в конюшню, как пес, укравший кость.

— Хватай-Каравай,— сказала он,— ничего я тут не разберу! Есть у тебя рожок?

— Ох, черти собачьи! Цепочка-то хороша! — ответил Хватай-Каравай, роясь в кармане, пришитом под козьей шкурой. Он протянул Крадись-по-Земле маленький конус из бычьего рога: бретонцы держат в таком приспособлении мелкий нюхательный табак, который они сами трут дома в длинные зимние вечера. Шуан сложил ладонь горстью, приподняв большой палец, как это дела-

ют инвалиды, отмеряя себе понюшку, и над образовавшейся впадинкой энергично встряхнул рожок, у которого Хватай-Каравай уже отвинтил острый кончик. Неосязаемая зеленоватая пыль медленно высыпалась из узкого отверстия, сделанного на конце этой бретонской табакерки. Крадись-по-Земле семь или восемь раз молча повторил такую операцию, как будто табачный порошок обладал свойством менять характер его мыслей. Вдруг он безнадежно махнул рукой, перебросил рожок Хватай-Караваю и вытащил карабин, спрятанный в соломе.

— Семь, а то и восемь понюшек подряд! Это никуда не годится! — проворчал скупой хозяин рожка.

— В дорогу! — крикнул Крадись-по-Земле хриплым голосом.— Работа есть!

Человек тридцать шуанов, дремавших под яслями и в соломе, подняли головы, увидели стоявшего над ними Крадись-по-Земле, и вся шайка тотчас же скрылась через дверь, выходившую в сад, откуда можно было выбраться в поле. Когда Франсина вышла из конюшни, почтовая карета была подана. Мадемуазель де Верней и оба новых ее спутника уже сидели там. Бретонка вздрогнула, увидев на заднем сиденье кареты, рядом с мадемуазель де Верней, женщину, которая только что приказала ее убить. *Подозрительный* незнакомец поместился напротив Мари; как только Франсина села на оставленное для нее место, тяжелый ковчег тронулся, и лошади побежали крупной рысью.

Солнце пробилось сквозь осенние серые тучи и каким-то молодым, праздничным сиянием оживляло унылые поля. Влюбленные нередко считают счастливой приметой такие случайные перемены в небе. Франсину удивляло странное молчание, воцарившееся в карете с первых же минут пути. Мадемуазель де Верней вновь приняла холодный вид, опустила голову, потупила взор и, кутаясь в плащ, сидела неподвижно. Если порою она и поднимала глаза, то лишь для того, чтобы взглянуть, как быстро убегал назад и словно кружился пейзаж. Она была уверена, что ею любуются, но как будто совсем этого не желала; однако кажущееся ее безразличие скорее говорило о кокетстве, чем о простодушии. Трогательная чистота, сообщающая такую гармонию многообразным оттенкам в выражении женского лица — зеркала

слабой души,— видимо, не могла наделить своим очарованием существо, живою своею впечатлительностью обреченное бурям любви. Незнакомец, преисполненный приятных ощущений, обычных в начале любовной интриги, еще не пытался объяснить себе противоречие между восторженностью и кокетством этой странной девушки. Ведь это деланное простодушие позволяло ему свободно любоваться ее лицом, столь же прекрасным в минуты спокойствия, как и в минуты волнения! Мы никогда не осуждаем источник наших радостей.

В почтовой карете хорошенькой женщине трудно укрыться от любопытства попутчиков: глаза их прикованы к ней, словно в поисках развлечения среди дорожной скуки. Итак, молодой офицер, видя, что незнакомка не пытается избегнуть его взглядов и не оскорблена их настойчивостью, весьма обрадовался возможности утолить жадное любопытство зарождающейся страсти и с удовольствием принялся изучать чистые, блистательные очертания ее лица. Оно было для него как бы картиной. Порою на свету выделялась прозрачность розовых ноздрей или две тонкие линии, дугой спускавшиеся от носа к верхней губе; порою бледный луч подчеркивал все оттенки лица — перламутровый вокруг глаз и рта, бледно-розовый на щеках и матово-белый на висках и на шее. Он залюбовался игрой солнечных бликов и теней от черных локонов, придававшей новую, воздушную и мимолетную прелесть ее лицу,— все так переменчиво в женщине. Зачастую красота ее сегодня иная, чем вчера,— быть может, к счастью для женщины. Мнимый моряк еще не вышел из того возраста, когда мужчина может наслаждаться пустяками, которые так много значат в любви, и, замирая от счастья, наблюдал, как трепещут ее веки, как соблазнительно вздымается от дыхания корсаж на груди. Иногда по прихоти мысли он старался уловить, как изменявшемуся выражению глаз соответствует еле уловимая складочка губ. Каждый жест, каждое движение открывали ему душу этой девушки, показывали новую ее сторону. Если подвижные ее черты отражали волнение от какой-нибудь мысли, если лицо внезапно заливалось румянцем или вдруг оживлялось улыбкой, он испытывал бесконечное наслаждение, пытаясь разгадать тайну этой загадочной женщины. Все в ней было ловушкой

для души, ловушкой для чувства. Словом, молчание не только не мешало сближению сердец, но, напротив, создавало узы, соединявшие мысли. Уже несколько раз Мари де Верней встречалась взглядом с глазами молодого моряка и, видя, как он смотрит на нее, поняла, что молчание становится для нее опасным; тогда она обратилась к г-же дю Га с каким-то незначительным вопросом, чтобы завязать разговор, в котором, однако, невольно коснулась ее сына.

— Как вы могли решиться, сударыня, отдать вашего сына во флот? — спросила она.— Ведь вы этим обрекли себя на вечную тревогу.

— Мадемуазель, удел женщин — то есть матерей, хочу я сказать,— вечно трепетать за самые дорогие свои сокровища.

— Ваш сын очень похож на вас.

— Вы находите, мадемуазель?

Такое простодушное *узаконение* возраста, который г-жа дю Га приписала себе, вызвало у молодого человека улыбку и вновь породило гнев у его мнимой матери. Злоба этой женщины возрастала от каждого страстного взгляда, брошенного ее «сыном» на Мари. Их молчание, их беседа — все разжигало в ней исступленную ярость, прикрытую самым любезным обращением.

— Мадемуазель,— вмешался незнакомец,— вы заблуждаетесь: моряки подвергаются опасности не больше, чем другие военные. А женщины должны ценить флот, ибо у нас, моряков, есть великое преимущество перед сухопутными войсками: мы храним верность нашим возлюбленным.

— О, верность поневоле! — смеясь, воскликнула мадемуазель де Верней.

— Но все же верность! — сказала г-жа дю Га довольно мрачным тоном.

Разговор оживился и перешел на темы, интересные лишь для троих наших путешественников,— ведь самым избитым фразам умные люди умеют придать новое значение. Но за внешне легкомысленной беседой, в которой эти чужие между собою люди старались что-нибудь узнать о противной стороне, скрывались волновавшие их желания, страсти и надежды. Мари все время держалась настороже, и тонкая ее насмешливость показала г-же

дю Га, что лишь клевета и предательство помогут ей восторжествовать над соперницей, столь же опасной своей красотой, как и своим умом. Путешественники догнали конвой, и карета поехала медленнее. Молодой моряк, увидев впереди длинный косогор, на который им предстояло подняться, предложил мадемуазель де Верней взойти на него для прогулки пешком. Манеры хорошего тона, приветливая учтивость этого молодого человека побудили парижанку дать согласие на его предложение. Он был польщен.

— А вы не разделяете нашего намерения? — спросила Мари у г-жи дю Га.— Не хотите ли прогуляться?

— Вот кокетка! — сказала сквозь зубы г-жа дю Га, выходя из экипажа.

Мари и незнакомец пошли рядом, но не под руку. Моряк считал сдержанность своей спутницы притворной и жаждал преодолеть эту преграду, которую противопоставляли бурным желаниям, уже охватившим его. Думая теперь достигнуть этого, он завел разговор и блеснул в нем чисто французской любезностью, остроумием, порой легкомысленным, порою глубоким, зачастую насмешливым и всегда рыцарским, отличавшим выдающихся представителей изгнанной аристократии. Но лукавая парижанка так тонко высмеяла молодого республиканца, так презрительно упрекнула его за фривольность, выказывая явное предпочтение возвышенным мыслям и чувствам, против воли незнакомца проглядывавшим в его речах, что он без труда нашел способ понравиться ей. Тогда характер их разговора изменился: незнакомец оправдал те надежды, какие вызывало его выразительное лицо. Однако он наталкивался на все новые трудности, пытаясь разгадать сирену, которой увлекался все больше, и вынужден был отказаться от каких-либо суждений об этой девушке, ибо она опровергала их шутя. Вначале он пленился ее красотой, теперь его влекло к столь загадочной душе любопытство, а Мари нравилось дразнить это любопытство. Мало-помалу разговор принял оттенок интимности, весьма далекой от равнодушного тона, какой Мари тщетно пыталась ему придать. Г-жа дю Га следовала за влюбленными по пятам, но они, незаметно для себя, пошли быстрее и вскоре уже были в ста шагах от нее. Два этих прелестных существа шли по

песчаной дороге, охваченные детской радостью, оттого что шаги их сливались в единый звук, оттого что обоим светил один и тот же луч как будто весеннего солнца, оттого что они вместе вдыхали горьковатые густые запахи увядающих растений, струившиеся в воздухе с каждым дуновением ветра и как будто созданные для меланхолии зарождающейся любви. Хотя оба они видели в этой минутной близости лишь обычную любовную интригу, однако небо, пейзаж и осень сообщали их чувствам строгую окраску, видимость страсти. Сначала они расхваливали прекрасный день, красивые виды, затем заговорили о своей странной встрече, о том, что скоро прервется столь приятное знакомство, и о том, что в дороге так легко излить душу в беседе со спутниками, которых видишь в первый и последний раз. В этом замечании молодой человек, конечно, увидел скрытое разрешение на некоторую сладостную откровенность и, как человек, привыкший к подобным положениям, попытался перейти к косвенным признаниям.

— Заметили вы, мадемуазель,— сказал он,— какой необычный путь проходят чувства в наше грозное время? Все вокруг нас поражает какой-то необъяснимой внезапностью. Не правда ли? Ныне мы любим и ненавидим с одного взгляда. Люди соединяются на всю жизнь или расстаются с такою же быстротой, с какою идут навстречу смерти, спешат во всем, как и сама нация в своих распрях. Среди опасностей объятия должны быть горячее, чем в обычные дни жизни. Совсем еще недавно в Париже каждый, как на поле битвы, понял, сколь много можно выразить пожатием руки.

— Люди чувствовали потребность жить быстро и пережить много,— ответила она,— потому что им оставалось жить так мало.

И, бросив на своего молодого спутника взгляд, казалось, указавший ему недалекий конец их совместного путешествия, она лукаво добавила:

— Для юноши, только что соскочившего со школьной скамьи, у вас большой жизненный опыт!

— Что вы думаете обо мне? — спросил он, помолчав.— Скажите ваше мнение, не стесняйтесь.

— Вы хотите, конечно, получить таким образом право поговорить обо мне...— ответила она, смеясь.

— Вы не желаете ответить мне,— снова заговорил он, сделав короткую паузу.— Берегитесь, молчание нередко бывает ответом.

— Да разве я не угадала все, что вам хочется сказать мне? Ах, боже мой, вы уже и так сказали слишком много...

— О, если мы поняли друг друга,— заметил он, смеясь,— я преуспел больше, чем надеялся.

Она мило улыбнулась, как будто принимая вызов на галантный поединок, в который всякий мужчина рад вовлечь женщину. И тогда они принялись полушутя, полусерьезно убеждать друг друга, что их отношения не могут быть иными, чем в эту минуту. Молодому человеку предоставлялось право предаться безнадежной страсти, а Мари — смеяться над ним. И когда они воздвигли между собою эту воображаемую преграду, обоими явно овладело горячее желание воспользоваться опасной свободой, которую они себе обеспечили. Вдруг Мари оступилась, споткнувшись о камень.

— Обопритесь на мою руку,— предложил незнакомец.

— Ничего не поделаешь, придется, ветреник... Если я откажусь, вы слишком возгордитесь. Разве вам не покажется, что я опасаюсь вас?

— Ах, мадемуазель,— ответил он, прижимая ее руку к своей груди, чтобы она почувствовала биение его сердца.— Я в самом деле горжусь этой милостью.

— Но я так легко ее оказала, что это должно лишить вас иллюзий.

— Вы уже хотите уберечь меня от опасных волнений, которые невольно вызываете в нас?

— Прошу вас, перестаньте опутывать меня этими мелкими салонными любезностями, этими будуарными логогрифами. Мне неприятно, что человек вашего склада старается блеснуть тем остроумием, на какое способны и глупцы. Посмотрите — мы в открытом поле, под прекрасным небом, вокруг нас и над нами все так величественно. Вы хотите сказать, что я красива, не правда ли? Но ведь ваши глаза уже сказали мне это, да я и сама это знаю. И я не из тех женщин, которых могут прельстить комплименты. А может быть, вы хотите поведать мне о своих «чувствах»? — добавила незнакомка с язвитель-

ной иронией.— Неужели вы думаете, что я такая простушка и поверю в возможность внезапной симпатии, столь сильной, что человек на всю жизнь сохранит воспоминание об одном утре?..

— Не об одном утре,— ответил он,— но об одной женщине, столь же красивой, сколь и великодушной.

— Вы забываете нечто более приманчивое,— смеясь, возразила она,— женщина-незнакомка, в которой все должно казаться необычным: имя, звание, положение, свобода ума и свобода обращения.

— Вы совсем не кажетесь мне незнакомкой! — воскликнул он.— Я разгадал вас и не хотел бы ничего добавить к вашим совершенствам,— разве только немножко больше веры в ту любовь, которую вы внушаете мгновенно!

— Ах вы, бедный, семнадцатилетний мальчик! Вы уже говорите о любви! — сказала она, улыбаясь.— Ну что же, хорошо. Почему двое людей не могут поговорить на эту тему, как говорят о погоде во время визита? Поговорим! Вы не найдете во мне ни ложной стыдливости, ни жеманства. Я могу слушать это слово, не краснея: мне столько раз говорили его без искренней сердечности, что оно почти потеряло для меня свое значение. Сколько раз его твердили в театре, в книгах, в свете — всюду, но еще никогда я не встречала что-либо похожее на это великое чувство.

— А вы искали его?

— Да.

Это «да» было произнесено так непринужденно, что у молодого незнакомца вырвался невольный жест удивления; он пристально посмотрел на Мари, как будто внезапно изменил свое мнение о ее характере и положении в обществе.

— Мадемуазель,— сказал он с плохо скрытым волнением.— Кто вы? Девушка или женщина? Ангел или дьявол?

— И то и другое,— ответила она, смеясь.— Разве нет чего-то дьявольского и ангельского в каждой молодой девушке, которая никого еще не любила, не любит и, может быть, никогда не будет любить?

— И что же? Вы все-таки счастливы?..— спросил он.

По его тону и манерам заметно было, что он уже чувствует меньше уважения к своей избавительнице.

— Счастлива? Нет! — отвечала она.— Когда я думаю о том, что я одинока, что я раба условностей общества, которые неизбежно делают меня искусственной, я завидую привилегиям мужчины. Но когда я вспоминаю, какие средства дала нам природа для того, чтобы опутывать вас, мужчин, невидимыми сетями той власти, которой ни один из вас не может противиться, тогда моя роль на земле улыбается мне; но затем она вдруг кажется мне мелкой, и я чувствую, что стану презирать мужчину, если он окажется жертвой дешевых обольщений. Словом, то я сознаю наше иго, и оно мне нравится, то оно ужасает меня, и я отказываюсь от него; то я чувствую в себе жажду самопожертвования, которое придает женщине столько благородства, то меня снедает желание властвовать. Быть может, это вполне естественная борьба доброго и злого начала, основа жизни всех творений на земле. Ангел и дьявол... Так вы сказали? Ах, не только сегодня я обнаруживаю эту двойственность моей натуры. Однако мы, женщины, лучше, чем вы, понимаем нашу неполноценность. У нас есть инстинкт, помогающий нам во всем искать совершенства,— конечно, совершенства недостижимого. Но,— добавила она и, вздохнув, поглядела на небо,— в нас есть и другое,— то, что должно возвышать женщин в ваших глазах...

— Что именно? — спросил он.

— То, что... все мы, одни больше, другие меньше, но все мы боремся против несправедливости нашей судьбы.

— Мадемуазель, зачем должны мы расстаться сегодня вечером?

— Ах, сядемте-ка в карету,— улыбаясь, промолвила она в ответ на страстный взгляд молодого моряка.— Вольный воздух нам совсем не на пользу.

И Мари внезапно повернула обратно. Незнакомец догнал ее и сжал ей руку движением не очень почтительным, но выражавшим властное желание и восторг. Она пошла быстрее; моряк угадал, что она хочет избегнуть признания, быть может, неприятного для нее, но от этого воспламенился еще более и готов был рискнуть всем, чтобы вырвать у этой женщины первый знак благосклонности; он многозначительно посмотрел на нее и сказал:

— Хотите, я открою вам тайну?

— О, говорите скорей, если она касается вас!

— Я не состою на службе у Республики. Куда вы едете? Я поеду туда же.

Мари вздрогнула, вырвала у него свою руку и закрыла лицо ладонями, чтобы скрыть внезапный румянец или, быть может, бледность, изобличавшие ее волнение, но вдруг она опустила руки и сказала упавшим голосом:

— Значит, вы начали с того, чем вам пришлось бы кончить: вы обманули меня?

— Да,— сказал он.

Она повернулась к нему спиной и почти побежала прочь от неуклюжей кареты, к которой они направлялись.

— Но как же? — спросил незнакомец.— Ведь вольный воздух для нас не на пользу?..

— О, он переменился,— серьезным тоном ответила она и продолжала быстро идти по дороге, поглощенная какими-то бурными мыслями.

— Что же вы молчите? — спросил он, и сердце его наполнилось сладостным томлением, предвкушением близкой радости.

— Ах, трагедия началась слишком скоро,— отрывисто сказала она.

— Какая трагедия? — удивленно спросил он.

Она остановилась, окинув его взглядом, в котором были ужас и любопытство, но сразу скрыла под маской непроницаемого спокойствия волновавшие ее чувства, показав этим, что и у нее для молодой девушки был большой жизненный опыт.

— Я же знаю, знаю, кто вы! — заговорила она.— Лишь только я увидела вас, я заподозрила, что вы глава роялистов, по прозвищу Молодец. Правильно говорил нам епископ Отенский, что всегда надо верить предчувствиям несчастья.

— Зачем же вам надо знать этого человека?

— А зачем ему таиться от меня, если я уже один раз спасла ему жизнь? — И она засмеялась деланным смехом.— Я умно поступила, что помешала вашему признанию в любви. Знайте же, сударь, я ненавижу вас.— Я республиканка, вы роялист, и я выдала бы вас,

если б не дала вам слово, если б я уже не спасла вас один раз и если бы...

Она умолкла. Эта внезапная перемена, эта душевная борьба, которую она больше и не старалась скрыть, встревожили незнакомца; он тщетно пытался ее понять.

— Расстанемся сейчас,— сказала она.— Так надо. Прощайте!

Она быстро повернула, но, сделав несколько шагов, снова подошла к нему.

— Ах, нет! Для меня очень, очень важно узнать, кто вы! — промолвила она.— Не скрывайте от меня ничего, скажите правду. Кто вы такой? Ведь вы не питомец Политехнической школы, и вам не семнадцать лет?..

— Я моряк, готовый расстаться с океаном и последовать за вами повсюду, куда вашей фантазии угодно будет повести меня. Если, на мое счастье, я представляю для вас какую-то загадку, я постараюсь не разочаровывать вас. Зачем смешивать важные дела реальной жизни с жизнью сердца? Ведь мы начали так хорошо понимать друг друга.

— Наши души могли бы понять друг друга,— строго сказала она,— но я не имею права требовать от вас доверия, сударь, и вы тоже никогда не узнаете, чем вы обязаны мне: я не буду об этом говорить.

Они прошли несколько шагов в полном молчании.

— Почему моя жизнь так занимает вас? — заговорил незнакомец.

— Сударь, умоляю вас, скажите ваше имя или же молчите. Вы ребенок,— добавила она, пожимая плечами.— И мне, право, жаль вас...

Молодой моряк хорошо видел упорное стремление прекрасной путешественницы узнать его тайну, и в душе его боролись осторожность и страсть. Досада желанной женщины — могучий соблазн: ее гнев и ее покорность исполнены такой власти, они затрагивают столько струн мужского сердца, проникают в него и побеждают!.. Не была ли досада мадемуазель де Верней лишь новой уловкой кокетства? Невзирая на свою страсть, молодой моряк нашел в себе силы не доверять женщине, так настойчиво желавшей вырвать у него тайну, от которой зависела его жизнь или смерть.

— Зачем,— сказал он, взяв ее за руку, и Мари в рас-

сеянности не заметила этого,— зачем моя неосторожность разрушила очарование этого дня, сулившего счастье?

Мадемуазель де Верней молчала, на лице у нее было написано страдание.

— Чем я мог огорчить вас? — спросил он.— И чем могу я вас успокоить?

— Скажите мне ваше имя.

Тогда и он умолк, и так они прошли несколько шагов. Вдруг мадемуазель де Верней остановилась, и видно было, что она приняла какое-то важное решение.

— Маркиз де Монторан,— произнесла она с достоинством, хотя и не могла подавить волнения, от которого нервная дрожь пробегала по ее лицу.— Чего бы это ни стоило мне, я рада оказать вам услугу. Здесь мы расстанемся. Конвой и почтовая карета необходимы для вашей безопасности, и вы должны ими воспользоваться. Не опасайтесь республиканцев: видите ли, все эти солдаты — люди честные. Я отдам майору Жерару приказания, и он в точности их выполнит. Я же могу вернуться в Алансон пешком со своей служанкой: несколько человек солдат проводят нас. Слушайте меня внимательно,— ведь речь идет о вашей голове. Если вы встретите, прежде чем будете в безопасности, того ужасного щеголя, которого видели в гостинице, бегите,— он немедленно выдаст вас. А я...— она замолчала.— А я с гордостью снова брошусь в жалкую юдоль жизни,— тихо промолвила она, сдерживая слезы.— Прощайте, сударь. Желаю вам счастья. Прощайте!..

И она подала знак капитану Мерлю, который уже показался на вершине холма. Молодой незнакомец не ожидал такой развязки.

— Погодите! — крикнул он с отчаянием, довольно хорошо разыгранным.

Странный каприз девушки, ради которой он готов был в эту минуту пожертвовать жизнью, так его поразил, что он решил прибегнуть к низкой хитрости, чтобы скрыть свое имя и вместе с тем удовлетворить любопытство мадемуазель де Верней.

— Вы почти угадали,— сказал он.— Я эмигрант, приговоренный к смерти, мое имя — виконт де Бован. Любовь к родине привела меня во Францию, к брату. Я на-

деюсь, что из списков осужденных меня вычеркнут благодаря влиянию госпожи де Богарне, ныне жены первого консула; но если меня постигнет неудача, я хочу умереть на родной земле, сражаясь рядом с Монтораном, моим другом. Мне раздобыли чужой паспорт, и сейчас я тайно еду в Бретань узнать, не осталось ли у меня каких-нибудь поместий.

Пока молодой человек говорил, мадемуазель де Верней смотрела на него пронизывающим взглядом. Она пыталась сомневаться в правдивости его слов, но доверчивость, даже легковерие взяли верх, и постепенно ее лицо приняло спокойное выражение. Она воскликнула:

— Сударь, то, что вы мне сейчас говорите,— *правда?*

— Правда! — ответил незнакомец, видимо, весьма мало стремившийся к честности в своих отношениях с женщинами.

Мадемуазель де Верней глубоко вздохнула, как человек, возвращающийся к жизни.

— Ах! — воскликнула она.— Как я рада!

— Вы, значит, очень ненавидите моего бедного Монторана?

— Нет, не то!.. Вы не поймете меня. Я не хотела бы, чтобы вам угрожали опасности, от которых я постараюсь его защитить, раз он ваш друг.

— Кто сказал вам, что Монторану угрожают опасности?

— Ну, сударь, если б я даже не приехала из Парижа, где только и говорят о его намерениях, то, мне думается, в Алансоне командир Юло сказал нам достаточно.

— Тогда разрешите спросить, как вы можете уберечь его от опасности?

— А если я не захочу ответить? — сказала она с пренебрежительным видом, за которым женщины так хорошо умеют скрывать волнение.— По какому праву вы желаете знать мои секреты?

— По праву человека, который любит вас.

— Уже?..— сказала она.— Нет, сударь, вы не любите меня... Вы видите во мне предмет мимолетного увлечения, вот и все. Разве мне трудно было разгадать вас с первой минуты? Неужели женщина, если она сколь-

ко-нибудь привыкла к хорошему обществу и знает нынешние нравы, неужели она может обмануться, замечая, что питомец Политехнической школы употребляет изысканные выражения и так плохо, как вы это делаете, скрывает манеры вельможи под обликом республиканца. На ваших волосах следы пудры, от вас веет дворянством, и женщина из высшего круга сразу должна это почувствовать. Поэтому я и поспешила удалить моего надзирателя, ибо он хитер, как женщина, и я боялась за вас. Сударь, настоящий офицер-республиканец, окончивший Политехническую школу, не рассчитывал бы на быструю мою благосклонность и не принял бы меня за хорошенькую интриганку. Позвольте мне, виконт де Бован, изложить вам мое легковесное женское суждение. Может быть, по молодости лет вам неизвестно, что из всех женщин труднее всего пленить ту особу, ценность которой выражается в цифрах и которой наскучили удовольствия. Такие создания, как я слышала, уступают лишь величайшим соблазнам, следуют лишь своему капризу, и претензия понравиться им — это со стороны мужчины огромное самомнение; отбросим эту категорию женщин, к которой вы любезно причислили меня, так как всем им полагается быть красивыми, но вы должны признать, что молодая женщина, благородная, красивая, умная (а вы ведь признаете за мной эти качества?), не продается и покорить ее можно лишь одним путем: полюбить ее. Вы понимаете меня? Если же она полюбит и пожелает совершить безрассудный поступок, он должен найти свое оправдание в чем-то великом. Простите мне этот избыток логики, весьма редкий у представительниц женского пола, но ради вашей чести... и ради моей чести,— добавила она с легким поклоном,— я не хотела бы, чтобы вы слишком были самоуверенны и могли думать, будто мадемуазель де Верней — ангел или дьявол, девушка или женщина — способна попасться на приманку банальных любезностей.

— Мадемуазель,— сказал мнимый виконт, стараясь скрыть крайнее свое удивление и сразу превратившись опять в светского человека,— умоляю вас поверить, что я готов считать вас особой весьма благородной, полной достоинств и высоких чувств, или же... славной девицей,— это уж по вашему выбору!

— Я не требую от вас так много, сударь,— сказала она, смеясь.— Оставьте мне мое инкогнито. Впрочем, маска на мне держится лучше, чем на вас, и я не намерена снимать ее, хотя бы для того, чтобы узнать, насколько искренни люди, которые уверяют меня в своей любви... Итак, не будьте со мною слишком смелы и опрометчивы. Сударь, послушайте,— сказала она и, взяв его за руки, сжала их,— если бы вы могли доказать, что действительно любите меня, никакие силы человеческие не разлучили бы нас. Да, я мечтаю соединить свою судьбу с жизнью какого-нибудь выдающегося человека, разделить его широкие честолюбивые планы, высокие мысли... Благородное сердце не может быть неверным, ибо сильной натуре свойственно постоянство, и, значит, я всегда была бы любима, всегда была бы счастлива. Но разве я не была бы готова в любую минуту оказаться лишь ступенькой для возвышения человека, которому я отдала свою привязанность, ради него принести себя в жертву, все вытерпеть ради него и вечно любить его, даже если он разлюбил бы меня?.. Я никогда никому не решалась доверить желаний своего сердца, страстных порывов восторженной натуры, но вам я могу сказать об этом хоть немного, ведь тотчас же, как вы окажетесь в безопасности, мы расстанемся.

— Расстанемся?.. Ни за что! — воскликнул он, наэлектризованный словами, в которых звучала сила этой души, казалось, старавшейся побороть какую-то необъятную мысль.

— А вы свободны? — спросила она и бросила на него презрительный, уничтожающий взгляд.

— Свободен? Да, если забыть о смертном приговоре.

Тогда она сказала голосом, исполненным глубокой горечи:

— Если бы все это не было лишь сном, как прекрасна могла бы быть ваша жизнь!.. Но хотя я наговорила столько безрассудных слов, мы не будем совершать безрассудств. Когда я думаю, кем вы должны быть, чтобы оценить меня по достоинству, я сомневаюсь во всем.

— А я не буду сомневаться ни в чем, если вы захотите мне принад...

— Молчите! — воскликнула она, услышав эти слова, проникнутые истинной страстью.— Положительно,

вольный воздух нам не на пользу. Вернемся к нашим опекунам.

Вскоре карета догнала путников, они сели в нее и несколько лье проехали в полном молчании. У них теперь была обширная тема для размышлений, но глаза их уже не опасались встречаться. Казалось, оба с одинаковым интересом наблюдали друг за другом, скрывая какую-то важную тайну, но оба знали, что их взаимно влечет чувство, выросшее после их беседы до пределов страсти, ибо каждый видел в нежданном спутнике черты, усилившие в его глазах те утехи, которые ему сулили их борьба или союз. Может быть, оба они в своей бурной жизни дошли до того странного душевного состояния, когда от усталости или из желания бросить вызов судьбе человек отказывается серьезно поразмыслить над начатым делом и продолжает его, отдавшись на волю случая, именно потому, что дело это безнадежно, и он хочет увидеть неизбежную развязку. Ведь в природе моральной, как и в природе физической, есть свои пропасти, свои бездны, и сильным характерам любо бывает погрузиться в них, рискуя жизнью, как игроку любо поставить на карту все свое состояние.

Такие мысли — результат недавнего разговора между мадемуазель де Верией и молодым дворянином — пришли им обоим как откровение, и этим оба сделали огромный шаг к сближению,— ведь за симпатией чувств следует симпатия душ. И все же чем больше они испытывали роковое взаимное тяготение, тем внимательней изучали друг друга,— возможно, для того, чтобы невольными расчетами умножить будущие свои наслаждения. Молодой незнакомец, все еще удивляясь глубине мыслей этой странной девушки, вдруг спросил себя, как могло в ней сочетаться столько познаний с такой свежестью и юностью. И тогда он нашел преувеличенным то целомудрие, которое Мари придавала всем своим жестам и позам, открыл в ней чрезмерное желание казаться целомудренной, заподозрил притворство и, рассердившись на себя за свое восхищение этой незнакомой женщиной, решил видеть в ней лишь искусную комедиантку. Он был прав. Как и все девушки высшего света, мадемуазель де Верней становилась тем более скромной, чем более она воспламенялась, и с полнейшей естествен-

ностью принимала тот стыдливый вид, каким женщины так хорошо умеют прикрывать свои бурные чувства. Ведь все женщины хотели бы прийти к страсти девственными, и если это не всегда бывает, то самое их притворство все же является почетной данью, которую они приносят любви. Рассуждения эти быстро пронеслись в душе молодого дворянина и обрадовали его. Этот анализ завлекал обоих влюбленных все дальше, и вскоре наш герой вступил в ту фазу страсти, когда мужчина находит в недостатках любимой женщины лишь основания еще больше ее любить.

Мадемуазель де Верней была погружена в раздумье дольше, чем эмигрант: может быть, воображение представило ей более далекое будущее; молодой человек повиновался одному из мимолетных увлечений, которые он, вероятно, уже испытал тысячу раз, а молодая девушка видела перед собою целую жизнь и тешила себя надеждами, создавая ее в мечтах прекрасной, счастливой, исполненной высоких и благородных чувств. Упиваясь своими мечтами, одинаково наслаждаясь и химерами и действительностью, и настоящим и будущим, Мари, действуя инстинктивно, как и всякая женщина, все же попыталась отступить на шаг, чтобы упрочить свою власть над этим юношей. В душе она решила отдаться всем своим существом, но желала уступать лишь постепенно, шаг за шагом; ей так хотелось иметь возможность изменить в прошлом свои поступки, слова, взгляды, чтобы все они соответствовали достоинству женщины, внушившей любовь. Порою глаза ее выражали испуг, когда ей вспоминался недавний разговор, в котором она проявила столько дерзкой смелости. Но, рассматривая отмеченные внутренней силой черты молодого незнакомца, она говорила себе, что могучий человек должен быть великодушным, и с радостью думала, что ей выпала доля счастливее, чем многим женщинам, ибо ее возлюбленный — человек непреклонного характера, человек, приговоренный к смерти, который по собственной воле, рискуя головой, вернулся во Францию вести войну с Республикой. Мысль, что она может безраздельно владеть такой душой, вскоре придала всему иной облик. Всего лишь пять часов прошло с той минуты, когда она искусственной игрой лица и голоса старалась

раздразнить чувства этого дворянина, теперь же она одним взглядом могла перевернуть в нем душу,— разница такая же, как между природой мертвой и природой живой. Звонкий смех и веселое кокетство скрыли великую страсть, которая, подобно несчастью, предстала с улыбкой. В том состоянии души, в каком находилась мадемуазель де Верней, внешняя жизнь приняла для нее характер фантасмагории. Карета проезжала через деревни, долины, горы, и ни одна картина не запечатлелась в памяти Мари. Прибыли в Майенну, конвой сменился. Мерль заговорил с ней, она ему ответила. Проехали через весь город, и карета снова покатила по дороге, но лица, дома, улицы, пейзажи, люди проносились, словно неясные образы сновидения. Настала ночь. Мари ехала теперь по фужерской дороге, под алмазным небом, окутанная мягким светом, но не замечала, что небо изменило свой вид, позабыла, что такое Майенна и Фужер, не помнила, куда она едет. Она не могла допустить и мысли, что через несколько часов должна будет расстаться с человеком, которого избрала и для которого, казалось ей, она стала избранницей. Любовь — единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего. Если порою Мари и выражала словами какую-нибудь мысль, у нее вырывались фразы, почти лишенные смысла, но в сердце ее возлюбленного они звучали обещаниями любви. На глазах двух безмолвных свидетельниц этой зарождающейся страсти она нарастала с ужасающей быстротой. Франсина знала Мари так же хорошо, как незнакомка знала мнимого виконта де Бована, и по опыту прошлого обе они ждали какой-нибудь грозной развязки. Действительно, скоро им пришлось увидеть конец этой драмы, которую мадемуазель де Верней с такой грустью и, может быть, бессознательно назвала трагедией.

Отъехав около одного лье от Майенны, путешественники услышали за собою бешеный конский топот; вскоре с каретой поравнялся всадник, наклонился к мадемуазель де Верней, и она узнала в нем Корантена. Этот зловещий спутник позволил себе многозначительно подмигнуть ей и ускакал; она же вся похолодела от этого гнусного фамильярного знака, ибо в нем было нечто позорное для нее. Случай этот, видимо, неприятно подей-

ствовал на эмигранта и, конечно, не ускользнул от его мнимой матери, но Мари чуть прикоснулась к незнакомцу и посмотрела на него, словно искала приюта в его сердце, как в единственном своем убежище на земле. Лицо молодого человека просветлело, его радостно взволновало это как будто нечаянное движение возлюбленной, открывшее ему силу ее привязанности. Необъяснимый страх изгнал всякое кокетство, и на мгновение любовь сбросила с себя покрывало; оба они умолкли, словно хотели продлить минуту блаженства. К несчастью, с ними была г-жа дю Га,— она все видела, все поняла и, как скупец, отсчитывающий гостям куски на пиру, казалось, отмеряла им оставшиеся часы жизни. В упоении счастья влюбленные не замечали, много ли они проехали, не видели, что дорога уже пролегает по глубокой долине Эрне — первой из трех речных долин, где произошли события, послужившие вступлением к нашему повествованию. Но Франсина разглядела в сумраке и указала своим спутникам странные фигуры, которые, словно тени, двигались меж деревьев и в кустах, окружавших поля. Когда карета приблизилась к этим теням, грянул залп, и пули, просвистевшие над головами путешественников, показали, что видение было действительностью. Конвой попал в засаду.

В такой нежданной перепалке капитан Мерль горячо пожалел, что, разделяя заблуждение мадемуазель де Верней о безопасности быстрого ночного путешествия, послушался ее и взял для конвоя лишь около шестидесяти человек. По команде Жерара он тотчас разделил маленький отряд на две колонны, чтобы держать в своих руках обе стороны дороги, и офицеры бегом бросились через поля, поросшие дроком и кустами терновника, решив отразить нападение, не подсчитывая врагов. С безрассудной отвагой синие ринулись в кусты, слева и справа от дороги, и ответили на атаку шуанов сильным огнем по зарослям дрока, откуда раздались выстрелы. Мадемуазель де Верней в первую минуту испуга выпрыгнула из кареты и побежала назад по дороге, подальше от места стычки; но тотчас же устыдилась своего страха и, повинуясь желанию возвысить себя в глазах любимого человека, остановилась и попыталась хладнокровно наблюдать за сражением.

Эмигрант подошел к ней, взял ее руку и прижал к своей груди.

— Мне было страшно,— сказала она, улыбаясь,— но теперь...

В эту минуту ее горничная испуганно крикнула:

— Мари, берегитесь!

Франсина хотела выскочить из кареты, но чья-то сильная рука остановила ее. Она пронзительно закричала, почувствовав тяжесть этой огромной руки, обернулась и умолкла: она узнала Крадись-по-Земле.

— Итак, только вашему страху я обязан открытием тайн, милых моему сердцу! — сказал незнакомец мадемуазель де Верней.— Благодаря Франсине я знаю теперь, что вы носите прелестное имя — Мари! Имя Марии я призывал во всех моих горестях, отныне оно будет на моих устах и в минуты радости, и, произнеся это имя, я неизбежно окажусь святотатцем, сочетая в нем религию и любовь. Но разве преступление — молиться и вместе с тем любить?

Они обменялись крепким рукопожатием и долгим взглядом, но от избытка чувств не могли их выразить словами.

— *Да вам-то нету здесь никакой опасности,*— грубо сказал Франсине Крадись-по-Земле с каким-то зловещим упреком, прозвучавшим в его хриплом, гортанном голосе, и так подчеркивая каждое слово, что простодушная крестьянка обомлела.

Впервые бедная девушка заметила в его взгляде свирепую жестокость. Сияние луны казалось единственным светом, подходившим для его лица. В ореоле бледных лучей, придающих всему такой фантастический вид, этот приземистый дикарь-бретонец, державший в одной руке колпак, а в другой — тяжелый карабин, походил на гнома, принадлежал скорее миру сказочному, чем реальному. В его нежданном появлении и упреке была какая-то внезапность призрака. Он резко повернулся к г-же дю Га, и между ними завязался торопливый разговор, но Франсина ничего не могла понять: она уже начала забывать нижнебретонское наречие. Г-жа дю Га, видимо, давала шуану какие-то приказания. Короткую свою беседу эта женщина закончила повелительным жестом, указав на двух влюбленных. Прежде чем подчиниться

ей, Крадись-по-Земле бросил на Франсину последний взгляд, и в глазах его как будто блеснула жалость; видно было, что ему хочется заговорить с ней, но бретонка знала, что ее возлюбленному приказано молчать. Наконец, грубая, словно дубленая кожа шуана собралась на лбу морщинами, брови его сурово сдвинулись. Быть может, он противился вторичному приказу убить мадемуазель де Верней? Лицо его, искаженное гримасой, несомненно, показалось г-же дю Га уродливым, но Франсина смотрела в его блестящие глаза, видела в них почти нежность и по этому взгляду угадала, что женской своей волей она могла бы подчинить себе энергию этого дикаря, и понадеялась, что еще будет властвовать над его грубой душой, заняв в ней второе место после бога.

Госпожа дю Га прервала приятную для Мари беседу: она подбежала и, вскрикнув, увлекла девушку за руку, как будто ей грозила опасность, тогда как на самом деле хотела дать возможность поговорить с эмигрантом какому-то всаднику, которого она узнала.

— Остерегайтесь девки, которую вы встретили в гостинице «Три мавра»,— сказал молодому человеку вполголоса шевалье де Валуа, один из членов роялистского комитета в Алансоне, и, пришпорив маленькую бретонскую лошадку, он снова скрылся в зарослях дрока, откуда внезапно выехал. В это время пальба перекатывалась стремительными волнами, но до рукопашной дело не доходило.

— Командир, а может, это ложное нападение? Просто хотят похитить наших путешественников и взять с них выкуп...— сказал Сердцевед.

— Черт побери! Ты поймал быка за рога! — ответил Жерар и бросился на дорогу.

В эту минуту выстрелы шуанов стихли: сообщение, которое шевалье де Валуа сделал эмиграну, было единственной целью стычки. Видя, что шуаны врассыпную убегают через кусты живой изгороди, Мерль счел лишним вступать с ними в опасный, да и бесполезный бой. Жерар двумя словами команды снова выстроил солдат на дороге, и конвой двинулся в путь, не понеся никаких потерь. Капитану представился теперь случай предложить мадемуазель де Верней руку, чтобы помочь ей сесть в экипаж, так как молодой дворянин стоял, словно гро-

мом пораженный. Удивленная парижанка села в карету, не воспользовавшись услугой республиканца; повернув голову, она посмотрела на своего возлюбленного, видела, что он все еще стоит неподвижно на том же месте, и была поражена внезапной переменой, которую вызвали в нем таинственные слова всадника. Наконец, молодой эмигрант медленно пошел к экипажу, и весь его вид говорил о чувстве глубокого отвращения.

— Ну, права я была? — шепнула ему г-жа дю Га, подводя его к дверце кареты.— Мы, несомненно, в руках распутной твари, которая запродала вашу голову. Но раз эта девка настолько глупа, что влюбилась в вас, вместо того чтобы заниматься своим ремеслом, пожалуйста, ведите себя умнее и, пока мы не доедем до Виветьера, притворяйтесь, что вы влюбились в нее... А там... «Но неужели он действительно уже увлекся ею?» — подумала она, глядя на эмигранта, который сидел неподвижно и безмолвно, как во сне.

Карета с глухим стуком катилась по песчаной дороге. Мадемуазель де Верней бросила вокруг себя взгляд, и ей показалось, что все мгновенно изменилось. В ее любовь уже прокралась смерть. Быть может, разница была лишь в оттенках, но, если женщина любит, они бросаются ей в глаза, как яркие краски. Франсина, бледная, взволнованная, не могла сдержать слез, когда ее госпожа смотрела на нее, потому что по взгляду Крадись-по-Земле, которому она поручила оберегать мадемуазель де Верней, поняла, что судьба Мари уже не в его руках. Г-жа дю Га фальшивыми улыбками плохо прикрывала коварство своей женской мести, и внезапная перемена в ее обращении с мадемуазель де Верней, вкрадчивая ласковость манер, голоса, лица должны были внушить опасения проницательному человеку. Мадемуазель де Верней вздрогнула от безотчетного страха, но спросила себя: «Почему я вздрогнула? Ведь это его мать». Но вдруг она задрожала всем телом. «А действительно ли это его мать?» — подумала она.

Перед ней внезапно разверзлась пропасть, и глубину ее обнаружил взгляд, который Мари бросила на незнакомца.

«Эта женщина любит его,— подумала Мари.— Но почему же она осыпает меня любезностями? Ведь толь-

ко что она выказывала мне такую холодность! Неужели я погибла? А может быть, она боится меня?»

Меж тем эмигрант бледнел, краснел, но все же сохранял спокойствие и сидел, опустив глаза, чтобы скрыть бушевавшие в нем странные чувства. Плотно сжатые губы его утратили изящные очертания, лицо пожелтело от какой-то грозной мысли. Мадемуазель де Верней не могла понять, есть ли хоть искра любви в его яростном гневе. Дорога пошла лесом, и темнота мешала участникам безмолвной драмы вопрошать друг друга взглядом. Ропот ветра, шорох густой листвы, звук мерных шагов конвоя придавали этой сцене торжественность, ускорявшую биение сердца. Мадемуазель де Верней догадывалась о причинах внезапной перемены: воспоминание о Корантене мелькнуло, как молния, и тогда мгновенно перед ней предстала истинная картина ее судьбы. В первый раз за этот день она серьезно задумалась над своим положением. До этой минуты она лишь отдавалась счастью любить, не думая ни о себе, ни о будущем. Но теперь она не могла вынести безысходной тоски, стала искать и ждать с кротким терпением любви хотя бы единого взгляда своего возлюбленного, и немая мольба ее глаз была так пламенна, в бледности и трепете ее было столько проникновенного призыва сердца, что он поколебался, но от этого ее падение стало еще более явным.

— Вам нездоровится, мадемуазель? — спросил он. Его голос, вдруг утративший мягкость, самый вопрос, взгляд, жест — все убедило бедную девушку, что события этого дня — только мираж души, что он рассеялся, как легкие, едва возникшие облака, которые уносит ветер.

— Нездоровится? — переспросила она и деланно засмеялась.— Я только что хотела задать вам такой же вопрос.

— А я думала, что вы понимаете друг друга,— с притворным благодушием сказала г-жа дю Га.

Дворянин и мадемуазель де Верней ничего не ответили. Мадемуазель де Верней была уязвлена вдвойне, ибо с досадой видела бессилие своей всемогущей красоты. Она знала, что в любую минуту, если пожелает, может выяснить причину происшедшей перемены, но совсем не стремилась это сделать — пожалуй, впервые женщи-

на отступала перед разгадкой тайны. В жизни человеческой, к несчастью, нередко бывают положения, когда вследствие слишком глубокого раздумья или разразившейся катастрофы нашим мыслям не за что ухватиться, они теряют свою основу, у них нет отправной точки, и наше настоящее теряет тогда связь и с прошлым и с будущим. В таком душевном состоянии была и мадемуазель де Верней. Она забилась в угол кареты и поникла, словно деревце, вырванное с корнем. В безмолвном страдании она ни на кого не глядела, замкнулась в своем горе и с таким упорством не хотела покидать тот неведомый мир, где находят себе прибежище несчастные, что ничего вокруг не замечала. Над каретой с карканьем пронеслась черная стая ворон, но Мари не обратила на это внимания, хотя у нее, как у всех сильных натур, сохранился в сердце уголок для суеверия. Некоторое время путешественники ехали молча.

«Уже чужие! — думала мадемуазель де Верней.— Но ведь никто вокруг меня ничего не сказал! Неужели Корантен?.. Но это не в его интересах. Кто же мог обвинить меня? Едва только пришла ко мне любовь — и вот я уже покинута. Я сею любовь, а пожинаю презрение. Значит, так мне суждено: вечно видеть счастье и вечно терять его!»

И она почувствовала неизведанное смятение, ибо действительно полюбила впервые в жизни. Однако она еще не настолько раскрыла свое сердце, чтобы не найти поддержки в гордости, столь естественной для молодой и прекрасной женщины. Нет, она еще не выдала тайну своей любви, тайну, которую нередко хранят и под пыткой. Она выпрямилась и, стыдясь показать безмолвным страданием силу своей страсти, весело вскинула голову, явив своим спутникам улыбающееся лицо — вернее, улыбающуюся маску,— затем постаралась придать твердость своему голосу и заговорила с капитаном Мерлем, который все время держался неподалеку от кареты.

— Где мы сейчас? — спросила она.

— До Фужера три с половиной лье, мадемуазель.

— Значит, скоро там будем? — сказала она, желая завязать разговор, так как решила оказать некоторое внимание молодому капитану.

— Лье — мера невеликая,— радостно подхватил

Мерль,— но в этих краях они вытягиваются до бесконечности. Когда мы одолеем этот подъем и окажемся на плоскогорье, вы увидите долину, похожую на ту, с которой мы скоро расстанемся, а на горизонте покажется вершина Пелерины. Дай бог, чтобы шуаны не вздумали взять там реванш! Ну, вы сами понимаете: все время подниматься и спускаться — этак не быстро доедешь. А с Пелерины вы увидите еще...

При слове «Пелерина» эмигрант вздрогнул, но еле заметно, и увидела это только мадемуазель де Верней.

— А что такое Пелерина? — быстро спросила девушка, прерывая капитана, увлекшегося топографией Бретани.

— Это высокая гора,— ответил Мерль,— по ее имени названа долина Мэна, куда мы сейчас попадем, и она отделяет эту провинцию от долины Куэнона, в конце которой находится Фужер — первый город Бретани. В последних числах вандемьера у нас около Пелерины была схватка с Молодцом и его разбойниками. Мы вели новобранцев в Майенну, а им так не хотелось расставаться со своей родиной, что на границе ее они решили нас перебить. Но Юло крепкий рубака, он им задал!..

— Так вы, вероятно, видели Молодца? — спросила девушка.— Каков он собою?

Она не сводила проницательных, насмешливых глаз с мнимого виконта де Бована.

— О бог мой! — ответил Мерль, которого она все время перебивала.— Гражданин дю Га вылитый его портрет, и не будь на нем мундира Политехнической школы, я бы побился об заклад, что это Молодец.

Мадемуазель де Верней пристально посмотрела на холодное, неподвижное лицо человека, унизившего ее своим презрением, но не могла увидеть в нем никаких признаков страха; горькой улыбкой она дала ему понять, что в эту минуту раскрыла тайну, которую он вероломно скрывал от нее. Затем она склонила голову набок, чтобы видеть и молодого дворянина и Мерля, и, раздувая от радости ноздри, насмешливо сказала республиканцу:

— Капитан, этот главарь шуанов очень тревожит первого консула. Говорят, он человек смелый, но опрометчивый в своих поступках, особенно с женщинами.

— Мы на это и рассчитываем, чтобы свести с ним счеты. И попадись он нам в руки хотя бы на два часа, мы ему влепим в голову кусочек свинца. Если б этот эмиссар Кобленца встретил нас, он поступил бы с нами точно так же, и мы отправились бы на тот свет. Стало быть, par pari!..[1]

— О, нам нечего бояться такой встречи! — сказал эмигрант.— Ваши солдаты не дойдут до Пелерины. Они слишком устали. И, если вы согласитесь, они могут сделать привал в двух шагах отсюда. Моя матушка должна сойти в Виветьере,— вон дорога, что ведет туда. Это недалеко, рукой подать. Обе наши спутницы, вероятно, с удовольствием отдохнут, их, конечно, утомил безостановочный перегон от самого Алансона. Благодаря великодушию мадемуазель де Верней,— сказал он, с вынужденной учтивостью поворачиваясь к девушке,— наше путешествие было столь же безопасным, сколь и приятным, и я надеюсь, что она окажет честь принять предложение отужинать у моей матушки. И к тому же, капитан,— добавил он, обращаясь к Мерлю,— даже и в эти тяжелые времена у нас, в Виветьере, пожалуй, найдется бочонок сидра, который разопьют ваши люди. Не все же у нас забрал Молодец,— по крайней мере так думает моя матушка...

— Ваша матушка?..— иронически воскликнула мадемуазель де Верней, ничего не ответив на его странное предложение.

— Как? Мой возраст нынче вечером уже не кажется вам правдоподобным? — воскликнула г-жа дю Га.— Я, к несчастью, вышла замуж очень рано, и сын у меня появился в пятнадцать лет...

— А вы не ошиблись, сударыня? Может быть, в тридцать?

Госпожа дю Га побледнела, однако молча снесла эту насмешку. Ей хотелось отомстить, но она вынуждена была улыбаться, ибо желала любой ценой, даже подвергаясь самым жестоким издевательствам, узнать, какие чувства таятся в душе этой девушки. И она сделала вид, что не поняла ее саркастических слов.

— Если верить слухам,— сказала она, обраща-

---

[1] Око за око *(лат.)*.

ясь одновременно к Франсине и ее госпоже,— у шуанов никогда еще не бывало такого жестокого главаря.

— Жестокого? Ну, не думаю,— возразила мадемуазель де Верней.— Но он умеет лгать и кажется мне весьма легковерным. Глава политической партии не должен быть игрушкой ни в чьих руках.

— Вы его знаете? — холодно спросил молодой эмигрант.

— Нет,— ответила она, бросив на него презрительный взгляд.— Я полагала, что знаю его, но...

— О мадемуазель!.. Это положительно хитрец,— сказал капитан, покачивая головой, и выразительным жестом придал этому слову тот особый смысл, который оно утратило в наши дни.— У старинных фамилий бывают иногда крепкие отпрыски. Он вернулся из той страны, где бывшим, говорят, не очень сладко живется, а люди, видите ли, как иные плоды, дозревают на соломе. Если он ловкий малый, то нам не скоро удастся изловить его. Он сумел выставить против наших вольных дружин свои летучие отряды и свести на нет усилия правительства. Если у роялистов сжигают деревню, он сжигает две деревни у республиканцев. Действует он на огромном пространстве, и мы вынуждены употреблять против него значительные силы, а как раз сейчас у нас нет лишних войск!.. О, он понимает дело.

— Он губит родину,— громко сказал Жерар, прерывая капитана.

— Ну что ж! — возразил дворянин.— Если его смерть — избавление для родины, расстреляйте его поскорее.

Он глубоким взглядом посмотрел на мадемуазель де Верней, испытывая ее сердце, и тогда произошла одна из тех немых сцен, которые почти невозможно передать словами,— столько в них острой драматичности и тонких мгновенных оттенков. Опасность делает человека интересным. Если вопрос идет о смерти, то даже самый низкий преступник всегда вызывает некоторую жалость. Хотя мадемуазель де Верней и была уверена, что возлюбленный, отвергший ее,— опасный вождь шуанов, она все же не хотела, чтобы казнь подтвердила это. В ней заговорило совсем иное любопытство. Она предпочла верить или сомневаться, в зависимости от течения своей страсти,

и принялась играть с опасностью. Взглядом, исполненным коварной насмешки и торжества, она указывала молодому главарю мятежников на солдат, как на образ грозившей ему опасности; ей нравилось жестоко напоминать ему, что его жизнь зависит от одного ее слова, и, казалось, ее губы уже шевелятся, чтобы произнести это слово. Подобно дикарям Америки, она вопрошала взглядом каждую черточку на лице врага, привязанного к столбу, и грациозно размахивала томагавком, наслаждаясь своей безвредной местью, карая оскорбителя, как женщина, которая все еще любит.

— Будь у меня такой сын, как у вас, сударыня,— сказала она явно испуганной незнакомке,— я надела бы траур с того дня, как отдала бы его на волю опасной судьбы.

Она не получила ответа. Раз двадцать она поворачивала голову к офицерам и внезапно оглядывалась на г-жу дю Га, но не могла уловить, чтобы эта женщина и Молодец обменялись потаенным знаком, подтверждавшим их интимную близость, которую она подозревала и в которой ей так хотелось усомниться. Женщины любят колебаться в борьбе, когда в их руках жизнь или смерть противника. Молодой вождь спокойно улыбался, бестрепетно выдерживая ту пытку, какой подвергала его мадемуазель де Верней. Манеры его и выражение лица говорили, что он не страшится опасностей на своем пути, и порою он как будто говорил взглядом: «Вот случай отомстить за оскорбление, нанесенное вашему самолюбию. Воспользуйтесь им! Я буду в отчаянии, если мне придется отказаться от презрения к вам!»

Пользуясь своим выгодным положением, мадемуазель де Верней принялась рассматривать вождя шуанов с притворным высокомерием и презрительным достоинством, но в глубине сердца восхищалась его мужеством и самообладанием. Она радовалась открытию, что ее возлюбленный носит старинный титул,— эта привилегия нравится всем женщинам,— и даже испытывала какое-то удовольствие оттого, что, оказавшись защитником дела, облагороженного несчастьем, этот человек в борьбе против победоносной Республики напрягал все способности сильной души и проявлял в опасности отвагу, властно привлекающую женское сердце. Двадцать

раз мадемуазель де Верней подвергала его испытанию, быть может, повинуясь тому инстинкту, который побуждает женщину играть со своей добычей, как кошка играет с пойманной мышью.

— В силу какого закона вы приговариваете шуанов к смерти? — спросила она Мерля.

— В силу декрета от четырнадцатого фруктидора сего года, коим департаменты, охваченные мятежом, объявлены вне закона; в них введены теперь военные суды,— ответил республиканец.

— Чему я обязана, что вы сейчас удостаиваете меня столь внимательного взгляда? — спросила она у молодого вождя шуанов.

— Тому чувству, которое ни один воспитанный человек не решится высказать женщине, какова бы она ни была,— тихо ответил маркиз де Монторан, наклоняясь к ней.— Довелось же нам жить в такое время,— продолжал он уже громко,— когда веселые девицы исполняют обязанности палача и даже превосходят его в искусстве играть топором...

Она пристально взглянула на Монторана, затем, восхищенная смелостью этого человека, оскорбившего ее в ту минуту, когда она в своих руках держала его жизнь, усмехнулась с нежным лукавством и сказала ему на ухо:

— У вас слишком упрямая голова, палачам она не понравится,— я сохраню ее для себя.

Маркиз изумленно посмотрел долгим взглядом на эту непостижимую девушку, любовь которой торжествовала надо всем, даже над самыми тяжкими оскорблениями: за такую обиду, которую женщина никогда не простит, она мстила прощением. Глаза его стали менее суровыми, менее холодными, и выражение грусти промелькнуло в чертах его лица. Страсть его уже была сильнее, чем он думал. Мадемуазель де Верней, довольствуясь этим слабым залогом желанного примирения, ласково взглянула на него и подарила его улыбкой, подобной поцелую. Затем она откинулась к стенке кареты, решив больше не рисковать счастливой развязкой этой драмы, уверенная, что своей улыбкой она возобновила ее начало. Ведь она была так красива, так хорошо умела побеждать препятствия в любви, так привыкла играть всем и смело идти

вперед наудачу. Она так любила все неожиданное, необычное, любила бури жизни!

Вскоре по приказанию маркиза карета свернула с большой дороги и направилась к Виветьеру по узкому проселку, тянувшемуся меж двух высоких откосов, засаженных яблонями, и похожему скорее на ров, чем на дорогу. Путешественники обогнали синих, и конвой медленно двинулся за каретой к старому замку,— серовата я его кровля то появлялась, то исчезала за деревьями, окаймлявшими дорогу, на которой несколько отставших солдат вязли в липкой грязи, с трудом вытаскивая из нее башмаки.

— Здорово это похоже на дорогу в рай! — воскликнул Скороход.

Благодаря опытности кучера мадемуазель де Верней довольно скоро увидела замок Виветьер. Он стоял на скалистом холме, выступавшем, точно мыс между двух глубоких прудов, и пробраться к нему можно было только по узкой мощеной плотине. Часть полуострова, где находились строения и сады, на некотором расстоянии от фасада замка была защищена широким и глубоким рвом, куда спускали лишнюю воду из прудов, и, таким образом, возник настоящий остров, неприступное, драгоценное убежище для любого полководца, ибо захватить его тут врасплох можно было только с помощью измены. Когда заскрипели петли ворот и путешественники въехали под стрельчатый свод портала, разрушенного в предшествующую войну, мадемуазель де Верней высунула голову из окна кареты. От мрачных красок картины, представшей ее взорам, почти исчезли баюкавшие ее мечты о любви и обольщении. Карета въехала на широкий, почти квадратный двор, замкнутый отвесными берегами прудов. Единственным украшением этих крутояров, которые омывала вода, местами затянутая зелеными пятнами, были оголенные деревья с корявыми стволами и огромными седыми кронами, поднимавшиеся над тростником и кустарниками, словно забавные чудища. Эта уродливая изгородь, казалось, ожила и заговорила, когда с громким кваканьем запрыгали в воду лягушки, а испуганные лысухи, пробудившись от шума и стука колес, с плеском вылетели на середину прудов. Двор, окруженный высокой увядающей травой,

утесником, низкорослыми деревьями и кустами растений-паразитов, исключал всякую мысль о порядке и пышности. Замок, видимо, уже давно был заброшен. Крыши осели, как будто от тяжести завладевшей ими растительности. В стенах, хотя и построенных из прочного сланца, которым изобилует Бретань, змеились трещины, и плющ цеплялся за них своими щупальцами. Замок обращен был фасадом к пруду и состоял из двух крыльев, соединенных под прямым углом высокою башней; прогнившие двери и ставни, свисавшие с петель, ржавая чугунная балюстрада и ветхие оконные рамы как будто готовы были рухнуть на землю при первом порыве бури. Холодный ветер завывал в этой развалине, а мглистый свет луны придавал ей мрачный облик огромного привидения. Лишь увидев воочию серые и синеватые краски гранитных глыб, сочетавшиеся с черными и бурыми тонами сланца, можно понять, насколько верен образ, который вызывал в зрителе этот пустой и темный остов. Щели между камнями, зияющие окна, зубчатая башня, дырявые крыши в самом деле придавали ему вид скелета, и хищные птицы, с криком слетевшие с него, добавили еще одну черту к этому смутному сходству. Высокие ели, посаженные за домом, покачивали над крышей темными своими ветвями, а некогда подстриженные тисы, украшавшие углы здания, окаймляли его траурными фестонами, словно края погребального покрова. И, наконец, форма дверей, грубые орнаменты, отсутствие стройности в архитектуре — все указывало, что это один из феодальных замков, которыми, пожалуй, по праву гордится Бретань, ибо они представляют собою на этой гаэльской земле исторические памятники туманных времен, предшествовавших установлению монархии. Слово «замок» всегда вызывало в воображении мадемуазель де Верней традиционные представления, и теперь, грациозно выпрыгнув из кареты, она с ужасом смотрела на эту картину, поразившую ее зловещим своим характером, и раздумывала в одиночестве, как ей поступить. Франсина услышала, как с облегчением вздохнула г-жа дю Га, чувствуя себя в безопасности от синих; бедная девушка невольно вскрикнула, когда ворота захлопнулись и она оказалась запертой в крепости, воздвигнутой

самой природой. Монторан бросился к мадемуазель де Верней, угадав, какие мысли ее беспокоят.

— Замок этот разрушила война,— сказал он с легкой грустью,— так же как вы разрушили воздушный замок моей мечты о нашем счастье.

— Как так? — в изумлении спросила она.

— А разве вы действительно «молодая, *благородная* и умная женщина?» — иронически спросил он, повторяя слова, которые она так кокетливо произнесла, беседуя с ним на дороге.

— Кто вам сказал, что это неправда?

— Друзья, люди, вполне заслуживающие доверия, которые заботятся о моей безопасности и охраняют меня от предательства.

— От предательства? — переспросила она с насмешливой улыбкой.— Разве Алансон и командир Юло уже так далеко отсюда? У вас плохая память! Опасный недостаток для главы политической партии! Но если друзья так властно господствуют над вашим сердцем,— добавила она с редкостной дерзостью,— любите ваших друзей. Ничто не может сравниться с радостями дружбы. Прощайте! Ни я, ни солдаты Республики не войдем сюда.

В порыве уязвленной гордости и презрения она бросилась к воротам, и весь ее облик дышал таким благородством и таким отчаянием, что мысли маркиза изменились; да и так трудно было ему отказаться от своих желаний, что он вновь стал неосторожным и легковерным. Ведь и он уже любил ее! Обоим влюбленным не хотелось ссориться.

— Добавьте только одно слово, и я вам поверю,— сказал он умоляющим тоном.

— Одно слово? — иронически повторила она сквозь зубы.— Слово?.. Нет. Ни единого жеста.

— Ну, хоть побраните меня,— просил он, пытаясь взять ее за руку, но девушка отняла у него руку,— если только вы осмелитесь сердиться на вождя мятежников за то, что теперь он стал настолько же недоверчивым и мрачным, насколько был недавно веселым и доверчивым...

Мари посмотрела на него без гнева, и он добавил:

— Вы знаете мою тайну, а я вашей тайны не знаю.

При этих словах алебастровое чело девушки как будто потемнело. Она строго посмотрела на Монторана и ответила:

— Мою тайну?.. Никогда!

В любви каждое слово, каждый взгляд исполнены особого красноречия, но мадемуазель де Верней не выразила своим ответом ничего определенного, и, как ни был догадлив Монторан, он не мог раскрыть тайный смысл этих слов, хотя волнение, звучавшее в голосе девушки, живо затронуло его любопытство.

— Странная у вас манера рассеивать подозрения! — воскликнул он.

— А у вас еще остались какие-то подозрения? — спросила она, смерив его взглядом, словно говорила: «Разве у вас есть какие-то права на меня?»

— Мадемуазель,— ответил он покорно, но с твердостью,— ваша власть над республиканскими войсками, этот конвой...

— Ах, вы кстати напомнили мне! Скажите, мой конвой и я сама,— ну, словом, ваши защитники,— промолвила она с иронией,— мы будем здесь в безопасности?

— Да, даю в этом честное слово дворянина! Кто бы вы ни были, мадемуазель, вам и вашим людям нечего бояться в моем доме.

В этом торжественном обещании звучало такое искреннее благородство, что мадемуазель де Верней совершенно успокоилась за судьбу республиканцев. Она хотела что-то сказать, но промолчала, так как в эту минуту подошла г-жа дю Га. Эта женщина слышала или угадала часть разговора влюбленных и почувствовала немалую тревогу, поняв, что между ними уже нет никакой враждебности. Заметив г-жу дю Га, маркиз предложил мадемуазель де Верней руку и быстро повел ее к дому, словно хотел избавиться от назойливого преследования.

«Я им мешаю»,— сказала про себя г-жа дю Га, не двигаясь с места.

Она видела, что примирившиеся влюбленные направились к крыльцу и, как только отошли от нее подальше, остановились поговорить.

— Да, да, я мешаю им,— повторила она.— Но очень скоро эта тварь больше не станет мешать мне. Клянусь, что пруд будет ей могилой! Я сама сдержу твое «елово

дворянина». Разве она не будет в безопасности, когда очутится под водой?

Она пристально всматривалась в спокойную зеркальную гладь маленького озера, блестевшую направо от замка, как вдруг услышала шорох в колючем прибрежном кустарнике и при свете луны увидела неуклюжую фигуру Крадись-по-Земле, появившуюся из-за ствола старой вербы. Надо было хорошо знать шуана, чтобы различить его в скопище голых узловатых стволов,— его фигура сливалась с ними. Г-жа дю Га опасливо посмотрела вокруг и увидела, что кучер ведет лошадей в конюшню, находившуюся в правом крыле замка, обращенном к тому берегу, где спрятался Крадись-по-Земле, а Франсина направляется к влюбленным, забывшим в эту минуту весь мир. Тогда г-жа дю Га подошла к берегу и приложила палец к губам, требуя этим знаком полного молчания, а затем шуан скорее угадал, чем услышал следующие слова:

— Сколько вас здесь?

— Восемьдесят семь.

— А их только шестьдесят пять. Я сосчитала.

— Ладно,— ответил со свирепым удовлетворением дикарь. Он внимательно следил за каждым движением Франсины и мгновенно скрылся за стволом вербы, как только увидел, что девушка обернулась и взглядом ищет г-жу дю Га, за которой она не переставала наблюдать, инстинктивно чувствуя в ней врага.

На парадном крыльце появилось семь-восемь человек, которых, видимо, привлек шум экипажа, и послышались возгласы:

— Приехал Молодец! Молодец приехал! Вот он!..

На эти возгласы выбежали еще люди, и разговор влюбленных прервался. Маркиз де Монторан быстро подошел к собравшимся на крыльце дворянам, властным жестом велел всем замолчать и указал на аллею, в конце которой уже шагали республиканские солдаты. Увидев столь знакомые синие мундиры с красными отворотами и блестящие штыки, удивленные заговорщики воскликнули:

— Вы, значит, явились для того, чтобы предать нас?

— Тогда я не стал бы предупреждать вас об опасности,— с горькой улыбкой ответил маркиз.—Синие,—

продолжал он после краткого молчания,— конвоируют вот эту молодую даму; ее великодушие почти чудом спасло нас сегодня, когда мы чуть не погибли в алансонской гостинице. Мы потом расскажем вам об этом приключении. Дама и ее конвой находятся здесь, по моему обещанию, в безопасности, и мы должны принять их, как друзей.

Госпожа дю Га и Франсина подошли к крыльцу; маркиз галантно предложил мадемуазель де Верней руку, дворяне расступились и, пропуская их, старались увидеть лицо незнакомки, ибо г-жа дю Га уже сумела разжечь их любопытство, подав им украдкой несколько красноречивых знаков. В первой комнате мадемуазель де Верней увидела большой, прекрасно сервированный стол человек на двадцать гостей. Столовая сообщалась с просторной залой, где вскоре все собрались. Обе комнаты убранством своим вполне соответствовали той картине разрушения, какую замок представлял снаружи. Панели из полированного орехового дерева, но грубой, топорной работы, разбухли, разошлись и, казалось, вот-вот отвалятся от стен. Мрачный их цвет усиливал унылый характер высоких покоев без зеркал и занавесей, а скудная и ветхая старинная мебель была под стать всему развалившемуся строению. Мари заметила планы и географические карты, развернутые на большом столе, а в углах комнаты грудами лежали сабли и карабины. Все здесь свидетельствовало о каком-то важном совещании предводителей шуанов и вандейцев. Маркиз подвел мадемуазель де Верней к огромному, источенному червями креслу, стоявшему у камина. Франсина встала позади своей госпожи, прислонившись к спинке этого кресла.

— Разрешите мне на минутку заняться обязанностями хозяина,— сказал маркиз и, отойдя от дам, присоединился к гостям, разбившимся на группы.

Франсина увидела, как после нескольких слов Монторана предводители мятежников принялись торопливо прятать оружие, карты и все, что могло возбудить подозрение республиканских офицеров; некоторые сняли с себя широкие кожаные пояса с пистолетами и охотничьими ножами. Маркиз попросил всех соблюдать величайшую осторожность и вышел, сказав, что должен позаботиться о приеме неприятных гостей, которых послал ему

случай. Мадемуазель де Верней спокойно грелась у камина, протянув ноги к огню, и, когда Монторан выходил, она даже не повернула головы, обманув этим ожидание собравшихся, ибо всем хотелось посмотреть на нее. Только одна Франсина заметила, как изменилось поведение гостей после ухода молодого вождя. Дворяне обступили г-жу дю Га, она о чем-то рассказывала им вполголоса, и все слушатели не раз поглядывали на обеих незнакомок.

— Вы ведь знаете Монторана! — говорила г-жа дю Га.— Влюбился в одно мгновение, и вы, конечно, понимаете, что самые разумные советы в моих устах казались ему подозрительными. И наши парижские друзья, и господа де Валуа, и д'Эгриньон из Алансона — все предупреждали его, все сообщали, что ему готовят ловушку, что на него хотят напустить продажную тварь, а он увлекся первой встречной, вот этой девкой, которая, как я совершенно точно узнала, присвоила себе благородное имя, чтобы опозорить его, которая, оказывается, и т. д. и т. д...

В этой особе читатель, вероятно, узнал женщину, подстрекавшую напасть на тюрготину, и в нашем повествовании она сохранит то имя, которое помогло ей, когда она проезжала через Алансон, избегнуть опасности. Огласив ее настоящее имя, мы лишь оскорбили бы благородную семью, и без того уже глубоко удрученную прискорбными поступками этой молодой дамы, а к тому же ее судьба была сюжетом одной из наших Сцен. Вскоре слушатели г-жи дю Га стали проявлять дерзкое, почти враждебное любопытство, и до слуха Франсины долетело несколько довольно резких замечаний; она коротко предупредила свою госпожу и, отойдя от кресла, укрылась в амбразуре окна. Мари встала и, повернувшись к кучке наглецов, бросила на них взгляд, исполненный достоинства, даже презрения. Красота, изящество, гордая осанка мадемуазель де Верней сразу изменили расположение духа ее врагов: послышался лестный шепот восхищения. Два-три человека, внешность которых свидетельствовала о привычке к изысканной учтивости, какая приобретается только в придворных кругах, подошли к ней с любезным видом. Строгая ее благопристойность внушала им почтение. Никто не решался заговорить с ней, никто не решался обвинить ее, напротив,

она сама казалась их судьей. Руководители войны во имя бога и короля мало походили на те портреты, которые она любила создавать в воображении. Борьба, поистине, великая, сразу сузилась в ее глазах до ничтожных размеров, когда она увидела физиономии этих захолустных дворян, лишенных жизни и выразительности, кроме двух-трех энергических лиц. С высот поэзии Мари вдруг упала в мир действительности. Прежде всего эти лица, казалось ей, говорили скорее о склонности к интригам, чем о любви к славе, и действительно, корысть вложила оружие в руки всех этих дворян; если им и случалось действовать героически, то здесь они предстали во всей своей наготе. Утратив иллюзии, мадемуазель де Верней стала пристрастной и не распознала тут немногих искренних людей, позднее отличившихся своей самоотверженностью. Манеры у большинства гостей были вульгарные. Лишь несколько человек выделялись среди прочих своеобразием облика, но это стиралось условностями аристократического этикета. Если Мари и готова была признать за ними тонкость ума и обращения, она увидела в них полное отсутствие той простоты, того величия, к которым ее приучили люди победоносной Республики. Это ночное сборище в старинном полуразрушенном замке с облезлыми украшениями, так подходившими к фигурам гостей, вызвало у нее невольную усмешку; она увидела тут символическую картину монархии. С радостью подумала она, что, по крайней мере, маркиз играет первую роль среди этих людей, единственным достоинством которых в ее глазах была преданность делу, обреченному на гибель. На этом фоне она нарисовала образ своего возлюбленного, с восторгом выделяя его необычность, а во всех этих жалких, убогих фигурах уже видела лишь орудие его благородных намерений. В эту минуту в соседней комнате послышались шаги маркиза. Заговорщики тотчас разбились на группы, и перешептывание прекратилось. Словно школьники, затеявшие в отсутствие учителя какую-то проделку, они поспешили скрыть это показным порядком и тишиной. Вошел Монторан, и Мари им залюбовалась: он был самым молодым, самым красивым и самым главным. Как король среди своего двора, он переходил от одной группы к другой, распределяя легкие поклоны, рукопожа-

тия, взгляды, слова одобрения или порицания, выполняя обязанности предводителя с такой грацией и уверенностью, какой трудно было ожидать от юноши, которого она недавно упрекала в ветрености. Появление маркиза положило предел назойливому любопытству, но вскоре злобные слова г-жи дю Га оказали свое действие. Барон дю Геник, по прозвищу «Ответчик», по своему имени и положению лишь один среди всех этих людей, собравшихся для каких-то важных дел, пользовался правом запросто обращаться с Монтораном; он взял его под руку и отвел в сторону.

— Послушай, дорогой маркиз,— сказал он,— нам всем очень грустно видеть, что ты собираешься совершить невероятное безумство.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да знаешь ли ты, кто такая эта девица в действительности, откуда она явилась и какие у нее намерения относительно тебя?

— Дорогой мой Ответчик, между нами говоря, завтра утром каприз мой пройдет.

— А что, если эта тварь еще до утра предаст тебя?

— Я отвечу тебе, если ты скажешь мне, почему она уже не сделала этого,— шутливо заметил Монторан, приняв фатовской вид.

— Но, может быть, ты ей нравишься, и она не хочет выдать тебя, пока у нее самой не пройдет каприз.

— Друг мой, посмотри на эту очаровательную девушку, приглядись к ее манерам и посмей сказать, что она не из высшего круга. Если б она бросила на тебя благосклонный взгляд, разве ты в глубине души не почувствовал бы себя польщенным? Некая дама уже восстановила вас против нее. Но окажись после этого разговора, что она из тех погибших тварей, о которых говорили наши друзья, я убью ее...

— Неужели вы считаете Фуше таким глупцом, что он подошлет к вам уличную девку,— вмешалась г-жа дю Га.— Он соразмерил силу соблазна с вашими достоинствами. И если вы слепы, то у ваших друзей глаза должны быть открыты: мы обязаны оберегать вас.

— Послушайте, сударыня,— ответил Монторан, устремив на нее гневный взгляд,— не пытайтесь что-нибудь замыслить против этой девушки или ее конвоя,

иначе вы не избегнете моей мести. Я хочу, чтобы мадемуазель оказывали величайшее уважение и обращались с нею, как с особой, мне близкой. Ведь мы, кажется, в родстве с фамилией де Верней.

Сопротивление, оказанное маркизу, произвело обычное действие, какое подобные препятствия оказывают на молодых людей. Хотя по видимости он весьма легкомысленно относился к мадемуазель де Верней и старался убедить себя и других, что его страсть — только каприз, все же гордость завлекла его очень далеко. Признавшись в своем чувстве к этой женщине, он считал теперь делом чести внушить почтение к ней. Переходя от одной группы к другой, он уверял всех, что эта незнакомка действительно мадемуазель де Верней, и видно было, что его задевать опасно. Тотчас все толки прекратились. Когда Монторан установил в зале некоторое согласие и удовлетворил все требования, он поспешно подошел к своей возлюбленной и тихо сказал:

— Эти люди похитили у меня минуту счастья.

— Я очень рада, что вы подле меня,— смеясь, ответила она.— Предупреждаю, что я весьма любопытна, поэтому не слишком тяготитесь моими вопросами. Прежде всего скажите, кто этот старик в зеленой суконной куртке?

— Это знаменитый майор Бриго, человек из Болота, соратник покойного Мерсье по прозвищу «Вандея».

— А кто этот толстый краснощекий священник, который с ним разговаривает? Они, несомненно, говорят обо мне,— продолжала расспрашивать мадемуазель де Верней.

— Желаете узнать, что они говорят?

— Желаю? Конечно.

— Нет, я не могу сказать,— это оскорбительно для вас.

— Ах, так! Вы позволяете безнаказанно оскорблять меня в вашем доме? Прощайте, маркиз! Я не хочу больше оставаться здесь ни одной минуты. Меня и без того мучает совесть, что я обманываю бедных республиканцев, таких честных и доверчивых людей.

Она сделала несколько шагов к двери, маркиз последовал за ней.

— Дорогая Мари, выслушайте меня. Клянусь че-

стью, я заставил прекратить злые речи о вас, даже не зная, правдивы они или нет. Однако положение таково, что я должен остерегаться каждой красивой женщины на своем пути: доброжелатели, имеющиеся у нас в парижских министерствах, дали нам знать, что Фуше хочет подослать ко мне какую-то уличную Юдифь, и моим лучшим друзьям дозволительно думать, что для честной женщины вы слишком красивы...

Говоря это, маркиз пристально смотрел в глаза мадемуазель де Верней. Она покраснела и не смогла сдержать слез.

— Я заслужила эти оскорбления,— сказала она.— Мне хотелось, чтобы вы были убеждены, что я — презренное создание, и все же любили бы меня... тогда я больше не сомневалась бы в вас. Я верила вам, когда вы обманывали меня, а вы не верите, когда я говорю правду! Итак, покончим на этом, сударь,— сказала она, сдвинув брови, и побледнела, как полотно.— Прощайте!

И в порыве отчаяния она бросилась прочь из столовой.

— Мари, моя жизнь принадлежит вам,— тихо сказал ей маркиз.

Она остановилась и посмотрела на него.

— Нет, нет,— сказала она.— Я буду великодушна. Прощайте! Когда я последовала за вами сюда, я не думала ни о своем прошлом, ни о вашем будущем. Я была безумна.

— Как? Вы покидаете меня в ту минуту, когда я предлагаю вам свою жизнь?

— Вы делаете это в минуту страсти, желания...

— Без сожаления и навсегда,— сказал он.

Она вернулась. Чтобы скрыть ее волнение, маркиз продолжал начатый разговор:

— Толстяк, о котором вы меня спрашивали, опасный человек: это аббат Гюден, один из тех иезуитов, настолько упорных или преданных своему ордену, что они остались во Франции, несмотря на эдикт от тысяча семьсот шестьдесят третьего года, которым их изгнали из страны. Он зачинщик войны в этих краях и проповедник религиозной общины, называемой «Братство сердца господня». Он привык пользоваться религией как орудием

борьбы, уверяет своих приверженцев, что они воскреснут, и своими проповедями умело разжигает их фанатизм. Как видите, надо пользоваться личными интересами каждого, чтобы достигнуть великой цели. В этом весь секрет политики.

— А кто этот бодрый, мускулистый старик? Какое у него отталкивающее лицо! Ну, вон тот, в изодранной адвокатской мантии?

— В адвокатской? Что вы! Он претендует на чин генерал-майора. Разве вы не слыхали о Лонги?

— Неужели это он? — испуганно воскликнула Мари.— И вы пользуетесь такими людьми?

— Тсс! Он может услышать. А вы видите человека, который ведет какой-то греховный разговор с госпожой дю Га?

— Весь в черном? Похожий на судью?

— Да. Это один из наших посредников — ла Биллардиер, сын советника бретонского парламента. Настоящая его фамилия Фламе или что-то вроде этого, но он пользуется доверием принцев.

— А его сосед? Тот, что прячет в карман глиняную трубку, а другой рукой оперся о панель всей ладонью, как простолюдин,— спросила с усмешкой мадемуазель де Верней.

— Ей-богу, вы угадали! Он бывший егерь покойного мужа этой дамы. Командует одним из моих отрядов, которые я выдвинул против республиканских летучих батальонов; он и Крадись-по-Земле, может быть, самые добросовестные слуги короля из всех, кто здесь собрался.

— А она? Кто она такая?

— Последняя из любовниц Шарета. Имеет большое влияние на всех этих людей.

— Осталась она верна Шарету?

Вместо ответа маркиз сделал гримасу сомнения.

— И вы уважаете ее?

— Вы в самом деле очень любопытны!

— Она — мой враг, потому что уже не может быть моей соперницей,— смеясь, сказала мадемуазель де Верней.— Но я прощаю ей прошлые ее грехи, пусть и она простит мне мои заблуждения. А кто этот усатый офицер?

— Разрешите мне не называть его. Он хочет покончить с первым консулом, напав на него с оружием в руках. Удастся ему это или нет, все равно вы узнаете его имя — он станет знаменитостью.

— И вы явились руководить подобными людьми?..— с ужасом воскликнула она.— Неужели это защитники короля? Где же дворяне и вельможи?

— Позвольте! Они рассеяны по всем европейским дворам! — дерзко сказал маркиз.— Кто же вербует на службу Бурбонам королей, их министров, их армии и бросает их против вашей Республики, которая грозит всем монархиям гибелью, а общественному порядку полным разрушением?

— Ах! — воскликнула она в глубоком волнении.— Будьте отныне чистым источником, откуда я почерпну те идеи, которые мне еще надо приобрести... Я готова сделать это. Но позвольте мне верить, что вы единственный дворянин, который, исполняя свой долг, нападает на Францию лишь с помощью французов, а не иностранцев. Я женщина и чувствую, что если бы мой ребенок в гневе ударил меня, я могла бы ему простить, но если бы он хладнокровно смотрел, как чужой терзает меня, я сочла бы его чудовищем.

— Вы всегда останетесь республиканкой,— сказал маркиз в сладостном опьянении от этих благородных слов, которые подтверждали его самолюбивые мысли.

— Республиканка? Нет, я больше не республиканка. Я не стала бы вас уважать, если бы вы покорились первому консулу,— возразила она,— но я не хотела бы видеть вас во главе людей, которые грабят уголок Франции, вместо того чтобы бороться со всей Республикой. Ради кого вы сражаетесь? Чего вы ждете от короля, который будет восстановлен на троне вашими руками? Некогда одна женщина совершила такой подвиг, но освобожденный ею король допустил, чтобы ее живою сожгли на костре... Эти люди — помазанники божьи, а касаться святыни опасно. Предоставьте богу сажать их на пурпурные престолы, низвергать и вновь на них возводить. Если вы заранее взвесили, какая награда вас ждет, вы в моих глазах в десять раз выше, чем прежде; попирайте меня тогда ногами, если хотите, я разрешаю вам это, я буду этим счастлива!

— Вы очаровательны! Пожалуйста, не вздумайте поучать этих людей! Я останусь без солдат.

— Ах, если бы вы позволили мне обратить вас в мою веру, мы бы уехали отсюда за тысячу лье!

— Эти люди, которых вы, видимо, презираете, быть может, погибнут в борьбе,— возразил маркиз более серьезным тоном,— проступки их будут забыты. А впрочем, если мои действия увенчаются некоторым успехом, разве лавры триумфа не скроют все?

— Я вижу, что здесь только вы один чем-то рискуете!

— Нет, не я один,— ответил он с искренней скромностью.— Вон два новых вождя Вандеи. Одного, как вы слышали, называют по его прозвищу — Большой Жак, это граф де Фонтэн; а другой — ла Биллардиер, я вам уже его показывал.

— А вы забыли Киберон? Ла Биллардиер играл там весьма странную роль! — сказала она, пораженная одним воспоминанием.

— Ла Биллардиер многое принял на себя, поверьте мне. Нелегкое дело служить принцам...

— Ах, вы пугаете меня! — воскликнула Мари.— Маркиз,— продолжала она уклончиво, как будто не решаясь открыть тайну, известную только ей одной,— достаточно бывает одного мгновения, чтобы разрушить иллюзию и разоблачить секреты, от которых зависит жизнь и счастье многих людей...

Она остановилась, словно испугавшись, что сказала лишнее, и, помолчав, добавила:

— Мне хотелось бы твердо знать, что республиканские солдаты здесь в безопасности.

— Я буду осторожен,— сказал Монторан, стараясь улыбкой скрыть волнение,— но перестаньте же говорить о ваших солдатах, я отвечаю за них честью дворянина.

— А впрочем, какое я имею право руководить вами? — продолжала она.— Будьте всегда господином в наших отношениях. Ведь я уже говорила вам, что пришла бы в отчаяние, если бы властвовала над рабом.

— Маркиз,— почтительно сказал майор Бриго, прерывая этот разговор.— Синие долго тут останутся?

— Как только отдохнут, немедленно отправятся дальше,— воскликнула Мари.

Маркиз испытующим взглядом окинул собравших-

ся и, заметив какое-то волнение среди них, отошел от мадемуазель де Верней; тотчас же его место заняла г-жа дю Га. Лицо ее — смеющаяся коварная маска — нисколько не изменило своего выражения в ответ на горькую улыбку молодого предводителя. В эту минуту Франсина глухо вскрикнула. Мадемуазель де Верней с удивлением увидела, что преданная ее спутница бросилась в столовую, а взглянув на г-жу дю Га, была поражена бледностью, сразу покрывшей лицо ее недруга. Желая узнать причину внезапного исчезновения Франсины, она подошла к амбразуре окна, куда за ней последовала и соперница, чтобы рассеять подозрения, которые могла пробудить чья-нибудь неосторожность; обе женщины поглядели на озеро и вместе вернулись к камину — Мари разочарованная, ибо она не заметила ничего, что объясняло бы бегство Франсины; г-жа дю Га — улыбаясь неизъяснимо лукавой улыбкой, довольная, что ее приказания выполнены. Озеро, у берега которого, на призыв этой женщины, появился во дворе Крадись-по-Земле, сообщалось с глубоким рвом, защищавшим замок и ограждавшим сад своими излучинами, затянутыми белой дымкой, то широкими, как пруды, то узкими, как искусственные речки в парках. Высокий крутой берег, омываемый светлыми водами, был в нескольких шагах от окна. Франсина долго смотрела, как на поверхности воды черными линиями вырисовываются тени, отброшенные кронами старых ив, рассеянно наблюдая, как ветер равномерно клонит их ветви. Вдруг ей показалось, что одна из теней движется по зеркальной глади резкими, порывистыми толчками, словно живое существо, и в этом неясном, темном отражении она как будто различила человеческую голову. Сначала Франсина подумала, что такое видение вызвано игрой лунного света, падавшего сквозь листву, но вскоре появилась вторая голова, а вслед за нею вдали показались еще головы. Прибрежные кусты пригнулись и стремительно выпрямились, и тогда Франсина увидела, что вся длинная живая изгородь еле заметно шевелится, извиваясь, как огромная индийская змея сказочной величины. Затем в высоких кустах терновника и дрока заблестели, задвигались светящиеся точки. Возлюбленная Крадись-по-Земле напрягла все свое внимание и как будто узнала первую из черных

фигур, пробиравшихся по берегу в оживших зарослях. И как ни были неясны очертания этой фигуры, частое биение сердца показало ей, что она видит перед собою Крадись-по-Земле. Убедившись в этом по одному знакомому его жесту и сгорая нетерпением узнать, не кроется ли предательство в таком загадочном нашествии, она кинулась во двор. Добежав до середины этой зеленой площадки, она окинула взглядом оба крыла замка и оба берега, но не заметила никаких следов потаенного движения на том берегу, который тянулся против пустующего крыла. Она внимательно прислушалась и уловила легкий шорох, подобный звуку шагов дикого зверя в тишине лесов; она вздрогнула, но не растерялась. Несмотря на ее молодость и простодушие, любопытство быстро подсказало ей хитрый план. Заметив во дворе почтовую карету, она проворно спряталась в нее и осторожно подняла голову, словно заяц, который слышит шум отдаленной охоты. Она увидела, как из конюшни вышел Хватай-Каравай, за ним последовали двое крестьян, и все несли охапки соломы; солому они разостлали вдоль стены пустующего крыла, параллельного берегу, окаймленному низкорослыми деревьями и кустарником, где шуаны двигались в полном молчании, выдававшем приготовления к какой-то ужасной военной хитрости.

— Что это ты столько соломы стелешь? Будто и в самом деле им придется на ней спать?.. Хватит, приятель, хватит! — сказал хриплый, глухой голос, который Франсина сразу узнала.

— Да разве они не уснут здесь? — возразил Хватай-Каравай и засмеялся зычным глупым смехом.— А ты не боишься, что Молодец рассердится? — спросил он так тихо, что Франсина не услышала его слов.

— Ну, пусть сердится,— вполголоса ответил Крадись-по-Земле,— а все-таки синие уже не воскреснут. Гляди, карета,— продолжал он,— надо нам с тобой прибрать ее в сарай.

Хватай-Каравай потянул за дышло, Крадись-по-Земле подтолкнул заднее колесо, и карета двинулась с такой быстротой, что не успела Франсина подумать о своем положении, как уже оказалась в сарае и ее едва не заперли там. Хватай-Каравай вышел, чтобы помочь прикатить во двор бочку сидра, которым маркиз приказал

угостить солдат конвоя. Крадись-по-Земле направился к двери, собираясь выйти из сарая и запереть его, но когда он проходил мимо кареты, чья-то рука ухватилась за длинную шерсть козьей шкуры и остановила его. Он узнал кроткие глаза, чей взгляд действовал на него магнетически, и с минуту стоял, как зачарованный. Франсина быстро выпрыгнула из кареты и властным тоном, который так чудесно подходит разгневанной женщине, сказала:

— Пьер, какие вести принес ты на дороге той даме и ее сыну? Что здесь творится? Почему ты прячешься? Я хочу все знать.

На лице шуана появилось выражение, еще неведомое Франсине. Бретонец подвел свою невинную возлюбленную к двери, повернул лицом к беловатому лунному свету и ответил, глядя на нее страшными глазами:

— Да, загублю я свою душу, Франсина, все тебе скажу. Только поклянись мне сначала вот на этих четках...

И он вытащил из-под козьей шкуры старые четки.

— Помнишь ты эту святыню? — продолжал он.— Поклянись, что ответишь правду на мой вопрос, на один только вопрос!

Франсина взглянула на четки и покраснела — они были залогом их любви.

— На этих четках,— взволнованно сказал шуан,— ты клялась...

Он не договорил. Франсина заставила его замолчать, прижав руку к его губам.

— Неужели тебе нужны клятвы? — сказала она.

Он тихонько взял ее за руку и, посмотрев на нее с минуту, спросил:

— Девушка, у которой ты служишь, взаправду мадемуазель де Верней?

Франсина побледнела, склонила голову и молча стояла перед ним, потупив глаза и опустив руки.

— Она шлюха! — грозным тоном сказал Крадись-по-Земле.

При этом слове красивая рука снова закрыла ему рот, но на сей раз шуан отшатнулся. Перед глазами кроткой бретонки был уже не возлюбленный ее, но дикий зверь во всей ярости своей ужасной натуры. Брови

у шуана сдвинулись, губы искривились, и он оскалил зубы, как пес, защищающий хозяина.

— Эх, была ты цветок, а стала — навоз! И зачем я тебя отпустил!.. Для чего вы приехали? Задумали предать нас, выдать Молодца!..

Эти слова скорее походили на рычанье, чем на человеческую речь. Франсине стало страшно, но, услышав последние слова упрека, она осмелилась взглянуть в свирепое лицо шуана, подняла на него ангельски кроткие глаза и спокойно ответила:

— Клянусь спасением моей души — это ложь. Это все твоя госпожа выдумала...

Тогда он опустил голову. Девушка приблизилась к нему грациозным движением и, взяв его за руку, сказала:

— Пьер, зачем нам с тобой мешаться в эти дела? Послушай, я не знаю, как ты можешь в чем-нибудь тут разобраться, раз уж я сама ничего не понимаю! А только помни, что эта красивая благородная девушка — и моя и твоя благодетельница. Она для меня все равно что сестра. И раз мы около нее находимся, с нею не должно случиться ничего худого, по крайней мере пока мы с тобой живы. Поклянись же мне в этом! Я здесь только тебе одному доверяю.

— Не я здесь распоряжаюсь,— ворчливо ответил шуан.

Лицо его потемнело. Она взяла его за большие оттопыренные уши и тихонько потеребила их, словно ласкала кота.

— Ну, обещай мне,— продолжала она, видя, что он смягчился.— Обещай сделать все, что в твоих силах, чтобы наша благодетельница была в безопасности!

Он покачал головой, как будто сомневался в успехе, и бретонка задрожала. В эту критическую минуту конвой вышел на плотину. Шаги солдат и бряцанье оружия разбудили эхо во дворе и, казалось, положили конец колебаниям шуана.

— Может, мне и удастся ее спасти,— сказал он своей возлюбленной,— если ты постараешься, чтобы она не выходила из дому. Да смотри, что бы ни случилось, оставайся там с нею и держи язык за зубами! Иначе ничего не выйдет!

— Обещаю! — ответила она в ужасе.

— Ну, ступай в дом. Ступай сейчас же, да скрой свой страх от всех, даже от хозяйки.

— Хорошо.

Она пожала ему руку и с легкостью птицы помчалась к крыльцу, а шуан, проводив ее отеческим взглядом, шмыгнул в живую изгородь, словно актер, убегающий за кулисы, когда поднимается занавес в трагедии.

— Знаешь, Мерль, это место, по-моему,— настоящая мышеловка,— сказал Жерар, подходя к замку.

— Я и сам вижу,— озабоченно сказал капитан.

Офицеры поспешили поставить часовых, чтобы обезопасить плотину и ворота, затем окинули недоверчивым взглядом берега и подступы к замку.

— Ну,— сказал Мерль,— или надо с полным доверием войти в эту берлогу, или вовсе туда не входить.

— Войдем,— ответил Жерар.

Солдаты по команде «вольно» вышли из рядов, быстро составили ружья в козлы и столпились перед соломенной подстилкой — на середине ее красовался бочонок с сидром. Они разбились на группы, и два крестьянина начали раздавать им ржаной хлеб и масло. Маркиз вышел навстречу офицерам и повел их в дом. Поднявшись по ступенькам подъезда, Жерар окинул взглядом оба крыла замка, где старые лиственницы протягивали черные свои ветви, затем подозвал Скорохода и Сердцеведа.

— Пойдете оба в разведку: обшарьте хорошенько сад и живую изгородь. Поняли? Да поставьте часового перед вашей линейкой у соломы...

— А можно нам перед охотой разогреть нутро, гражданин майор? — спросил Сердцевед.

Жерар кивнул головой.

— Вот видишь, Сердцевед,— сказал Скороход.— Напрасно майор сунулся в это осиное гнездо. Командуй нами Юло, он никогда бы сюда не полез: мы тут как в котле.

— Ну и глуп ты,— ответил Сердцевед.— Как же это ты, король хитрецов, не догадался, что эта хибарка — замок миловидной гражданки, которой подсвистывает наш веселый дрозд [1], самый удалой из всех капитанов, и

---

[1] *Мерль* (фамилия капитана) — по-французски означает «дрозд».

он женится на ней — это ясно, как начищенный штык. Что ж, такая женщина сделает честь всей полубригаде.

— Правильно! — ответил Скороход.— Можешь еще добавить, что и сидром тут неплохим угощают, да что-то неохота его пить перед этими проклятыми изгородями. Мне все вспоминается, как Ларос и Вье-Шапо кувырком полетели в канаву около Пелерины. Никогда мне этого не забыть. У бедняги Лароса косица подпрыгивала, будто дверной молоток.

— Скороход, друг мой, для солдата у тебя слишком много *фунтазии*. Тебе бы песни сочинять в Национальном институте.

— У меня слишком много фантазии,— возразил Скороход,— а у тебя совсем ее нет. Не скоро ты дослужишься до консула.

Смех солдат положил конец этому спору; у Сердцеведа в патронташе не нашлось заряда, чтобы ответить противнику.

— Ну, идешь в разведку? Я поверну направо,— сказал Скороход.

— Ладно, я пойду налево,— ответил ему товарищ.— Только погоди минутку, выпью стакан сидра. У меня язык присох к глотке, как полоска пластыря, которым наш Юло залепляет дыры на своей распрекрасной треуголке.

Левая сторона сада, которую Сердцевед не торопился обследовать, была, к несчастью, на том опасном берегу, где Франсина заметила таинственное движение. На войне случай — это все.

Войдя в гостиную, Жерар сделал общий поклон и окинул проницательным взглядом собравшихся там людей. В душе его усилилось подозрение, он сразу подошел к мадемуазель де Верней и тихо сказал ей:

— По-моему, вам следует поскорее уехать, здесь небезопасно.

— Неужели вы могли бы чего-нибудь бояться в моем доме? — ответила она, смеясь.— Вы здесь больше в безопасности, чем в Майенне.

Женщина всегда уверенно ручается за любимого человека. Оба офицера успокоились. В эту минуту общество перешло в столовую, хотя и слышались разговоры, что какой-то важный гость еще не приехал. Благодаря

молчанию, обычному в начале званых обедов, мадемуазель де Верней могла более внимательно рассмотреть участников этого собрания, весьма любопытного в такой обстановке, не подозревая, однако, что до некоторой степени сама является его причиной; как и многие женщины, привыкшие во всем искать для себя развлечения, она проявляла беспечность в самые решающие минуты жизни. Внезапно ее поразило одно наблюдение. Оба республиканских офицера отличались от всех сидевших за столом внушительностью своего облика. У обоих длинные волосы, стянутые на висках и заплетенные сзади в толстую косицу, обрисовывали лоб четкими линиями, которые придают такую простоту и благородство молодым лицам. Потертые синие мундиры, обтрепанные красные отвороты и обшлага, эполеты, обвисшие на спину в долгих походах,— все говорило об отсутствии в армии шинелей, даже у командиров, и все выделяло этих двух солдат среди людей, к которым они попали.

«О, здесь вся нация, свобода! — подумала Мари. Затем она бросила взгляд на роялистов.— А там только один человек — король, привилегии!»

Она невольно залюбовалась лицом Мерля: этот жизнерадостный солдат как бы воплощал собою образ французского пехотинца, который насвистывает под пулями песенку и не упустит случая пошутить над злополучным товарищем. Жерар вызывал уважение. Строгий, полный самообладания, он, казалось, наделен был душой истинного республиканца, какие во множестве встречались тогда во французской армии и которым их скромная, благородная самоотверженность сообщала неведомую до той поры энергию.

«Вот человек с широким кругозором. Я люблю таких,— подумала мадемуазель де Верней.— Опираясь на настоящее и господствуя над ним, эти люди разрушают прошлое, но во благо будущему...»

Эта мысль опечалила ее потому, что не относилась к ее возлюбленному; она быстро повернулась к нему, чтобы совсем иным восхищением отомстить Республике, которую уже возненавидела. Она увидела маркиза, окруженного людьми, настолько смелыми, настолько фанатичными, настолько рассчитывающими на будущее, что они решались бороться с победоносной Республикой,

надеясь восстановить умершую монархию, отмененную религию, принцев, скитающихся за границей, и уничтоженные привилегии. И тогда она подумала: «Маркиз — человек такой же силы воли. Склонившись над обломками прошлого, он хочет создать из него будущее».

Мысль ее, питающаяся образами, блуждала в эту минуту между развалинами нового времени и развалинами прошлого. Совесть громко говорила ей, что один борется за отдельного человека, другой — за целую страну, но чувство привело ее к выводу, к которому могут привести и рассуждения: к признанию, что король — это страна.

Услышав в гостиной мужские шаги, маркиз поднялся и пошел навстречу новому гостю. Это оказался человек, которого ждали; удивленный большим обществом, он хотел что-то сказать, но Молодец украдкой от республиканцев знаком остановил его и предложил ему занять место за столом. Офицеры внимательно приглядывались к своим сотрапезникам, и у них возникли прежние сомнения. Духовная одежда аббата Гюдена и причудливые костюмы шуанов пробудили в них недоверие; они удвоили внимание и обнаружили удивительный контраст между манерами и речами гостей: насколько некоторые проявляли в своих словах преувеличенный республиканизм, настолько другие удивляли аристократичностью манер. Несколько случайно перехваченных взглядов, которыми маркиз обменялся с гостями, несколько неосторожных фраз с двойным смыслом, а главное, узкие каемки бород, довольно плохо скрытые высокими галстуками, открыли им обоим одновременно истину. Одна и та же мысль пришла им в голову, и они сообщили ее друг другу взглядом,— г-жа дю Га предусмотрительно их рассадила, и они могли переговариваться только глазами. Положение требовало осторожности: республиканцы не знали, являются ли они в этом замке господами положения, или их завлекли в западню, была ли мадемуазель де Верней жертвой или сообщницей в этом непостижимом приключении. Но вдруг нежданное событие ускорило развязку, прежде чем они поняли все его значение. Новый гость был одним из тех румяных и тучных великанов, которые ходят, важно откидываясь назад, как будто вытесняют воздух на своем пути и считают, что все

взгляды устремлены на них. Невзирая на знатное свое происхождение, он смотрел на жизнь, как на забаву, из которой надо извлечь возможно больше удовольствия. Он преклонялся перед собой, но все же оставался благодушно учтивым и остроумным, как и многие дворяне, которые, закончив свое воспитание при дворе, возвращаются в родовые поместья и не подозревают, что, прожив там безвыездно двадцать лет, они покрылись плесенью. Такие люди с несокрушимым апломбом совершают бестактности, говорят остроумные пустяки, весьма упорно не доверяют ничему хорошему и с невероятным усердием сами лезут в какую-нибудь ловушку. Работая вилкой с привычным проворством любителя хорошо поесть, он наверстал потерянное время и лишь тогда поднял глаза на сотрапезников. Удивление его возросло, когда он заметил офицеров; он вопрошающе поглядел на г-жу дю Га, и вместо ответа она указала ему глазами на мадемуазель де Верней. Увидев эту сирену, чья красота почти уже заставила умолкнуть в душах гостей чувства, вызванные стараниями г-жи дю Га, толстяк улыбнулся наглой и насмешливой улыбкой, за которой, видимо, таилась какая-то непристойная история, наклонился к соседу и шепнул ему два-три слова; оставшись тайной для офицеров и для Мари, слова эти переходили из уст в уста, каждый услышал их в свой черед, и они достигли, наконец, того человека, кого должны были ранить смертельно, поразив его в самое сердце! Вожди вандейцев и шуанов с жестоким любопытством устремили взгляды на маркиза де Монторана. Г-жа дю Га, радостно сверкая глазами, переводила их с маркиза на удивленную мадемуазель де Верней. Офицеры тревожно посматривали друг на друга, выжидая, чем кончится эта странная сцена. У всех в руках неподвижно застыли вилки, в комнате воцарилась тишина, и все взгляды были прикованы к Молодцу. От гнева его лицо побагровело, затем приняло восковой оттенок, и в глазах вспыхнула безумная ярость. Он резко повернулся к тому гостю, от которого приползла эта ядовитая змея, и упавшим голосом сумрачно спросил:

— Проклятье! Граф, это правда?

— Клянусь честью! — с важным поклоном ответил граф.

Маркиз опустил глаза, но тотчас снова их поднял и устремил на Мари; девушка, внимательно прислушиваясь к разговору, встретила этот взгляд, полный смертельной ненависти.

— Я отдал бы жизнь,— прошептал он,— чтобы тут же отомстить за себя.

Госпожа дю Га поняла эту фразу по движению его губ и улыбнулась ему, как улыбаются другу, обещая, что скоро его мучения кончатся. Презрение к мадемуазель де Верней, написанное на лице у каждого, довело до предела негодование республиканцев. Резким движением они поднялись.

— Что вам угодно, граждане? — спросила г-жа дю Га.

— Наши шпаги, *гражданка*,— с иронией ответил Жерар.

— За столом вам не нужны шпаги,— холодно возразил маркиз.

— Нет. Но сейчас мы поиграем в игру, хорошо вам знакомую,— воскликнул Жерар.— И здесь мы посмотрим друг на друга поближе, чем у Пелерины.

Все остолбенели. В эту минуту во дворе раздался дружный залп, повергнувший в ужас обоих офицеров. Они бросились на крыльцо, оттуда они увидели около сотни шуанов, которые метились в солдат, уцелевших после первого залпа, и стреляли по ним, как по зайцам. Бретонцы появились с берега, где они прятались по приказу Крадись-по-Земле с опасностью для собственной жизни; когда стихли последние выстрелы, сквозь крики и стоны умирающих слышно было, как несколько шуанов, оступившись, упали в воду, словно камни, брошенные в пропасть. Хватай-Каравай прицелился в Жерара; Крадись-по-Земле взял на прицел Мерля.

— Капитан,— холодно сказал маркиз, повторяя слова, недавно сказанные о нем Мерлем,—люди, видите ли, как иные плоды,— дозревают на соломе.

И он указал рукой на солдат: синие лежали на окровавленной соломенной подстилке, шуаны с невероятным проворством добивали раненых и раздевали убитых.

— Я был прав, когда сказал, что ваши солдаты не дойдут до Пелерины,— добавил маркиз.— И я думаю

также, что вашу голову начинят свинцом раньше, чем мою. Что вы на это скажете?

Монторан испытывал неудержимую потребность излить свою ярость. Издевательство над побежденным врагом, жестокость и даже гнусность этого расстрела, произведенного без его приказа, но теперь одобряемого им, отвечали тайному желанию его сердца. В бешенстве своем он готов был уничтожить всю Францию. Синие, лежавшие с перерезанным горлом, и два уцелевших офицера, неповинные в том преступлении, за которое он жаждал отомстить, были в его руках картами, которые проигравший игрок в отчаянии разрывает на клочки.

— Лучше умереть, чем побеждать так, как вы,— сказал Жерар и, показав на обнаженные, окровавленные трупы солдат, крикнул: — Так подло убили их!

—Так же, как Людовика Шестнадцатого,— быстро ответил маркиз.

— Сударь,— с гордым достоинством ответил Жерар,— в суде над королями есть тайны, которых вам никогда не понять.

— Осудить короля! — вне себя воскликнул маркиз.

— Бороться против родины! — с презрением сказал Жерар.

— Вздор! — крикнул маркиз.

— Матереубийцы! — воскликнул Жерар.

— Цареубийцы!

— Эге, да ты, кажется, затеял ссору перед смертью,— весело воскликнул Мерль.

— Это правда,— холодно сказал Жерар, поворачиваясь к маркизу.— Сударь, если вы намерены предать нас смерти,— продолжал он,— окажите по крайней мере милость расстрелять нас немедленно.

— Вот ты какой! — воскликнул капитан.— Всегда торопишь конец.— Но, друг мой, если отправляешься в дальний путь и знаешь, что уже никогда не придется позавтракать, надо хоть поужинать.

Жерар гордо бросился вперед и без единого слова стал у стены. Хватай-Каравай прицелился в него, поглядел на неподвижно стоявшего маркиза, принял молчание своего начальника за приказ, и майор упал, как срубленное дерево. Крадись-по-Земле подбежал делить

с убийцей новую добычу. Они ссорились, как два голодных ворона, и ворчали над еще не остывшим трупом.

— Капитан, если вы желаете закончить ужин, пойдемте со мною,— сказал маркиз Мерлю, решив сохранить ему жизнь для обмена пленными.

Капитан машинально пошел за маркизом и вполголоса сказал, как будто упрекая себя:

— Всему виною эта чертова девка! Что скажет Юло!

— Девка?—глухо воскликнул маркиз.—Так она действительно девка?

Слова капитана, видимо, совсем убили Монторана: он двинулся неверным шагом, бледный, расстроенный, мрачный.

Тем временем в столовой разыгралась другая сцена и в отсутствие маркиза приняла такой зловещий характер, что Мари, оказавшись без покровителя, прочла в глазах соперницы свой смертный приговор. Услышав залп, все гости поднялись, кроме г-жи дю Га.

— Не беспокойтесь,—сказала она,—это пустяки, наши люди убивают синих.

Когда маркиз вышел, она встала из-за стола.

— Вот эта девица явилась, чтобы отнять у нас Молодца! — сказала она спокойно, с подавленной яростью.— Она намеревается выдать его Республике.

— Сегодня с утра я двадцать раз могла выдать его, а я спасла ему жизнь,—возразила мадемуазель де Верней.

Госпожа дю Га с быстротой молнии бросилась на соперницу, в слепом своем бешенстве разорвала на девушке, ошеломленной этим нежданным нападением, непрочные застежки спенсера, разодрала платье, кружева, корсет, сорочку и грубой рукой осквернила священный тайник, где спрятано было письмо. Она искусно воспользовалась этими поисками, чтобы утолить свою ревнивую ненависть, и яростно терзала трепещущую грудь соперницы, оставляя на ней кровавые следы ногтей, с угрюмым наслаждением подвергая ее столь гнусному надругательству. В слабом сопротивлении, которое Мари оказывала этой исступленной женщине, шляпа ее развязалась и упала, волосы распустились, и локоны волной покрыли плечи; лицо ее засияло целомудрием, и две слезы, усилив огненный блеск ее глаз, скатились по щекам,

оставив на них горячий влажный след; полуобнаженная, трепещущая, она замерла под взглядами гостей. Даже самые жестокосердные судьи, увидев ее скорбь, поверили бы ее невиновности.

Ненависть плохо рассчитывает. Г-жа дю Га не заметила, что никто не слушает ее, когда она с торжеством закричала:

— Вот видите, разве я оклеветала эту ужасную девку?!

— Положим, ничего ужасного я не заметил,— вполголоса сказал толстый гость, виновник катастрофы.— Мне, например, даже очень нравятся такие ужасы.

— Смотрите,— продолжала жестокая предводительница вандейцев,— вот приказ, подписанный Лапласом и скрепленный подписью Дюбуа.— При этих именах некоторые из гостей подняли голову.— А вот что в нем написано,— сказала г-жа дю Га: — «Граждане военные командиры всех чинов, правители округов, прокуроры-синдики и прочие власти в мятежных департаментах, особливо в тех местностях, где появится бывший маркиз де Монторан, главарь разбойников, по прозвищу Молодец, обязаны оказывать помощь и содействие гражданке Мари де Верней во всем, что от них зависит, и выполнять ее распоряжения, кои, в случае надобности, она будет давать им и так далее...» Публичная девка осмелилась присвоить себе прославленное имя, чтобы опозорить его такой мерзостью! — добавила г-жа дю Га.

Ропот изумления пробежал среди гостей.

— Игра неравная, если Республика посылает против нас таких хорошеньких женщин,— весело заметил барон дю Геник.

— В особенности девиц, которым нечего терять в этой игре,— подхватила г-жа дю Га.

— Нечего? — переспросил шевалье дю Висар.— Помилуйте, мадемуазель обладает сокровищами, которые, вероятно, приносят ей изрядный доход.

— Республика, видно, любит позабавиться: в качестве послов она направляет к нам веселых девиц,— воскликнул аббат Гюден.

— Но, к несчастью, мадемуазель ищет удовольствий, которые убивают,— снова заговорила г-жа дю Га, и ли-

кующее выражение ее лица указывало на смысл этой шутки.

— Как же тогда вы еще живы, сударыня? — сказала Мари и выпрямилась, приведя в порядок свой туалет.

Эта жестокая насмешка внушила преследователям некоторое уважение к столь гордой жертве и заставила их умолкнуть. Г-жа дю Га увидела, что на губах гостей мелькнула ироническая улыбка, это привело ее в бешенство, и, не замечая маркиза, вошедшего с капитаном в столовую, она крикнула, указывая рукой на мадемуазель де Верней:

— Хватай-Каравай, убери ее отсюда,— это моя доля добычи, я отдаю ее тебе, делай с ней все, что захочешь!

От этих слов *«все, что захочешь»* слушатели содрогнулись, ибо позади маркиза показались уродливые лица Хватай-Каравая и Крадись-по-Земле, и пытка предстала во всем своем ужасе.

Франсина, всплеснув руками, обмерла, словно пораженная громом, и слезы наполнили ее глаза. В минуту опасности мадемуазель де Верней вновь обрела самообладание; она бросила на гостей презрительный взгляд, вырвала из рук г-жи дю Га письмо и, высоко подняв голову, сверкая сухими, горящими глазами, бросилась к двери, где Мерль оставил свою шпагу. У порога она столкнулась с маркизом, холодным и неподвижным, как статуя. Ни малейшего сострадания не могла она прочесть на его лице, в его застывших чертах была лишь суровая решимость. Мари была поражена в самое сердце, и жизнь опостылела ей. Человек, так горячо уверявший ее в своей любви, несомненно, слышал, как насмехались над нею, и остался холодным свидетелем ее позора, когда у всех на глазах обнажили сокровища красоты, которые женщина таит для любви. Может быть, она простила бы Монторану чувство презрения, но возненавидела его за то, что он видел ее унижение. Она бросила на него дикий, злобный взгляд, и в сердце у нее закипела лютая жажда мести. Но ее душило сознание своего бессилия: у нее за плечами уже стояла смерть. В голове ее поднялся вихрь безумия, кровь закипела, и мир, казалось ей, объят был огнем пожара. Внезапно изменив

решение покончить с собою, она кинулась на маркиза и вонзила шпагу по самую рукоятку, но клинок скользнул между рукой и боком; маркиз схватил Мари за руку и увлек ее из комнаты с помощью Хватай-Каравая, который бросился на эту разъяренную женщину, когда она пыталась убить Монторана. При этом зрелище Франсина пронзительно закричала.

— Пьер! Пьер! Пьер! — жалобно звала она, следуя по пятам за своей хозяйкой.

Покинув ошеломленных гостей, маркиз вышел из столовой и притворил за собою дверь. До самого крыльца он судорожно сжимал руку Мари, а корявые пальцы Хватай-Каравая чуть не переломили ей плечо, но она чувствовала лишь пылающую руку молодого вождя. Она холодно посмотрела на него.

— Сударь, мне больно.

Маркиз не ответил, только пристально посмотрел на свою возлюбленную.

— Скажите, за что вы хотите отомстить так же низко, как отомстила мне эта женщина? — спросила она.

Вдруг она увидела мертвые тела, распростертые на соломе, и, задрожав, крикнула:

— Честное слово дворянина!..— и захохотала диким смехом.— Прекрасный день!

— Да, прекрасный,—повторил он,— день без грядущего утра.

Он выпустил руку мадемуазель де Верней и посмотрел долгим взглядом на это восхитительное создание, от которого почти не в силах был отказаться. Ни одна из этих гордых душ не хотела покориться. Быть может, маркиз ждал хотя бы одной слезы, но глаза у девушки по-прежнему горели сухим блеском. Он быстро отвернулся, предоставив Хватай-Караваю его жертву.

— Бог услышит меня, маркиз, он и вам пошлет прекрасный день без грядущего утра.

Хватай-Каравай, смущенный такой великолепной добычей, повлек за собою мадемуазель де Верней с осторожностью, а взгляд его выражал иронию и некоторую почтительность. Вздохнув, маркиз вернулся к гостям; он был похож на мертвеца, которому не закрыли глаза.

Появление капитана Мерля казалось гостям необъяснимым, все недоуменно смотрели на него и обменива-

лись вопрошающими взглядами. Мерль заметил удивление шуанов и, верный самому себе, сказал с печальной усмешкой:

— Не думаю, господа, что вы откажете в стакане вина человеку перед последним его походом.

Вандейцев успокоила эта шутка, брошенная с чисто французской беспечностью, но в эту минуту вошел Монторан, бледный, с остановившимся взглядом, от которого все похолодели.

— Ну, господа,— сказал капитан,— посмотрите, как мертвый развеселит живых.

— Ах, вы здесь, дорогой мой военный прокурор! — сказал маркиз, словно очнувшись от сна, и протянул капитану бутылку гравского вина, желая наполнить его стакан.

— О нет, благодарю, гражданин маркиз. Я, пожалуй, могу захмелеть.

Услышав эту шутку, г-жа дю Га улыбнулась гостям.

— Ну что ж,— сказала она,— избавим его от нашего десерта.

— Вы очень жестоко мстите, сударыня,— ответил капитан.— Вы позабыли о моем убитом друге. Он ждет меня, а я никогда не опаздываю на свидания.

— Капитан,— сказал тогда маркиз, бросив ему свою перчатку.— Вы свободны. Вот вам пропуск. Королевские егеря знают, что не следует истреблять всю дичь.

— Хорошо! Принимаю жизнь,— ответил Мерль.— Но как бы вам не раскаяться: ручаюсь, что я сам поведу охоту на вас и не дам вам пощады. Вы, может быть, очень умны, но вы не стоите Жерара, и хоть ваша голова — недостаточная плата за его жизнь, вы лишитесь головы.

— Он слишком поторопился,— возразил маркиз.

— Прощайте! Я мог бы чокнуться с моими палачами, но не останусь с убийцами моего друга,— сказал капитан Мерль и вышел, повергнув всех в изумление.

— Ну, господа, что вы скажете о мещанских старшинах, врачах и адвокатах, которые управляют Республикой? — холодно спросил Молодец.

— Клянусь богом, маркиз, они во всяком случае дурно воспитаны,— ответил граф де Бован.— Мне кажется, этот человек осмелился сказать нам дерзость.

Внезапный уход капитана был вызван тайной причиной. Девушка, подвергшаяся такому унижению, быть может, в ту минуту была на краю гибели, а Мерль не мог забыть, как она была прекрасна, когда разыгралась описанная нами сцена, и, выходя из комнаты, думал: «Если это девка, то во всяком случае девка необычная, и, право, я готов жениться на ней...» Он так надеялся вырвать ее из рук этих дикарей, что, лишь только ему подарили жизнь, первой его мыслью было взять отныне Мари под свое покровительство. Выйдя на крыльцо, капитан, к несчастью, никого не увидел во дворе. Он бросил взгляд вокруг, вслушался в тишину и услышал только отдаленный грубый смех шуанов, которые пили в саду за дележом добычи. Он решился обогнуть роковое крыло замка, возле которого перестреляли его солдат, и, дойдя до угла здания, различил вдали, при слабом свете нескольких свечек, королевских егерей, собравшихся кучками. Хватай-Каравая, Крадись-по-Земле и девушки там не было. Вдруг он почувствовал, что кто-то тихонько потянул его за полу мундира, и, обернувшись, увидел Франсину, стоявшую на коленях.

— Где она? — спросил капитан.

— Не знаю... Пьер прогнал меня и велел не двигаться с места.

— В какую сторону они пошли?

— Туда,— ответила Франсина, указывая на плотину.

Капитан и Франсина заметили тогда на поверхности озера, ярко озаренного луной, человеческие тени, в одной из них различили стройный силуэт женщины, и у них забилось сердце.

— Это она! — воскликнула бретонка.

Мадемуазель де Верней, казалось, покорно стояла среди нескольких человек, которые, судя по их жестам, ссорились между собою.

— Их несколько! — сказал капитан.— Все равно, идем!

— Вы без пользы погибнете! — воскликнула Франсина.

— Ну, я сегодня один раз уже умер,— весело ответил Мерль.

И они двинулись к темному своду ворот, за которы-

ми происходила эта сцена. На полпути Франсина остановилась.

— Нет, дальше я не пойду,— тихо воскликнула она.— Пьер мне сказал, чтобы я не вмешивалась; я ему верю. Мы только все испортим. Делайте, что хотите, господин офицер, но отойдите от меня. Если Пьер увидит меня с вами, он убьет вас.

В этот момент Хватай-Каравай вошел в ворота — позвать кучера, оставшегося в конюшне, заметил капитана и, наставив на него ружье, крикнул:

— Святая Анна Орейская! Верно нам говорил антренский ректор, что синие продали душу дьяволу. Погоди, погоди! Ты у меня теперь не воскреснешь!

— Стой! Мне подарили жизнь! — крикнул Мерль, видя грозящую опасность.— Вот перчатка твоего командира.

— Ну, ну! До чего хитры эти привидения! А я не подарю тебе жизнь... Ave Maria! [1]

Шуан выстрелил. Пуля попала капитану в голову, он упал. Когда Франсина подошла к Мерлю, она услышала невнятные слова:

— Все-таки лучше остаться с ними, чем вернуться без них.

Шуан бросился раздевать синего и бормотал:

— А хорошо, что привидения воскресают во всей своей одежде.

Капитан пошевелил рукой, словно желая показать перчатку Молодца, и, увидев этот охранный знак, шуан остолбенел.

— Эх, не хочется мне теперь быть в собственной своей шкуре! — воскликнул он и исчез с быстротой птицы.

Чтобы понять эту роковую для капитана встречу, необходимо проследить за мадемуазель де Верней с той минуты, когда маркиз в отчаянии и ярости расстался с ней, отдав ее во власть Хватай-Каравая. Франсина судорожно ухватилась тогда за руку Крадись-по-Земле и, заливаясь слезами, потребовала, чтобы он исполнил обещание, которое дал ей. В нескольких шагах от них Хватай-Каравай вел свою жертву, словно влачил за собою груз. Волосы у Мари распустились, склонив голову, она все

---

[1] Начальные слова католической молитвы.

смотрела в сторону озера, но железный кулак крепко держал ее, и она поневоле следовала за шуаном; он то и дело оборачивался, чтобы заставить ее ускорить шаг, и каждый раз какая-то игривая мысль вызывала отвратительную улыбку на его лице.

— Ну и красотка! — воскликнул он с грубым восхищением.

Франсина услышала эти слова, и способность говорить вернулась к ней.

— Пьер?

— Ну что?

— Он убьет ее?

— Немного погодя,—ответил Крадись-по-Земле.

— Но она не поддастся, а если она умрет, умру и я.

— Вон как! Ты очень уж ее любишь... пусть умирает,— сказал Крадись-по-Земле.

— Пьер, если мы станем богаты и счастливы, то ведь всем будем обязаны ей. Да и не в этом дело! Разве ты не обещал спасти ее от всякой беды?

— Попробую! Ты оставайся здесь и, смотри, не шелохнись.

Франсина тотчас выпустила руку Крадись-по-Земле и в ужаснейшей тревоге осталась ждать во дворе. Крадись-по-Земле присоединился к приятелю в ту минуту, когда тот, войдя в сарай, заставил свою жертву сесть в карету. Хватай-Каравай попросил товарища помочь ему выкатить карету во двор.

— Что ты хочешь со всем этим делать? — спросил у него Крадись-по-Земле.

— Как что? Главная молодка отдала мне эту девку, и все ее добро теперь мое.

— Правильно, за карету ты выручишь деньги, а девка на что тебе? Она вцепится тебе в глаза, как кошка.

Хватай-Каравай громко захохотал и ответил:

— Не беда! Я отвезу ее к себе домой и привяжу покрепче.

— Ну ладно, запряжем лошадей,— сказал Крадись-по-Земле.

Через минуту Крадись-по-Земле, предоставив товарищу стеречь добычу, выкатил карету во двор, и Хватай-Каравай сел в нее рядом с мадемуазель де Верней, не

замечая, что она приготовилась выпрыгнуть и броситься в пруд.

— Эй, Хватай-Каравай! — крикнул Крадись-по-Земле.

— Что?

— Я покупаю твою добычу.

— Шутишь? — спросил шуан и ухватил свою пленницу за платье, как мясник хватает теленка, вздумавшего спастись от него бегством.

— Дай-ка на нее поглядеть, я скажу тебе свою цену.

Несчастная девушка вынуждена была выйти из экипажа и стать меж двух шуанов; каждый держал ее за руку и смотрел на нее таким взглядом, каким, вероятно, два библейских старца смотрели на купающуюся Сусанну.

— Слушай,— вздохнув, сказал Крадись-по-Земле.— хочешь получить тридцать ливров надежной ренты?

— А не врешь?

— По рукам,—сказал Крадись-по-Земле, подставляя ладонь.

— По рукам! Еще бы! На эти деньги можно раздобыть бретонок, да еще каких пригожих! Погоди, а карета! Кому же карета достанется? — спохватился вдруг Хватай-Каравай!

— Мне! — крикнул Крадись-по-Земле грозным тоном, свидетельствовавшим о своего рода превосходстве, которое свирепый характер давал ему над всеми его товарищами.

— А если в карете золото?

— Ты ударил по рукам?

— Ударил!

— Ну, значит, ступай за кучером, он лежит связанный в конюшне.

— А если золото в каре...

— Есть там золото? — грубо спросил Крадись-по-Земле у Мари, встряхнув ее за плечо.

— У меня есть около ста экю,— ответила мадемуазель де Верней.

При этих словах шуаны переглянулись.

— Э, друг! Не стоит ссориться из-за какой-то синей,— шепнул Хватай-Каравай на ухо Крадись-по-Земле.— Камень ей на шею — да в воду! А сотню экю разделим.

— Я дам тебе сто экю из своей доли выкупа д'Оржемона,— воскликнул Крадись-по-Земле, сдерживая стон, вызванный такой жертвой.

Хрипло вскрикнув от удовольствия, Хватай-Каравай отправился за кучером, и его счастье принесло несчастье капитану, которого он встретил на пути. Услышав выстрел, Крадись-по-Земле кинулся к тому месту, где Франсина стояла на коленях возле бедняги капитана и, сложив руки, молилась, все еще не в силах прийти в себя от тяжелого зрелища убийства.

— Беги к своей хозяйке,— резко сказал ей шуан.— Она спасена.

Он сам бросился за кучером, вернулся с быстротой молнии и, пробегая мимо трупа Мерля, заметил перчатку Молодца, которую все еще сжимала мертвая рука.

— Ого! — воскликнул шуан.— Хватай-Каравай неудачно выстрелил. Пожалуй, не придется ему пользоваться своей рентой.

Он вырвал у мертвеца перчатку и сказал мадемуазель де Верней, уже сидевшей в карете рядом с Франсиной:

— Возьмите-ка эту перчатку. Ежели в дороге на вас нападут, крикните: «Молодец!» — и покажите ее как пропуск. Тогда никакой беды с вами не случится.

— Франсина,— сказал он и, повернувшись к девушке, крепко схватил ее за руку.— Теперь мы расквитались с этой женщиной, идем со мной, и пусть она убирается к дьяволу.

— Ты хочешь, чтобы я покинула ее в такую минуту? — горестно сказала Франсина.

Крадись-по-Земле смущенно почесал себе за ухом, почесал лоб, затем поднял голову, и глаза его свирепо сверкнули.

— Это верно,— сказал он.— Можешь остаться при ней на неделю, но если через неделю ты не пойдешь со мной...

Он не договорил, но сильно ударил ладонью по дулу карабина, затем прицелился в свою возлюбленную и исчез, не дожидаясь ответа.

Лишь только шуан скрылся, голос, казалось, раздавшийся из пруда, глухо крикнул:

— Сударыня! Сударыня...

Кучер и обе женщины вздрогнули от ужаса, ибо течением прибило к берегу несколько трупов. Из-за дерева показался притаившийся там синий.

— Позвольте мне примоститься на запятках вашей кареты, или мне конец! Сердцеведу захотелось выпить стакан сидра, и этот проклятый стакан стоил нам не одну пинту крови. Если бы парень сделал так, как я, пошел бы сразу в дозор, наши бедняги товарищи не плавали бы теперь в пруду, словно кораблики...

Пока за стенами замка происходили эти события, вожди мятежников, присланные из Вандеи, и вожди шуанов со стаканами в руках вели совещание под председательством маркиза де Монторана. Частые возлияния бордоского вина оживили эту беседу; к концу ужина она приняла весьма значительный, важный характер. За десертом был принят план совместных военных действий, роялисты предложили тост за здоровье Бурбонов. И в эту минуту раздался выстрел Хватай-Каравая, словно эхо губительной войны, которую эти веселые и высокородные заговорщики решили повести против Республики. Г-жа дю Га встрепенулась, и в ответ на ее невольный жест, вызванный радостью избавления от соперницы, гости молча переглянулись, а маркиз встал из-за стола и вышел из комнаты.

— Он все же любил ее,— иронически сказала г-жа дю Га.— Пойдите, господин де Фонтэн, прогуляйтесь с ним. Он будет скучен, как осенняя муха, если его не отвлечь от мрачных мыслей.

Она подошла к окну, выходившему во двор, надеясь увидеть там мертвое тело Мари. При свете последних лучей заходившей луны она заметила, что по дороге, обсаженной яблонями, с невероятной быстротой мчится карета. На ветру развевалась длинная вуаль мадемуазель де Верней. Увидев это, г-жа дю Га в ярости покинула собрание. Маркиз, облокотившись на перила крыльца, в глубоком и мрачном раздумье смотрел, как человек полтораста шуанов, разделив в саду добычу, вернулись во двор докончить бочку сидра и хлеб, приготовленный для синих. Эти солдаты нового типа, надежда монархии, пили, усевшись кучками, а на берегу, против крыльца, человек семь-восемь для забавы бросали в воду трупы синих, привязав им на шею камни. Эти дикие сущест-

ва в разнообразных и странных одеждах, их лица, отмеченные выражением беспечности и жестокости, представляли столь необычайное и новое зрелище для г-на Фонтэна, который видел в войсках Вандеи некое подобие благородства и порядка, что он решил воспользоваться случаем и сказал маркизу де Монторану:

— Чего вы надеетесь добиться с подобными скотами?

— Немногого. Вы правы, дорогой граф,— ответил Молодец.

— Разве они когда-нибудь сумеют маневрировать, столкнувшись с республиканцами?

— Никогда!

— Могут ли они хотя бы понять и выполнить ваши приказы?

— Никогда!

— На что же они вам пригодятся?

— На то, чтобы с их помощью вонзить шпагу в чрево Республики! — произнес маркиз громовым голосом.— В три дня захватить Фужер, а в десять дней — всю Бретань!.. Поезжайте, сударь,— сказал он более мягким тоном,— возвращайтесь в Вандею; пусть д'Отишан, Сюзане и аббат Бернье действуют так же быстро, как я, и пусть не думают о сговоре с первым консулом, чего я уже начинаю опасаться,— он крепко пожал вандейцу руку,— и тогда через три недели мы будем в тридцати лье от Парижа.

— Но Республика посылает против нас шестьдесят тысяч человек и генерала Брюна.

— Шестьдесят тысяч человек! Неужели? — с язвительной усмешкой сказал маркиз.— С кем же тогда Бонапарту вести итальянскую кампанию? А генерал Брюн не приедет: Бонапарт послал его в Голландию против англичан. Здесь его заменит генерал Эдувиль, друг нашего друга Барраса... Вы меня понимаете?

Услышав такие речи, де Фонтэн посмотрел на маркиза де Монторана лукавым и умным взглядом, словно упрекая его в том, что маркиз сам не вполне вникает в смысл своих таинственных слов. Оба дворянина прекрасно поняли друг друга. Молодой полководец с загадочной улыбкой ответил на те мысли, какие они сообщили друг другу взглядом:

— Господин де Фонтэн, вы знаете мой герб? Мой девиз: «*Упорствовать до могилы*».

Граф де Фонтэн взял Монторана за руку и, пожав ее, сказал:

— Меня оставили на поле сражения у Катр-Шмен — сочли убитым. Значит, во мне вы можете не сомневаться, но, поверьте моему опыту, времена переменились...

— О да! — сказал подошедший к ним ла Биллардиер.— Вы молоды, маркиз. Послушайте меня. Ведь еще не все ваши земли проданы...

— А-а! Вы допускаете преданность без жертв? — сказал Монторан.

— Вы хорошо знаете короля? — спросил ла Биллардиер.

— Да.

— Я восхищаюсь вами.

— Король — это помазанник божий,— ответил предводитель шуанов,— а я сражаюсь за веру.

Они расстались: вандеец — затаив убеждение в необходимости примириться с обстоятельствами и хранить свою веру в сердце; ла Биллардиер — намереваясь вернуться в Англию; Монторан — решив упорно сражаться и будущими своими победами, о которых он мечтал, принудить вандейцев содействовать его планам.

Происшедшие события так потрясли мадемуазель де Верней, что, приказав ехать в Фужер, она без сил, полумертвая, откинулась в угол кареты. Франсина молчала, как и ее госпожа. Кучер, боясь какого-нибудь нового злоключения, поспешил выехать на большую дорогу, и вскоре они очутились на вершине Пелерины.

В густом и беловатом утреннем тумане Мари де Верней проехала широкую красивую долину Куэнона, где началась описываемая нами драма, и с высоты Пелерины смутно различила вдали сланцевую скалу, на которой построен город Фужер. Нашим троим путешественникам нужно было проехать до него еще около двух лье. Мадемуазель де Верней, чувствуя, что она коченеет от холода, вспомнила о бедняге пехотинце, приютившемся на запятках кареты, и, невзирая на его протесты, потребовала, чтобы он сел рядом с Франсиной. Увидев Фужер, она на минуту отвлеклась от своих размышлений. К тому же караул, поставленный у ворот св. Леонарда, от-

казался пропустить в город неизвестных лиц, и ей пришлось предъявить разрешение, подписанное министрами; въехав в крепость, она почувствовала себя в безопасности от всяких вражеских действий, хотя в ту пору единственными защитниками Фужера были его жители. Кучер не нашел для нее иного приюта, кроме «Почтовой гостиницы».

— Сударыня,— сказал на прощание спасенный ею синий,— если вам нужно будет расправиться ударом сабли с каким-нибудь негодяем, располагайте моей жизнью. Рубиться я мастер. Зовут меня Жан Фалькон, по прозвищу «Скороход». Я сержант первой роты орлов командира Юло, семьдесят второй полубригады, иначе говоря,— майнцской. Прошу извинить меня за непрошеную любезность и хвастовство, но я могу предложить вам только душу бедного сержанта — все, чем в настоящее время я располагаю.

Он повернулся на каблуках и пошел, насвистывая.

— Чем ниже спускаешься по ступеням общества,— горько сказала Мари,— тем больше встречаешь искренних и благородных чувств. Маркиз заплатил мне смертью за свою жизнь, а простой сержант... Ну, оставим это...

Красавица парижанка легла в теплую постель, и преданная Франсина напрасно ждала от нее привычного ласкового слова: видя, что бретонка стоит в тревожном ожидании, мадемуазель де Верней грустно кивнула ей головой.

— Какой задался день, Франсина! Я постарела на десять лет!..

На следующее утро, лишь только она встала, явился Корантен. Мари разрешила впустить его.

— Франсина,— сказала она,— значит, уж очень я несчастна, если мне не слишком противно видеть сейчас Корантена.

И все же, увидев этого человека, она в тысячный раз почувствовала то бессознательное отвращение, которого не могло уменьшить двухлетнее их знакомство.

— Ну что? — сказал он, улыбаясь.— А я-то надеялся на успех!.. Так это не он был в ваших руках?

— Корантен,— ответила она медленно и горестно,— не говорите со мной об этом деле, пока я сама о нем не заговорю.

Корантен прошелся по комнате, искоса поглядывая на мадемуазель де Верней; он пытался разгадать тайные мысли необычайной девушки, проницательность которой иной раз могла привести в замешательство самых ловких людей.

— Я предвидел неудачу,— продолжал он, помолчав с минуту.— На случай если вы пожелаете устроить свою штаб-квартиру в этом городе, я уже собрал сведения. Мы в самом центре мятежа. Желаете тут остаться?

Она утвердительно кивнула головой, и этот безмолвный ответ вызвал у Корантена предположения, частью верные, о событиях, разыгравшихся накануне.

— Я снял для вас дом — еще не проданное национальное имущество. В здешнем крае отсталый народ: никто не посмел купить этот барак, потому что он принадлежит эмигранту, который слывет забиякой. Домишко стоит около церкви святого Леонарда, и, честное слово, вид из него великолепный! Этой конурой можно воспользоваться, она пригодна для жилья. Угодно вам перебраться туда?

— Немедленно! — воскликнула она.

— Но мне понадобится еще несколько часов, чтобы навести порядок и чистоту, и, надеюсь, тогда вам все придется там по вкусу.

— Пустяки! — сказала она.— Я готова жить и в тюрьме и в монастыре. Устройте лишь так, чтобы я сегодня же вечером могла отдохнуть в полном уединении. А теперь уходите, оставьте меня. Ваше присутствие для меня невыносимо. Я хочу остаться одна с Франсиной, с нею я, пожалуй, сговорюсь лучше, чем сама с собою... Прощайте! Уходите! Ну, уходите же!

Эти торопливые слова, исполненные то кокетства, то деспотизма, то страсти, свидетельствовали о полном душевном спокойствии. Вероятно, во сне отстоялось все пережитое накануне, а размышление привело мадемуазель де Верней к решению отомстить. Если на ее лице порой и появлялось мрачное выражение, то это указывало лишь на удивительную скрытность некоторых женщин, на их способность затаить в душе самые бурные чувства и с милой улыбкой готовить гибель своей жертве. Оставшись одна, Мари принялась обдумывать, как бы ей живым захватить в руки маркиза. Впервые эта

женщина жила той жизнью, о которой мечтала, но от одного дня такого существования у нее осталась лишь жажда мести, мести бесконечной, беспредельной. То была теперь единственная ее мысль, единственная страсть. Никакие уговоры и заботы Франсины не могли нарушить ее молчания — казалось, она спала с открытыми глазами, ибо за весь долгий день ни одним звуком, ни одним жестом не проявляла этой тайной своей лихорадочной работы мысли. Она неподвижно лежала на импровизированном диване, устроенном из стульев и подушек. И только вечером, взглянув на Франсину, она небрежным тоном произнесла следующие слова:

— Дитя мое, вчера я поняла, что мы живем для любви; сегодня я понимаю, что можно умереть ради мести. Да, ради того, чтобы разыскать его там, где он скрывается, вновь увидеть его, соблазнить и завладеть им, я отдала бы жизнь! Но если через несколько дней этот человек, который так унизил меня своим презрением, не будет лежать смиренно и покорно у моих ног, если я не сделаю его своим лакеем, тогда я буду самым жалким существом, я не буду женщиной, не буду сама собой!..

Дом, который Корантен нашел для мадемуазель де Верней, давал ему достаточно возможностей удовлетворить врожденную склонность этой девушки к роскоши и изяществу,— он собрал тут все, что могло, по его мнению, понравиться ей, и в стараниях своих проявил заботливость влюбленного, желающего угодить любимой женщине, или, скорее, услужливость власть имущего, решившего прельстить подчиненного, в котором он нуждается. На следующий день Корантен явился к мадемуазель де Верней и предложил ей переселиться в этот импровизированный дворец.

Причудница парижанка сменила неудобный диван на старинную софу, которую Корантен ухитрился разыскать для нее, и вступила во владение домом, словно он по праву ей принадлежал. На все, что мадемуазель де Верней увидела там, она смотрела с царственной беспечностью и с внезапной симпатией, как будто была хозяйкой каждой вещи, как будто даже малейшая из них была давно ей знакома,— эти обыденные подробности далеко не лишены значения для портретиста таких исключительных характеров. Казалось, она заранее, во

сне, свыклась с этим домом и теперь стала жить в нем своею ненавистью, как могла бы жить любовью.

«По крайней мере,— говорила она себе,— я не возбудила в нем оскорбительной, убийственной жалости, я не обязана ему жизнью. О моя первая, моя единственная и последняя любовь! Какая развязка!»

И она внезапно кинулась к испуганной Франсине.

—Ты любишь? Да, любишь,— я помню. Ах, как хорошо, что возле меня будет женщина, которая может понять меня. Ну как, бедная моя Франсина? Не кажется тебе, что мужчины — ужасные создания? Подумай только! Он говорил, что любит меня, и не устоял перед самым легким испытанием!.. А я... Да если бы все отвергли его, моя душа была бы для него пристанищем; если бы вся вселенная обвиняла его, я бы его защищала! Раньше мне казалось, что мир полон людей, которые суетятся, что-то делают, и все они были для меня безразличны. Мир этот был унылым, но не грозным. А теперь? Что мне мир без него?.. Ведь он-то, он станет жить своей жизнью, а меня не будет возле него, я не буду его видеть, говорить с ним, чувствовать его, держать его в объятиях, прижимать его к своей груди... Ах! Лучше собственной своей рукой зарезать его во сне!..

Франсина в ужасе с минуту молча смотрела на нее.

— Убить того, кого любишь?..— спросила она кротким голосом.

— Конечно! Если он разлюбил.

Но, выговорив эти ужасные слова, она закрыла лицо руками, вновь села на софу и умолкла.

На следующее утро в ее комнату вошел нежданный гость, не попросив доложить о себе. Лицо у него было суровое. Это был Юло. Его сопровождал Корантен. Мадемуазель де Верней подняла глаза и вздрогнула.

— Вы пришли потребовать у меня отчета об участи ваших друзей? — сказала она.— Они погибли.

— Я знаю,—ответил Юло.—И погибли не за Республику.

— Погибли за меня и из-за меня,— промолвила она.— Вы сейчас начнете говорить об отчизне! Отчизна! Разве она возвращает жизнь тем, кто умер за нее? Или хотя бы мстит она за погибших? А я отомщу за них! — воскликнула она.

Мрачные картины катастрофы, где и она была жертвой, вдруг всплыли в ее памяти, и эта грациозная девушка, всегда считавшая стыдливость лучшей из всех женских уловок, точно в припадке безумия, неровным шагом подошла к ошеломленному Юло и крикнула:

— За нескольких зарезанных солдат я приведу на эшафот, под топор гильотины, человека, чья голова дороже многих тысяч голов! Редко бывает, что женщины участвуют в войне, но вы, невзирая на вашу опытность, можете поучиться у меня военным хитростям. Ведь я брошу на ваши штыки целый род: предков маркиза и его самого, его прошлое и его будущее. Насколько я была с ним добра и правдива, настолько буду теперь вероломной и лживой. Да, полковник, я хочу заманить этого аристократа на мое ложе, и он сойдет с него для того, чтобы встретить смерть. Да... У меня никогда не будет соперницы... Несчастный сам произнес себе приговор: *день без грядущего утра!* Ваша Республика и я будем отомщены... Республика! — повторила она, и странные интонации ее голоса испугали Юло.— Так, стало быть, мятежника казнят за то, что он поднял оружие против родины? Стало быть, Франция похитит у меня мою месть?.. Ах, как мало значит жизнь! Ведь смерть искупит лишь одно его преступление. Но если этому гордецу нечего терять, кроме головы, то у меня будет целая ночь, и я заставлю его понять, что он теряет больше, чем жизнь!.. И тогда вы убьете его, командир (у нее вырвался вздох), но во что бы то ни стало сделайте так, чтобы никто не выдал ему тайну моего предательства, пусть он умрет, веря в мою любовь. Только об одном этом я прошу вас. Пусть он видит лишь меня, меня и мои ласки!

И она умолкла. Но сквозь румянец, горевший на ее лице, Юло и Корантен, казалось, видели, что гнев и бред безумия не совсем угасили в ней стыдливость. Она вся затрепетала, произнося последние слова своей речи, мысленно вновь вслушалась в них, словно усомнившись, что могла их произнести, и, вздрогнув, наивно сделала тот невольный жест, которым женщина удерживает спадающее с плеч покрывало.

— Но ведь он был у вас в руках! — сказал Корантен.

— Возможно,— с горечью ответила она.

— Зачем вы остановили меня, когда я хотел арестовать его? — спросил Юло.

— Ах, командир, мы ведь не знали, что это был он!

И тут эта взволнованная женщина, которая стремительно ходила по комнате, бросая горящие взгляды на обоих свидетелей ее бурной вспышки, неожиданно успокоилась.

— Я не узнаю себя,— сказала она с мужской твердостью.— К чему слова? Надо идти искать его.

— Искать его? — повторил Юло.—Дорогое дитя мое, берегитесь! Окрестные деревни сейчас не в нашей власти, и, если вы осмелитесь выйти из города, вас захватят или убьют в ста шагах от крепости.

— Для тех, кто хочет отомстить, опасности не существует! — сказала она, презрительным жестом изгоняя обоих посетителей,— ей было стыдно взглянуть на них.

— Какая женщина! — воскликнул Юло, уходя с Корантеном.— Что за идея пришла в Париже этим полицейским! Ведь никогда она не выдаст нам его,— добавил он, покачивая головой.

— Нет, выдаст! — возразил Корантен.

— Разве вы не видите, что она любит его? — продолжал Юло.

— Именно поэтому и выдаст,— сказал Корантен, глядя на удивленного командира.— К тому же и я здесь. Я не дам ей наделать глупостей, ибо, на мой взгляд, уважаемый, нет такой любви, которая стоила бы трехсот тысяч франков.

Когда этот дипломат из департамента полиции простился со старым солдатом, последний долго смотрел ему вслед и, уже не слыша звуков его шагов, сказал со вздохом:

— Право, иной раз человек может порадоваться, что он такой простофиля, как я... Разрази меня гром! Если я встречу Молодца, мы схватимся с ним грудь с грудью, не будь я Юло! А если эта лиса приведет его ко мне на суд теперь, когда созданы военные суды, я буду думать, что совесть у меня запачкана, как рубашка новобранца, когда он впервые понюхает пороху.

Резня в Виветьере и желание отомстить за обоих своих друзей побудили Юло вновь принять на себя командование полубригадой; к тому же новый военный ми-

нистр Бертье ответил на его рапорт об отставке, что при настоящих обстоятельствах она не может быть принята. К депеше министра было приложено конфиденциальное письмо, в котором он, не указывая, какое поручение возложено на мадемуазель де Верней, писал, что данный случай отнюдь не связан с военными действиями и не должен их приостанавливать. Участие военного командования в этом деле,— говорил он,— должно ограничиться содействием *сей уважаемой гражданке, ежели будет в том надобность*. Узнав из донесений, что шуаны, по всем признакам, стягивают свои силы к Фужеру, Юло форсированным маршем тайно вернул в эту важную крепость два батальона своей полубригады. Опасность, угрожавшая родине, ненависть к аристократии, приверженцы которой могли захватить значительную часть края, дружба — все это зажгло старого солдата огнем былой молодости.

— Вот она жизнь, о которой я мечтала! — воскликнула мадемуазель де Верней, оставшись наедине с Франсиной.— Как быстро пролетают часы! И все же для моих мыслей они — целые века!..

Вдруг она взяла Франсину за руку и голосом, подобным пению жаворонка после грозы, медленно произнесла:

— Напрасно стараюсь я забыть: я все вижу перед собою эти прелестные губы, короткий, чуть приподнятый подбородок, огненные глаза, я все еще слышу, как кучер покрикивает, подгоняя лошадей. Мне словно снится сон... Так почему же столько ненависти, когда я пробуждаюсь?..

Она глубоко вздохнула, поднялась с дивана и впервые посмотрела из окна на тихий край, обреченный пожару гражданской войны тем жестоким аристократом, которого она хотела взять в плен одна, своими силами. Пейзаж, возникший перед ее глазами, очаровал ее, и она вышла из дому подышать вольным воздухом под открытым небом; она шла наугад, и если направила свой путь к бульвару, то, вероятно, туда ее вело колдовское свойство нашей души искать надежды даже в невозможном. Упования, порожденные такими чарами, нередко осуществляются, но тогда это предвидение приписывают предчувствию — силе, еще не объясненной, но впол-

не реальной и всегда потворствующей нашим страстям, подобно льстецу, который среди лживых слов порою скажет и правду.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДЕНЬ БЕЗ ГРЯДУЩЕГО УТРА

События, о которых мы расскажем в конце нашего повествования, зависели от особенностей той местности, где они происходили, и необходимо дать подробное ее описание, иначе развязка этой драмы будет не совсем понятна.

Часть города Фужера расположена на сланцевой скале, которая словно оторвалась от горных хребтов, замыкающих с запада широкую долину Куэнона,— они носят различные названия в зависимости от местности. С этой стороны Фужер отделен от гор глубоким ущельем, где протекает речка Нансон. С восточного края скалы открывается тот же вид, каким наслаждаются и с вершины Пелерины, а с края, обращенного на запад, видна лишь извилистая долина Нансона; но есть на этой скале место, откуда можно охватить взглядом и часть дуги, образованной широкой долиной Куэнона, и все красивые изгибы сливающейся с нею маленькой нансонской долины. Это излюбленное место прогулок жителей Фужера — бульвар, куда направилась мадемуазель де Верней, как раз и оказался театром, где разыгралась развязка драмы, начавшейся в Виветьере. Поэтому, как бы ни были живописны остальные части города, нам придется сосредоточить внимание исключительно на расположении окрестностей, которые видны с городского бульвара.

Чтобы дать представление о том, какой вид с этой стороны имеет фужерская скала, можно сравнить ее с одной из огромных башен, воздвигнутых сарацинами, вокруг которых их зодчие построили уступами широкие балконы, соединенные меж собою винтовыми лестницами. В самом деле, скала завершается готической церковью, и тонкие церковные шпили, колокольня и контрфорсы придают ей почти в точности форму сахарной головы. Перед порталом старинной церкви, посвященной св. Леонарду, находится небольшая неправильно очерчен-

ная площадь, которую защищает от обвала стена с балюстрадой, и оттуда идет крутой спуск к бульвару. Самый бульвар — широкая полоса земли, обсаженная деревьями и представляющая собой второй карниз,— пролегает вокруг скалы на несколько туазов ниже площади св. Леонарда и примыкает к городским укреплениям. На десять туазов ниже стен и выступов скалы, поддерживающих эту террасу, возникшую благодаря удачному расположению сланцевых пород и терпеливому труду человека, вьется зигзагами вырубленная в скале Лестница королевы — спуск к мосту через реку Нансон, построенному Анной Бретонской. Путь этот является третьим карнизом, а под ним террасами спускаются к реке сады, словно ступени, убранные цветами.

Параллельно бульвару тянется вдоль реки цепь высоких скал, называемая горами св. Сульпиция — по имени предместья, за которым они возвышаются; эти скалы, постепенно понижаясь, отлого спускаются к широкой долине Куэнона и резко поворачивают к северу. Издали кажется, что эти отвесные скалы, дикие и мрачные, смыкаются со сланцевыми уступами, поддерживающими бульвар: местами они отстоят от бульвара лишь на ружейный выстрел; они защищают от северных ветров узкую долину глубиною в сто туазов, где Нансон, разделяясь на три рукава, орошает луг с красиво разбросанными по нему деревьями и хижинами.

С южной стороны, в том месте, где кончается город и начинается предместье св. Леонарда, фужерская скала изгибается складкой, смягчает свои резкие контуры, становится ниже и поворачивает к широкой куэнонской равнине вдоль Нансона, который она, таким образом, оттесняет к горам св. Сульпиция, образуя ущелье, откуда речка вырывается двумя бурлящими ручьями, бежит к Куэнону и на равнине впадает в него. Вся эта красивая группа скалистых холмов носит название *Колючее гнездо*, а долина, которую они охватывают, называется *лощиной Жибари;* тучные ее пастбища поставляют большую часть масла, известного гастрономам под именем «лугового».

Там, где бульвар примыкает к городским укреплениям, поднимается башня, называемая *башней Попугая*. Начиная с этого четырехугольного сооружения, на кото-

ром был построен дом, где поселилась мадемуазель де Верней, поднимается то стена, то утес, отвесный, как стена, и часть города, расположенная на этом высоком, неприступном пьедестале, образует широкий полумесяц, в конце которого скалы делаются ниже и, расступаясь, дают дорогу Нансону. Тут находятся ворота св. Сульпиция, а за ними — предместье, носящее имя того же святого. Затем, на гранитном округлом холме, возвышающемся над тремя ложбинами, где сходится несколько дорог, виднеются зубчатые стены с бойницами и феодальные башни фужерского замка—одного из гигантских сооружений бретонских герцогов: высота его стен—пятнадцать туазов, а толщина — пятнадцать футов; с востока замок огражден прудом, а из него вытекает Нансон, который наполняет водою широкие крепостные рвы и вращает колеса водяных мельниц между воротами св. Сульпиция и подъемными мостами крепости; с запада крепость защищена крутизной гранитных скал, на которых она воздвигнута.

От бульвара до этого великолепного обломка средневековья, окутанного зеленым покровом плюща, увенчанного четырехугольными и круглыми башнями, такими объемистыми, что в каждой поместится целый полк,—замок, город и скала, защищенные стенами укреплений или отвесными обрывами утесов, расположены широкой подковой, окруженной пропастями, у края которых бретонцы с помощью времени проложили несколько узких тропинок. Кое-где, словно архитектурные орнаменты, выступают гранитные глыбы, кое-где из трещин сочится вода и поднимаются хилые деревья. А дальше более пологие гранитные склоны питают зелень, привлекающую коз, и повсюду из влажных расселин тянется вереск, обвивая розовыми гирляндами изгибы темных скал. В глубине этой огромной воронки, по вечно свежим лугам, расстилающимся, словно мягкий ковер, змеится речка.

У подножия замка, меж гранитных утесов, возвышается церковь св. Сульпиция, именем которого названо предместье, расположенное за речкой Нансон. Предместье это, живописно омываемое притоками Нансона, осененное деревьями и украшенное плодовыми садами, словно брошено в глубину пропасти, и шпиль островерхой колокольни его церкви не достигает высоты сосед-

них скал, как будто готовых рухнуть на церковь и окружившие ее лачуги; это селение рассекает на неравные части полумесяц, очерченный бульваром, городом и замком, и является наивным контрастом суровой картине горного амфитеатра, против которого раскинулось. И, наконец, весь Фужер, его предместья, его церкви и горы св. Сульпиция, как рамкой, окружены высотами Рийе, представляющими часть той горной цепи, что охватывает широкую долину Куэнона.

Таков характер природы в этой местности. Главная черта ее — дикая суровость, смягченная веселыми видами, удачным сочетанием великолепнейших творений человеческого труда с причудливыми формами неровной земной поверхности,— ее неожиданные, небывалые противоположности удивляют, поражают и ошеломляют. Ни в одной области Франции путешественник не встретит таких грандиозных контрастов, как в этом широком бассейне Куэнона и в долинах, затерявшихся меж фужерскими скалами и возвышенностями Рийе. Это красота неописуемая, ибо в ней торжествует случай и вместе с тем она исполнена естественной гармонии. Здесь светлые, прозрачные воды и горы, одетые буйной растительностью Бретани, мрачные утесы и изящные церкви, укрепления, созданные самой природой, и гранитные башни, сооруженные человеком, вся приманчивая игра света и тени, все контрасты разнообразной окраски листвы, столь ценимые живописцами; группы домов, где суетится трудолюбивое население, и пустынные высоты, где гранит не терпит даже белых мхов, цепляющихся за камни,— словом, здесь соединилось все, что мы требуем от пейзажа: грация и суровая мощь, поэзия, исполненная вечно новых чар, величавые картины и прелесть сельской простоты. Бретань предстает здесь во всей своей красе.

Башня, именуемая башней Попугая, на которой построен был дом мадемуазель де Верней. основанием своим уходит на самое дно пропасти и поднимается до бульвара, устроенного наподобие карниза перед церковью св. Леонарда. Из этого дома, с трех сторон изолированного от других жилищ, можно охватить взглядом широкую подкову города, начинающуюся от башни, извилистую долину Нансона и площадь св. Леонарда. Он

входит в тот ряд деревянных домов, насчитывающих три столетия существования, который тянется параллельно северной стене церкви и образует вместе с нею тупик, выходящий на покатую улицу, проложенную от церкви к воротам св. Леонарда,— по ней-то и шла мадемуазель де Верней.

Разумеется, Мари и не подумала подняться к церковной площади, а направилась вниз — к бульвару. Лишь только она вышла за низенький зеленый шлагбаум, устроенный перед караульным постом, в ту пору находившимся в башне у ворот св. Леонарда, великолепное зрелище, представшее перед нею, заставило на мгновение стихнуть бурю страстей в ее душе. Она залюбовалась широкой дугой долины Куэнона, которую охватила взором от горы Пелерины до того плоскогорья, где проходит дорога на Витре; затем взгляд ее остановился на Колючем гнезде и на извилистой лощине Жибари, вокруг которой гребни гор озарял затуманенный свет заходящего солнца. Ее поразила глубина долины Нансона,— там самые высокие тополя едва достигали стен плодовых садов, расположенных ниже Лестницы королевы. Не переставая изумляться все новым неожиданным картинам, она дошла до того места бульвара, откуда видны были и обширная долина Куэнона, сквозь лощину Жибари, и очаровательный пейзаж, замкнутый подковой города, скалами св. Сульпиция и возвышенностями Рийе. В этот закатный час дым, поднимавшийся над домами в предместьях и долинах, расплывался облаком, и все предметы внизу лишь смутно были видны сквозь этот голубоватый, прозрачный балдахин; слишком яркие дневные краски уже тускнели; небо принимало жемчужно-серый оттенок; луна набросила пелену света на эту красивую пропасть; словом, все располагало душу к мечтаниям и вызывало в ней образы дорогих существ. Вдруг и деревянные кровли предместья св. Сульпиция, и церковь с ее смелым шпилем, терявшимся в темной глубине долины, и вековые покровы плюща и ломоноса, окутавшие стены древней крепости, близ которой пробегает Нансон, бурля под колесами мельниц,— словом, все подробности пейзажа потеряли для нее интерес. Напрасно заходящее солнце рассыпало золотую пыль и накинуло багряную дымку на живописные хижины, раз-

бросанные меж утесами, на луга и глубокие воды,— она стояла неподвижно, не спуская глаз с гор св. Сульпиция. Каким-то чудом осуществилась безрассудная надежда, которая привела ее на бульвар. Сквозь кусты терновника и дрока, покрывавшие вершины гор, прямо перед собой она увидела несколько человек, и, несмотря на их одежды из козьих шкур, узнала в этих людях гостей, приезжавших в Виветьер, а среди них ясно различила Молодца: малейшее его движение четко выделялось в мягком закатном свете солнца. Позади главной группы она увидела своего опасного недруга — г-жу дю Га. На минуту мадемуазель де Верней почудилось, что она видит сон, но вскоре ненависть соперницы открыла ей, что все было живым в этом сне. С глубоким вниманием следила она за каждым жестом маркиза и не заметила, что г-жа дю Га старательно направляет на нее дуло длинного ружья. Внезапный выстрел разбудил эхо в горах, и пуля, просвистевшая возле Мари, доказала ей меткость соперницы.

— Она посылает мне свою визитную карточку,— улыбаясь, сказала девушка.

Тотчас же раздался многоголосый окрик «Кто идет?», переносясь от часового к часовому, от замка до ворот св. Леонарда, указывая шуанам на бдительность жителей Фужера, так хорошо охранявших даже наименее уязвимую часть городских укреплений.

«Это она, и это он!» — сказала себе Мари.

Молниеносно возникло у нее решение выследить маркиза и захватить его врасплох.

— Но я без оружия! —воскликнула она.

Она вспомнила, что, уезжая из Парижа, бросила в одну из своих дорожных картонок изящный кинжал, некогда принадлежавший какой-то султанше: отправляясь на театр военных действий, Мари решила захватить его с собою, как иные чудаки запасаются альбомами, чтобы записывать в них мысли, какие явятся у них в путешествии; но тогда ее не столько соблазняла перспектива пролить чью-то кровь, сколько удовольствие носить этот красивый *канджар*, украшенный драгоценными каменьями, играть светлым, как взгляд, клинком. Три дня назад, когда она хотела покончить с собою, чтобы избежать той гнусной пытки, какую готовила ей соперница,

она горячо пожалела, что оставила свое оружие в картонке. Теперь она мигом вернулась домой, разыскала кинжал, заткнула его за пояс, закуталась в длинную шаль, подобрала волосы под черное кружево, надела широкополую шуанскую шляпу, принадлежавшую одному из слуг в ее доме, и с той догадливостью, какую иногда порождают страсти, взяла с собой перчатку маркиза, которую Крадись-по-Земле дал ей в качестве охранного знака; затем, ответив перепуганной Франсине: «Что поделаешь! Я пошла бы на поиски его даже в ад»,— она вернулась на бульвар.

Молодец стоял на прежнем месте, но уже один. Судя по тому, куда он направлял подзорную трубу, он, должно быть, с тщательным вниманием командира рассматривал переправы через Нансон, Лестницу королевы и тот путь, который от ворот св. Сульпиция поворачивает к церкви и, обогнув ее, соединяется с большими дорогами, защищенными крепостными пушками. Мадемуазель де Верней быстро сбежала по узким тропинкам, проложенным козами и пастухами, выбралась на Лестницу королевы, спустилась на самое дно ущелья, перешла через Нансон и пересекла предместье. Как птица в пустыне, она инстинктивно угадывала путь среди опасных обрывов в скалах св. Сульпиция, достигла вскоре скользкой дороги, проложенной по гранитным уступам, и, невзирая на кусты дрока, колючий терновник и острые мелкие камни под ногами, стала взбираться по крутому склону с такой энергией, какая, пожалуй, неведома мужчинам, но порою вспыхивает в женщине, охваченной страстью. Ночь застала Мари в то время, когда она поднялась к вершинам и при свете бледных лучей луны пыталась разглядеть, по какой дороге пошел маркиз; упорные поиски оказались бесплодными, и тишина, царившая вокруг, указывала, что шуаны и их предводитель исчезли. Страстный порыв сразу угас вместе с надеждами, его породившими. Очутившись одна, ночью, в незнакомом крае, охваченном войною, она принялась размышлять, вспомнила наставления Юло, выстрел г-жи дю Га и вздрогнула от страха. Ночная тишина, столь глубокая в горах, позволяла расслышать даже шорох листочков, скользивших по граниту, и эти легкие звуки, грустно трепетавшие в воздухе, лишь подчеркивали царив-

шие тут одиночество и безмолвие. Яростный ветер гнал облака; чередование света и тьмы придавало самым безобидным предметам облик фантастический и грозный, усиливая ужас Мари. Она обратила взгляд к Фужеру, где огоньки в домах сверкали, словно земные звезды, и вдруг ясно различила башню Попугая. Стоило пройти небольшое расстояние, и она оказалась бы дома, это расстояние было пропастью. Мари вспомнила, какие бездны зияли у края узкой тропинки, по которой она поднималась, и поняла, что возвращаться в Фужер опаснее, чем продолжать путь. Она подумала, что перчатка маркиза устранит все опасности ее ночной прогулки, даже если шуаны захватили окрестности города. Надо было страшиться только г-жи дю Га. Но при этой мысли Мари стиснула рукоятку кинжала и двинулась вперед, стараясь держать направление к дому, кровлю которого она увидела меж деревьев, когда поднялась на скалы св. Сульпиция; но шла она медленно, ибо до тех пор еще не знала, как мрачное величие ночи гнетет одинокое существо среди дикой местности, где со всех сторон высокие горы склоняют головы, словно столпившиеся вокруг исполины. Не раз она вздрагивала от шелеста своего платья, цеплявшегося за кустарник, не раз ускоряла шаг и вновь замедляла его, думая, что настал ее последний час. Но вскоре обстоятельства приняли такой характер, что перед ними, пожалуй, отступили бы самые отважные мужчины, и мадемуазель де Верней охватил ужас — тот ужас, который настолько напрягает пружины жизни, что все в человеке доходит до предела — и сила и слабость. Существа самые робкие совершают тогда неслыханные подвиги, а самые смелые лишаются рассудка от страха. На недалеком от себя расстоянии Мари услышала странные звуки, то смутные, то явственные, подобно тому как ночь была то темной, то светлой; звуки эти говорили о смятении, беспорядочном шествии какого-то полчища, и слух уставал улавливать их; они исходили откуда-то из недр земли, которая, казалось, дрожала под ногами несметного множества идущих людей. На мгновение блеснул лунный свет, и мадемуазель де Верней увидела в нескольких шагах от себя длинную вереницу ужасающих фигур; они колыхались, словно колосья в поле, и скользили, как призраки; но едва она их заметила, тотчас спустилась

тьма и, подобно черному занавесу, скрыла от нее эту зловещую картину и сверкающие желтые глаза. Она отпрянула и взбежала на верхний край откоса, спасаясь от трех страшных фигур, приближавшихся к ней.

— Ты его видел? — спросил чей-то голос.

— Нет, только почуял холодный ветер, когда он прошел мимо меня,— ответил другой хриплый голос.

— А меня обдало сыростью и запахом могилы,— сказал третий.

— Какой он? Белый? — продолжал первый.

— Почему же,— спросил второй,— только он один вернулся из всех, кто умер у Пелерины?

— Ну как «почему»? — ответил третий.— Людям из братства Сердца господня во всем поблажка. А все-таки, знаешь, по-моему, лучше умереть без покаяния, чем вот этак, как он, бродить по ночам привидением, без еды, без питья, без крови в жилах.

— А-ах!

Этот возглас, или, вернее, этот дикий вопль, вырвался у всех трех шуанов, когда один из них указал пальцем на стройную фигуру и бледное лицо мадемуазель де Верней, которая бежала с непостижимой быстротой и так бесшумно, что они не слышали ее шагов.

— Вон он!—Вот! — Где? — Там! — Нет, вон там!— Ушел? — Нет! — Да! — Видишь его?

Слова эти раздавались, как однообразный ропот волн на песчаном берегу моря.

Мадемуазель де Верней смело шла по направлению к дому и смутно видела скопище людей, которые разбегались во все стороны, когда она приближалась к ним, и явно испытывали панический страх. А Мари словно несла какая-то неведомая сила, подчинив ее своей власти; необъяснимой была для нее легкость собственного тела; и это еще больше усиливало ее ужас. На пути перед нею то и дело во множестве вырастали темные фигуры, как будто поднимаясь из земли, в которой они покоились, и Мари слышала их нечеловеческие вопли. Наконец, она не без труда добралась до опустошенного сада с разрушенной живой изгородью и сломанным забором. Часовой остановил ее, она показала ему перчатку. В эту минуту луна осветила ее лицо, шуан, уже направивший на Мари ружье, выронил его из рук, издав хриплый

крик, который гулко прокатился по полям. В глубине сада она различила большое строение, где светилось несколько окон, признак, что там были жилые комнаты, и тогда она подошла к стене этого дома, не встретив по дороге никаких препятствий. В первое окно, к которому она подкралась, она увидела г-жу дю Га и предводителей мятежников, приезжавших в Виветьер. Потрясенная этим зрелищем и чувством опасности, она отпрянула к небольшому окошечку, забранному толстой железной решеткой, и увидела в длинном сводчатом зале маркиза,— он был в двух шагах от нее, одинокий, печальный, он сидел на грубом стуле перед очагом, и красноватые мерцающие отблески пламени, озарявшие его лицо, придавали этой сцене призрачный характер. Дрожа всем телом, девушка стояла неподвижно, прильнув к железным брусьям, надеясь, что глубокая тишина позволит ей услышать слова маркиза, если он заговорит. Она видела, что он удручен, измучен, бледен, и радовалась, что она стала одной из причин его печали; затем гнев сменился состраданием, сострадание перешло в нежность, и внезапно Мари поняла, что сюда ее привела не только жажда мести. Маркиз поднялся, повернул голову и остолбенел, увидев, как в тумане, лицо мадемуазель де Верней. С нетерпеливым и презрительным жестом он громко сказал:

— Что это? Теперь я всегда и всюду вижу эту дьяволицу, даже наяву.

Это жестокое презрение исторгло у несчастной девушки смех безумия, маркиз вздрогнул и бросился к окну. Мадемуазель де Верней отшатнулась от стены; она услышала неподалеку мужские шаги, подумала, что это Монторан, и кинулась бежать от него. В эту минуту для нее не существовало препятствий: она пронеслась бы сквозь стену, пролетела бы по воздуху, нашла бы дорогу в ад, лишь бы еще раз не прочесть слова: «Он презирает тебя»,— начертанные огненными буквами на челе этого человека,— слова, которые кричал ей внутренний голос, оглушая ее, как труба. Она шла наугад, не зная, куда идет, и вдруг остановилась, почувствовав, что на нее пахнуло пронизывающей холодной сыростью. Услышав позади себя топот нескольких человек, она быстро спустилась по лестнице в глубокий подвал. На последней

ступеньке Мари остановилась и прислушалась, стараясь определить, в каком направлении побежали ее преследователи; несмотря на довольно сильный шум, доносившийся сверху, она услышала в подвале жалобные человеческие стоны, и тогда ей стало еще страшнее. Луч света, скользнувший с верхних ступеней, вызвал у нее ужасную мысль, что преследователи открыли ее убежище, и стремление спастись от них придало ей новые силы. Несколько минут спустя, когда она собралась с мыслями, ей было очень трудно объяснить себе, как могла она взобраться на невысокую стенку и спрятаться там. Вначале она даже не замечала, в каком неудобном положении находится ее тело, но затем эта поза стала для нее нестерпимой; притаившись под аркой свода, она напоминала статую *Присевшей Венеры*, которую любитель искусства поместил в слишком низкую нишу. Эта стена, довольно широкая и сложенная из гранита, отделяла лестницу от подвала, где раздавались стоны. Вскоре Мари увидела, как по ступенькам спустился и вошел под свод какой-то человек, одетый в козью шкуру, но ни малейшее его движение не указывало на торопливые поиски. Мадемуазель де Верней томило желание найти путь к спасению, и она тревожно ждала той минуты, когда огонь, принесенный незнакомцем, осветит подвал; она уже смутно видела на полу бесформенную, но живую глыбу, которая пыталась добраться до стены быстрыми, резкими движениями, судорожно извиваясь, словно рыба, вытащенная из воды на берег.

Маленький смоляной факел вскоре озарил стены подвала дрожащим синеватым светом. Несмотря на мрачную поэзию, которой воображение мадемуазель де Верней украсило эти своды, гулко отражавшие звуки горестной мольбы, ей пришлось убедиться, что подземелье было всего лишь давно заброшенной подвальной кухней. Бесформенная живая глыба оказалась при свете факела низеньким, очень толстым человеком, крепко связанным по рукам и по ногам: должно быть, те, кто захватил его, бросили свою жертву на сырые плиты каменного пола с полным пренебрежением к ее участи. Лишь только пленник увидел незнакомца, державшего в одной руке факел, а в другой вязанку хвороста, он застонал так жалобно, что глубоко тронул чувствительное *сердце* маде-

муазель де Верней; позабыв свой страх, свое отчаяние, мучительно неудобную позу, от которой у нее онемело все тело, она старалась не шелохнуться. Шуан бросил принесенную вязанку в очаг, предварительно проверив прочность старого крюка, висевшего на цепи перед высокой чугунной плитой, и зажег факелом хворост. И тогда мадемуазель де Верней с ужасом узнала в этом пришельце хитрого Хватай-Каравая, которому ее отдала соперница; его лицо, освещенное вспыхнувшим пламенем, напоминало комически топорные черты деревянных человечков, которых вырезают из букса в Германии. В ответ на жалобный стон пленника эта физиономия, изборожденная морщинами и опаленная солнцем, расплылась в широкую, довольную улыбку.

— Видишь,— сказал он своей жертве,— мы, христиане, умеем держать свое слово, не то, что ты. Вот сейчас огонь развяжет тебе и ноги, и язык, и руки... Ах досада! Где же мне найти противень? Нечего подставить тебе под ноги, а ведь они до того жирны, что сало, пожалуй, потушит огонь. Что же это у тебя в доме такой плохой порядок? Хозяину надо погреться, а никаких удобств для такого дела нет.

Пленник пронзительно закричал, вероятно надеясь, что его крик проникнет сквозь своды и привлечет на помощь какого-нибудь избавителя.

— Э-э! Можете петь сколько душе угодно, господин д'Оржемон. Наверху все спят, а вслед за мной придет сюда Крадись-по-Земле и запрет дверь.

Хватай-Каравай, не переставая говорить, постукивал прикладом карабина по навесу над очагом, по каменным плитам пола и печам, стараясь обнаружить тайник, где скряга спрятал свое золото. Поиски эти производились с такою ловкостью, что д'Оржемон вдруг умолк, испугавшись, не выдал ли его со страху кто-нибудь из слуг: хотя он и не доверял никому своих секретов, все же его привычки могли навести домашних на верные заключения. Иногда Хватай-Каравай внезапно оборачивался и бросал испытующий взгляд на свою жертву, как в детской игре, в которой ищут спрятанную вещь и по выражению наивного лица партнера стараются угадать, приближаются они к этой вещи или удаляются от нее. Д'Оржемон изобразил ужас, когда шуан принялся постуки-

вать по кухонным печам, издававшим глухой звук пустоты, и, видимо, хотел таким способом обмануть на некоторое время доверчивость жадного Хватай-Каравая. Вдруг в кухню ворвались три шуана, стремглав сбежав с лестницы; один из них был Крадись-по-Земле. Хватай-Каравай прекратил свои поиски, бросив на д'Оржемона взгляд, исполненный всей ярости обманутого скупца.

— Мари Ламбрекен воскрес! — крикнул Крадись-по-Земле, и весь вид его говорил, что всякие интересы бледнеют перед столь важной вестью.

— Не удивительно! — заметил Хватай-Каравай.— Не даром он так часто причащался,— можно сказать, совсем завладел господом богом.

— Ну, пользы ему от этого, как мертвому от башмаков. Ведь он соблазнил девку у Гоглю, а перед делом у Пелерины не получил отпущения грехов и, значит, смертный грех не успел с себя снять. Вот теперь аббат Гюден и говорит, что ему еще два месяца бродить по свету привидением, а потом уж он совсем воскреснет. Мы все трое видели его, он только что мимо нас прошел. Бледный, холодный, легкий, и кладбищем от него пахнет.

— А еще его преподобие говорил нам, что ежели привидение кого-нибудь схватит, так тому человеку придется бродить вместе с ним,— добавил четвертый шуан.

Уродливое и смешное лицо этого нового собеседника отвлекло Крадись-по-Земле от его набожных размышлений о совершившемся чуде воскрешения, которое, по словам аббата Гюдена, могло повториться для каждого благочестивого и ревностного защитника религии и короля.

— Видишь, Налей-Жбан,—с некоторой важностью сказал неофиту Крадись-по-Земле,— видишь, куда нас ведет самое малое упущение в обязанностях, предписанных святой религией! Тут сама святая Анна Орейская предупреждает нас, что мы должны быть беспощадны друг к другу за самую легкую провинность. Твой двоюродный брат Хватай-Каравай выпросил у Молодца, чтобы тебе поручили надзор за Фужером, и тебе хорошо будут платить. Но знаешь ты, из какой муки мы замешиваем хлеб для предателей?

— Знаю, господин Крадись-по-Земле.

— А знаешь, почему я об этом тебя спрашиваю? Лю-

ди говорят, будто ты очень уж любишь сидр и денежки. Смотри, не вздумай мошенничать, надо служить только нам одним.

— Не прогневайтесь, сударь, сидр и денежки — штука хорошая и спасению души ничуть не мешают.

— Если брат и сделает какую-нибудь глупость, то уж, конечно, только по неведению,— сказал Хватай-Каравай.

— Какими бы воротами ни пришла беда, я спуску не дам! — крикнул Крадись-по-Земле таким громовым голосом, что дрогнули своды.— Ты за него в ответе,— добавил он, повернувшись к Хватай-Караваю.— Если он провинится, я и под козьей шкурой доберусь до твоей шкуры!

— Не в обиду вам будь сказано, сударь,— проговорил Налей-Жбан,— не случалось ли вам иной раз принимать контршуанов за шуанов?

— Приятель,— сухо сказал Крадись-по-Земле,— смотри, чтобы с тобой этого не случилось ни разу, а не то я перережу тебя пополам, как репу. А ежели кого пошлет Молодец, так у тех будет его перчатка. Только после дела в Виветьере Главная молодка прицепляет к ней зеленую ленту.

Хватай-Каравай быстро толкнул локтем своего товарища, показывая ему глазами на д'Оржемона: тот притворялся спящим, но Крадись-по-Земле и Хватай-Каравай по опыту знали, что никто еще не дремал около их камелька, и хотя последнюю фразу в разговоре с Налей-Жбаном шуан произнес вполголоса, пленник мог ее расслышать. Четверо шуанов испытующе посмотрели на него и решили, что он от страха лишился чувств. Вдруг, по еле заметному знаку, который подал Крадись-по-Земле, Хватай-Каравай снял с д'Оржемона башмаки и чулки. Налей-Жбан и Вези-Добро схватили его в охапку и поднесли к очагу; затем Крадись-по-Земле взял свясло от хвороста и привязал ноги скупца к чугунному крюку. Слаженные и невероятно проворные их движения исторгли у жертвы крики, а затем душераздирающие вопли, когда Хватай-Каравай подгреб ему под ноги угли.

— Друзья, милые друзья мои,— кричал д'Оржемон,— мне ведь будет больно! Ведь я такой же христианин, как и вы!..

— Лжет твоя глотка! — ответил Крадись-по-Земле.— Родной твой брат отрекся от бога, а ты купил жювинийское аббатство. Нам аббат Гюден говорил, что богоотступников можно поджаривать без зазрения совести.

— Братья мои во Христе, погодите! Я же не отказываюсь вам заплатить.

— Мы дали тебе две недели сроку. Прошло два месяца, а Налей-Жбан ничего еще не получил.

— Ты разве ничего не получил, Налей-Жбан? — с отчаянием спросил скряга.

— Ничего... Как есть ничего, господин д'Оржемон,— испуганно ответил Налей-Жбан.

Крики, превратившиеся в непрерывное рычание, похожее на хрип умирающего, вдруг возобновились с неслыханной силой. Четверо шуанов, для которых это зрелище было не менее привычным, чем то, что собаки бегают без башмаков, с полным спокойствием наблюдали, как корчится и вопит д'Оржемон; они напоминали путешественников, поджидающих у очага в гостинице, когда жаркое достаточно подрумянится, чтобы можно было его есть.

— Умираю! Умираю!..— кричал д'Оржемон.— И вы не получите моих денег.

Несмотря на эти неистовые крики, Хватай-Каравай заметил, что огонь еще не опалил д'Оржемону кожу; он очень искусно помешал угли, чтобы пламя слегка разгорелось, и тогда скряга сказал упавшим голосом:

— Друзья мои, развяжите меня... Сколько вы хотите получить? Сто экю? Тысячу? Десять тысяч? Сто тысяч? Я вам предлагаю двести экю!

Голос его звучал так жалобно, что мадемуазель де Верней, забыв об опасности, грозившей ей самой, вскрикнула.

— Кто это сейчас подал голос? — спросил Крадись-по-Земле.

Шуаны испуганно озирались. Эти люди, столь храбрые под смертоносными жерлами пушек, боялись *духов*. Лишь один Хватай-Каравай, ничем не отвлекаясь, слушал признания, которые возрастающая боль вырывала у его жертвы.

— Пятьсот экю! Да... я вам даю пятьсот! — говорил скряга.

— Ладно. А где они? — спокойно спросил Хватай-Каравай.

— Где? Зарыты под первой яблоней. Пресвятая дева!.. В конце сада, слева. Разбойники!.. Воры!.. А-ах, умираю!.. Там десять тысяч франков.

— Не надо нам франков,— сказал Крадись-по-Земле,— давай ливры. На франках твоей республики языческие идолы. Такие деньги никогда ходить не будут.

— Да там ливры, полновесные луидоры. Только развяжите, развяжите меня... Вы же знаете теперь, где мой клад... моя жизнь!..

Шуаны переглядывались, обдумывая, кому из товарищей довериться, кого послать откопать зарытые деньги. Каннибальская их жестокость привела в эту минуту мадемуазель де Верней в такой ужас, что, даже не зная, спасет ли ее еще раз от любой опасности роль привидения, которую ей позволило сыграть ее бледное лицо, она смело крикнула низким голосом:

— Ужели не боитесь вы гнева божьего? Развяжите его, варвары!

Шуаны подняли головы, увидели вверху глаза, сверкавшие, как звезды, и в ужасе бросились прочь. Мадемуазель де Верней спрыгнула в кухню, подбежала к д'Оржемону и так резко отдернула его от огня, что свясло разорвалось; затем она разрезала кинжалом веревки, которые крепко стягивали все его тело. Как только скряга почувствовал себя свободным, он встал на ноги, и на лице его появилась страдальческая, но вместе с тем язвительная усмешка.

— Идите, идите к яблоне, разбойники! — сказал он.— О-ох! Вот уже два раза я надул их, а в третий раз они меня не поймают.

В этот момент во дворе громко раздался женский голос.

— *Привидение! Привидение!* — кричала г-жа дю Га.— Дураки! Это она! Тысячу экю тому, кто принесет мне голову этой шлюхи!

Мадемуазель де Верней побледнела, но скряга, улыбнувшись, взял ее за руку, увлек за собою под навес очага, провел так, что не осталось никакого следа, ибо они

не задели костра, занимавшего в очаге небольшое пространство; затем он нажал какую-то пружину, чугунная плита поднялась, и, когда общие их враги вернулись в подвал, тяжелая дверь тайника уже опустилась бесшумно на свое место. Парижанка поняла тогда смысл рыбьей пляски, которой на ее глазах недавно предавался несчастный банкир.

— Вот видите, сударыня! — крикнул Крадись-по-Земле.— Привидение взяло себе синего в товарищи...

Должно быть, эти слова вызвали страшный испуг, ибо за ними наступила столь глубокая тишина, что д'Оржемон и его спутница услышали, как шуаны бормотали:

— Ave sancta Anna Auriaca, gratia plena, Dominus tecum...[1]

— Молятся... олухи! — воскликнул д'Оржемон.

— Тише,— прервала своего спутника мадемуазель де Верней,— разве вы не боитесь, что они откроют наше...

Смех старого скряги рассеял опасения парижанки:

— Чугунная плита вделана в гранитную толщиной в десять дюймов. Мы их слышим, а они нас не слышат.

Осторожно взяв руку своей освободительницы, он поднял и приложил ее к какой-то щели, откуда порывами проникал свежий ветер; девушка догадалась, что эта отдушина сделана в трубе очага.

— О-ох!—простонал д'Оржемон.—Черт побери! Все-таки ноги мне немного жжет. А эта *кобылица Шарета*, как ее называют в Нанте, вовсе не глупа и не станет разубеждать своих верных приверженцев; она хорошо знает, что, не будь они такими болванами, не стали бы они драться вопреки собственным своим интересам. Слышите: вот и она тоже молится. Хотелось бы посмотреть, как она читает акафист Анне Орейской! Уж лучше бы еще раз обчистила какой-нибудь дилижанс да вернула мне свой долг: ведь она четыре тысячи франков у меня взяла. С процентами да со всякими издержками это уже составляет четыре тысячи семьсот восемьдесят франков и несколько сантимов...

Закончив молитву, шуаны поднялись с колен и ушли. Старик д'Оржемон сжал руку мадемуазель де Верней, словно предупреждая, что опасность еще не миновала.

---

[1] Благодатная Анна Орейская, радуйся, господь с тобою... *(лат.)*.

— Нет, сударыня,— послышался через несколько минут безмолвия голос Хватай-Каравая.—Ждите тут хоть десять лет, они не вернутся.

— Да она и не выходила, она должна быть здесь,— упрямо сказала «кобылица Шарета».

— Нет, сударыня, нет. Они улетели сквозь стену... Помните, как дьявол утащил отсюда того аббата, который принес присягу.

— Хватай-Каравай, ведь ты сам такой же скряга, как д'Оржемон. Неужели ты не догадываешься?.. Ведь этот старый сквалыга вполне мог затратить несколько тысяч ливров на то, чтобы сделать себе здесь, в фундаменте сводов, потайной закоулок с секретным входом.

Скряга и девушка услышали зычный хохот Хватай-Каравая.

— А ведь верно! — сказал он.

— Оставайся здесь,—снова заговорила г-жа дю Га.— Подожди, когда они выйдут. За один меткий выстрел я отдам тебе все, что ты найдешь в сокровищнице нашего ростовщика. Послушайся меня, если хочешь, чтобы я тебе простила, что ты продал эту девку, а не убил ее, как я тебе велела.

— Ростовщик? — возмутился д'Оржемон.— А ведь я одолжил ей деньги только из девяти процентов. Правда, я взял с нее закладную, а все-таки, поглядите, какая неблагодарность! Знаете, сударыня, если бог наказывает нас за наши злые дела, то дьявол не преминет наказать за доброе дело, а человек поставлен меж двух этих пределов, ничего не знает о будущем, и, по-моему, все это напоминает задачу на тройное правило, в которой нет никакой возможности найти неизвестное.

Он испустил глубокий и весьма необычайный вздох,— как будто воздух, проходя через его гортань, задевал там старые, ослабевшие струны. Вдруг опять раздалось постукивание: Хватай-Каравай и г-жа дю Га вновь принялись исследовать стены, своды и каменный пол; казалось, эти звуки приободрили д'Оржемона: взяв свою спасительницу за руку, он помог ей подняться по узкой винтовой лестнице, устроенной в толстой гранитной стене. Когда они одолели ступенек двадцать, их головы слабо осветил луч лампы. Скупец остановился и, обернувшись к своей спутнице, пристально поглядел ей в лицо,

словно внимательно рассматривал ненадежный вексель, полученный для учета; затем снова послышался его жуткий вздох.

— Я привел вас сюда,— сказал он, помолчав,— и тем самым сполна заплатил за вашу услугу, и, право же, я не вижу причины, почему я должен еще дать вам и де...

— Сударь, оставьте меня здесь! И я ничего у вас не прошу! — перебила его мадемуазель де Верней.

Эти слова и, быть может, презрение, вспыхнувшее на прекрасном лице девушки, успокоили старика, и он ответил с новым вздохом:

— Ах, раз уж я привел вас сюда, я сделал так много, что надо продолжать...

Он учтиво помог Мари подняться по нескольким ступенькам, довольно необычно расположенным, и полулюбезно, полусердито ввел ее в маленькую комнатку размером не больше четырех квадратных футов, освещенную лампой, подвешенной к сводчатому потолку. Нетрудно было заметить, что скупец принял все предосторожности, для того, чтобы ему можно было провести не один день в этом убежище, если события гражданской войны принудят его скрываться здесь.

— Не подходите к стене, запачкаетесь известкой,— вдруг сказал д'Оржемон.

И он поспешно просунул руку между спиной девушки и стенкой, видимо, недавно оштукатуренной. Однако этот жест произвел совсем не то действие, какого ожидал скупой старик. Мадемуазель де Верней быстро посмотрела вокруг и увидела в углу какое-то странное сооружение, форма которого вызвала у нее крик ужаса: она угадала, что там поставлено стоймя человеческое тело, покрытое слоем извести. Д'Оржемон грозным жестом приказал ей замолчать, и в его маленьких голубых глазках, словно сделанных из фаянса, был такой же испуг, как и в глазах его спутницы!

— Дурочка! Вы думаете, я убил его?.. Это мой брат,— сказал он, и на этот раз в его вздохе прозвучали траурные ноты.— Брат мой первым из местных священников принес присягу. И вот единственное убежище, где он мог укрыться от ярости других священников и шуанов. Подумайте! Преследовать такого достойного чело-

века! Он так любил во всем порядок! Это мой старший брат. Только у него одного и хватило терпения научить меня десятичным дробям. Ах, какой он был хороший священник! Бережливый, умел копить деньги. Вот уже четыре года, как он умер,— не знаю, право, от какой болезни. Но, видите ли, когда священники молятся, они привыкли становиться на колени и, может быть, ему было трудно все время стоять тут на ногах, как я это делаю... Я его тут и оставил: в другом месте они вырыли бы его из могилы. Я постараюсь похоронить его когда-нибудь в освященной земле, как он говорил, бедняга. Ведь он и присягнул-то только из страха.

Слезы выступили на сухих маленьких глазках старика, и в эту минуту его рыжий парик показался девушке менее безобразным; она отвела взгляд в сторону с затаенным чувством уважения к его горю; но, несмотря на свое умиление, д'Оржемон повторил:

— Не подходите к стенке, вы запач...

Он не отрываясь глядел в глаза мадемуазель де Верней, словно хотел помешать ей рассмотреть повнимательней стены этой каморки, где легким не хватало воздуха. Все же Мари удалось украдкой от своего Аргуса окинуть взглядом стены, и, заметив на них странные выпуклости, она решила, что скупец сам сложил их из мешков с золотом и серебром. Меж тем д'Оржемон постепенно погружался в какое-то комическое восхищение. Хотя в каждой морщине старого скряги можно было прочесть боль от ожогов на ногах и страх от появления живого существа среди его сокровищ, однако его сухие глаза горели непривычным огнем волнения, вызванного опасным соседством с его спасительницей, чья бело-розовая щечка манила к поцелую, а от взоров черных бархатных очей приливали к сердцу такие жгучие волны крови, что он уж не знал, было ли это предвестником жизни или смерти.

— Вы замужем? — спросил он дрожащим голосом.

— Нет,— ответила она, улыбаясь.

— У меня кое-что есть,—продолжал он, и вновь послышался его удивительный вздох.— Но, конечно, я не так богат, как все толкуют. Такая молодая красавица, как вы, наверно, любит бриллианты, драгоценности, экипажи, золото,—прибавил он, испуганно посматривая во-

круг.— Я могу все это дать... после моей смерти... И если бы вы пожелали...

Взгляд старика говорил о такой расчетливости даже в этой эфемерной любви, что мадемуазель де Верней, отрицательно покачав головой, не могла не подумать, что скряга намеревался жениться на ней лишь для того, чтобы похоронить свою тайну в сердце своего второго «я».

— Деньги! — сказала она, бросив на д'Оржемона иронический взор, который и осчастливил и раздосадовал его.— Деньги для меня ничто. Вы стали бы втрое богаче, если тут собрать все золото, от которого я отказалась.

— Не подходите к сте...

— А меж тем у меня взамен просили один лишь взгляд,— добавила она с невероятной гордостью.

— Напрасно вы отказались. Это была бы превосходная сделка. Но вы все-таки подумайте...

— А вы «подумайте»,— прервала его мадемуазель де Верней,— о том, что я слышу сейчас голос, единый звук которого для меня дороже всех ваших богатств...

— Вы их не знаете...

Прежде чем д'Оржемон успел остановить ее, девушка коснулась пальцем небольшой раскрашенной гравюры, изображавшей Людовика XV верхом на коне, сдвинула ее с места и вдруг увидела внизу маркиза,— он заряжал мушкетон. Отверстие в стене, закрытое дощечкой, на которую была наклеена гравюра, вероятно, соответствовало какому-то украшению в сводчатом потолке комнаты, по-видимому, служившей спальней предводителю шуанов. Д'Оржемон с величайшей осторожностью передвинул старый эстамп на прежнее место и сурово поглядел на девушку.

— Ни слова, если дорожите жизнью! — прошептал он и, помолчав, сказал ей на ухо:—Однако не малое судно задумали вы взять на абордаж. Вы знаете, что у маркиза де Монторана сто тысяч ливров дохода с земель, розданных в аренду? Земли эти еще до сих пор не проданы! А я на днях читал в «Ежедекаднике Иля-и-Вилена» декрет консулов, по которому секвестры приостановлены. Ага! Вы, конечно, находите теперь, что этот молодчик еще больше похорошел! Правда? Глаза у вас блестят, как два новеньких луидора!..

Взгляд мадемуазель де Верней загорелся, лишь только она услышала звук хорошо знакомого голоса. За то время, которое она провела здесь, словно погребенная в этом склепе, выпрямилась пружина ее воли, погнувшаяся под бременем событий. Казалось, она внезапно приняла роковое решение и обдумывала, как его выполнить.

«От такого презрения нет возврата,— сказала она про себя,— и если он больше не может любить меня, я убью его... Он не достанется ни одной женщине».

Вдруг раздался голос молодого предводителя.

— Нет, аббат, нет! — громко сказал он.— Это надо сделать именно так.

— Маркиз,— высокомерно возразил аббат Гюден,— вы осрамитесь на всю Бретань, если дадите этот бал в Сен-Джемсе. Не танцоры, а проповедники поднимут наши деревни. Вам нужны ружья, а не скрипки.

— Аббат, вы человек умный и должны понять, что, лишь устроив сбор наших сторонников, я увижу, что можно с ними предпринять. За обедом, по-моему, легче изучить их лица и узнать их намерения, чем с помощью любого шпионства, которое к тому же вызывает у меня отвращение. Со стаканом в руке они у нас разговорятся.

Мари встрепенулась, услышав эти слова: у нее сразу возникла мысль попасть на бал и там отомстить за себя.

— Вы, аббат, должно быть, принимаете меня за идиота, если читаете мне проповедь о греховности танцев! Да разве вы сами не пропляшете от всего сердца какую-нибудь чакону, лишь бы восстановили ваш орден, под новым его именем: *Отцы веры*?.. И разве вы не знаете, что сразу после мессы бретонцы идут плясать? А не известно ли вам, что пять дней тому назад Ид де Невиль и д'Андинье вели переговоры с первым консулом относительно восстановления на престоле короля Людовика Восемнадцатого? И если я собираюсь теперь сделать такой смелый ход, то единственно для того, чтобы тяжесть наших башмаков с подковками прибавила весу этим переговорам. А известно вам, что все вожди Вандеи, даже Фонтэн, поговаривают о необходимости покориться? Ах, аббат Гюден! Очевидно, принцев обманули, неверно осветив им положение дел во Франции. Преданность, о которой им толкуют,—это преданность только по необ-

ходимости. Аббат, я уже запачкал себе ноги, ступая по крови, но только взвесив все обстоятельства, я соглашусь погрузиться в нее до пояса. Я предан королю, а не каким-то четырем головорезам, не игрокам, запутавшимся в долгах, как этот Рифоэль, не разбойникам, пытающим людей огнем, не...

— Продолжайте, продолжайте: «Не аббатам, взимающим на больших дорогах контрибуцию для нужд войны!» — прервал его аббат Гюден.

— А почему бы мне этого не сказать!—язвительно отозвался маркиз.— Я скажу больше: героические времена Вандеи прошли.

— Ну что ж, маркиз, мы и без вас совершим чудо.

— Да, вроде чуда с Мари Ламбрекеном,— смеясь, подхватил маркиз.— Ну, полно, аббат, не сердитесь! Я знаю, что вы не щадите своей жизни и стреляете в синих так же хорошо, как читаете «Oremus» [1]. Надеюсь, что с божьей помощью мы победим и я увижу вас в митре епископа участником коронования его величества.

Эта фраза, вероятно, произвела на аббата магическое действие: слышно было, как он звякнул карабином и воскликнул:

— У меня в карманах полсотни патронов, маркиз, а жизнь моя принадлежит королю!

— Вот еще один из моих должников,— сказал скряга, обратившись к мадемуазель де Верней.— Занял он у меня немного, какие-то несчастные пятьсот — шестьсот франков, я не о них говорю, но есть за ним долг крови, и, надеюсь, мы расквитаемся. Какой казнью ни казнить этого сатану иезуита, все будет мало. Он поклялся, что смертью покарает моего брата, и поднял против него всю нашу округу. А за что? За то, что бедняга испугался новых законов...

Приложив ухо к какому-то незаметному приспособлению в своем тайнике, он прислушался и сказал:

— Ну вот, убираются наконец восвояси эти разбойники. Пойдут и еще сотворят какое-нибудь чудо! Лишь бы не вздумали, как в прошлый раз, на прощание подпалить мой дом.

---

[1] Католическая молитва.

Еще с полчаса после этого мадемуазель де Верней и д'Оржемон молча смотрели друг на друга, и вдруг грубый и густой голос Налей-Жбана тихонько крикнул:

— Господин д'Оржемон, опасности больше нет! Ну, на этот раз я вполне заслужил свои тридцать экю!

— Дитя мое,— сказал скряга,— дайте слово, что вы закроете глаза.

Мадемуазель де Верней зажмурила глаза и прикрыла их еще ладонью, но для большей уверенности д'Оржемон задул лампу и, взяв свою освободительницу за руку, помог ей сделать семь-восемь шагов по какому-то запутанному проходу, а через несколько минут осторожно отвел от глаз ее руку, и она увидела, что находится в той комнате, где недавно был маркиз де Монторан. Это оказалась спальня д'Оржемона.

— Дорогое мое дитя,— сказал скряга,— вы можете теперь уходить. Не смотрите же так вокруг. У вас, наверно, нет денег? Вот вам десять экю; некоторые монеты немного подточены, но ничего, их возьмут. Как только выйдете из сада, сразу увидите тропинку — она ведет в город или, как нынче говорят, в округ. Но под Фужером теперь шуаны. Трудно допустить, что вам удастся скоро попасть туда, и, значит, вам может понадобиться надежное убежище. Запомните хорошенько, что я вам сейчас скажу, но воспользуйтесь этим пристанищем только в самой крайней опасности. На дороге, которая ведет через Жибарийскую лощину к Колючему гнезду, вы увидите ферму, там живет Сибо Большой по прозвищу Налей-Жбан. Войдите туда и скажите его жене: «Здравствуй, Цапля»,— и Барбета вас спрячет. Если Налей-Жбан увидит вас, то ночью он вас примет за привидение, а днем его можно задобрить десятью экю... Прощайте! Мы с вами в расчете... Ах, если бы вы пожелали, все это стало бы вашим,— добавил он, указывая широким жестом на поля, окружавшие его дом.

Мадемуазель де Верней бросила благодарный взгляд на этого странного старика, а он ответил вздохом в несколько разнообразных тонов.

— Вы, разумеется, потом отдадите мне эти десять экю (заметьте, я ничего не говорю о процентах), так, пожалуйста, внесите их на мой счет фужерскому нотариусу— мэтру Патра. А если бы вы пожелали, он бы и соста-

вил наш брачный контракт, красавица моя, сокровище мое!.. Прощайте!..

— Прощайте! — сказала Мари, улыбаясь, и помахала ему рукою.

— А если вам понадобятся деньги,— крикнул ей вслед д'Оржемон,— я вам одолжу из пяти процентов. Да, всего только из пяти! Неужели я сказал «из пяти»?..

Мари ушла.

«С виду как будто славная девушка,— думал д'Оржемон.— А все-таки я переделаю потайной ход из очага».

Затем он взял двенадцатифунтовый хлеб, окорок и вернулся в свое убежище.

Лишь только мадемуазель де Верней вышла в открытое поле, она словно возродилась к жизни: предутренняя прохлада освежила ее лицо, которое несколько часов как будто обжигал знойный воздух. Она попыталась найти тропинку, указанную скрягой, но луна уже зашла, и стало так темно, что ей пришлось идти наугад. Но вдруг у нее сжалось сердце от страха свалиться в пропасть, и это спасло ее, ибо она внезапно остановилась, почувствовав, что стоит сделать еще один шаг—и земля исчезнет у нее из-под ног. Посвежевший ветер, который ласкал ее волосы, журчание воды, инстинкт — все это помогло ей угадать, что она подошла к самому краю скал св. Сульпиция. Она обхватила руками какое-то дерево и стала ждать рассвета, испытывая сильную тревогу, так как слышала звон оружия, стук копыт и человеческие голоса. Она возблагодарила ночную тьму, спасавшую ее от опасности оказаться в руках шуанов, если они действительно окружили Фужер, как говорил ей старый скряга.

Словно огни ночных костров — сигналы борьбы за свободу, вспыхнули над горами багряные отблески, но темные синеватые тона подножия гор еще не посветлели и являлись контрастом белой дымке, реявшей над росистыми долинами. Вскоре над горизонтом неторопливо стал подниматься рубиновый диск, и небеса узнали его; из мрака выступили постепенно все очертания пейзажа: колокольня св. Леонарда, скалы, луга, окутанные тенью, и в пламени рождающегося дня на вершинах обрисовались деревья. Красивым взлетом солнце вырвалось из хаоса огненных, оранжевых и сапфировых облаков, яр-

кий свет гармонически ровными полосами разлился по холмам и затопил долины. Тьма рассеялась, день покорил природу. Потянул холодный ветерок, запели птицы, всюду пробудилась жизнь. Но едва мадемуазель де Верней успела окинуть взором живописную картину, открывшуюся перед нею внизу, как туман — явление довольно частое в этих прохладных краях — протянулся пеленой, заполнил долины, поднялся до самых высоких холмов и словно под снежным покровом похоронил весь богатый бассейн Куэнона. Вскоре мадемуазель де Верней показалось, будто она видит перед собою один из ледников, которые покрывают вершины Альп. Затем по этим облакам тумана, как в океане, стали перекатываться волны, бурно вздымаясь высокими валами, сталкиваясь, кружась, мягко колыхаясь и опадая, окрашиваясь под лучами солнца в ярко-розовые тона, а кое-где отсвечивая прозрачным блеском, словно озеро жидкого серебра. Вдруг северный ветер дохнул на эту фантасмагорию, туман рассеялся и пал на траву росою, насыщенной озоном. И тогда мадемуазель де Верней заметила на фужерских скалах огромную темную массу. Человек семьсот — восемьсот вооруженных шуанов суетились в предместье св. Сульпиция, словно муравьи в разоренном муравейнике. Трехтысячная орда шуанов, появившаяся как по волшебству, захватила окрестности замка и начала яростно штурмовать его. Несмотря на зеленеющие валы крепости и древние серые башни, спящий город не выдержал бы натиска, если бы не бдительность Юло. С бугра, из середины углубления, образованного валами, скрытая от глаз батарея в ответ на первые выстрелы шуанов ударила по дороге, ведущей к замку. Картечь смела нападающих и очистила путь. Затем из ворот св. Сульпиция вышла рота солдат, пользуясь замешательством шуанов, построилась на дороге в боевой порядок и открыла по ним убийственный огонь. Увидев, что и на крепостных валах сразу появились шеренги солдат, словно искусный театральный декоратор мгновенно провел там синие полосы, и убедившись, что республиканские стрелки находятся под прикрытием крепостного огня, шуаны даже и не пытались сопротивляться. Однако другие шуаны, завладев узкой долиной Нансона, вскарабкались по карнизам скалы до бульвара и поднялись на него; весь бульвар

покрылся козьими шкурами и стал похож на потемневшую от времени соломенную кровлю. В ту же минуту раздались бешеные залпы в другой части города, обращенной к долине Куэнона. Очевидно, Фужер окружили кольцом, и нападение шло со всех сторон. Огонь, вспыхнувший на восточном склоне скалы, указывал, что шуаны подожгли предместья. Впрочем, языки пламени, взметнувшиеся над крышами из сухого дрока или из гонта, вскоре исчезли, и вместо них поднялись столбы черного дыма,— пожар, видимо, потухал. Белые и бурые клубы порохового дыма скрыли от глаз мадемуазель де Верней эту сцену, но вскоре ветер разогнал дым. Командир республиканцев, наблюдая с утеса, возвышавшегося над бульваром, увидел, что первые его распоряжения выполнены великолепно, и уже приказал повернуть орудия батареи, чтобы держать под обстрелом нансонскую долину, Лестницу королевы и скалу. Две пушки, поставленные у заставы св. Леонарда, разметали муравейник шуанов, захвативших эту позицию, а фужерские национальные гвардейцы, прибежавшие на церковную площадь, окончательно прогнали неприятеля. Сражение продолжалось всего полчаса, и синие потеряли меньше ста человек. Шуаны были разбиты, отброшены и уже отступали во всех направлениях по неоднократным приказам Молодца: он видел, что его смелая операция не удалась, но не знал, что это последствия резни в Виветьере, побудившей Юло тайно вернуться в Фужер. Артиллерия прибыла в город только в эту ночь, ибо стоило Молодцу проведать о перевозке снарядов, он наверняка отказался бы от своего замысла, зная, что слухи о нападении неизбежно привели бы к плачевному его исходу. В самом деле, насколько Юло желал дать Молодцу суровый урок, настолько же Молодец стремился к успеху своей атаки, чтобы повлиять на решение первого консула. При первом же пушечном выстреле маркиз понял, что продолжать неудавшийся штурм из-за самолюбия — дело безумное, и, не желая бесполезно губить своих шуанов, поспешил разослать семь-восемь гонцов с предписанием немедленно отступить со всех пунктов. Юло заметил своего противника на скалах св. Сульпиция в окружении многочисленного военного совета, в котором находилась и г-жа дю Га, и дал по ним залп; но позиция была выбрана

весьма искусно: молодой предводитель оказался там в безопасности. Тогда Юло переменил роль — от обороны перешел к нападению. При первых передвижениях шуанов, открывших ему намерения маркиза, рота, стоявшая у стен крепости, получила приказ отрезать врагу путь к отступлению и двинулась вперед, чтобы захватить верхние проходы нансонской долины.

Несмотря на свою ненависть, мадемуазель де Верней испугалась за людей, которыми командовал ее возлюбленный; она быстро обернулась — посмотреть, свободен ли второй проход, но и там увидела синих: вероятно, они одержали победу на другом подступе к Фужеру и теперь возвращались из долины Куэнона через Жибарийскую лощину, намереваясь завладеть Колючим гнездом и той частью скал св. Сульпиция, где были нижние проходы в долину. Итак, шуаны были заперты в ущелье, на узком лугу, и, казалось, должны были погибнуть все до единого — настолько правильно все предусмотрел старый командир республиканцев и настолько искусно он принял меры. Но пушки, столь хорошо послужившие Юло, были бессильны против этих двух пунктов, где начался ожесточенный бой, и лишь только Фужер оказался вне опасности, сражение приняло характер схватки, привычной шуанам. Мадемуазель де Верней поняла теперь, что за скопища людей она видела в окрестностях Фужера, зачем собирались предводители шуанов в доме д'Оржемона, поняла все события истекшей ночи и не могла постигнуть, как удалось ей избегнуть стольких опасностей. Борьба, продиктованная отчаянием, так захватила ее, что она стояла, не шевелясь, и не отрывала взгляда от драматических картин, развернувшихся перед нею.

Вскоре бой, происходивший у гор св. Сульпиция, приобрел для нее особый интерес. Увидя, что синие берут верх, маркиз и его друзья бросились в долину Нансона на помощь шуанам. Все подножие скал усеяли группы разъяренных бойцов; борьба шла не на жизнь, а на смерть, но ее арена и оружие давали шуанам перевес. Поле сражения постепенно захватило больше пространства: шуаны *рассыпались* и вскарабкались на скалы, хватаясь за кустарник, местами покрывавший крутизну. Мадемуазель де Верней ужаснулась, несколько поздно заметив, что ее враги уже достигли вершин и с яростью защи-

щают опасные тропинки, которые туда вели. Все горные проходы были заняты сражающимися, и Мари испугалась, что окажется между ними; она покинула дерево, за которым укрывалась, и бросилась прочь, решив воспользоваться советом старого скупца. Долго бежала она по склону, обращенному к обширной долине Куэнона, и, увидев вдали какой-то хлев, догадалась, что он принадлежит ферме Налей-Жбана, где во время этого сражения, вероятно, оставалась дома только его жена. Такое предположение ободрило мадемуазель де Верней: она надеялась встретить радушный прием в этом жилище и провести там несколько часов, до тех пор, пока можно будет безопасно вернуться в Фужер. По всем признакам победа скоро должна была остаться за Юло. Шуаны отступали так быстро, что Мари уже слышала вокруг себя выстрелы; боясь, что в нее попадет шальная пуля, она быстрее побежала к лачуге, держа направление по дымовой трубе. Тропинка привела ее наконец к какому-то навесу с крышей из сухого дрока, подпертой четырьмя неотесанными бревнами. В глубине этого открытого сарая, у глинобитной единственной стены, стоял пресс для изготовления сидра, тут же был устроен небольшой ток для обмолота гречихи и лежало несколько земледельческих орудий. Мадемуазель де Верней остановилась у одного из столбов навеса, не решаясь перейти через грязное болото, служившее двором этой низенькой хижине, которую она, как истая парижанка, издали приняла за хлев.

Эта лачуга притулилась к скале, защищавшей ее от северного ветра, и не была лишена поэтичности, ибо над ее кровлей гирляндами свисали побеги вяза, вереск и горные цветы. Грубая лестница, высеченная в скале, давала возможность обитателям лачуги подняться на вершину и подышать там чистым воздухом. Слева от хижины гора резко понижалась, открывая череду засеянных полей, из которых первое, несомненно, принадлежало хозяину этой фермы. Земляные насыпи, засаженные деревьями, окаймляли прелестными рощицами все поля, и ближайшая из этих живых изгородей примыкала к ограде двора. Дорожку, проложенную от фермы к полям, защищал толстый полусгнивший ствол дерева — своеобразный бретонский шлагбаум (название его позд-

нее даст нам повод для отступления, которое довершит характеристику этого края). Между лестницей, вырубленной в сланцевом склоне, и тропой, перегороженной стволом дерева, в глубине грязного двора, под сенью нависшей скалы были положены один на другой, по четырем углам хижины, грубо обтесанные куски гранита — опора для стен, кое-как слепленных из глины, досок и мелких камней. Половина крыши была из сухого дрока, заменявшего солому, а другая половина — из дубовых дощечек, вырезанных в форме черепицы; это указывало, что и внутри дом разделен на две части; действительно, одна его половина, отгороженная плохим плетнем, служила хлевом, а в другой жили хозяева. Хотя в этой лачуге благодаря ее соседству с городом и были некоторые усовершенствования, уже совсем не встречавшиеся в двух лье от Фужера, все же она ясно отражала ту неустойчивость жизни, на которую обрекли крепостного человека войны и феодальные обычаи, настолько подчинявшие себе его нравы, что и до сих пор многие крестьяне в этих краях называют *хоромами* замок, где некогда жили их сеньоры. Мадемуазель де Верней с легко понятным удивлением рассматривала этот закоулок и наконец заметила, что на дворе в жидкой грязи набросаны осколки гранита — в качестве дорожки к жилищу, дорожки не очень надежной; но когда шум перестрелки заметно стал приближаться, девушка решила попросить убежища и принялась перепрыгивать с камня на камень, словно переходила через ручей. Дверь в доме состояла из двух частей: нижняя часть сделана была из цельного массивного дерева, а верхняя закрывалась ставней и служила окном. Такие двери встречаются в лавках некоторых маленьких городков Франции, но там они красиво отделаны и в нижней части снабжены колокольчиком; в этой лачуге дверь запиралась с помощью деревянной щеколды, достойной золотого века, а верхнюю часть закрывали ставней лишь на ночь, ибо свет проникал в комнату только через это отверстие. Правда, в хижине имелось и грубо сделанное окно, но мелкие его стекла походили на донышки бутылок, а толстый свинцовый переплет рамы занимал столько места, что, казалось, это окно скорее преграждало путь свету, чем пропускало его. Когда мадемуазель де Верней открыла

дверь, заскрипевшую на ржавых петлях, ее обдало ужасающим запахом аммиака, который клубами вырывался из хижины, ибо четвероногие обитатели хлева ударами копыт разрушили перегородку, отделявшую его от жилой половины. Итак, ферма,— а это была ферма,— оказалась внутри нисколько не лучше, чем снаружи. Мадемуазель де Верней спрашивала себя: неужели в этой первобытной грязи могут жить человеческие существа? Но вдруг перед ней появился оборванный мальчик лет восьми-девяти, и она залюбовалась им: свежее, белое и розовое личико, полные щечки, живые глаза, зубы словно из слоновой кости и спутанные белокурые волосы, падавшие на полуголые плечи; все его маленькое тело дышало силой, а поза выражала ту дикую наивность, то прелестное удивление, от которого так широко открываются детские глаза. Мальчик был изумительно красив!

— Где твоя мать? — ласково спросила Мари и, наклонившись, поцеловала его в глаза.

Получив поцелуй, мальчик скользнул, как угорь, и исчез за кучей навоза, сваленного на бугре между тропинкой и домом. Кстати сказать, Налей-Жбан, как и многие бретонские хлебопашцы, согласно своеобразной системе земледелия в краю, всегда сваливал навоз на высоком месте, и, когда наступало время воспользоваться им для удобрения полей, дожди успевали лишить его всех полезных свойств. На несколько минут Мари осталась хозяйкой хижины и быстро оглядела все ее устройство. Дом состоял всего из одной комнаты, в которой она ждала Барбету. Самым заметным и самым пышным предметом в ней был огромный очаг с *балдахином* из синего гранита. Этимологию этого названия подтверждал свисавший с гранитной плиты полукруглый лоскут зеленой саржи, обшитый по краю светло-зеленой лентой; посредине «балдахина» стояла раскрашенная гипсовая статуэтка богоматери. На цоколе статуэтки мадемуазель де Верней прочла две строчки духовного стиха, весьма распространенного в этой провинции:

Я, пресвятая матерь бога,
Гоню здесь горе от порога.

Позади богоматери виднелась картина — ужаснейшая мазня из синих и красных пятен, изображавшая св.

Лавра. Кровать в форме *гробницы*, задернутая пологом из зеленой саржи, грубо сколоченная детская кроватка, прялка, топорные стулья, резной поставец с кое-какой утварью — вот почти вся обстановка этой хижины. У окна стоял длинный стол из каштана, две скамьи из того же дерева; свет, проникавший через бурые стеклышки, окрашивал его в темные тона старинного красного дерева. В углу возвышалась огромная бочка, и под ее втулкой мадемуазель де Верней заметила желтоватую грязь, своею сыростью разъедавшую пол, хотя он был сделан из кусков гранита, скрепленных глиной: видимо, хозяин дома вполне заслуженно носил свое шуанское прозвище. Мадемуазель де Верней подняла глаза кверху, чтобы избавиться от неприглядного зрелища, но тогда ей показалось, что под потолком собрались летучие мыши со всех концов света — так много темной паутины свешивалось с балок. На длинном столе стояли два большущих жбана, до краев наполненные сидром. Такие глиняные посудины существуют во многих областях Франции, и парижанину нетрудно представить их себе: они похожи на широкогорлые кувшины, в которых гурманам обычно подают на стол бретонское сливочное масло, но надо вообразить их более пузатыми и неровно покрытыми глазурью, переливающейся рыжими пятнами, как некоторые морские раковины. Горлышко такого жбана заканчивается носиком, довольно похожим на пасть лягушки, высунувшейся из воды подышать воздухом. Этим двум жбанам удалось наконец привлечь внимание Мари, как вдруг шум сражения сделался более явственным, и она стала искать, куда бы ей спрятаться, не дожидаясь Барбеты; но в это время появилась и хозяйка.

— Здравствуй, Цапля,— сказала Мари и едва сдержала невольную улыбку: лицо этой женщины имело изрядное сходство с каменными масками, которые в виде архитектурного орнамента помещают посредине оконного свода.

— А-а! Вы от д'Оржемона? — не очень приветливо спросила Барбета.

— Куда вы меня денете? Шуаны уже близко...

— Туда!..— сказала Барбета, ошеломленная красотой и странным нарядом этого создания, которое она не

смела причислить к представительницам своего пола.— Вон туда, в аббатский тайник.

Она провела Мари к изголовью кровати и поместила ее в узкое пространство между стеной и постелью, но вдруг обе перепугались, услышав, что кто-то спрыгнул в лужу на дворе. Едва Барбета успела спустить полог кровати и завернуть в него Мари, как оказалась лицом к лицу с беглецом-шуаном.

— Где бы тут спрятаться, старуха? Я граф де Бован.

Мадемуазель де Верней вздрогнула, узнав голос того гостя, чьи слова, оставшиеся для нее загадкой, вызвали трагедию в Виветьере.

— Эх, горе, вы же видите, монсеньор, негде тут схорониться! Лучше я выйду во двор, постерегу там. Ежели придут синие, я дам вам знать. А ежели я тут останусь да они найдут вас,— они спалят дом.

И Барбета вышла,— она не могла сообразить, как примирить интересы двух врагов, имевших одинаковое право укрыться здесь, ибо муж ее вел двойную игру.

— У меня осталось всего два заряда! — с отчаянием произнес граф.— Но синие уже прошли дальше. Э-э, ничего! Неужто мне так не повезет, что на обратном пути они опять пойдут мимо этого дома и вздумают заглянуть под кровать?

Он легкомысленно поставил ружье к столбику, возле которого стояла Мари, закутанная в зеленую саржевую занавеску, затем наклонился посмотреть, удастся ли ему пролезть под кровать. Несомненно, он увидел бы ноги притаившейся беглянки, но в этот опасный момент она схватила ружье, прыгнула на середину комнаты и прицелилась в графа. Он узнал ее и расхохотался: прячась в тайник, Мари сняла широкополую шуанскую шляпу, и волосы ее пышными прядями выбились из-под черной кружевной сетки.

— Не смейтесь, граф, вы мой пленник... Одно ваше движение, и вы узнаете, на что способна оскорбленная женщина...

Но в ту минуту, когда граф и Мари пристально смотрели друг на друга, взволнованные каждый своими мыслями, со скалы смутно донеслись крики:

— Спасайте Молодца! Рассыпайтесь! Спасайте Молодца! Рассыпайтесь!

Заглушая эти нестройные крики, раздался голос Барбеты, и в хижине два врага прислушивались к ее словам, взволнованные чувствами, глубоко различными, понимая, что она обращается не столько к сыну, сколько к ним.

— Ты что, не видишь синих? — сердито визжала Барбета.— Иди ко мне, озорник, а не то я сама тебя притащу! Или ты хочешь, чтобы в тебя угодила пуля? Ну, живо, беги!..

В то время, когда развертывались эти мелкие быстролетные события, во двор спрыгнул синий.

— Скороход!..— окликнула его мадемуазель де Верней.

Скороход прибежал на ее голос и прицелился в графа более умело, чем его спасительница.

— Аристократ,— сказал насмешник-пехотинец,— не шевелись, а не то в два счета уничтожу тебя, как Бастилию.

— Скороход,— ласковым голосом промолвила мадемуазель де Верней.— Вы отвечаете мне за этого пленника. Делайте, как знаете, но вы должны доставить его в Фужер целым и невредимым.

— Слушаюсь, сударыня!

— Дорога в Фужер теперь свободна?

— Свободна и вполне безопасна, если только шуаны не воскреснут.

Мадемуазель де Верней весело вооружилась легким охотничьим ружьем графа и с иронической улыбкой сказала своему пленнику:

— Прощайте, граф! Нет — до свидания! — И, надев свою широкополую шляпу, она быстро пошла по тропинке.

— Поздно я понял, что нельзя шутить с честью женщин, которые лишились чести,— с горечью промолвил граф де Бован.

— Аристократ,— сурово крикнул Скороход,— если не хочешь, чтобы я отправил тебя в ваш бывший рай, не смей говорить ничего дурного об этой красивой даме!

Мадемуазель де Верней направилась в город тропками, соединявшими скалы св. Сульпиция с Колючим гнездом. Достигнув этой возвышенности, она быстро прошла дорогу, извивавшуюся по выступам гранитных скал, и

залюбовалась узкой красивой долиной Нансона, еще недавно столь шумной, а теперь совершенно тихой и мирной. С высоты гор лощина эта напоминала зеленую улицу. Тропинка привела мадемуазель де Верней к воротам св. Леонарда, и она вошла в Фужер. Горожане все еще тревожились за исход сражения, которое, судя по отдаленным выстрелам, могло продлиться весь день; у заставы целая толпа поджидала возвращения национальных гвардейцев, чтобы узнать, как велики их потери. Необычайный костюм мадемуазель де Верней, ее распустившиеся волосы, ружье в руке, шаль и платье, запачканные известкой, забрызганные грязью и мокрые от росы,— все это возбудило любопытство жителей Фужера, тем более что по всему городу уже шли толки о власти, красоте и странностях этой парижанки.

Всю ночь Франсина в ужасной тревоге ждала свою госпожу и, когда наконец увидела ее, хотела заговорить, но Мари дружеским жестом остановила ее.

— Видишь, я жива, дитя мое,— сказала Мари.— Ах, когда мы уезжали из Парижа, как я жаждала волнений!.. Теперь я их изведала!..— добавила она, помолчав.

Франсина пошла было распорядиться, чтобы подали завтрак, заметив своей госпоже, что та, несомненно, очень проголодалась.

— О, ванну, ванну!..— воскликнула мадемуазель де Верней.— Помыться прежде всего!

Франсина была немало удивлена, когда ее госпожа потребовала самый элегантный из своих нарядов, привезенных в дорожных баулах. После завтрака Мари оделась весьма изысканно и так тщательно, как совершает это важное дело женщина, когда она намерена показаться на балу любимому человеку. Франсина не могла объяснить себе иронической веселости своей госпожи. Это не была радость любви — женщина безошибочно различает ее в выражении лица,— это было какое-то сдержанное злорадство, предвещавшее что-то недоброе. Мари собственными руками задрапировала занавески окна, из которого открывалась внизу чудесная панорама, затем придвинула диван к камину, повернув его так, чтобы свет наиболее выгодно озарял ее лицо, и приказала Франсине достать цветов, желая придать

комнате праздничный вид. Когда Франсина принесла цветы, Мари указала, как их живописно расположить. Окинув комнату последним, удовлетворенным взглядом, она велела Франсине послать к Юло за своим пленником и прилегла на диван, чтобы отдохнуть и вместе с тем приiять позу, подчеркивающую грацию и слабость, неотразимо пленительную у некоторых женщин. Мягкая томность этой обольстительно-ленивой позы, дразнящая взор ножка, чуть видневшаяся из-под складок платья, изгиб шеи, тонкие пальчики руки, свисавшей с подушки, подобно грозди жасмина с белыми его колокольчиками,— все гармонически сочеталось с выражением ее глаз, все соблазняло и будило желания. Она приказала зажечь душистые курения для того, чтобы в воздухе разлились те нежные ароматы, что так властно волнуют мужское сердце и нередко подготовляют победу, когда женщина хочет одержать ее незаметно, не выказывая стремления победить. Через несколько минут в гостиной, примыкавшей к спальне, послышались тяжелые шаги старого воина.

— Ну, командир, где же мой пленник?

— Я только что приказал назначить пикет в двенадцать человек, чтобы расстрелять его как врага, захваченного с оружием в руках.

— Вы распорядились моим пленником?! — воскликнула Мари.— Послушайте, командир, если судить по вашему лицу, вам не доставляет большого удовольствия убивать людей вне поля сражения. Так вот, верните мне моего шуана, отсрочку его смерти я беру на себя. Заявляю вам, что этот аристократ мне пока просто необходим для осуществления наших планов. И к тому же расстреливать этого шуана-любителя так же нелепо, как стрелять в воздушный шар: достаточно булавочного укола, и он превратится в тряпку. Ради бога, предоставьте все эти жестокости аристократам. Республика должна быть великодушна. Разве вы, например, не простили бы жертвам Киберона и многим другим?.. Вот что, пошлите вы наш пикет в дозор, а сами приходите ко мне с моим пленником пообедать. Только не забудьте, что через час уже стемнеет,— добавила она с лукавой улыбкой,— и, если вы запоздаете, пропадет весь эффект моего туалета.

— Но как же, мадемуазель?..— пробормотал ошеломленный Юло.

— Ну, что еще? А-а, понимаю!.. Не бойтесь, граф не уйдет от вас. Раню или поздно огонь ваших ружей опалит крылья этому толстому мотыльку.

Юло слегка пожал плечами, как человек, вынужденный, невзирая ни на что, покориться капризу хорошенькой женщины, и через полчаса возвратился с графом де Бованом.

Мадемуазель де Верней притворилась, что гости застали ее врасплох, и, казалось, была очень смущена, что граф видит ее на диване в небрежной позе, но, прочтя в глазах аристократа, что желанное впечатление произведено, она встала и с безупречной грацией, с тонкой учтивостью занялась приемом гостей. В ее жестах и позах, в улыбке и поступи, в интонациях голоса не было ничего деланного, заученного, ничто не говорило о затаенных мыслях и намерениях. Все было в ней гармонично, без единой вульгарной черточки, которая вызывала бы подозрения, что она лишь подражает манерам высшего общества, но не принадлежит к нему. Когда роялист и республиканец сели, она строго взглянула на графа. Дворянин хорошо знал женщин и понимал, что оскорбление, которое он нанес этой девушке, может стоить ему смертного приговора. Невзирая на такое предположение, он не проявил ни нарочитой веселости, ни огорчения и держал себя, как человек, не рассчитывающий на столь быструю развязку. Вскоре он счел смешным бояться смерти в присутствии красивой женщины, и к тому же строгий вид Мари навел его на некоторые мысли.

«Ага! Кто знает, может быть, графская корона соблазнит ее больше, чем ускользнувшая корона маркиза? Монторан сух, как палка, а я...— И он с довольным видом оглядел себя.— Но уж голову-то свою я во всяком случае спасу!»

Эти дипломатические размышления оказались совершенно бесполезными. Притворное увлечение, которое граф решил изобразить, нежданно обратилось в бурный каприз страсти, и опасная искусительница с удовольствием постаралась ее разжечь.

— Граф,— сказала Мари,— вы мой пленник. Я имею право располагать вами. Вас могут казнить только с мо-

его согласия... но я слишком любопытна и сейчас не позволю расстрелять вас.

— А если я буду упорно молчать? — весело спросил он.

— С порядочной женщиной это еще возможно, но с девкой!.. Полно, граф, это немыслимо.

Эти слова, исполненные горькой иронии, Мари *проши-пела*, как выразился Сюлли, говоря о графине де Бофор, и указывали они на столь острый язык, что граф ничего не ответил и лишь удивленно посмотрел на свою жестокую противницу.

— Послушайте,— добавила она с насмешливой улыбкой,— чтобы не опровергнуть ваших слов, я буду *славной девкой*, как все эти твари. Прежде всего вот ваше ружье...

И она мягким шутливым жестом подала ему карабин.

— Даю честное слово дворянина, мадемуазель, вы поступаете...

— Ах! — воскликнула Мари, перебивая его.— Довольно с меня дворянских честных слов. Доверившись дворянину, я приехала в Виветьер. Ваш предводитель поклялся мне, что и я и мои люди будем там в безопасности.

— Какая подлость! — воскликнул Юло, нахмурив брови.

— Виновником ее является граф,— сказала Мари, указывая на дворянина.— Несомненно, Молодец имел доброе намерение сдержать свое слово, но граф де Бован распространил обо мне какую-то клевету, подтвердив все лживые наветы, которые «кобылице Шарета» вздумалось возвести на меня...

— Мадемуазель,— сказал совершенно сконфуженный граф,— даже под топором палача я буду утверждать, что сказал только правду.

— А что вы сказали?

— Что вы были...

— Говорите, не стесняйтесь,— что я была любовницей...

— Да, любовницей маркиза, а ныне герцога де Ленонкура, одного из моих друзей,— заявил граф.

— Ну, теперь я могла бы спокойно отправить вас на расстрел,— промолвила Мари, нисколько не смущаясь, тогда как граф был поражен ее кажущейся или действи-

тельной беспечностью после такого обвинения.— Однако,— сказала она, смеясь,— откиньте от себя навсегда мрачные мысли о смертоносных кусочках свинца, ибо вы оскорбили меня не больше, чем вашего друга, заявив, что я была его... Фи! Как это гадко!.. Послушайте, граф, разве вы не бывали в доме моего отца, герцога де Верней? А?

Не желая, чтобы Юло слышал столь важное признание, какое она собиралась сделать, мадемуазель де Верней поманила к себе графа и сказала ему на ухо несколько слов. У г-на де Бована вырвался глухой возглас удивления, и он растерянно посмотрел на Мари. Она поспешила дополнить пробужденное ею воспоминание и, прислонившись к камину, приняла позу, выражавшую простодушие и детскую невинность. Граф преклонил колено.

— Мадемуазель,— воскликнул он,— умоляю вас даровать мне прощение, хотя я и недостоин его.

— Мне нечего прощать,— сказала она.— У вас сейчас так же мало оснований для раскаяния, как мало их было для наглого утверждения в Виветьере. Но эти тайны выше вашего разумения. Только знайте, граф,— добавила она строгим тоном,— дочь герцога де Верней великодушна, и ваша участь горячо ее заботит.

— Даже после такого оскорбления? — спросил граф с какой-то горестью.

— Иные люди стоят столь высоко, что оскорбление не может их коснуться. Граф, я из числа таких людей.

Девушка произнесла эти слова с такой благородной и гордой осанкой, что внушила пленнику уважение к себе, а для Юло вся эта интрига стала еще менее ясной. Он поднял руку, словно хотел закрутить усы, и тревожно поглядел на мадемуазель де Верней, но она красноречивым знаком дала ему понять, что не отклоняется от своего плана.

— А теперь побеседуем,— сказала она, помолчав.— Франсина, голубушка, принеси свечи.

Очень искусно она перевела разговор на те времена, которые всего лишь несколько лет стали *старым режимом*. Живостью своих замечаний и характеристик она помогла графу перенестись в это прошлое и с такой тонкой любезностью подготовляла его реплики, дала ему столько случаев блеснуть остроумием, что в конце концов де Бован решил, что никогда еще он не бывал столь при-

ятным собеседником; он помолодел от этой мысли и попытался внушить обворожительной хозяйке то высокое мнение, которое сам имел о своей особе. Лукавая девушка с удовольствием испробовала на нем все пружины кокетства и обольщала его с особым искусством, ибо для нее это было только игрой. То она взглядом подавала ему надежду на быстрый успех, то словно удивлялась силе своего увлечения и вдруг выказывала холодность, все более очаровывая графа и незаметно усиливая его внезапно возгоревшуюся страсть. Она в точности напоминала рыболова, который время от времени вытаскивает удочку, чтобы посмотреть, клюет ли рыба. Граф попался на приманку наивного удовольствия, с которым его избавительница выслушала два-три довольно удачных его комплимента. Эмиграция, Республика, Бретань, шуаны были теперь за тысячу лье от его мыслей. Юло сидел, выпрямившись, безмолвный, неподвижный, суровый, как бог Терминус. По недостатку образования он совершенно не был способен вести подобные разговоры. Он охотно допускал, что эти два собеседника говорят нечто весьма остроумное, но все силы свои напрягал на то, чтобы понять их и разгадать, не кроется ли за их словами заговора против Республики.

— Мадемуазель,— говорил граф,— Монторан из старинного рода, хорошо воспитан, довольно красив, но в нем совсем нет галантности. Он слишком молод, не видел Версаля, и поэтому воспитание его не было завершено: например, вместо того, чтобы очернить противника, он скорее расправится ножом. Он может любить бурно, но у него никогда не будет тонкой изысканности обращения, отличавшей Лозена, Адемара, Куаньи и многих других!.. Он совсем не обладает приятным искусством говорить дамам милые пустяки, которые в конечном счете нравятся им больше, чем порывы страсти, очень быстро утомляющие их. Да, он из породы покорителей сердец, но у него нет ни их беспечности, ни их грации.

— Я это заметила,— подтвердила Мари.

«Ах,—молвил про себя граф.— Как она это сказала и как взглянула на меня! Несомненно, я очень скоро буду с нею в отношениях весьма коротких. И, ей-богу, чтобы принадлежать ей, я готов поверить всему, в чем ей угодно будет меня уверить».

Подали обед; граф предложил Мари руку. За столом она исполняла обязанности хозяйки с большой учтивостью и тактом, которые прививаются лишь воспитанием и утонченной жизнью при дворе.

— Теперь уходите,— сказала она Юло, когда встали из-за стола.— Он будет бояться вас, а если я останусь с ним наедине, я быстро узнаю от него все, что мне надо знать. Он дошел до такого состояния, когда мужчина говорит женщине все, что думает, и смотрит на все лишь ее глазами.

— А потом? — спросил Юло, явно намереваясь потребовать выдачи пленника.

— О! Потом он будет свободен! — ответила Мари.— Свободен, как ветер.

— Но ведь его захватили с оружием в руках!..

— Нет,— возразила она, прибегнув к той шутливой софистике, какой женщины любят опровергать неоспоримые доводы,— нет, я его обезоружила.

— Граф,— сказала она, вернувшись в комнату,— сейчас я добилась для вас свободы. Но услуга за услугу,— прибавила она и, склонив голову, взглянула на него с улыбкой, как будто хотела о чем-то попросить.

— Просите у меня все, что пожелаете, даже мое имя, даже честь мою! — воскликнул он в экстазе.— Я все сложу к вашим ногам.

Он подошел к ней и хотел схватить ее руку, надеясь выдать свое желание за признательность. Но мадемуазель де Верней трудно было обмануть. По-прежнему мило улыбаясь, чтобы не лишать надежды нового поклонника, она отступила от него на несколько шагов и сказала:

— Неужели вы хотите, чтобы я раскаялась в своем доверии к вам?

— У молодых девушек воображение, видимо, работает быстрее, чем у женщин!—ответил он, улыбаясь.

— Девушка может потерять больше, чем женщина.

— Это правда! Надо быть осторожным, когда владеешь сокровищем.

— Оставим этот язык и поговорим серьезно,— сказала она.— Вы даете бал в Сен-Джемсе. Говорят, у вас там склады, арсеналы и резиденция вашего правительства... Когда будет бал?

— Завтра вечером.

— Вас не удивит, господин де Бован, что женщина, жертва клеветы, с женским упорством хочет добиться блистательного удовлетворения за те оскорбления, которые ей нанесли, и, конечно, в присутствии свидетелей перенесенных ею оскорблений. Поэтому я хочу попасть на ваш бал. Прошу вас, будьте моим защитником с той минуты, как я появлюсь там, и до той минуты, как я уйду... Мне не надо вашего честного слова,— сказала она, видя, что он приложил руку к сердцу.— Я ненавижу клятвы, они слишком похожи на предосторожность. Скажите только, что вы обязуетесь охранять меня от всякого преступного или позорного посягательства. Обещайте мне искупить свою вину, объявив, что я действительно дочь герцога де Верней, но обойдите молчанием те бедствия, на которые меня обрекло отсутствие отеческого попечения, и мы будем квиты. Ну? Два часа быть на балу покровителем женщины — разве это слишком дорогой выкуп?.. Право, больше вы не стоите... Ни одного обола!

И улыбкой она лишила эти слова всей их горечи.

— А что же вы потребуете за мое ружье? — смеясь, спросил граф.

— О, больше, чем за вас самого!

— Что же именно?

— Молчания! Поверьте мне, Бован, женщину может разгадать только женщина. Я уверена, что, если вы обмолвитесь хоть одним словом, я могу погибнуть в пути. Вчера несколько пуль предупредили меня, с какими опасностями я могу повстречаться на дорогах. О, эта дама — искусная охотница и не менее ловкая камеристка. Ни одна горничная не раздевала меня так проворно, как она. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы мне не пришлось опасаться на балу чего-либо подобного...

— Вы будете там под моей защитой,— гордо ответил граф.— Но, стало быть, вы поедете в Сен-Джемс ради Монторана? — грустно спросил он.

— Вы хотите знать больше, чем знаю я сама,— со смехом сказала она.— А теперь ступайте,— добавила она, помолчав.— Я сама выведу вас из города, ведь вы здесь воюете друг с другом, как каннибалы.

— Значит, хоть немножко, но вы принимаете во мне участие? — воскликнул граф.— Ах, мадемуазель! По-

звольте мне надеяться, что вы не останетесь равнодушны к моей дружбе, ибо мне надо довольствоваться только этим чувством,— добавил он с фатовским видом.

— Какой прорицатель! — сказала она с тем веселым выражением, которое принимают женщины, когда хотят сделать признания, не роняя своего достоинства и не выдавая тайны своего сердца.

Затем она надела шубку и проводила графа до Колючего гнезда. Дойдя до конца тропинки, она сказала:

— Господин де Бован, никому ни слова, даже маркизу.— И она приложила палец к губам.

Осмелев от ласкового взгляда мадемуазель де Верней, граф взял ее за руку, и она милостиво это разрешила; он нежно поцеловал ей руку.

— О мадемуазель! Располагайте мною, я ваш на жизнь и на смерть! — воскликнул он, увидев себя вне опасности.— Но хотя я обязан вам не менее, чем своей матери, мне будет очень трудно ограничиться только чувством признательности...

И он быстро пошел по тропинке. Мари подождала, пока он не поднялся на скалы св. Сульпиция, а затем, удовлетворенно покачав головой, тихо сказала себе:

— Этот толстяк готов отдать за спасение своей жизни больше, чем жизнь. Я без труда могла бы сделать из него покорную мне тварь! Тварь или творец — вот что отличает одного мужчину от другого!

Не закончив свою мысль, она подняла к небу взор, полный отчаяния, и медленным шагом вернулась к воротам св. Леонарда. Там ее ждали Юло и Корантен.

— Еще два дня! — воскликнула она.— И тогда...— она умолкла, заметив Корантена.

— И тогда он падет от ваших пуль,— сказала она Юло на ухо.

Юло отступил на шаг и с неописуемым выражением насмешки посмотрел на эту девушку: ни ее манеры, ни лицо не говорили хотя бы о малейших угрызениях совести. Женщины отличаются замечательным свойством не размышлять о самых дурных своих поступках, когда их увлекает чувство; даже в их притворстве есть какая-то естественность, и только женщины могут совершить преступление, лишенное низости. Чаще всего они *не знают, как все это случилось.*

— Я отправляюсь в Сен-Джемс на бал, который дают шуаны...

— Но отсюда до Сен-Джемса пять лье,— прервал ее Корантен.— Хотите, я буду вас сопровождать?

— Нет,— ответила она,— вас слишком занимает то, о чем я никогда не думаю... ваша персона.

Презрение, которое Мари выказывала Корантену, очень нравилось Юло, и, когда она повернула от ворот к церкви св. Леонарда, он скорчил от удовольствия обычную свою гримасу. Корантен проводил девушку взглядом, и на лице его вспыхнуло сознание своей роковой власти над этим обворожительным созданием; он считал возможным подчинить себе Мари, управляя ее страстями, и таким путем когда-нибудь завладеть ею. Мадемуазель де Верней, вернувшись домой, поспешила обсудить со своей служанкой вопрос о бальном наряде. Франсина, привыкшая повиноваться своей госпоже, не пытаясь проникнуть в ее намерения, порылась в баулах и предложила *греческий туалет*. В ту пору во всем господствовал *греческий стиль*. Мари одобрила этот наряд: он уместился в небольшой легкой картонке.

— Франсина, дитя мое, я отправлюсь в путь по лесам и горам. Хочешь остаться дома или пойдешь со мною?

— Остаться! — воскликнула Франсина.— А кто же вас оденет?

— Куда ты положила перчатку, которую я тебе дала?

— Вот она.

— Пришей к ней зеленую ленту; а главное — захвати денег.

Заметив, что Франсина взяла монеты новой чеканки, она воскликнула:

— Этого еще не хватало! Ведь нас убьют из-за них! Пошли Иеремию разбудить Корантена... Нет, этот негодяй пойдет за нами следом! Лучше пошли попросить у командира от моего имени несколько экю по шести франков!

С чисто женской догадливостью, не упускающей никаких мелочей, она предусмотрела все. Пока Франсина заканчивала сборы к этому непостижимому для нее путешествию, Мари попробовала подражать крику совы и научилась в совершенстве воспроизводить сигнал шуа-

нов. В полночь она вышла из города воротами св. Леонарда, выбралась на тропинку, которая вела к Колючему гнезду, и смело двинулась впереди своей спутницы через Жибарийскую лощину, ступая твердым шагом, ибо ее воодушевляла сильная воля, всегда придающая телу и поступи человека что-то могучее. Не получить насморка, возвращаясь с бала домой, для женщины нелегкое дело, но когда ее сердцем владеет страсть, тело ее словно вылито из бронзы. Даже храбрый мужчина долго бы колебался в душе, прежде чем решиться на такой дерзкий шаг, но лишь только мысль о нем улыбнулась мадемуазель де Верней, опасность обратилась для нее в приманку.

— Вы отправились в путь, а не попросили у бога помощи,— сказала Франсина и, обернувшись, посмотрела на колокольню св. Леонарда.

Набожная бретонка остановилась и, сложив руки, прочитала молитву святой Анне Орейской о благополучном исходе путешествия. Мари стояла неподвижно и смотрела задумчивым взглядом то на простодушное лицо своей горничной, погрузившейся в горячую молитву, то на игру лунного света, когда он, падая с облачного неба, проскальзывал сквозь прорези колокольни, придавая граниту легкость филиграни.

Путницы быстро дошли до лачуги Налей-Жбана. Звук их шагов, как ни был он легок, разбудил во дворе собаку — одного из тех огромных псов, которым бретонцы доверяют охрану своих дверей, запирающихся простой деревянной щеколдой. Почуяв чужих, пес подбежал к ним и залаял так грозно, что им пришлось отступить на несколько шагов и позвать на помощь, но в доме никто не пошевелился. Мадемуазель де Верней подала сигнал, подражая крику совы; тотчас же пронзительно скрипнули ржавые петли двери и показалось угрюмое, хитрое лицо Налей-Жбана, поспешно вскочившего с постели.

— Мне надо быстро добраться до Сен-Джемса,— сказала Мари, показывая *надзирателю за Фужером* перчатку маркиза де Монторана.— Граф де Бован сказал, что ты будешь моим проводником и защитником в дороге. Так вот, Налей-Жбан, достань нам, голубчик, двух ослов под седлом и приготовься проводить нас. Время

дорого. Если мы завтра к вечеру не попадем в Сен-Джемс, нам не видать ни Молодца, ни бала.

Ошеломленный шуан взял перчатку, повертел ее в руках и зажег смоляную свечу толщиной с мизинец, а цветом напоминавшую коврижку. Такие свечи возят в Бретань из Северной Европы, и, как все, что видишь в столь своеобразном крае, этот товар свидетельствует о полном неведении самых простых основ торговли. Налей-Жбан заметил на перчатке зеленую ленту, поглядел на мадемуазель де Верней, почесал за ухом, осушил жбан сидра, предложил стакан красавице гостье и, усадив ее за стол на глянцевитую скамью из каштана, отправился разыскивать ослов. Тусклый лиловатый свет экзотической свечи не мог затмить прихотливой игры лунного сияния, разукрасившего сверкающими бликами черные тона потолка и мебели в этой закоптелой хибарке. Мальчик удивленно поднял свое хорошенькое личико, а над его пышными кудрями виднелись розовые морды и выпуклые блестящие глаза двух коров, просунувших головы сквозь дыры в стенке хлева. Пес — взгляд его был далеко не глупее, чем у людей в этой семье,— казалось, рассматривал незнакомых ему посетительниц с таким же любопытством, как и мальчик. Живописец долго бы любовался ночными эффектами этой картины, но Мари совсем не хотелось вступать в разговор с Барбетой, которая, словно призрак, поднялась на постели и уже широко раскрыла глаза, узнав недавнюю гостью; чтобы избавиться от неизбежных вопросов Цапли и зловония этой берлоги, девушка вышла во двор. Она быстро поднялась по лестнице, вырубленной в скале, приютившей хижину Налей-Жбана, и залюбовалась бесконечным разнообразием видов, ибо с каждым шагом вверх, к высотам, или вниз, к долинам, менялись виды, открывавшиеся взору. Луна окутывала светлой дымкой долину Куэнона. Для женщины, таившей в сердце отвергнутую любовь, была, конечно, сладостна та меланхолия, какую пробуждает в душе человека мягкое лунное сияние, фантастический облик темных утесов и переливы светлых красок на воде. В эту минуту тишину нарушил крик осла; Мари поспешно спустилась к лачуге шуана, и они двинулись в путь. Налей-Жбан, вооруженный охотничьей двустволкой и облаченный в одежду из козьих шкур, походил на Робинзона Крузо. Угрева-

тое морщинистое его лицо едва виднелось из-под широкополой шляпы, которую бретонские крестьяне по традиции носят и до сих пор, гордясь завоеванным в долгие века рабства правом носить этот старинный головной убор феодалов. Маленький ночной караван, двигаясь под охраной проводника, чья одежда, движения и фигура имели в себе что-то патриархальное, напоминал «Бегство в Египет» — творение сумрачной кисти Рембрандта. Налей-Жбан старался избегать большой дороги и повел незнакомок по бесконечному лабиринту путей Бретани.

И только тогда мадемуазель де Верней поняла, что такое война шуанов. Проезжая по узким дорогам, она могла составить себе истинное представление о характере местности, которая с горных высот казалась ей восхитительной; лишь проникнув в глубь этого края, можно постигнуть таящиеся в нем непреодолимые трудности и препятствия. С незапамятных времен каждое крестьянское поле огорожено здесь земляным валом призматической формы высотою в шесть футов; по его гребню растут каштаны, буки и дубы. Эти валы носят название *живые изгороди* (как и в Нормандии); длинные ветви деревьев, увенчивающие их, обычно протягиваются над дорогой и, переплетаясь, образуют огромный свод. Дороги, угрюмо стиснутые стенами из глинистой земли, похожи на крепостные рвы, и если только гранит, который в этих местах почти везде выходит на поверхность почвы, не создает на дорогах нечто вроде бугристой мостовой, они обычно покрыты такою непролазной грязью, что самый маленький воз должны тащить две пары волов или две низкорослые, но сильные лошади местной породы. Топкая грязь на этих дорогах — явление столь заурядное, что поневоле установился обычай прокладывать в поле, вдоль земляного вала, тропинку для пешеходов, называемую *стежка*,— она начинается и кончается с каждым новым участком земли. Для того чтобы перебраться с одного поля на другое, надо всякий раз подняться на земляной вал по нескольким ступенькам, зачастую скользким от дождя.

Нашим путешественникам пришлось преодолевать на этих извилистых дорогах много и других препятствий. Земляные укрепления, окружающие каждый клочок пашни, имеют вход шириной около десяти футов, и вход

этот запирается с помощью сооружения, называемого на западе Франции *околицей*. Околица — это бревно или толстая слега, просверленная на одном конце; отверстие насажено на неотесанный чурбан, который служит осью; на конце слеги, выступающем за ось, подвешен довольно тяжелый камень для противовеса, что позволяет даже ребенку без труда отворять этот оригинальный полевой шлагбаум, другой конец которого упирается в выемку, сделанную в земляной стене. Иногда крестьяне, вместо того чтобы воспользоваться в качестве противовеса камнем, берут для околицы ствол дерева с толстым комлем. Словом, детали такого затвора изменяются в зависимости от изобретательности владельца поля. Нередко околица состоит только из одной слеги, и оба конца ее с помощью глины вмазаны в земляной вал. Иногда же она похожа на квадратные ворота, сделанные из палок, разделенных одинаковыми промежутками и напоминающих перекладины лестницы, положенной набок. Ворота эти отворяют так же, как обычную околицу, и они откатываются в сторону на колесике из цельного дерева. Все эти изгороди, все эти околицы придают местности вид исполинской шахматной доски, где каждое поле образует совершенно изолированную клетку, замкнутую, как крепость, и, как она, защищенную валами. Входы, которые легко оборонять, всегда представляют для нападающих опаснейшее препятствие. В самом деле, бретонский крестьянин, оставляя землю под паром, думает, что он повышает ее плодородие, давая разрастись на ней огромным кустам дрока, и так ухаживает за ними, что в короткий срок эти кусты достигают человеческого роста. Такой предрассудок, вполне достойный людей, складывающих навоз на самом высоком месте своего двора, приводит к тому, что у них пятая часть всей пахотной земли покрыта густыми зарослями дрока, где можно скрыть множество засад. И, наконец, у этих любителей сидра, пожалуй, нет ни одного поля, где не было бы нескольких старых яблонь, опускающих до самой земли свои тяжелые ветви, губительные для всех злаков, что всходят в их тени. А если вы вспомните, как невелики тут крестьянские поля, какие густые, высокие деревья поднимаются вокруг них на земляных насыпях, захватывая своими алчными корнями четвертую часть каждо-

го участка, вы будете иметь представление о сельском хозяйстве и характере местности, по которой в эту ночь проезжала мадемуазель де Верней.

Трудно сказать, что побудило крестьян соорудить эти грозные ограды — эти неисчислимые препятствия, делающие край непроходимым, а войну армий — немыслимой; быть может, причиной тому было желание избежать споров из-за земли, а может быть — весьма удобный для лености обычай держать скот взаперти для того, чтобы не стеречь его на пастбище. Но, как бы то ни было, если шаг за шагом изучить эту местность, станет понятной неизбежность неудачи регулярных войск в борьбе с мятежниками, ибо здесь пятьсот человек могут сопротивляться войскам целого королевства. В этом и был весь секрет военной тактики шуанов. И мадемуазель де Верней поняла, почему Республика вынуждена была подавлять мятеж скорее методами полиции или дипломатии, чем бесплодным применением военной силы. Действительно, что можно было сделать против людей, достаточно сообразительных, чтобы отказаться от захвата городов, но обеспечивающих себе господство в полях, окруженных неразрушимыми укреплениями? Как не вступить с врагом в переговоры, если вся сила этих ослепленных крестьян была в искусном и предприимчивом вожде?.. Мари восхитилась прозорливостью министра, разгадавшего из своего кабинета тайну умиротворения мятежного края. Ей казалось, что она поняла, какими соображениями руководствуются люди, столь могучие, что одним взглядом они охватывают все государство, люди, чьи действия, преступные в глазах толпы, являются лишь игрой исполинской мысли. Эти грозные души словно обладают некой долей могущества рока или судьбы, даром предвидения, явные признаки которого внезапно возносят их высоко: только что толпа их искала в своих недрах, поднимает глаза и видит, что они уже парят над нею. Такие мысли как будто оправдывали и даже облагораживали мстительные замыслы мадемуазель де Верней, а внутренняя работа души и возникшие надежды усиливали ее энергию, помогали ей переносить непривычное и утомительное путешествие. В конце каждого наследственного клочка земли Налей-Жбан предлагал обеим всадницам спешиться и помогал им взобраться

по крутому подъему, а когда полевая стежка обрывалась, им приходилось снова садиться на ослов и ехать проселочными дорогами, где загустевшая грязь уже указывала на приближение зимы. Сочетание больших деревьев, высоких земляных валов и глубоких выемок дороги поддерживало в ложбинах сырость, которая то и дело окутывала троих наших путников ледяной пеленой. Изнемогая от усталости, они на рассвете добрались до лесов Маринье. По широкой лесной тропе двигаться стало легче: свод, образованный ветвями, и толстые стволы деревьев защищали от немилости небес, а многочисленные препятствия, которые раньше приходилось преодолевать, теперь исчезли.

Не успели они проехать лесом и одного лье, как услышали вдали смутный рокот голосов и звон колокольчика, но в серебристых его звуках не было той прерывистой монотонности, которая говорит о движении стада. Налей-Жбан очень внимательно прислушивался к этой мелодии. Вдруг порыв ветра донес до него несколько слов церковного песнопения, и, видимо, этот напев сильно подействовал на него: не слушая возражений мадемуазель де Верней, он повернул усталых ослов на тропинку, уводившую их в сторону от дороги на Сен-Джемс. Новый и мрачный пейзаж еще более усилил опасения мадемуазель де Верней. По обеим сторонам тропинки громоздились друг на друга гранитные скалы причудливых очертаний. Из расселин каменных глыб, словно толстые змеи, выползали корни вековых буков, отыскивая вдалеке питательные соки. Путь, казалось, шел между двумя рядами подземных гротов, знаменитых своими сталактитами. Огромные каменные фестоны, на которых темная зелень остролиста и папоротника сочеталась с зеленоватыми и белесыми пятнами мхов, скрывали пропасти и входы в глубокие пещеры. Но лишь только путники проехали по узкой тропинке несколько шагов, перед мадемуазель де Верней открылось удивительнейшее зрелище, и она поняла тогда причину упрямства Налей-Жбана.

Над полукруглой котловиной, точно грубые ступени, высились амфитеатром гранитные уступы гор, и на них поднимались друг над другом стройные черные ели и пожелтевшие каштаны; место это напоминало исполинский цирк, где зимнее солнце скорее разливало бледные

краски, чем свет своих лучей, где осень повсюду раскинула рыжие ковры сухих листьев. В центре этой залы, строителем которой как будто был всемирный потоп, возвышались три огромных друидических камня—обширный алтарь, над которым была водружена древняя церковная хоругвь. Человек сто коленопреклоненных мужчин, обнажив головы, молились в этой горной ограде, где ректор с двумя викариями служил мессу. Бедное облачение священника, слабый его голос, звучавший в широком пространстве, как тихий ропот, люди, исполненные веры, объединенные одним и тем же чувством и простертые перед алтарем, лишенным всякой роскоши, грубый, ничем не убранный крест, дикая мощь храма, время, место — все придавало этой сцене характер простоты, отличавшей первые века христианства. Мадемуазель де Верней застыла в восхищении. Эта месса в глубине лесов, культ божества, возвращенный гонением к своему первоисточнику, поэзия древних времен, смело возрожденная на лоне странной, причудливой природы, эти шуаны, вооруженные и безоружные, жестокие и молящиеся, воины и дети — все это так не походило ни на одно зрелище, которое она когда-либо видела воочию или в воображении! Она хорошо помнила, как в детстве ее приводила в восторг пышность богослужения римской церкви, столь привлекательная для чувств, но до сих пор она еще не знала бога, бога без прикрас: крест на алтаре, алтарь на земле; вместо резной каменной листвы, увенчивающей готические арки соборов,— осенняя листва высоких деревьев, поддерживающих небосвод; вместо множества красочных бликов, отбрасываемых цветными стеклами витражей,— первые красноватые лучи солнца, тусклыми отблесками скользящие по алтарю, священникам и молящимся; сборище людей здесь было только фактом, а не системой, это была молитва, а не религия. Но человеческие страсти, на мгновение подавленные и не нарушавшие гармонии таинственной картины, вскоре ожили и бурно выступили на сцену.

Когда появилась мадемуазель де Верней, кончалось чтение евангелия. В священнике она с некоторым страхом узнала аббата Гюдена и поспешила спрятаться от него за огромным обломком гранитной скалы. Она быстро повлекла за собою Франсину. Но напрасно пыталась

она увести Налей-Жбана с того места, которое он избрал для своего участия в церемонии этого богослужения. Мари надеялась избежать опасности, заметив, что характер местности позволит ей незаметно уйти раньше всех. Сквозь широкую трещину в граните она увидела, как аббат Гюден взобрался на каменную глыбу, заменившую ему церковную кафедру, и начал проповедь:

— In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti...[1].

При этих словах все благоговейно перекрестились.

— Дорогие братья,— громко сказал аббат,— сначала помолимся за усопших: за Жана Кошегрю, Никола Лаферте, Жозефа Бруэ, Франсуа Паркуа, Сульпиция Купьо. Все они из нашего прихода, и все умерли от ран, полученных ими в бою у Пелерины или при осаде Фужера... De profundis...[2].

Покаянный псалом читали, как это заведено обычаем, поочередно церковнослужители и молящиеся, и каждый стих произносили с усердием, предвещавшим успех проповеди. Когда псалом закончили, аббат Гюден снова заговорил, и голос его все разрастался: бывший иезуит знал, что горячая страстность речи — самый убедительный аргумент для его диких слушателей.

— Христиане! — говорил он.— Сии защитники бога подали вам пример исполнения долга. Не стыдно ли вам? Что скажут о вас в раю? Если бы не эти люди, которым уготовано вечное блаженство и которых святые встретят с распростертыми объятиями, то господь бог подумал бы, что в вашем приходе живут басурмане. Знаете ли вы, молодцы, что о вас говорят в Бретани и у самого короля?.. Не знаете? Верно? Так я вам скажу: «Как! Синие низвергли алтари, поубивали ректоров, казнили короля и королеву, хотят забрать из Бретани всех молодцов и сделать из них таких же синих, как они сами, и послать их далеко от родных приходов воевать в чужие края, где они могут умереть без покаяния и потому на веки веков пойдут в ад; у молодцов в приходе Маринье сожгли церковь,— а они опустили руки! О-о! Проклятая Республика продала с торгов божье имущество и земли сеньоров, разделила деньги между своими синими, а по-

---

[1] Во имя отца и сына и святого духа *(лат.)*.

[2] Покаянный псалом в заупокойной службе *(лат.)*.

том, чтобы питаться нашими деньгами, как она питается нашей кровью, издала такой декрет, чтобы с каждого экю в шесть франков брать по три франка, а из каждых шести человек брать по три человека в солдаты,— а молодцы из прихода Маринье не схватились за оружие, чтобы выгнать синих из Бретани! Ах, ах! Не пустят их в рай, и никогда не вымолить им спасения души!» Вот что о вас говорят! Христиане, дело-то идет о вечном блаженстве! А как вам его заслужить? Сражайтесь за веру и короля! Позавчера, в половине третьего дня, явилась мне сама святая Анна Орейская. И она сказала мне вот так же явственно, как я вам сейчас говорю: «Ты священник в приходе Маринье?» — «Да, госпожа моя, к вашим услугам!» — «Ну, так вот, я святая Анна Орейская, а богу я прихожусь родней, на бретонский лад. Я всегда нахожусь в Орей, а сюда пришла для того, чтобы ты сказал молодцам из Маринье: пусть они не надеются спасти свою душу, пока не возьмутся за оружие. Не давай им отпущения грехов, покуда не станут они служить богу. А когда они сделают это, благослови их ружья, и те молодцы, с кого ты снимешь грехи, станут без промаха попадать в синих, потому что ружья их будут освящены...» И она исчезла, а под дубом матушки Гусиные-Лапки так и остался запах ладана. Я это место приметил. Ректор из Сен-Джемса поставил там красивую деревянную богоматерь. А вечером туда прибрела мать Пьера Леруа, которого называют Крадись-по-Земле, и бог исцелил калеку от ревматизма за добрые дела ее сына. Вот она, эта женщина, и вы собственными своими глазами увидите, что она ходит одна, без всякой поддержки. О чудо! Такое же чудо, как воскресение из мертвых блаженного Мари Ламбрекена; бог сотворил это чудо, чтобы показать, что никогда он не покинет своих бретонцев, если они будут сражаться за служителей господа бога и за короля. Итак, дорогие мои братья, если хотите заслужить спасение души и показать себя защитниками короля, нашего владыки земного, вы должны во всем повиноваться человеку, которого послал король и которому мы дали имя Молодец. И тогда вы уже не будете басурманами, а вместе со всеми молодцами Бретани встанете под знамя божие и можете тогда забрать у синих из карманов деньги, которые они у вас украли,— ведь по-

ка вы ведете войну, поля ваши не засеяны, а потому господь бог и король отдают вам добро убитых врагов. Христиане, неужто вы хотите, чтобы люди сказали, что молодцы из Маринье отстали от молодцов из приходов Морбигана, святого Георгия, Витре и Антрена, а ведь они все поднялись на службу богу и королю. Или вы хотите отдать им одним всю добычу? Что же вы, как еретики, будете сидеть сложа руки, когда столько бретонцев стараются заслужить себе спасение души и защитить короля? «Оставь все и иди за мной», сказано в евангелии. Разве мы, священники, уже не отказались от десятины?! Оставьте все и ведите священную войну. Вы уподобитесь Маккавеям. И все вам тогда простится. С вами будут тогда ваши ректоры и другие священники, и вы победите! Помните, христиане, что только на нынешний день дана нам власть благословить ваши ружья. Кто не воспользуется сей благодатью, к тому святая Анна Орейская не будет столь милосердна, как в прошлую войну, и не преклонит ухо к их молитвам.

Патетический тон проповеди, громовые раскаты голоса и жестикуляция, от которой оратор весь вспотел, казалось, не произвели большого впечатления: крестьяне стояли неподвижно, как статуи, вперив глаза в проповедника. Но вскоре мадемуазель де Верней заметила, что эта общая у всех поза вызвана своего рода магнетизмом: аббат зачаровал толпу. Подобно великим актерам на сцене, он захватил свою паству, и она слилась воедино, ибо он взывал к ее страстям и корысти. Он заранее давал прощение всем крайностям, развязывал единственные узы, которые сдерживали этих грубых людей и заставляли их соблюдать требования религии и общественной морали. Он осквернил свой сан священнослужителя ради политических интересов; но в те времена революции каждый в пользу своей партии превращал в оружие то, чем обладал, и мирный крест Иисуса становился орудием войны, так же как и лемех кормильца-плуга. Не видя вокруг никого, кто бы понял ее мысли, мадемуазель де Верней обернулась, чтобы посмотреть на Франсину, и была немало удивлена, увидев, что девушка разделяет всеобщий энтузиазм: она набожно молилась, перебирая четки, которые, вероятно, дал ей Налей-Жбан во время проповеди.

— Франсина,— шепнула мадемуазель де Верней,— ты, значит, тоже боишься стать басурманкой?

— О-о, мадемуазель! — ответила бретонка.— Поглядите! Ведь мать Пьера ходит!..

Лицо и поза Франсины говорили о такой глубокой вере, что Мари поняла тайную суть этой проповеди, влияние священников на деревню и причину поразительного эффекта сцены, которая началась в эту минуту. Ближайшие к алтарю крестьяне стали подходить к проповеднику один за другим и, опустившись на колени, подавали ему свои ружья, а он складывал их на алтарь. Налей-Жбан тоже поспешил освятить свою старую двустволку. Трое священников запели гимн «Veni Creator» [1], и тот, что служил мессу, окутал оружие смерти облаком голубоватого дыма, вычерчивая кадилом зигзаги, казалось, переплетавшиеся в воздухе. Когда легкий ветер развеял дым ладана, ружья по очереди роздали владельцам. Каждый шуан, стоя на коленях, получал свое ружье из рук священника, который при этом читал по-латыни молитву. Когда все снова вооружились и вернулись на свои места, глубокий и до тех пор безмолвный энтузиазм проявился бурно и вместе с тем трогательно.

— Domine, salvum fac regem [2].

Священник запел эту молитву звучным голосом, все подхватили ее хором и дважды пропели с каким-то неистовством. В этом пении было что-то дикое и воинственное. Две ноты, падавшие на слово «regem», которое крестьяне легко поняли, прогремели так внушительно, что мадемуазель де Верней с невольным умилением перенеслась мыслями к изгнанной династии Бурбонов. Эти воспоминания пробудили в ней образы собственного её прошлого. Память возродила празднества при дворе, рассеявшемся по другим странам,— те празднества, где она блистала. Среди этих мечтаний внезапно возник образ маркиза, и тогда Мари, позабыв о картине, развернувшейся перед ее глазами, с обычной для женщин изменчивостью мыслей вернулась к планам мести, ради которых она рисковала жизнью, но которые могли рухнуть от единого взгляда. Она пожелала быть прекрасной в эту са-

---

[1] Гряди, создатель *(лат.)*.

[2] Господи, спаси короля *(лат.)*.

мую решительную минуту своей жизни, вспомнила, что у нее нет никакого убора, чтобы украсить прическу для бала, и ее прельстила мысль обвить голову веткой остролиста, так как ей понравились прихотливо изогнутые листья и красные ягоды этого растения.

—Ого! Теперь мое ружье, может, и даст иной раз осечку по дичи, но уж по синим — нет!.. Никогда!..— сказал Налей-Жбан, с довольным видом покачивая головой.

Мари более внимательно взглянула на своего проводника и нашла, что его лицо типично для всех тех, кого она тут видела. Мыслей у этого старика шуана, видимо, было не больше, чем у ребенка. Когда он смотрел на свое ружье, щеки и лоб у него морщились от наивного удовольствия, но религиозный фанатизм придавал радостному выражению оттенок жестокости, и на мгновение на лице этого дикаря проглянули пороки цивилизации.

Вскоре путники достигли деревни, то есть четырехпяти домишек, подобных лачуге Налей-Жбана, и когда мадемуазель де Верней уже заканчивала свой завтрак, состоявший из хлеба, масла и молока, в деревню прибыли и вновь завербованные шуаны. Этот беспорядочный отряд вел ректор, держа в руках грубый крест, превращенный в знамя, а вслед за ним молодой шуан, преисполненный гордости, нес церковную хоругвь своего прихода. Мадемуазель де Верней пришлось присоединиться к этому войску, ибо оно тоже направлялось в Сен-Джемс и, вполне естественно, стало ее защитой от всяких опасностей с той минуты, как Налей-Жбан, по счастью для нее, *проговорился*, сообщив предводителю отряда, что красавица, которой он служит проводником,— подружка Молодца.

К закату солнца путешественники добрались до Сен-Джемса, маленького городка, обязанного своим названием англичанам, которые построили его в XIV веке, в пору своего владычества в Бретани. У въезда в город мадемуазель де Верней увидела странную военную сцену, но не обратила на нее особого внимания, так как боялась, что кто-нибудь из врагов узнает ее, и спешила скорее въехать в городские ворота. В поле расположилось лагерем пять-шесть тысяч крестьян. Их одежда, похожая на одежду новобранцев, убежавших в лес у Пелерины,

исключала всякую мысль о войне. Это шумное скопище людей скорее напоминало большую ярмарку. Надо было присмотреться, чтобы разглядеть, что эти бретонцы вооружены, ибо различно скроенные козьи шкуры почти скрывали их карабины и самым заметным оружием были косы, заменявшие многим ружья, которые им должны были вскоре выдать. В этом сборище одни ели и пили, другие дрались или громко перебранивались, но большинство спало, растянувшись на земле. Тут ни в чем не было ни порядка, ни дисциплины... Внимание мадемуазель де Верней привлек офицер в красном мундире: она предположила, что он из английских войск. Подальше два других офицера, видимо, пытались обучить несколько шуанов, более смышленых, чем другие, обращению с пушками; пушек было две, и, вероятно, они составляли всю артиллерию будущей роялистской армии. Появление молодцов из прихода Маринье, которых узнали по их хоругви, встречено было громким ревом. Благодаря сумятице, вызванной прибытием этого отряда и священников, мадемуазель де Верней благополучно пробралась через лагерь в город. Она доехала до гостиницы, весьма неказистой, но находившейся недалеко от того дома, где устраивали бал. В город нахлынуло столько народу, что с великим трудом ей удалось получить в этой гостинице тесную каморку. Когда она там расположилась, пришел Налей-Жбан и, передав Франсине картонку с бальным нарядом ее госпожи, застыл у порога в неописуемой позе ожидания и нерешительности. В другое время мадемуазель де Верней позабавило бы посмотреть, как ведет себя бретонский крестьянин, очутившись за пределами своего прихода, но тут она поспешила прервать его оцепенение и, вынув из кошелька четыре экю, подала их своему проводнику.

— Вот возьми,— сказала она Налей-Жбану,— и, если хочешь сделать мне одолжение, немедленно возвращайся в Фужер. Только не проходи через лагерь и не вздумай, пожалуйста, отведать сидра.

Шуан взял деньги и, удивленный такой щедростью, посматривал то на полученные четыре экю, то на мадемуазель де Верней, но она махнула рукой, и он исчез.

— Вы отослали его? Как это можно, мадемуазель? — воскликнула Франсина.— Разве вы не заметили, что го-

род окружен? Как нам теперь выбраться из него? И кто нас защитит?

— А разве тут нет твоего защитника? — спросила мадемуазель де Верней и с лукавой насмешкой тихонько свистнула, подражая сигналу и повадкам Крадись-по-Земле.

Франсина покраснела и печально улыбнулась веселости своей госпожи.

—Да, но где же ваш защитник? — сказала она.

Мадемуазель де Верней выхватила кинжал, и бретонка, всплеснув руками, в испуге опустилась на стул.

— Зачем же вы приехали сюда, Мари? — воскликнула она молящим тоном, не требующим ответа.

Но мадемуазель де Верней уже сгибала сорванные ветки остролиста и говорила:

— Не знаю, право, хорош ли будет в волосах остролист? Но при таком свежем цвете лица, как у меня, можно позволить себе этот мрачный убор. Как ты думаешь, Франсина?

Еще несколько подобных фраз, брошенных этой необычайной девушкой в то время, как она совершала свой туалет, указывали на полнейшую ее беззаботность. Всякий, кто услышал бы ее, с трудом поверил бы, что для нее настала решающая минута, что она играла своей жизнью. Довольно короткое платье из индийского муслина, словно смоченное водой, обрисовывало изящные линии ее фигуры. Она надела поверх него красную накидку, и множество складок, постепенно удлиняясь к бедрам, легли красивым полукругом, как греческая туника. Пышная одежда языческих жриц скрадывала нескромный характер наряда, который мода той эпохи позволяла носить женщинам. Чтобы смягчить бесстыдство моды, Мари прикрыла газом свои белые плечи, слишком обнаженные низким вырезом туники. Она свернула узлом длинные косы, заколов их на затылке, и они образовали неправильный конус с закругленным концом, искусственно удлиняя линии головы и придавая им особую грацию, как у некоторых античных статуй; несколько прядей выбивались завитками надо лбом и обрамляли щеки длинными блестящими локонами. В такой одежде, с такой прической Мари поражала сходством с прославленными шедеврами античной скульптуры. Она улыбкой одобри-

ла свою прическу, ибо все эти ухищрения выделяли красоту ее лица, и, надев на голову венок из остролиста, с удовольствием заметила, что его красные ягоды удачно гармонируют с цветом туники. Загнув некоторые листочки так, чтобы видны были прихотливые контрасты в окраске верхней и нижней их стороны, мадемуазель де Верней оглядела в зеркало весь свой наряд, желая оценить его эффект.

— Нет, это ужасно смело! — сказала она, словно ее окружала толпа льстецов.— Я похожа на статую Свободы!..

Она осторожно засунула кинжал за корсаж, оставив на середине груди рукоятку, украшенную рубинами: красные их переливы должны были привлекать взоры к сокровищам, столь подло осквернённым ее соперницей. Франсина не решилась отпустить свою госпожу одну. Увидев, что Мари уже собирается уходить, она нашла множество предлогов для того, чтобы проводить ее, указывая на все препятствия, какие приходится преодолевать женщине, когда она идет на праздник в маленьком городке Нижней Бретани. Кто же снимет с мадемуазель де Верней плащ и верхнюю обувь, которую пришлось надеть в защиту от грязи и навоза, хотя улицу и посыпали песком? Надо снять и газовую вуаль, закрывавшую ее лицо от взглядов шуанов, ибо любопытство, несомненно, привлекло их к тому дому, где происходило празднество. Действительно, на улице было так людно, что им пришлось идти меж двух рядов шуанов. Франсина больше не пыталась отговаривать свою госпожу; однако, оказав Мари последние услуги, оправив ее наряд, вся прелесть которого заключалась в оригинальности и свежести, она осталась во дворе, чтобы не бросить ее на произвол судьбы и, в случае надобности, примчаться ей на помощь; бедная бретонка видела впереди только несчастья.

В то время как Мари де Верней шла на праздник, в покоях Монторана происходила довольно странная сцена. Молодой маркиз, закончив свой туалет, надевал широкую красную ленту — отличительный знак его первенства на предстоящем собрании, как вдруг в комнату вошел встревоженный аббат Гюден.

— Идите скорее, маркиз,— сказал он,— лишь вы один

можете успокоить бурю, которая почему-то поднялась среди наших начальников. Они хотят даже бросить королевскую службу. Кажется, этот дьявол Рифоэль — виновник всей смуты. И всегда подобные ссоры вызывает какой-нибудь пустяк! Говорят, будто госпожа дю Га упрекнула Рифоэля за то, что он явился на бал очень плохо одетым.

— Сумасшедшая женщина! — воскликнул маркиз.— Вздумала требовать...

— Шевалье дю Висар,— продолжал Гюден, прерывая его,— ответил, что если бы дали ему деньги, обещанные от имени короля...

— Довольно, аббат... Мне все понятно. Эта сцена была подготовлена заранее. Не так ли? И вы являетесь послом...

— Я, маркиз? — снова прервал его аббат.— Напротив, я решительно стану поддерживать вас, и, надеюсь, вы будете ко мне справедливы и поверите, что восстановление алтарей во Франции, восстановление короля на троне его отцов представляют для моих смиренных трудов награду гораздо более заманчивую, нежели сан епископа Реннского, который вы мне...

Аббат не посмел продолжать свою речь, ибо при этих словах маркиз горько усмехнулся. Но тотчас молодой предводитель отогнал от себя печальные мысли, лицо его приняло строгое выражение, и он пошел вслед за аббатом в комнату, из которой доносились сердитые голоса.

— Я здесь не признаю ничьей власти! — кричал Рифоэль, бросая на окружающих горящие взгляды и хватаясь за эфес сабли.

— А власть здравого смысла вы признаете? — холодно спросил маркиз.

Молодой шевалье дю Висар, более известный под своим родовым именем — Рифоэль, умолк, увидев главу католической армии.

— Что-нибудь случилось, господа? — спросил молодой предводитель, вглядываясь в разъяренные лица спорщиков.

— Да, случилось, маркиз,— ответил ему знаменитый контрабандист, смущенный, как простолюдин, который, очутившись перед вельможей, вначале чувствует на себе ярмо предрассудков, а затем, перешагнув преграду,

отделяющую его от знатного человека, видит в нем равного себе и уже не знает никаких границ.— Да, кое-что случилось,— повторил он,— и вы явились очень кстати. Я не мастер на льстивые речи и объясняюсь напрямик. Всю прошлую войну я командовал отрядом в пятьсот человек. С тех пор как мы снова взялись за оружие, я завербовал на службу королю тысячу ребят, и головы у них такие же упрямые, как у меня. Вот уже семь лет, как я рискую жизнью ради правого дела. Я вас за это не упрекаю, но, знаете, всякий труд требует оплаты. Так вот, для начала я хочу называться господин *де* Котро и желаю, чтобы за мной признали чин полковника, иначе я сговорюсь с первым консулом и принесу ему повинную. Видите ли, господин маркиз, у меня и у моих людей есть чертовски назойливый кредитор и приходится всегда удовлетворять его требования!.. Вот он,— добавил контрабандист, хлопнув себя по животу.

— Скрипачи уже пришли? — насмешливо спросил маркиз у г-жи дю Га.

Но контрабандист грубо затронул тему, слишком важную для этих людей, столь же расчетливых, как и честолюбивых; слишком долго они ждали подтверждения своих надежд на королевские милости, и поэтому презрительный вопрос их молодого предводителя не мог положить конец этой сцене. Юный и горячий шевалье дю Висар быстро загородил дорогу Монторану и схватил его за руку, чтобы тот не ушел.

— Берегитесь, маркиз! — сказал он.— Вы слишком пренебрежительно относитесь к людям, имеющим некоторое право на признательность того лица, чьим представителем вы здесь являетесь. Нам известно, что его величество дало вам полномочия устанавливать наши заслуги, за которые нам полагается награда... на земле или на том свете,— ведь эшафот поджидает нас каждый день. Про себя скажу, что чин генерал-майора...

— Вы хотите сказать — полковника?

— Нет, маркиз. Шарет уже произвел меня в полковники, мое право на чин, о котором я говорю, совершенно бесспорно, и я хлопочу в данную минуту не о себе, но обо всех моих храбрых соратниках, ибо их заслуги еще надо засвидетельствовать. Для этого достаточно вашей подписи, и до поры до времени они удовлетворятся обе-

щаниями. И надо признаться,— шепотом добавил дю Висар,— что это очень немного. Но,— громко сказал он,— когда в Версале взойдет солнце и озарит счастливые дни монархии, легко ли будет преданным людям, которые помогали королю завоевать Францию в самой Франции, легко ли им будет добиться милости для своих семей, пенсий для вдов, возвращения земель и прочего имущества, которое у них так некстати конфисковали. Не думаю! Поэтому, маркиз, далеко не лишним окажутся письменные доказательства их заслуг. Я никогда не усомнюсь в короле, но не доверяю его министрам и придворным: эти бакланы будут трубить ему в уши о благе государства, о чести Франции, интересах короны и еще множество всякого вздора. А над каким-нибудь честным вандейцем или храбрым шуаном просто посмеются, только потому, что он уже будет стар, потому что шпага, которую он обнажил ради правого дела, будет путаться у него в ногах, исхудавших в долгие дни лишений... Ну? Вы находите, что мы не правы?

— Вы говорите замечательно, господин дю Висар, но, пожалуй, говорите слишком рано,— ответил маркиз.

— Послушайте, маркиз,— тихо сказал ему граф де Бован,— а ведь Рифоэль, ей-богу, изложил все очень правильно. Вы-то вполне можете быть уверены, что король выслушает вас. А ведь нам придется видеть его лишь изредка, и, признаюсь вам, если вы не дадите мне честного слова дворянина добиться для меня в свое время должности обер-егермейстера Франции, какого черта я буду рисковать своей головой? Завоевать для короля Нормандию — не шуточное дело, поэтому я надеюсь также и на орден. Но,— добавил он, краснея,— мы еще успеем поговорить обо всем этом. Избави меня бог надоедать вам, по примеру этих нищих мужланов. Поговорите обо мне с королем, и этого с меня достаточно.

Каждый из главарей нашел более или менее ловкий способ осведомить маркиза о непомерной награде, какую он ждал за свои заслуги. Один скромно просил пост губернатора Бретани, другой — поместье и титул барона, третий — чин, четвертый — командование полком, и все требовали пенсий.

— А вы, барон? — спросил маркиз, обращаясь к дю Генику.— Вы разве ничего не хотите получить?

— Право, маркиз, эти господа оставили для меня только корону Франции. Что ж, я могу удовольствоваться ею!..

— Эх, господа! — сказал аббат Гюден громовым голосом.— Подумайте все-таки! В день победы ваша торопливость все испортит. Ведь королю придется сделать уступки революционерам.

— Якобинцам? — злобно крикнул контрабандист.— Пусть только король даст мне волю,— ручаюсь, что тысяча моих молодцов живо их перевешает, и мы от них избавимся.

— Господин де Котро,— сказал маркиз,— я вижу, что приглашенные уже начинают съезжаться. Мы все должны соперничать в заботах и усердии, чтобы побудить этих людей примкнуть к нашему святому делу, и вы сами понимаете, что сейчас не время заниматься вашими требованиями, будь они даже и справедливы.

С этими словами маркиз направился к двери, как будто хотел встретить первых гостей — несколько человек окрестных дворян. Но смелый контрабандист загородил ему дорогу и принял вдруг покорный и почтительный вид.

— Нет, нет, маркиз! Извините меня, но в тысяча семьсот девяносто третьем году якобинцы слишком хорошо научили нас, что не тот ест хлеб, кто его жнет. Подпишете мне вот эту бумажку, и завтра же я приведу вам полторы тысячи молодцов. Не подпишете,— я сговорюсь с первым консулом.

Бросив вокруг гордый взгляд, маркиз увидел, что дерзкие слова старого шуана и решительный его тон никого не возмущают. Только один человек, сидевший в углу, не принимал участия в этой сцене и спокойно набивал табаком глиняную трубку. Откровенное презрение к жадным ораторам, скромная поза и сочувствие, которое маркиз прочел в его взгляде, заставили де Монторана внимательнее посмотреть на этого бескорыстного служаку, и он узнал в нем майора Бриго. Вождь роялистов быстро подошел к нему.

— А ты? — сказал он.— Чего ты просишь?

— Э, маркиз! Пусть вернется король, и я буду доволен.

— А для себя?

— Для себя? Шутить изволите!

Маркиз пожал заскорузлую руку бретонца и, подойдя к г-же дю Га, сказал:

— Сударыня, я могу погибнуть в сражениях, не успев представить королю точный отчет о состоянии католической армии в Бретани. Если вам придется увидеть реставрацию, не забудьте ни этого славного человека, ни барона дю Геника. В них двоих больше преданности, чем во всех этих господах.

И он указал на вожаков, с явным нетерпением ожидавших, чтобы маркиз удовлетворил их просьбы. Все они держали в руках развернутые бумаги — вероятно, свидетельства их заслуг, удостоверенных роялистскими генералами в недавних войнах,— и все уже начинали роптать. В этой толпе аббат Гюден, граф де Бован и барон дю Геник совещались, как помочь маркизу отклонить столь непомерные притязания, ибо находили положение молодого предводителя весьма затруднительным.

Вдруг маркиз обвел это сборище своими голубыми глазами, блестевшими иронией, и сказал звонким голосом:

— Господа, я не знаю, достаточно ли широки полномочия, которыми королю угодно было облечь меня,—да, достаточно ли они широки для того, чтобы я мог удовлетворить ваши просьбы! Может быть, он не предвидел такого рвения и такой преданности. Вы сами сейчас будете судить о моих обязанностях, и, возможно, я окажусь в состоянии их выполнить.

Он вышел и вскоре вернулся, держа в руке развернутое письмо, скрепленное печатью и подписью короля.

— Вот грамота, в силу которой вы обязаны повиноваться мне,— сказал он.— Этот документ дает мне право управлять от имени короля Бретанью, Нормандией, провинциями Мэн и Анжу и устанавливать заслуги офицеров, отличившихся в королевских армиях.

Все сборище радостно всколыхнулось. Шуаны подошли к маркизу и почтительно его обступили. Все взгляды были прикованы к подписи короля. Молодой вождь стоял перед камином; вдруг он повернулся, бросил грамоту в огонь, и она сгорела в мгновение ока.

— Отныне я хочу командовать только теми, кто видит в короле короля, а не добычу их алчности! — воскликнул юноша.— Вы свободны, господа! Можете меня покинуть.

Госпожа дю Га, аббат Гюден, майор Бриго, шевалье дю Висар, барон дю Геник и граф де Бован восторженно крикнули: «Да здравствует король!» Остальные вожаки секунду колебались, подхватить ли им этот возглас, но благородный поступок маркиза увлек их, все стали просить, чтобы он все забыл, заверяя, что и без королевской грамоты он по-прежнему будет их вождем.

— Идемте танцевать,— громко сказал граф де Бован,— и будь что будет! В конце концов,— весело добавил он,— лучше, друзья мои, просить господа бога, чем его святых! Давайте сначала сражаться, а там увидим.

— А! Вот это правильно. Прошу прощенья, барон,— тихо сказал Бриго, обращаясь к верному дю Генику,— я никогда не видел, чтобы с утра требовали плату за поденщину.

Все разошлись по гостиным, где уже собирались приглашенные. Маркиз тщетно пытался прогнать выражение печали, омрачавшее его лицо; ясно было видно, как тяжело подействовала эта сцена на человека, чья преданность еще сочеталась с прекрасными иллюзиями юности. И всем вожакам стало стыдно.

Пьянящая радость охватила это сборище, состоявшее из рьяных приверженцев роялистской партии: в глуши мятежной провинции они никогда не могли правильно судить о событиях революции и, естественно, принимали за действительность совершенно беспочвенные надежды. Смелые военные операции, начатые Монтораном, его имя, его состояние, его способности подняли во всех дух и вызвали политическое опьянение, самое опасное из всех видов опьянения, ибо охладить его могут только потоки крови, почти всегда проливаемой напрасно. Для всех собравшихся тут людей революция была лишь кратковременной смутой во французском королевстве, где, как им казалось, ничто не изменилось. Этот сельский край все еще принадлежал дому Бурбонов: роялисты так полновластно царили в нем, что Гош четыре года назад добился тут не столько мира, сколько перемирия. Дворя-

не весьма легкомысленно судили о республиканцах; Бонапарт был для них кем-то вроде Марсо, но более удачливым, чем этот его предшественник. Итак, женщины очень весело готовились танцевать. Лишь несколько главарей, которым уже приходилось драться с синими, сознавали, насколько положение серьезно; но, зная, что говорить о первом консуле, о его могуществе — бесполезно, ибо отсталые соотечественники их не поймут, они беседовали меж собой, равнодушно посматривая на женщин, которые в отместку вовсе не глядели на них и разбирали друг друга по косточкам. Г-жа дю Га, приняв на себя роль хозяйки дома, старалась успокоить нетерпение танцорок, обращаясь к каждой из них с обычными любезностями. Уже слышались визгливые звуки настраиваемых скрипок. Вдруг г-жа дю Га заметила маркиза, лицо его все еще хранило печальное выражение. Она быстро подошла к нему и сказала:

— Смею надеяться, что вас удручает не та весьма обычная сцена, которая произошла у вас с нашими грубиянами?

Она не получила ответа, маркиз был поглощен своими мыслями и как будто все еще слышал пророческий голос Мари, ее доводы, когда она среди этих самых вожаков в Виветьере убеждала его оставить борьбу королей против народа. Но слишком высока была душа у этого молодого человека, слишком много было в нем гордости и, может быть, убежденности, чтобы бросить начатое дело, и в эту минуту он решил мужественно его продолжать, невзирая на препятствия. Он гордо поднял голову и лишь тогда понял, что говорила ему г-жа дю Га.

— Вы, конечно, мыслями в Фужере? — сказала она с горечью, видя, что напрасны ее попытки развлечь маркиза.— Ах, сударь, я готова отдать всю свою кровь, лишь бы эта женщина принадлежала вам, лишь бы видеть, что бы счастливы с нею.

— Зачем же вы стреляли в нее?

— Хотела, чтобы она умерла или была в ваших объятиях. Да, сударь, я могла любить маркиза де Монторана, ибо видела в нем героя. Но теперь у меня осталось к нему лишь чувство горестной дружбы: я вижу, что его разлучило со славой непостоянное сердце какой-то оперной плясуньи.

— Что касается любви,— иронически сказал маркиз,— то вы неверно судите обо мне. Если бы я любил эту девицу, сударыня, я бы меньше желал ее... И если бы не вы, я, пожалуй, больше и не думал бы о ней.

— Вот она! — внезапно сказала г-жа дю Га.

Маркиз мгновенно обернулся, и от этой стремительности несчастной женщине стало мучительно больно; но яркий свет свечей позволял хорошо различить малейшие перемены в выражении лица человека, так страстно любимого ею, и, когда Монторан повернул голову, улыбаясь этой женской хитрости, в душе г-жи дю Га пробудился проблеск надежды на возврат счастья.

— Над чем вы смеетесь? — спросил граф де Бован.

— Над лопнувшим мыльным пузырем,— весело ответила г-жа дю Га.— Маркиз, если верить его словам, удивляется теперь, как могло его сердце хоть одно мгновение биться ради девки, которая называла себя мадемуазель де Верней. Помните ее?

— Ради девки?.. — с упреком повторил граф.— Сударыня, я — виновник зла и должен его исправить: даю вам честное слово, что эта девушка действительно дочь герцога де Верней.

— Граф! — воскликнул маркиз сразу изменившимся голосом.— Какому же вашему честному слову верить — тому, что вы дали в Виветьере, или сегодня, в Сен-Джемсе?

Громкий голос доложил о мадемуазель де Верней. Граф де Бован бросился к двери, предложил руку красавице незнакомке, с величайшей почтительностью провел ее через толпу любопытных и представил маркизу и г-же дю Га.

— Верить только тому, что сказано сегодня,— ответил он ошеломленному Монторану.

Госпожа дю Га побледнела, увидев ненавистную ей девушку. С минуту мадемуазель де Верней стояла неподвижно и гордым взором обводила залу, отыскивая гостей, бывших в Виветьере. Она дождалась вынужденного поклона соперницы, ответила легким покровительственным кивком, не взглянув на маркиза, дозволила де Бовану отвести ее на почетное место и усадить рядом с г-жой дю Га, которая, следуя женскому инстинкту, не выказала ни малейшей обиды и тотчас же приняла ве-

селый, дружелюбный вид. Необычайный наряд и красота мадемуазель де Верней вызвали в зале шепот. Когда маркиз и г-жа дю Га посмотрели на участников сборища в Виветьере, они заметили, что поза каждого из них выражала почтение, казалось, непритворное, и, видимо, все старались придумать способ войти в милость к молодой парижанке, которую они еще недавно так унизили. Итак, враги встретились!

— Но ведь это — колдовство, мадемуазель! В целом мире только вы можете так изумлять людей! Как? Вы приехали сюда совсем одна? — говорила г-жа дю Га.

— Совсем одна,— подтвердила мадемуазель де Верней.— Сегодня вечером, сударыня, вы можете убить только одну меня.

— Будьте снисходительны! — продолжала г-жа дю Га.— Я не могу выразить, как мне приятно снова увидеть вас! Право! Меня все время мучило воспоминание о моей вине перед вами, и я искала случая загладить ее.

— Мне легко простить вам, сударыня, все, в чем вы виноваты передо мною, но смерть синих, убитых вами, терзает мне сердце. Пожалуй, я могла бы еще посетовать на вашу резкую манеру вести корреспонденцию... Но я все вам прощаю в благодарность за услугу, которую вы мне оказали.

Госпожа дю Га утратила самообладание: прекрасная соперница пожимала ей руку, улыбаясь с оскорбительной любезностью. Маркиз стоял неподвижно, но в эту минуту он крепко схватил за руку графа де Бована.

— Вы недостойно обманули меня,— сказал он,— и даже бросили тень на мое честное имя. Я не какой-нибудь Жеронт из комедии. Или вы, или я должны поплатиться за это жизнью.

— Маркиз,— высокомерно ответил де Бован,— я готов дать вам все объяснения, какие вы пожелаете.

И они направились в соседнюю комнату. Даже лица, наименее посвященные в тайну этой сцены, начинали понимать ее значение, и когда скрипка заиграла ритурнель танца, никто не тронулся с места.

— Мадемуазель, какую же услугу я имела честь оказать вам? Услугу столь важную, чтобы заслужить...— сказала г-жа дю Га и с каким-то бешенством сжала губы.

— А разве не вы, сударыня, сделали для меня ясным истинный характер маркиза де Монторана? Как равнодушно этот ужасный человек отдал меня на гибель!.. Я охотно уступаю его вам.

— Зачем же вы здесь? Чего вы ищете? — запальчиво спросила г-жа дю Га.

— Уважения и достоинства, которые вы отняли у меня в Виветьере, сударыня. А все остальное... Будьте совершенно спокойны. Даже если бы маркиз и вернулся ко мне, вам должно быть известно, что «любовь не возвратится вновь».

Госпожа дю Га взяла мадемуазель де Верней за руку с той жеманной ласковостью, какую женщины охотно выказывают друг другу, особенно в присутствии мужчин.

— Ну что ж, бедная моя детка! Я счастлива, что вы так благоразумны. Если услуга, которую я оказала вам, была сначала жестокой услугой, то пусть теперь она будет по крайней мере полной,— сказала она, пожимая девушке руку, хотя ей хотелось вонзить ногти в эту нежную, тонкую ручку.— Послушайте, я знаю повадки Монторана,— продолжала она с ехидной улыбкой.— Он обманул бы вас: он не хочет и не может ни на ком жениться.

— Вот как!

— Да, мадемуазель! Он принял возложенное на него опасное поручение лишь для того, чтобы заслужить руку мадемуазель д'Юкзель,— его величество король обещал ему полную свою поддержку.

— Вот как!

Мадемуазель де Верней не прибавила ни слова к этому насмешливому возгласу. Красивый шевалье дю Висар, нетерпеливо желая получить прощение за свою шутку, послужившую началом оскорблений в Виветьере, подошел к Мари и почтительно пригласил ее танцевать. Она протянула ему руку и упорхнула, чтобы занять место в кадрили, в которой участвовала и г-жа дю Га. Бальные туалеты дам, напоминавшие моды изгнанного из Франции двора, напудренные их прически или завитые и взбитые волосы — все это казалось смешным по сравнению с изящным, богатым и вместе с тем строгим нарядом, который мода дозволяла носить мадемуазель де Верней.

Женщины вслух возмущались, но in petto[1] завидовали. Мужчины не могли налюбоваться естественной красотой прически без накладных буклей и нарядом, вся прелесть которого была в том, что он выделял прелестную, стройную фигуру.

В это время в залу вернулись маркиз и граф. Оба встали позади мадемуазель де Верней; она не обернулась. Но если бы даже она не увидела Монторана в зеркале, находившемся против нее, она угадала бы его присутствие по изменившимся манерам г-жи дю Га: ее деланно-равнодушный вид плохо скрывал нетерпеливое ожидание поединка, который влюбленные рано или поздно должны были начать. Маркиз разговаривал с графом де Бованом и с другими гостями, прислушиваясь в то же время к словам кавалеров и дам, которые по прихоти контрданса на минуту заняли место мадемуазель де Верней и ее соседей.

— О бог мой! Да, сударыня, она пришла одна,— сказал кавалер.

— Какая смелость! — ответила танцорка.

— Право, будь я так одета, как она, мне казалось бы, что я голая,— сказала другая дама.

— Костюм, конечно, не очень пристойный,— возразил кавалер,— но она так красива, и этот наряд так к ней идет!

— Послушайте, мне стыдно за нее: она чересчур хорошо танцует, сразу видно оперную плясунью,— продолжала завистливая дама.

— Как вы думаете, она явилась сюда для переговоров от имени первого консула? — спросила третья дама.

— Ну, это шутка! — ответил кавалер.

— Вряд ли она принесет в приданое невинность,— смеясь, сказала первая танцорка.

Молодец резко повернулся, чтобы узнать, кто из женщин позволил себе эту наглую насмешку, и тогда г-жа дю Га посмотрела на него таким взглядом, который ясно говорил: «Видишь, что о ней думают».

— Сударыня,— со смехом сказал граф де Бован злому недругу Мари,— пока еще только дамы лишили ее невинности.

---

[1] Втайне (итал.).

В душе Монторан простил графу всю его вину. Он наконец осмелился взглянуть на свою возлюбленную: при ярком блеске свечей она казалась еще милее, как это бывает почти со всеми красивыми женщинами. Но она повернулась к нему спиной, и, возвратившись на место, заговорила со своим кавалером — до слуха маркиза долетал ее необычайно приветливый, ласковый голос.

— Первый консул направляет к нам весьма опасных послов,— сказал ее кавалер.

— Сударь, это уже было сказано в Виветьере!—ответила она.

— Ах! У вас великолепная память! — воскликнул дворянин, досадуя на себя за свою оплошность.

— Чтобы прощать оскорбления, надо о них помнить,— сказала она и улыбкой вывела его из затруднительного положения.

— Эта амнистия распространяется на всех нас? — спросил маркиз.

Но она не ответила и с детским упоением унеслась в танце, повергнув Монторана в замешательство. Он смотрел на нее холодно и печально; заметив это, она кокетливо склонила голову, чтобы подчеркнуть грациозный изгиб шеи, и, конечно, не упустила ни одного движения, которое могло выделить редкое совершенство ее фигуры. Мари влекла, как надежда, и ускользала, как воспоминание. Видеть ее в такие минуты — значило проникнуться желанием обладать ею любой ценой. Ей это было известно, и сознание своей красоты наделяло ее невыразимым очарованием. Маркиз чувствовал, как в сердце у него поднялся вихрь любви, ненависти и безумия; он крепко сжал руку де Бована и скрылся.

— Как? Он ушел? — спросила мадемуазель де Верней, возвратившись на свое место.

Граф бросился в соседнюю залу и многозначительно кивнул головой своей протеже, подходя к ней с Монторaном.

«Он мой»,— подумала она, разглядывая маркиза в зеркале; лицо его сияло нежным волнением надежды.

Она встретила молодого вождя гневным молчанием, но, расставаясь с ним, подарила его улыбкой. Она видела, насколько он выше других, и гордилась, что может деспотически мучить его; ей хотелось заставить его доро-

го заплатить за несколько ласковых слов, чтобы он почувствовал всю их ценность, в ней говорил инстинкт, которому в большей или меньшей степени подчиняются все женщины. Когда кадриль кончилась, все дворяне, которые были в Виветьере, окружили Мари, и каждый старался словами, более или менее льстивыми, любезностями, более или менее удачными, добиться прощения своей вины, но тот, кого она хотела видеть у своих ног, не подходил к толпе поклонников, где она царила.

«Он все еще считает себя любимым,— подумала она,— и не хочет смешиваться с людьми, для меня безразличными».

Она отказалась танцевать. И словно этот праздник был устроен в ее честь, она переходила от одной группы участников кадрили к другой, опираясь на руку графа де Бована, открыто выказывая ему некоторую благосклонность. События, происшедшие в Виветьере, стараниями г-жи дю Га были уже известны всем в мельчайших подробностях: разглашая отношения мадемуазель де Верней и маркиза, она надеялась воздвигнуть новую преграду на их пути к примирению. Итак, двое поссорившихся влюбленных стали предметом всеобщего внимания. Монторан не осмеливался подойти к возлюбленной: сознание своей вины и бурные, вновь загоревшиеся желания внушали ему какую-то робость перед нею, а девушка, как будто разглядывая танцующих, тайком смотрела пытливым взглядом на его притворно-спокойное лицо.

— Здесь ужасно жарко,— сказала она своему кавалеру.—Я вижу, что у маркиза Монторана совершенно мокрый лоб. Проведите меня в другую комнату,— тут нечем дышать. Я задыхаюсь.

И кивком головы она указала графу на соседнюю гостиную, где несколько человек играли в карты. Маркиз последовал за своей возлюбленной, угадав ее слова по движению губ. Он дерзнул надеяться, что она удалилась от толпы для того, чтобы увидеться с ним, и эта возможная милость придала его страсти еще не изведанную силу; его любовь возросла от упорного сопротивления, которое он уже несколько дней считал своим долгом ей оказывать. Мари приятно было мучить молодого предводителя шуанов, взгляд ее, такой ласковый и бархати-

стый, когда она смотрела на графа де Бована, становился сухим и мрачным, когда ее глаза случайно встречались с глазами маркиза. Монторан, казалось, сделал над собою огромное усилие и сказал глухим голосом:

— Итак, вы не прощаете меня?

— Любовь ничего не прощает или прощает все,— холодно ответила Мари.— Но для этого надо любить...— добавила она, увидев, что он радостно встрепенулся.

Она опять оперлась на руку графа и быстро вышла в соседнюю комнату, похожую на будуар. Маркиз последовал за ней.

— Вы должны меня выслушать! — воскликнул он.

— Право, можно подумать, сударь, что я пришла сюда ради вас, а не из уважения к самой себе,— ответила она.— Если вы не прекратите этого некрасивого преследования, я уйду.

— Подождите,— сказал он, вспомнив одну из самых безумных выходок последнего герцога Лотарингского.— Разрешите мне говорить с вами только до тех пор, пока я буду в силах держать в руке этот уголь.

Он наклонился к камину, схватил раскаленный уголь и крепко сжал его в руке. Мадемуазель де Верней покраснела, быстро высвободила свою руку из-под руки графа и удивленно взглянула на Монторана. Граф тихо вышел, оставив влюбленных вдвоем. Столь безумный поступок смутил сердце Мари: в любви самое убедительное—отважное безрассудство.

— Этим вы лишь доказываете, что могли бы предать меня жесточайшей пытке,— сказала она, пытаясь разжать его руку.— У вас во всем крайности. Поверив словам глупца и клевете женщины, вы заподозрили ту, которая спасла вам жизнь, заподозрили ее в том, что она способна продать вас!

— Да, я был жесток с вами,— сказал он, улыбаясь.—Забудьте это навсегда, а я никогда этого не забуду. Выслушайте меня... Я был недостойно обманут, но в тот роковой день соединилось столько обстоятельств, говоривших против вас...

— И достаточно было этих обстоятельств, чтобы ваша любовь угасла?

Он не решался ответить. Она сделала презрительный жест и встала.

— О Мари! Я больше не хочу верить, что вы...

— Да бросьте же уголь. Безумец! Разожмите руку. Я требую!

Ему было приятно противиться нежным усилиям возлюбленной, длить острое наслаждение, чувствуя, как его руку охватывают тонкие ласковые пальчики, но наконец ей удалось разжать эту обожженную руку, и Мари готова была поцеловать ее. Кровь затушила уголь.

— Ну! Чего вы этим достигли?..— спросила Мари.

Она нащипала корпии из своего носового платка, перевязала неглубокую рану, и, чтобы скрыть ее, маркиз надел перчатку. Г-жа дю Га на цыпочках вошла в гостиную и принялась подсматривать за влюбленными, ловко прячась от них, откидываясь назад при малейшем их движении. Она видела все, что они делали, но, конечно, ей трудно было догадаться, о чем они беседуют.

— Если бы все, что вам говорили обо мне, было правдой,— признайтесь, что в эту минуту я была бы вполне отомщена! — злорадно сказала Мари.

Маркиз побледнел.

— Какое же чувство привело вас сюда?

— Ну, милый мой мальчик, вы самый настоящий фат! Неужели вы думаете, что можно безнаказанно оскорблять такую женщину, как я? Я сюда пришла ради вас и ради себя,— сказала она после краткой паузы и, взявшись за рубиновую гроздь, сверкавшую на ее груди, показала ему клинок кинжала.

«Что все это значит?» — думала г-жа дю Га.

— Но вы еще любите меня...— продолжала Мари,— по крайней мере желаете меня.— И, взяв его за руку, добавила:— Доказательство этому — глупость, которую вы только что совершили. Я вновь стала для вас той, кем хотела быть, и ухожу счастливой. Кто любит, всегда получает отпущение грехов. А я любима, я вновь завоевала уважение человека, который для меня — весь мир. Теперь я могу умереть.

— Так вы еще любите меня? — спросил маркиз.

— Разве я это сказала? — насмешливо ответила она, с радостью наблюдая, как усиливается пытка, которой она подвергла маркиза с первой же минуты своего появления.— А знаете, мне пришлось принести некоторые жертвы для того, чтобы попасть сюда! Я спасла от смер-

ти графа де Бована, и он оказался человеком более признательным, чем вы: в награду за мое покровительство он предложил мне свое имя и состояние. Вам подобная мысль никогда не приходила в голову!

Эти слова ошеломили маркиза, он решил, что граф обманул его, и ярость с небывалой еще силой охватила его; однако он сдержался и ничего не ответил.

— А-а! Вы раздумываете? — сказала она с горькой улыбкой.

— Мадемуазель, ваше недоверие оправдывает мои сомнения,— ответил маркиз.

— Уйдемте отсюда, господин де Монторан! — воскликнула Мари, заметив край платья г-жи дю Га.

Она поднялась. Но желание довести соперницу до отчаяния не давало ей уйти.

— Итак, вы хотите ввергнуть меня в ад? — спросил маркиз и сжал ее руку.

— А разве вы не ввергли меня туда пять дней назад? И даже в эту минуту разве не терзает меня жестокое сомнение в искренности вашей любви?

— Но почем я знаю, не хотите ли вы, из мести завладев всей моей жизнью, омрачить ее, вместо того чтобы искать моей смерти?..

— Ах, вы не любите меня! Вы думаете только о себе, а не обо мне! — с бешенством сказала она, проливая слезы.

Кокетка знала власть своих глаз, увлажненных слезами.

— Возьми мою жизнь, но осуши свои слезы! — сказал он самозабвенно.

— Любовь моя! — воскликнула она приглушенным голосом.— Вот, наконец, те слова, тот голос и взгляд, которых я так ждала! И теперь твое счастье для меня дороже моего счастья! Но, сударь,— продолжала она,— я попрошу еще одного, последнего доказательства вашей любви, раз она так велика, как вы уверяете. Я не хочу долго здесь оставаться, я пробуду лишь до тех пор, пока все не увидят, что вы принадлежите мне. Я не выпью даже стакана воды в этом доме, где живет женщина, которая дважды пыталась убить меня, которая, возможно, опять замышляет какое-нибудь предательство против нас, а в эту минуту подслушивает нас,— добавила она,

указывая рукой на колыхавшиеся складки платья г-жи дю Га.

Затем она отерла слезы и, наклонившись, сказала что-то на ухо маркизу; он вздрогнул, ощутив ее ласкающее, теплое дыхание.

— Приготовьте все для нашего отъезда,— шептала она,— вы проводите меня в Фужер, и только там вы узнаете, люблю ли я вас! Второй раз я доверяюсь вам. А вы доверитесь мне второй раз?

— Ах, Мари, вы так завладели мною, что я уже и сам не понимаю, что делаю! Ваши слова, ваши глаза, вся вы — опьянили меня, и я готов выполнить любые ваши желания.

— Так подарите же мне минуту счастья, великого счастья! Дайте мне насладиться единственным торжеством, которого я жаждала. Я хочу вдохнуть вольный воздух той жизни, о какой мечтала, упиться обольщениями, пока они не рассеялись. Пойдемте отсюда. Будем танцевать.

Они вместе вернулись в залу и, хотя сердце и тщеславие мадемуазель де Верней были удовлетворены полностью, насколько это возможно для женщины, непроницаемая кротость ее глаз, тонкая улыбка уст, легкость движений в быстром танце хранили тайну ее мыслей, как море хранит тайну преступника, вверившего ему тяжелый труп. Среди гостей пробежал шепот восхищения, когда Мари скользнула в объятия возлюбленного, когда они, сладострастно сплетая руки, с томным взглядом, запрокинув одурманенные головы, кружились в вальсе, сжимая друг друга с каким-то неистовством, выдавая в эту минуту свои надежды на будущие наслаждения, свои мечты о более тесном слиянии.

— Граф, узнайте, пришел ли в лагерь Хватай-Караван, и пошлите его ко мне,— сказала де Бовану г-жа дю Га.— Будьте уверены, что за эту небольшую услугу вы получите от меня все, что пожелаете, даже мою руку. Месть дорого мне обойдется,— прошептала она, глядя ему вслед,— но на этот раз я не промахнусь.

Через несколько минут после этой сцены мадемуазель де Верней и маркиз ехали в карете, запряженной четверкой сильных лошадей. Франсина в безмолвном удивлении смотрела на мнимых врагов, которые держали друг друга

за руки и, казалось, достигли полного согласия; она не решалась спросить себя, было ли это у ее госпожи коварством или любовью. Молчание и ночная темнота не дали маркизу заметить, как взволновалась мадемуазель де Верней, когда стали приближаться к Фужеру. В слабых отсветах заката вдали показалась колокольня церкви св. Леонарда. И тогда Мари сказала себе: «Сейчас я умру».

У первого подъема влюбленным пришла одна и та же мысль: они вышли из кареты и пешком стали подниматься на холм, словно в память своей первой встречи. Мари опиралась на руку любимого и, пройдя несколько шагов, улыбкой поблагодарила его за то, что он не нарушал молчания; но когда они поднялись на высокое плато, с которого виден был Фужер, мечтательное настроение ее совершенно рассеялось.

— Дальше вам нельзя идти,— сказала она,— сегодня даже моя власть не спасет вас от синих.

Монторан выразил некоторое удивление; она печально улыбнулась и указала рукой на глыбу гранита, как будто приказывала ему сесть, но сама остановилась возле него, грустно поникнув головой. Волнение, раздиравшее душу, больше не позволяло ей прибегать к уловкам кокетства, которое она так щедро расточала целый вечер. В эту минуту она бы не почувствовала боли, встав коленями на горящие угли, как не чувствовал боли маркиз, сжимая в руке уголь, чтобы доказать силу своей страсти. Бросив на любимого взгляд, исполненный глубокой скорби, она произнесла ужасные слова:

— Все, в чем вы меня подозревали,— правда!

Маркиз вздрогнул, хотел было заговорить.

— Ах! Ради бога, выслушайте меня! Не перебивайте,— сказала она, умоляюще сложив руки.— Я действительно дочь герцога де Верней,— взволнованно продолжала она,— но побочная его дочь. Моя мать, мадемуазель де Катеран, постриглась в монахини, чтобы избежать мучений, которые дома готовили ей родители; пятнадцать лет она слезами искупала свой грех и умерла в Сеэзе. Только на смертном одре моя дорогая аббатиса обратилась к покинувшему ее человеку с мольбою позаботиться обо мне,— она знала, что оставляет меня одинокой, без друзей, без состояния, без будущего... Об этом

человеке постоянно говорили в доме матери Франсины, которой меня поручили, но он забыл о своем ребенке. Все же герцог принял меня радушно и признал своей дочерью, потому что я была красива и потому, может быть, что он увидел во мне свою молодость. Это был один из тех вельмож времен предпоследнего короля, которые славились своим умением заставить людей прощать им преступления, ибо совершали их с изяществом. Больше я ничего не скажу: ведь это мой отец! Только позвольте мне объяснить, почему жизнь в Париже неизбежно должна была развратить мою душу. Друзья герцога де Верней и общество, в которое он ввел меня, увлекались иронической философией, восхищавшей Францию, потому что всюду ее излагали с большим остроумием. Блестящие разговоры, ласкавшие мой слух, пленяли тонкостью мысли или остроумно высказанным презрением ко всякой истине и святыне. Мужчины, насмехаясь над чувствами, прекрасно их рисовали, ибо сами их не испытывали, чаровали своими эпиграммами и уменьем добродушно, одним метким словом, передать целый роман, но зачастую они грешили чрезмерным остроумием и утомляли женщин стремлением превратить любовь скорее в искусство, чем в сердечную склонность. Меня захватило это течение. Правда, душа у меня — простите мне мою гордость — была слишком страстной, чтобы я не почувствовала, как у всех этих людей ум иссушил сердце, но жизнь, которую я тогда вела, породила во мне вечную борьбу между моими природными чувствами и порочными привычками. Некоторым выдающимся людям нравилось развивать во мне ту смелость мысли, то презрение к общественному мнению, которые лишают женщину душевной скромности и тем отнимают у нее часть ее очарования. Увы, несчастья не могли уничтожить недостатков, привитых мне богатством! — Она горько вздохнула и продолжала:— Мой отец, герцог де Верней, перед смертью признал меня своей дочерью и наследницей, значительно уменьшив по завещанию долю моего брата, своего законного сына. И вот однажды утром я осталась без защитника и без крова. Брат опротестовал в суде завещание, принесшее мне богатство. За три года, проведенных среди изобилия, во мне развилось тщеславие. Потворствуя всем моим причудам, отец пробудил во

мне потребность в роскоши и пагубные привычки, тираническую власть которых не понимала моя юная и еще наивная душа. Друг моего отца, маршал и герцог де Ленонкур, старик семидесяти лет, предложил мне стать моим опекуном. Я дала согласие; через несколько дней после начала этого мерзкого судебного процесса я снова очутилась в блестящем доме, где могла наслаждаться всеми благами, в которых жестокость брата отказала мне у гроба отца. Каждый вечер старый маршал проводил у меня несколько часов, и я слышала от него лишь ласковые слова утешения. Его седины и все трогательные доказательства отеческой нежности побуждали меня видеть в его сердце те же чувства, что и в моем,— мне радостно было считать себя его дочерью. Я принимала от него в подарок дорогие уборы и не скрывала от него никаких своих прихотей, видя, что ему приятно баловать меня. Как-то вечером я узнала, что весь Париж считает меня любовницей этого жалкого старика. Мне доказали, что не в моей власти вновь завоевать честное имя, которого меня несправедливо лишили. Человек, злоупотребивший моей неопытностью, не мог быть моим любовником и не хотел быть моим мужем. В ту неделю, когда я сделала это ужасное открытие, накануне дня, назначенного для моей свадьбы с этим стариком, который все же согласился дать мне свое имя,— единственное искупление зла, какое он мог мне предложить,— он уехал в Кобленц. Я была с позором изгнана из маленького домика, где меня поселил маршал,—этот дом не принадлежал ему. До сих пор я говорила вам всю правду, как перед богом, но дальше не спрашивайте у несчастной женщины отчета о днях страданий, погребенных в ее памяти. Случилось так, что я стала женой Дантона, вскоре ураган свалил этот исполинский дуб, который я обвила руками. Вновь я оказалась в бездне нищеты и на этот раз решила умереть. Не знаю, любовь ли к жизни, или надежда утомить наконец злую судьбу и найти в глубине бездонной пропасти убегавшее от меня счастье были моими непрошеными советниками, или меня соблазнили уговоры одного молодого человека из Вандома, который уже два года льнул ко мне, как змея льнет к дереву, вероятно, рассчитывая, что, дойдя до предела несчастья, я достанусь ему,—словом, не знаю, как это произошло, но я согласилась за триста ты-

сяч франков принять гнусное поручение: приехать сюда, влюбить в себя незнакомого мне человека и выдать его властям. Лишь только я увидела вас, я сразу угадала, кто вы, по какому-то предчувствию, которое никогда нас не обманывает; и все же мне так хотелось сомневаться: ведь чем больше я любила вас, тем ужаснее была для меня уверенность. Я спасла вас из рук командира Юло, я отреклась от своей роли и решила обмануть палачей, вместо того чтобы обмануть жертву. Я была неправа: поступая так, я играла людьми, их жизнью, их политикой и собою с беспечностью девушки, для которой в мире существуют только чувства. Я считала себя любимой, я предалась надежде заново начать жизнь, но все, и даже, быть может, я сама, выдавало мое беспорядочное прошлое,— вы не могли питать доверие к женщине, столь страстной, как я. Но кто не оправдал бы моей любви и моей скрытности? Да, сударь, мне казалось, что я лишь видела тяжелый сон, что я проснулась и мне, как прежде, шестнадцать лет. Ведь я оказалась в Алансоне, где провела детство, мной овладели целомудренные, чистые воспоминания. Безрассудно и простодушно я поверила, что любовь — крещение, которое может возвратить мне невинность. На миг мне пригрезилось, что я еще девственна, ибо я никогда еще не любила. Но вчера вечером ваша страсть показалась мне искренней, и голос совести крикнул мне: «Зачем обманывать его?» Итак, знайте, маркиз,— сказала она сдавленным голосом, но с горделивым вызовом,— знайте и запомните, что я всего лишь бесчестное существо, недостойное вас. С этой минуты я вновь берусь за свою роль куртизанки, меня утомила роль женщины, которой вы возвратили все, что есть святого в сердце. Добродетель тяготит меня. Я стала бы презирать вас, если бы вы проявили слабость и женились на мне. Такая глупость простительна какому-нибудь графу де Бовану, но вам, сударь, надо быть достойным вашего будущего: без сожаления расстаньтесь со мною. Куртизанка, видите ли, была бы слишком требовательна, она любила бы вас иначе, чем простая и наивная девочка, которая на миг почувствовала в сердце чудесную надежду стать вашей подругой, всегда дарить вам счастье, быть достойной вас, возвышенной, благородной супругой, и в этом чувстве я почерпнула мужество

воскресить в своей душе низкие пороки, чтобы поставить вечную преграду между собой и вами. Ради вас я жертвую почестями и богатством. Гордое сознание принесенной жертвы поддержит меня в несчастье, и пусть судьба располагает моей участью по своей воле. Я никогда вас не выдам. Я возвращаюсь в Париж. Там ваше имя будет моим вторым «я», и блеск, который вы сумеете ему придать, утешит меня во всех моих страданиях... А вы... вы— мужчина, вы забудете меня... Прощайте!

Она бросилась бежать к долине св. Сульпиция и исчезла прежде, чем маркиз успел подняться и удержать ее; но она вернулась, спряталась во впадину скалы и из своего тайника с любопытством и сомнением наблюдала за маркизом; она увидела, что он идет куда-то наугад, машинально, как человек, сраженный несчастьем.

«Неужели это слабая душа? — сказала себе Мари, когда он скрылся из виду, когда она ощутила разлуку с ним.— Поймет ли он меня?».

Она вздрогнула и вдруг быстрым шагом одна пошла к Фужеру, словно боялась, что маркиз последует за нею в город, где его ждала смерть.

— Ну, что, Франсина? Что он сказал тебе? — спросила она, когда верная бретонка присоединилась к ней.

— Бедный! Мари, мне стало жалко его. Вы, важные дамы, умеете ранить словами, как кинжалом.

— Каков он был, когда подошел к тебе?

— Ко мне? Да разве он заметил меня... Ах, Мари, он любит тебя!

— О! Любит или не любит — в двух этих словах для меня рай или ад. Между двумя этими гранями нет места, куда могла бы ступить моя нога.

Теперь, когда свершилась ужасная участь Мари, она могла всецело отдаться скорби; лицо ее, оживлявшееся до тех пор разнообразными чувствами, вдруг осунулось, и после целого дня непрестанных волнений, переходов от предчувствия счастья к отчаянию красота ее внезапно утратила блеск и ту свежесть, источник которой — отсутствие страстей или упоение блаженством. Вскоре после ее возвращения к ней явились Юло и Корантен, горя нетерпением узнать о результатах столь безрассудного путешествия. Она встретила их веселой улыбкой.

— Ну,— сказала она Юло, заметив вопрошающее и

озабоченное выражение на его лице,— лиса вновь попадет под выстрелы ваших ружей, и скоро вы одержите славную победу.

— Что же случилось?—небрежно спросил Корантен, искоса бросив на мадемуазель де Верней взгляд, каким подобные дипломаты стараются уловить чужие мысли.

— Ах,— ответила она,— Молодец увлечен мною более чем когда-либо, и я заставила его проводить меня до ворот Фужера.

— Видимо, ваша власть там и кончилась,— сказал Корантен,— у этого бывшего страх, должно быть, сильнее любви к вам.

Мадемуазель де Верней презрительно посмотрела на него.

— Не судите по себе,— ответила она.

— Почему же вы не привели его сюда? — спросил он невозмутимо.

— А что, если он действительно любит меня?—сказала она Юло, кинув ему лукавый взгляд.— Очень бы вы рассердились, если бы я спасла его и увезла из Франции?

Старый солдат подошел к ней быстрыми шагами и почти с восторгом поцеловал ей руку; но затем он пристально посмотрел на нее и с мрачным видом сказал:

— А вы забыли? Два моих друга и шестьдесят три моих солдата!..

— Ах, полковник, он не виноват в этом,— ответила она со всею наивностью страсти,— его обманула злая женщина, любовница Шарета,— она, думается мне, готова выпить кровь у синих...

— Не смейтесь над командиром, Мари,— заметил Корантен,— он еще не привык к вашим шуткам.

— Замолчите,— ответила она,— и помните, что тот день, когда вы станете мне слишком противны, будет последним днем нашего знакомства.

— Я вижу, мадемуазель, что мне надо готовиться к сражению,— спокойно сказал Юло.

— Вам оно не по силам, дорогой полковник. У них в Сен-Джемсе больше шести тысяч человек, регулярные войска, артиллерия и английские офицеры,— я сама видела. Но что могут эти люди сделать без него? Я согласна с Фуше: его голова — это всё!

— А получим мы его голову? — нетерпеливо спросил Корантен.

— Не знаю,— беспечно ответила она.

— Англичане! — гневно воскликнул Юло.— Только этого ему и не хватало, чтобы стать настоящим бандитом! Ну, погоди! Я тебе покажу англичан!.. А кажется, гражданин дипломат, ты частенько терпишь поражения от этой девушки,— сказал он Корантену, когда они отошли на несколько шагов от дома.

— Вполне естественно, гражданин командир, что ее слова совсем тебя сбили с толку,— раздумчиво ответил Корантен.— Вы, солдаты, не знаете, что существует несколько способов вести войну. Искусно пользоваться страстями мужчин и женщин как пружинами, приводя их в движение на пользу государства, поставить на свое место все колесики той огромной машины, которую называют «правительство», включив в ее механизм самые неукротимые чувства, и с наслаждением управлять рычагами,— разве это не значит творить, подобно богу, быть средоточием целого мира!

— Разреши мне предпочесть мое ремесло твоему,— сухо ответил Юло.— Делайте все, что вам угодно, с вашими «колесиками», но я не признаю другого начальства, кроме военного министра. Мне даны указания, скоро я выступлю в поход с моими удальцами, и мы ударим на врага в лоб, тогда как ты хочешь схватить его за хвост.

— Ну, к походу ты можешь готовиться,— ответил Корантен.—Как бы эта девушка ни казалась тебе непроницаемой, но, судя по тому, что мне удалось угадать,— схватка неизбежна, и вскоре я доставлю тебе удовольствие встретиться лицом к лицу с главарем этих разбойников.

— Как так? — спросил Юло и отступил на шаг, чтобы получше рассмотреть эту непонятную для него фигуру.

— Мадемуазель де Верней любит Молодца и, может быть, пользуется взаимностью,— глухим голосом сказал Корантен.— Понятно! Маркиз, красная лента через плечо, молод, остроумен и, кто его знает, пожалуй, все еще богат! Сколько соблазнов! Было бы очень глупо с ее стороны не действовать в свою пользу и не постараться выйти за него замуж, вместо того чтобы выдать его нам.

Она хочет обмануть нас. Но в ее глазах я прочел какую-то растерянность. Вероятно, у влюбленных будет свидание; возможно, оно уже назначено. Ну что ж, завтра этот человек попадется мне в руки, и я-то уж его не выпущу. До сих пор он был врагом Республики, но несколько минут назад он стал моим врагом, а все, кто осмеливался встать между мною и этой девушкой, умерли на эшафоте.

Закончив свою речь, Корантен вновь погрузился в задумчивость и не заметил, какое глубокое отвращение появилось на лице честного солдата, ибо в эту минуту Юло понял сокровенную суть всей интриги и механизм пружин, употребляемых Фуше. Он решил противодействовать Корантену в том, что не могло существенно повредить успеху дела и желаниям правительства, решил дать врагу Республики возможность умереть честной смертью, с оружием в руках, а не от руки палача, поставщиком которого, по собственному своему признанию, оказалась эта ищейка тайной полиции.

— Если бы первый консул послушался меня,—сказал Юло, отвернувшись от Корантена,—он предоставил бы сражаться с аристократами таким вот лисицам — они достойны друг друга,— а солдат употреблял бы для иных дел.

От такой мысли у старого рубаки просветлело лицо, но Корантен холодно посмотрел на него, и в глазах этого мелкотравчатого Макиавелли блеснуло сардоническое выражение, говорившее о сознании своего превосходства.

«Дайте этим скотам по три локтя синего сукна, привесьте им кусок железа сбоку,— подумал Корантен,— и они вообразят, будто в политике можно убивать людей только одним способом...»

Несколько минут он медленно прогуливался один и вдруг сказал себе:

«Да, час пробил. Эта женщина будет моею! Круг, которым я охватил ее, за пять лет незаметно сужался, и теперь она в моих руках. А с нею я поднимусь в правительстве так же высоко, как и Фуше. Если она лишится единственного человека, которого полюбила, то от горя покорится мне душой и телом. Надо лишь следить днем и ночью и раскрыть ее тайну».

Вскоре наблюдатель мог бы заметить бледное лицо

Корантена в окне дома, из которого видно было всякого, кто входил в тупик, образованный рядом домов, тянувшихся параллельно церкви св. Леонарда. С терпеливостью кошки, подстерегающей мышь, Корантен пробыл там до утра, прислушиваясь к малейшему шуму, подстерегая и пристально рассматривая каждого прохожего. Занимавшийся день был базарным днем. Хотя в эти бедственные времена крестьяне с трудом решались приходить в город, Корантен увидел какого-то пожилого человека с хмурым лицом, одетого в козью шкуру, в руках у него была небольшая круглая корзинка; человек этот довольно беспечно поглядел вокруг и направился к дому мадемуазель де Верней. Корантен вышел на улицу, решив дождаться крестьянина у двери, но вдруг почувствовал, что, может быть, с одного взгляда выведает тайны, скрытые в корзинке этого посланца, если неожиданно появится в доме у мадемуазель де Верней. К тому же он знал по слухам, что почти невозможно побороть непроницаемую хитрость речей бретонцев и нормандцев.

— Налей-Жбан! — воскликнула мадемуазель де Верней, когда Франсина ввела шуана в ее комнату.—«Неужели я любима?..»—произнесла она про себя.

Бессознательная надежда ярким румянцем залила ее лицо и оживила радостью сердце. Налей-Жбан посмотрел на хозяйку дома, затем бросил недоверчивый взгляд на Франсину, но мадемуазель де Верней жестом успокоила его.

— Сударыня,— сказал он,— часам к двум он придет ко мне и будет вас ждать.

От волнения мадемуазель де Верней могла лишь кивнуть головой, но даже самоед понял бы значение ее безмолвного ответа. В эту минуту в соседней гостиной послышались шаги Корантена. Налей-Жбан заметил, как мадемуазель де Верней вздрогнула и взглядом предупредила его об опасности, но он ничуть не смутился и, лишь только в дверях показалось хитрое лицо шпиона, заговорил так громко, что оглушил всех.

— Эх, что вы! — говорил он.— Ведь и бретонское-то масло разное бывает. Вы хотите лугового масла, а даете всего по одиннадцать су за фунт. Не надо было тогда за мной посылать! А масло-то какое! — сказал он, откры-

вая корзинку и показывая два комочка свежего масла, сбитого Барбетой.— Дайте настоящую цену, добрая госпожа, прибавьте хоть одно су.

В его трубном голосе не чувствовалось ни малейшего волнения, а зеленые глаза под лохматыми седеющими бровями спокойно выдержали пронизывающий взгляд Корантена.

— А ну-ка, помолчи, дядюшка! Ты не масло явился продавать,— ведь ты пришел к женщине, которая никогда в жизни не торговалась. Опасным ремеслом ты занимаешься, друг, оно доведет тебя до того, что в один прекрасный день ты станешь на целую голову короче.

И Корантен добавил, дружески похлопывая шуана по плечу:

— Нельзя долго служить и нашим и вашим — и шуанам и синим.

Налей-Жбану понадобилось все его самообладание, чтобы подавить бешеную злобу и не отвергнуть это обвинение, которое он вполне заслужил своей жадностью. Он сдержался и лишь ответил:

— Шутки надо мной шутите, сударь...

Корантен повернулся к нему спиной; но, здороваясь с мадемуазель де Верней, у которой забилось сердце, он легко мог наблюдать за шуаном в зеркале. Налей-Жбан, думая, что шпион не видит его, вопрошающе поглядел на Франсину, и бретонка, указав ему на дверь, сказала:

— Пойдемте со мной, дядюшка, мы с вами всегда столкуемся.

Ничто не ускользнуло от Корантена: плохо скрытое улыбкой тревожное болнение мадемуазель де Верней, ее румянец, изменившееся лицо, беспокойство шуана, жест Франсины,—он все заметил и убедился, что Налей-Жбан послан маркизом. В тот момент, когда шуан уже выходил из комнаты, Корантен ухватился за длинную шерсть козьей шкуры, притянул его к себе и, пристально глядя ему в лицо, сказал:

— Где ты живешь, любезный? Мне тоже нужно масло...

— Весь Фужер знает, где я живу, ваша милость,—я, почитай что, из...

— Корантен! — воскликнула мадемуазель де Верней, прерывая шуана.— Ужасная дерзость с вашей стороны

являться ко мне в такой час, когда я едва одета!.. Оставьте этого крестьянина в покое; для него так же непонятны ваши каверзы, как мне непонятна их цель. Ступайте, добрый человек!

Одно мгновение Налей-Жбан колебался—уходить ли ему. Естественная или деланная нерешительность бедняка, не знающего, кого ему слушаться, обманула Корантена, а шуан, повинуясь властному жесту девушки, вышел тяжелым шагом. И тогда мадемуазель де Верней и Корантен молча взглянули друг на друга. На сей раз ясные глаза Мари не могли выдержать сухого блеска горящего взгляда этого человека. Решительный вид, с каким шпион проник в ее комнату, выражение лица, какого Мари еще не видела у него, глухой звук жиденького голоса, походка—все это испугало ее: она поняла, что между ними завязалась тайная борьба, в которой он употребит во зло ей все темные силы своего влияния на нее; в эту минуту она с полной отчетливостью увидела глубину бездны, в которую бросилась, но в любви своей она почерпнула мужество и стряхнула с себя ледяной холод ужасного предчувствия.

— Корантен,— заговорила она почти весело,— надеюсь, вы уйдете, чтобы я могла заняться своим туалетом?

— Мари...—сказал он,—позвольте мне называть вас так... Вы еще не знаете меня! Послушайте, даже менее проницательный человек, чем я, догадался бы, что вы любите маркиза де Монторана. Я не раз предлагал вам руку и сердце. Вы решили, что я недостоин вас, и, может быть, вы правы. Но если вы считаете, что вы слишком высоко стоите, слишком красивы и слишком благородны для меня, я сумею заставить вас опуститься до моего уровня. Мое честолюбие и мои взгляды не внушают вам уважения ко мне, но, откровенно говоря, вы ошибаетесь. Люди в моих глазах немного стоят, почти ничего,— да они и этого не заслуживают. Я, несомненно, достигну высокого положения, почестей, которые будут для вас лестными. Кто может любить вас сильнее, чем я? Кто даст вам больше власти над собою, чем тот, кто любит вас уже пять лет? Я рискую вызвать у вас невыгодное представление обо мне, вы не поймете, что от избытка любви можно отказаться от своего кумира, и все же я

покажу вам всю меру моего бескорыстного обожания. Не качайте с таким сомнением вашей прелестной головкой. Если маркиз любит вас, выходите за него замуж, но сначала хорошенько убедитесь в его искренности. Я буду в отчаянии, если увижу вас обманутой, ибо ваше счастье для меня дороже моего счастья. Мое решение может удивить вас, но отнесите его лишь к благоразумию человека, который не настолько глуп, чтобы стремиться обладать женщиной против ее воли. Итак, я признаю бесплодность своих стремлений и виню в этом не вас, но самого себя. Я надеялся завоевать ваше сердце покорностью и преданностью,— вы знаете, что уже давно я стараюсь сделать вас счастливой, согласно моим понятиям о счастье, но вы ничем не пожелали вознаградить меня.

— Я вас терпела подле себя,— надменно сказала она.

— Добавьте, что вы в этом раскаиваетесь.

— А неужели я еще должна благодарить вас за то, что вы вовлекли меня в позорное дело?..

— Предлагая вам это дело, которое робкие души могут порицать,— смело продолжал Корантен,— я имел в виду только ваше счастье. А что касается меня, то все равно, ждет ли нас успех или неудача, я сумею теперь воспользоваться любым исходом для своих планов. Если вы выйдете замуж за Монторана, я буду рад принести пользу делу Бурбонов: в Париже я состою членом клуба Клиши. И если обстоятельства приведут меня к сношениям с принцами, я брошу служить Республике, ибо она клонится к упадку. Генерал Бонапарт все соображает очень тонко и понял, что ему невозможно быть одновременно и в Германии, и в Италии, и здесь, где революция на краю гибели. Несомненно, он совершил переворот восемнадцатого брюмера лишь для того, чтобы на самых выгодных условиях сторговаться с Бурбонами о судьбе Франции, ибо это человек весьма умный и довольно широкого размаха. Но смелые политики должны опередить его на том пути, на который он вступил. Щепетильность, не допускающую «предать» Францию, как и прочие подобные предрассудки, мы, люди выдающиеся, предоставляем глупцам. Не скрою от вас: мне даны все необходимые полномочия и для того, чтобы начать переговоры с главарями шуанов, и для того, чтобы их уничтожить, ибо мой покровитель Фуше, человек

дальновидный, всегда вел двойную игру: в дни террора он был одновременно и за Робеспьера и за Дантона...

— Которого вы подло покинули! — сказала она.

— Пустяки! — ответил Корантен.—Он умер, забудьте его. Ну, поговорите со мной откровенно, я вам подаю пример. Этот начальник полубригады хитрее, чем кажется, и, если вы хотите усыпить его бдительность, я буду вам полезен. Помните, что он во всех долинах насажал контршуанов и очень скоро может открыть ваши свидания с Монтораном. Оставаясь здесь, у него на глазах, вы будете во власти его соглядатаев. Смотрите, как быстро он узнал, что у вас в доме шуан! И разве такой опытный вояка не догадается, что малейший ваш шаг поможет ему выследить маркиза, если вы любимы им!..

Мадемуазель де Верней никогда еще не слышала, чтобы Корантен говорил таким добрым, ласковым голосом, он был воплощением чистосердечия и казался исполненным доверия. Сердце бедной девушки легко поддавалось благородным впечатлениям, она уже готова была выдать тайну змею, обвивавшему ее своими кольцами, но вдруг подумала, что ничто еще не доказывает искренности этой изворотливой речи, и без малейших угрызений совести решила обмануть своего надзирателя.

— Ну, что же,—ответила она,—вы угадали, Корантен. Да, я люблю маркиза, но он не любит меня!.. По крайней мере я боюсь этого, и, может быть, свидание, которое он назначил мне, скрывает западню...

— Но ведь вчера вы сказали нам, что он проводил вас до Фужера...— возразил Корантен.— Если бы он хотел прибегнуть к насилию, вас не было бы здесь.

— У вас сухая душа, Корантен. Вы умеете строить хитроумные догадки о житейских делах, но вы не знаете человеческого сердца. Может быть, поэтому вы всегда и вызываете во мне отвращение. Раз вы уж так прозорливы, постарайтесь понять, почему человек, с которым я так гневно рассталась позавчера, с нетерпением ждет меня сегодня к вечеру у майеннской дороги, в одном из домиков деревни Флориньи...

При этом признании, которое как будто вырвалось в невольном порыве, довольно естественном для такого искреннего и страстного существа, Корантен покраснел, ибо он был еще молод, но украдкой бросил на нее про-

низывающий взгляд, пытаясь проникнуть в ее душу. Однако мадемуазель де Верней так хорошо разыгрывала откровенность, что шпион поверил и с деланным добродушием сказал:

— Хотите, я пойду вслед за вами, на некотором расстоянии? Я возьму с собой переодетых солдат, мы будем повиноваться вашим распоряжениям...

— Согласна...— ответила она,— но обещайте мне... поклянитесь честью... О нет! Я не верю в вашу честь!.. Поклянитесь вечным блаженством!.. Нет, вы не верите в бога!.. Ну, поклянитесь своей душой! Но, пожалуй, у вас нет души! Чем можете вы убедить меня в вашей искренности? И все же я доверяюсь вам, я отдаю в ваши руки больше, чем мою жизнь, мою любовь или мою месть!

На бледном лице Корантена мелькнула едва заметная улыбка, и мадемуазель де Верней поняла, какой опасности ей удалось избежать. От удовольствия у шпиона ноздри не раздулись, а сжались; он взял руку своей жертвы, поцеловал ее с видом глубочайшего уважения и, отвесив поклон, не лишенный изящества, вышел из комнаты.

Через три часа после этой сцены мадемуазель де Верней, боясь, что Корантен вернется, вышла тайком из города воротами св. Леонарда и направилась по узкой тропинке через Колючее гнездо к долине Нансона. Она считала себя в безопасности, пробираясь одна, без свидетелей, лабиринтом тропинок к жилищу Налей-Жбана; она шла весело, ибо ее вела надежда найти, наконец, долгожданное счастье и желание спасти любимого от грозившей ему участи. Тем временем Корантен разыскивал Юло. Он нашел его на маленькой площади, где тот занят был приготовлениями к какой-то военной экспедиции, и с трудом узнал его. В самом деле, храбрый ветеран принес жертву, великую ценность которой не все поймут. Усы у него были сбриты, косица обрезана, и волосы, причесанные по церковному уставу, были слегка припудрены. Надев грубые башмаки с подковками, сменив старый синий мундир и шпагу на козью шкуру и тяжелый карабин, засунув за пояс пару пистолетов, он делал смотр двум сотням жителей Фужера, костюмы которых могли обмануть глаз самого опытного шуана.

В этой довольно обычной сцене сказывался воинственный дух маленького городка и характер бретонцев. То в одном конце площади, то в другом появлялись матери и сестры, приносили сыновьям и братьям фляги с вином или забытые пистолеты. Старики справлялись о количестве и качестве зарядов у этих национальных гвардейцев, переодетых шуанами и проявлявших такую веселость, как будто они собирались на охоту, а не в опасный поход. Схватки с шуанами, когда бретонцы-горожане сражались с бретонцами из деревень, казалось, заменили им рыцарские турниры. Может быть, этот патриотический энтузиазм был вызван кое-какими приобретениями национального имущества. Но немалую роль играли тут благодеяния революции, лучше оцененные в городах, чем в деревнях, дух политических партий и любовь к войнам, врожденная у французов. Юло был в восторге; он обходил ряды, обращаясь за сведениями к Гюдену, на которого перенес все чувства дружбы, когда-то отданной Мерлю и Жерару. Толпа жителей внимательно наблюдала за приготовлениями к экспедиции, сравнивая вид своих шумных сограждан с выправкой батальона из полубригады Юло. Синие стояли неподвижными, безмолвными рядами под командой офицеров, ожидая приказаний Юло, и когда он переходил от взвода к взводу, каждый солдат провожал его глазами. Корантен подошел к старому начальнику полубригады и не мог удержаться от улыбки, увидев, как изменилось его лицо: Юло напоминал портрет, утративший сходство с оригиналом.

— Что нового? — спросил Корантен.

— Пойди постреляй с нами,— узнаешь! — ответил Юло.

— Ну, я не житель Фужера,— возразил Корантен.

— Оно и видно, гражданин! — сказал Гюден.

Из ближайших групп послышался язвительный смех.

— А ты думаешь, что только штыками можно служить Франции?..— сказал Корантен.

Затем он повернулся спиной к насмешникам и, обратившись к одной из женщин, спросил, для чего и куда отправляется отряд.

— Беда, голубчик! Шуаны уже во Флориньи! Говорят, их больше трех тысяч, и они идут на Фужер.

— Флориньи! — воскликнул Корантен, весь побледнев.

нев.— Свиданье будет не там!.. А какое это Флориньи? — спросил он.— На майеннской дороге?

— Одно только Флориньи и есть,— ответила женщина, указывая на дорогу, в конце которой виднелась вершина Пелерины.

— Вы ищете маркиза де Монторана? — спросил Корантен у командира.

— Вроде того! — резко ответил Юло.

— Его нет во Флориньи,— сказал Корантен.— Пошлите туда ваш батальон и национальную гвардию, оставьте при себе несколько человек из контршуанов и ждите меня здесь.

— Он не сошел с ума, для этого он слишком хитер!—воскликнул Юло, глядя вслед Корантену, который пошел быстрым шагом.— Вот настоящий король шпионов!

Юло дал батальону приказ к выступлению. В полном молчании, без барабанного боя, республиканцы двинулись по узкому предместью к майеннской дороге, растянувшись меж домов и деревьев длинной сине-красной лентой; за ними следовали национальные гвардейцы, переодетые шуанами, но Юло остался на маленькой площади с Гюденом и двумя десятками наиболее толковых молодых горожан, поджидая Корантена, ибо его таинственный вид подстрекнул любопытство командира.

Франсина сама сообщила догадливому шпиону, что мадемуазель де Верней вышла из дому; все его предположения превратились в уверенность, и он тотчас бросился собирать сведения об этом явно подозрительном бегстве. Узнав от солдат, стоявших в карауле у ворот св. Леонарда, что незнакомая им красивая дама прошла через Колючее гнездо, он помчался на бульвар, к несчастью для Мари, поспел туда вовремя и мог проследить каждый ее шаг. Хотя она надела платье и капор зеленого цвета, чтобы ее труднее было заметить, все же ее стремительные, почти безумные движения и прыжки указывали, куда она идет, пробираясь через обнаженные, побелевшие от инея живые изгороди.

— А-а! — воскликнул Корантен.— Ты собиралась идти во Флориньи, а спускаешься в Жибарийскую лощину! Я настоящий дурак, она провела меня. Но погодите, я из-под земли достану вас!

Угадав приблизительно место свидания, Корантен прибежал на площадь как раз в ту минуту, когда Юло уже собирался уходить, чтобы догнать свои отряды.

— Стойте, генерал! — крикнул Корантен. Юло обернулся.

Корантен мигом сообщил старому солдату о происшедших событиях и указал кое-какие из нитей, раскрывающих их подоплеку. Юло, пораженный проницательностью дипломата, крепко схватил его за плечо:

— Разрази меня гром! Ты прав, гражданин Всезнайка. Разбойники затеяли там атаку для отвода глаз! Я послал две колонны национальной гвардии разведать местность между дорогами на Антрен и на Витре, они еще не вернулись. Значит, за городом мы найдем подкрепление, и наверняка оно не будет для нас лишним. Молодец не так глуп, чтобы пойти на опасное свидание, не захватив с собою проклятых своих филинов. Гюден,— сказал он молодому жителю Фужера,— беги предупреди капитана Лебрена, что он может и без меня обойтись во Флориньи, пусть один задаст трепку разбойникам. Да поживей возвращайся,— ты знаешь тропинки. Я подожду тебя, мы вместе отправимся на охоту за этим бывшим и отомстим ему за убийства в Виветьере. Разрази меня гром! Как бегает! — воскликнул он, увидев, что Гюден помчался по дороге и исчез, словно по волшебству.— Жерару этот малый пришелся бы по душе!

Возвратившись на площадь, Гюден увидел, что к отряду Юло прибавили несколько солдат, взятых с караульных постов в городе. Юло предложил молодому горожанину отобрать из своих земляков человек двенадцать самых искусных в трудном ремесле контршуанов, приказал им выйти через ворота св. Леонарда и двигаться вдоль склонов возвышенности св. Сульпиция, обращенных к долине Куэнона, ибо там находилась хижина Налей-Жбана; а сам Юло с остальной частью отряда выступил через ворота св. Сульпиция и направился к вершинам гор, где, по его расчетам, он должен был встретить людей из отряда Скорохода, намереваясь подкрепить ими кордон, охранявший скалы от предместья св. Сульпиция до Колючего гнезда. Корантен, убедившись, что отдал судьбу вождя шуанов в руки самых неумолимых

его врагов, поспешил на бульвар, откуда он лучше мог охватить взглядом военные операции Юло. Вскоре он увидел, что маленький отряд Гюдена вышел из долины Нансона и движется по каменистому склону у края долины Куэнона, тогда как Юло, миновав фужерский замок, поднимается опасной тропинкой к вершинам горной цепи св. Сульпиция. Таким образом, оба отряда развертывались по двум параллельным линиям. Деревья и кусты, разукрашенные богатыми арабесками инея, отбрасывали на землю беловатый отсвет, и ясно можно было различить, как обе маленькие армии движутся двумя серыми полосами. Достигнув скалистого плато, Юло выделил из своего отряда всех солдат, одетых в мундиры, и Корантен увидел, как они, по приказу их искусного командира, образовали цепь дозорных, двигаясь на некотором расстоянии друг от друга,— первый в цепи должен был держать связь с Гюденом, а последний — с Юло, и, значит, ни один куст не мог ускользнуть от штыков этих трех движущихся линий, которые по горам и долам начали облаву на Молодца.

— Ну и хитер старый волк! — воскликнул Корантен, когда скрылись из виду последние штыки, блеснувшие в густом кустарнике.— Молодцу крышка! Если бы Мари выдала этого проклятого маркиза, нас соединили бы с ней самые прочные узы — подлость... Но все равно она будет моей!..

Двенадцать молодых горожан под командой сублейтенанта Гюдена вскоре достигли того склона скалистой возвышенности св. Сульпиция, где она понижается, спускаясь вереницей холмов к лощине Жибари. Свернув с дороги, Гюден ловко перепрыгнул через запертые ворота первого огороженного поля, заросшего дроком, за ним прыгнули шестеро его земляков; остальные шесть по его приказу двинулись в поля направо от дороги, для того, чтобы облава шла по обеим ее сторонам. Гюден сразу бросился к яблоне, поднимавшейся над кустами дрока. Глухие шаги шести контршуанов, которых он вел через заросли дрока, стараясь не качнуть заиндевелых ветвей, заставили семь-восемь человек во главе со Скороходом спрятаться за стволами высоких каштанов, венчавших земляной вал вокруг этого поля. Несмотря на белый отблеск инея, освещавший землю, и несмотря на острое

свое зрение, жители Фужера вначале не заметили солдат, укрывшихся за деревьями.

— Т-с-с! Вот они! — сказал Скороход, подняв голову.— Измаяли нас эти разбойники! Но раз уж они попали нам на прицел, не промахнитесь! А не то, черт побери, мы не годимся даже в солдаты римского папы!

Однако зоркие глаза Гюдена заметили, наконец, несколько ружейных стволов, направленных на его маленький отряд. В это мгновение, словно в насмешку, восемь грубых голосов крикнули: «Кто идет?» — и раздалось восемь выстрелов. Вокруг контршуанов засвистели пули: одного ранило в руку, другой упал. Пятеро фужерцев, оставшихся невредимыми, ответили на атаку залпом и с криком «свои» бросились на мнимых врагов, чтобы захватить их, пока они не успели перезарядить ружья.

— Ну вот, оказывается, правильно мы ответили! — крикнул Гюден, увидев мундиры и старые треуголки своей полубригады.— Мы поступили, как настоящие бретонцы: сначала подрались, а потом объяснились.

Все восемь солдат остолбенели, узнав Гюдена.

— Эх, какая дьявольщина вышла, гражданин офицер! Да как же не принять вас за разбойников в этих козьих шкурах! — горестно воскликнул Скороход.

— Но случилось несчастье, и никто не виноват,—ведь вас не предупредили о вылазке контршуанов. А что вы тут делаете? — спросил Гюден.

— Разыскиваем дюжину шуанов, гражданин офицер, а они, будто для забавы, мучают нас. Бегаем мы, носимся, как отравленные крысы, и до того напрыгались через все эти загородки, черт бы их драл, что уж ноги больше не держат. Мы хотели тут отдохнуть. По-моему, разбойники сейчас где-нибудь недалеко,— вон около той лачуги, откуда идет дым. Видите?

— Ладно! — ответил Гюден.— Вы теперь уходите,— сказал он Скороходу и восьмерке солдат.— Отступайте через поля к горам святого Сульпиция и усильте сторожевую цепь, которую командир там выставил. Вам нельзя с нами остаться — на вас мундиры. Тысяча чертей! Мы хотим покончить с этими собаками: с ними Молодец. Товарищи вам все расскажут. Ну, поворачивайте направо да смотрите не угостите пулями шестерых наших

ребят в козьих шкурах,— они могут вам встретиться. Контршуанов вы узнаете по галстуку: шейная косынка скручена у них жгутом.

Гюден оставил обоих раненых под яблоней и направился к хижине Налей-Жбана, на которую ему указал Скороход; вехой служил ему дым из трубы.

В то время как молодой офицер напал на след шуанов благодаря стычке, которая была довольно обычной в этой войне и могла оказаться более гибельной, маленький отряд Юло, продвигаясь по верхней линии наступления, вышел на возвышенность, против того места, куда Гюден привел своих людей. Старый командир, воодушевленный юношеским пылом, во главе своих контршуанов быстро пробирался вдоль изгородей, несмотря на возраст, довольно ловко перепрыгивал через околицы, зорким взглядом окидывал каждый бугор и, как охотник, прислушивался к малейшему звуку. В третьем огороженном поле, куда они попали, Юло увидел женщину лет тридцати, она вскапывала землю, низко согнувшись и усердно работая мотыгой; неподалеку мальчик лет семи-восьми стряхивал иней с веток утесника, которым местами поросло поле, срезал их кривым ножом и складывал в кучу. Услышав тяжелый прыжок Юло, перескочившего через изгородь, мать и сын подняли головы. Юло принял эту молодую женщину за старуху: преждевременные морщины избороздили лицо и шею бретонки, и она была так уродливо и смешно одета в бурую вытертую козью шкуру, что, если б не грязная юбка из желтого холста — отличительный признак ее пола,— Юло никогда бы не подумал, что перед ним женщина; да и длинные черные ее космы были подобраны под красный шерстяной колпак. У мальчика сквозь лохмотья, едва его прикрывавшие, виднелось тело.

— Эй, старуха! — тихонько окликнул Юло, подходя к ней ближе.— Где Молодец?

В эту минуту через изгородь перелезли двадцать контршуанов, следовавших за Юло.

— Ну! К Молодцу тут не пройти. Надо будет вам вернуться обратно — туда, откуда пришли,— ответила женщина, недоверчиво поглядев на отряд.

— Разве я у тебя спрашиваю дорогу в фужерское предместье Молодца, старая карга? — грубо оборвал ее

Юло.— Ради святой Анны Орейской! Скажи, проходил тут Молодец?

— Не пойму я никак, что вы спрашиваете? — ответила женщина и, нагнувшись, вновь принялась за работу.

— Проклятая баба! Ты, видно, хочешь, чтобы нас сцапали синие? Ведь они гонятся за нами! — крикнул Юло.

При этих словах женщина подняла голову и, снова бросив недоверчивый взгляд на контршуанов, сказала:

— Как же это синие могут гнаться за вами? Я только что их видела: человек семь-восемь шли нижней дорогой обратно в Фужер.

— Скажи, пожалуйста! Того и гляди она клюнет нас своим длинным носом,— сказал Юло.— Обернись, посмотри, старая коза! — и он указал пальцем на трех-четырех часовых, стоявших шагах в пятидесяти позади: легко было различить их треуголки, мундиры и ружья.

— Ты что же, допустишь, чтобы нам перерезали горло? Ведь Крадись-по-Земле послал нас на помощь Молодцу: фужерцы облаву на него устроили! — гневно говорил Юло.

— А-ах! Простите меня! — ответила женщина.— Но уж больно легко ошибиться. А вы из какого прихода будете?

— Святого Георгия,— громко ответили двое-трое фужерцев на нижнебретонском наречии.— И мы до смерти есть хотим.

— Ну, хорошо,— промолвила женщина.— Видите вон там дымок? Это мой дом. Идите по правой стороне тропинками и подойдете к нему с горы. Может, вам встретится мой муж: Налей-Жбан должен караулить, чтобы в случае беды упредить Молодца,— ведь вы уж знаете, что он нынче придет к нам,— добавила она с гордостью.

— Спасибо, тетушка,— ответил Юло.— Вперед, ребята! — добавил он, обращаясь к контршуанам.— Разрази меня гром! Теперь мы его поймаем!

Отряд быстрым шагом двинулся за командиром по тропинкам, которые указала бретонка. Услышав отнюдь не католическое ругательство мнимого шуана, жена Налей-Жбана побледнела. Она посмотрела на гетры и на козьи шкуры молодых фужерцев, села на землю и, прижав к себе сына, сказала:

— Святая дева Орейская! Блаженный Лавр, помилуй нас! Не верю я, что это наши! Башмаки у них без подковок!.. Беги нижней дорогой, упреди отца, не то пропала его голова,— сказала она мальчику, и тот, словно лань, помчался через заросли дрока и терновника.

Мадемуазель де Верней не встретила на своем пути ни синих, ни шуанов, которые преследовали друг друга в лабиринте полей, вокруг хижины Налей-Жбана. Увидев голубоватый столб дыма над обвалившейся печной трубой этого убогого жилища, она почувствовала, как сильно забилось ее сердце: быстрые, звонкие его удары, казалось, волнами поднимались к горлу. Она остановилась и, ухватившись рукой за ветку дерева, посмотрела на дым, вероятно, служивший маяком как для друзей, так и для врагов молодого вождя. Никогда еще она не чувствовала такого сокрушающего волнения...

«Ах, я слишком его люблю! — сказала она про себя с каким-то отчаянием.— Сегодня мне, должно быть, не удастся совладать с собой...»

Она бросилась вперед, стремительным шагом прошла расстояние, отделявшее ее от лачуги, очутилась во дворе, где жидкая грязь уже затвердела от заморозков. Огромный пес снова кинулся на нее с лаем, но Налей-Жбан произнес только одно слово, пес затих и стал вилять хвостом. Войдя в хижину, мадемуазель де Верней окинула ее быстрым, все замечающим взглядом. Маркиза там не было. Мари вздохнула свободнее. Ей было приятно видеть, что шуан постарался навести некоторую чистоту в единственной грязной комнате этой лачуги. Налей-Жбан схватил свою двустволку, молча поклонился гостье и вышел, кликнув собаку. Мари проводила его до порога и увидела, что он повернул вправо от хижины, на тропинку, загороженную толстым полусгнившим бревном. Отсюда ей видна была длинная череда полей, и запертые их входы казались глазу анфиладой ворот; обнаженные деревья и кусты живых изгородей открывали малейшие подробности пейзажа. Когда уже совсем исчезла из виду широкополая шляпа Налей-Жбана, Мари повернулась налево, чтобы посмотреть на фужерскую церковь, но ее закрывал сарай; девушка бросила взгляд на долину Куэнона, и перед нею как будто раскинулась бесконечная пелена из белой кисеи, но от этой белизны еще тусклее

становилось серое небо, затянутое тяжелыми снеговыми тучами. День был тихий — один из тех дней, когда природа кажется безгласной, а воздух поглощает звуки. И хотя контршуаны и синие двигались неподалеку тремя линиями, образуя треугольник, который все сужался, по мере того как они приближались к лачуге, тишина вокруг была столь глубокой, что она угнетала мадемуазель де Верней, присоединяя к ее тревоге какое-то физическое ощущение тоски. В воздухе нависло несчастье. Наконец, в том месте, где анфиладу полевых ворот, как занавес, замыкала небольшая рощица, она увидела молодого человека, который, словно белка, перепрыгивал через околицы и бежал с удивительной быстротой...

«Это он»,— подумала Мари.

Если б не грация движений, Молодец был бы неузнаваем в простой одежде шуана, с мушкетоном, висевшим за плечами поверх козьей шкуры. Мари быстро скрылась в хижину, повинуясь смутному чувству, столь же необъяснимому, как инстинктивный страх; но вскоре Монторан уже стоял в двух шагах от нее, перед очагом, где горел, разбрасывая искры, яркий огонь. Оба лишились вдруг голоса, боялись взглянуть друг на друга, не смели пошевелиться. Одна и та же надежда объединяла их мысли, одно и то же сомнение разделяло их; в этом была мучительная тревога, в этом было сладострастие.

— Сударь,— сказала наконец мадемуазель де Верней взволнованным голосом,— только забота о вашей безопасности привела меня сюда.

— О моей безопасности?—с горечью переспросил он.

— Да,— ответила она.— До тех пор, пока я в Фужере, ваша жизнь под угрозой... Я слишком люблю вас и поэтому сегодня вечером уеду из города. Больше не ищите меня там.

— Уедете? Ангел мой!.. Я последую за вами.

— За мной? Что вы говорите! А синие?

— Ах, дорогая моя Мари, что общего между синими и нашей любовью?

— Но мне думается, вам трудно остаться во Франции возле меня и еще труднее — уехать из Франции со мною.

— Разве есть что-нибудь невозможное для того, кто любит?

— Нет... конечно, нет! Тогда, я думаю, все возмож-

но. Хватило же у меня мужества ради вас отказаться от вас!

— Как! Вы принадлежали ужасному существу, хотя не любили его, и вы не хотите дать счастье, наполнить всю жизнь человека, который вас обожает, который клянется принадлежать только вам!.. Мари, ты любишь меня?

— Да,— ответила она.

— Так будь моею.

— Вы забыли, что я вновь играю гнусную роль куртизанки, что не я, а вы должны быть моим? Ведь я хочу бежать от вас лишь затем, чтобы на вашу голову не пало презрение, которое я могу навлечь на себя. Если б я не страшилась этого... так, может быть...

— Но если я ничего не боюсь?..

— А кто меня убедит в этом? Я недоверчива. Да и как не быть недоверчивой в моем положении?.. Если наша любовь будет недолгой, то по крайней мере пусть она будет полной и даст мне силы перенести несправедливость света. А что вы сделали ради меня?.. Вы увидели меня и загорелись желанием. Неужели вы думаете, что это возвышает вас над теми, кого я до сих пор встречала! Разве вы решились ради часа блаженства пожертвовать вашими шуанами, не беспокоиться об их участи, как я не тревожилась о судьбе синих, убитых в тот день, когда, казалось, все было для меня потеряно? А вдруг я прикажу вам отказаться от всех ваших убеждений, от ваших надежд, от вашего драгоценного короля, который, может быть, посмеется над вами, когда вы погибнете ради него, меж тем как я с благоговением готова умереть за вас? А что, если я захочу, чтобы вы покорились первому консулу только для того, чтобы вам можно было последовать за мною в Париж?.. Если я потребую, чтобы вы уехали со мной в Америку и жили там вдали от света и суеты его, лишь бы убедиться, действительно ли вы любите меня ради меня самой, как я теперь люблю вас? Словом, вдруг я пожелаю, чтобы вы спустились ко мне, вместо того чтобы мне подняться до вас. Как вы тогда поступите?

— Молчи, Мари! Не клевещи на себя. Бедное дитя, я разгадал тебя! Верь мне! Если первое мое влечение стало страстью, то теперь страсть обратилась в любовь.

Дорогая! Душа души моей! Ты так же благородна, как и твое имя, так же велика сердцем, как и прекрасна. Я достаточно высокого рода, да и в себе чувствую достаточно силы, чтобы заставить свет принять тебя. Не знаю, потому ли, что я предчувствую и жду от тебя небывалых и непрестанных наслаждений... потому ли, что я, кажется, нашел в твоей душе те драгоценные качества, которые заставляют мужчину вечно любить одну и ту же женщину... не знаю причин моей любви, но она беспредельна, и думается, я уже не могу существовать без тебя — жизнь станет мне ненавистной, если тебя не будет возле меня...

— Как, возле вас?

— Мари, ты не хочешь понять твоего Альфонса?

— Ах, вы думаете, будто для меня так лестно, что вы предлагаете мне ваше имя, вашу руку,— сказала она презрительным тоном, но пристальный взгляд ее старался угадать малейшие мысли маркиза.— А вы хорошо знаете, что не разлюбите меня через полгода? Какое будущее тогда ждет меня? Нет, нет... Только любовница может быть уверена в искренности чувства мужчины, ибо долг, законы, свет, интересы детей не играют тогда роли унылых пособников женщины, и если власть ее длительна — в этом ее гордость и счастье, которые помогут перенести самые большие в мире горести. Быть вашей женой и бояться, что когда-нибудь станешь вам в тягость!.. Этому страху я предпочитаю любовь недолгую, но искреннюю, даже если в конце ее ждет меня смерть или нищета. Да, скорее, чем любая женщина, я могла бы быть добродетельной матерью, преданной супругой, но для того, чтобы поддерживать в душе женщины такие чувства, мужчина не должен жениться в порыве страсти. Да и знаю ли я сама, будете ли вы мне нравиться завтра? Нет, я не хочу вашего несчастья, я покидаю Бретань,— сказала она, заметив колебание в его взгляде,— я вернусь в Париж, и вы не приедете туда разыскивать меня...

— Подожди! Если послезавтра утром ты увидишь дым на скалах святого Сульпиция, вечером я буду у тебя — любовник или супруг, как ты того пожелаешь. Я всем пренебрегу!

— Альфонс! Так ты действительно любишь меня,— в упоении сказала она,— если готов подвергнуть такой опасности свою жизнь ради того, чтобы отдать ее мне?

Он не ответил, только взглянул на нее; она опустила глаза, но он прочел на пылающем лице своей возлюбленной восторг, равный его восторгу, и протянул к ней руки. Какое-то безумие охватило Мари, она склонилась на грудь маркиза, решив отдаться ему и в падении своем найти величайшее счастье, ибо она рисковала всем своим будущим, которое могла упрочить, если бы вышла победительницей из этого последнего испытания. Но едва ее голова опустилась на плечо возлюбленного, во дворе послышался легкий шум. Мари как будто очнулась, вырвалась из объятий Монторана и выбежала из хижины. Лишь тогда она немного овладела собой и могла подумать о своем положении.

«Он принял бы мой дар и, может статься, посмеялся бы надо мной,— сказала она про себя.— Ах, если б это было верно, я убила бы его... Нет, только не сейчас»,— добавила она, заметив Скорохода, и сделала знак, который он прекрасно понял.

Бедный малый круто повернулся на каблуках, притворившись, что ничего не видел. Мадемуазель де Верней мгновенно вернулась в комнату и прижала палец к губам, показывая этим маркизу, что он должен хранить глубочайшее молчание.

— Они здесь! — еле слышно сказала она с ужасом.
— Кто?
— Синие.
— А-а! Нет, я не умру, не получив...
— Да, возьми...

Он прижал ее к себе, похолодевшую, беззащитную, и сорвал с ее уст поцелуй, исполненный ужаса и наслаждения, ибо он мог быть первым и последним. Затем они вместе подошли к порогу и, притаившись за косяком двери, стали наблюдать. Маркиз увидел Гюдена с отрядом в двенадцать человек, они стояли внизу, у долины Куэнона. Он повернулся вправо, к анфиладе полевых околиц,—семь солдат стерегли тропинку у толстого гнилого бревна. Он взобрался на бочку с сидром, пробил крышу из деревянных планок, решив выбраться на гору, но, выглянув из дыры, тотчас спрятал голову: Юло занимал возвышенность, отрезая ему путь к Фужеру. Монторан посмотрел на возлюбленную, у нее вырвался крик от-

чаяния: она услышала топот трех отрядов, окружавших хижину.

— Выходи первая,— сказал он,— ты будешь мне защитой.

Слова эти наполнили ее гордостью и счастьем, она встала перед дверью, а маркиз взвел курок своего мушкетона. Измерив взглядом расстояние от порога хижины до бревна, Монторан бросился на семерых синих, осыпал их картечью и прорвался сквозь них. Все три отряда кинулись к загородке, через которую перескочил вождь шуанов, и увидели, как он бежит по полю с невероятной быстротой.

— Пли! Пли! Черти, дьяволы! Какие же вы французы! Пли, негодяи!—кричал Юло громовым голосом.

Лишь только с гребня возвышенности раздались эти слова, солдаты и люди Гюдена дали дружный залп, но, к счастью для беглеца, плохо прицелились. Маркиз уже подбежал к воротам первого поля, и в ту минуту, когда он перепрыгнул через них на второе поле, его чуть не настиг Гюден, в ярости бросившись за ним вдогонку. Услышав близко за собою топот опасного противника, Молодец помчался еще быстрее. Все же они почти одновременно подбежали ко второй околице, но тут Монторан так метко бросил мушкетон в голову Гюдена, что тот, ошеломленный ударом, замедлил шаг. Невозможно описать тревогу Мари и то внимание, с каким смотрели на это зрелище Юло и его отряд. Все молчали, бессознательно повторяя жесты обоих бегущих людей. Молодец и Гюден вместе достигли белой завесы, образованной заиндевевшей рощицей, но вдруг Гюден повернул назад и спрятался за яблоней: показалось человек двадцать шуанов, которые до той поры не стреляли, опасаясь попасть в своего начальника, теперь они изрешетили дерево пулями. Весь маленький отряд Юло кинулся спасать безоружного Гюдена, который отступал от яблони к яблоне, пользуясь для перебежки теми минутами, когда королевские егеря заряжали ружья. Он недолго находился в опасности. Контршуаны, соединившись с синими, во главе с Юло подоспели на выручку молодому офицеру, добежав до того места, где маркиз бросил в него мушкетон. В эту минуту Гюден заметил, что его противник, видимо, совершенно измученный, сидит под деревом в рощице; то-

гда он предоставил товарищам перестреливаться с шуанами, укрывшимися за боковой изгородью поля, обошел их и с быстротою лесного зверя бросился к маркизу. Заметив этот маневр, королевские егеря дикими криками предупредили своего предводителя о новой опасности, затем, выстрелив с обычной удачливостью браконьеров, попытались оказать сопротивление контршуанам, но те смело взобрались на земляную насыпь, служившую врагу укреплением, и взяли кровавый реванш. Шуаны выбежали на дорогу, тянувшуюся вдоль изгороди поля, где произошла описанная нами сцена, и захватили возвышенность, ибо Юло совершил ошибку, покинув ее. Прежде чем синие спохватились, шуаны засели за выступами и гранями скал; из-за этих прикрытий они могли безопасно для себя обстреливать синих, если б Юло выказал намерение забраться туда и дать бой. В сопровождении нескольких солдат Юло двинулся к рощице на поиски Гюдена; фужерцы, оставшись в поле, принялись раздевать убитых и приканчивать раненых: в этой ужасной войне обе враждующие стороны не брали пленных. Маркизу удалось спастись; шуаны и синие обоюдно признали неприступность позиций неприятеля, бесполезность дальнейшей борьбы и думали лишь о том, как бы разойтись.

— Если я потеряю этого юношу, я больше не хочу заводить друзей! — воскликнул Юло, внимательно глядя на опушку леса.

— Ого! — воскликнул один из молодых горожан Фужера, обыскивая мертвеца.— У этой птицы желтые перышки...

И он показал землякам набитый золотом кошелек, который нашел в кармане у какого-то толстяка, одетого в черное.

— А это что у него? — сказал другой, вытаскивая у покойника из кармана редингота требник.— Вот так штука, это поп! — воскликнул он, бросив требник на землю.

— Ах, разбойник, и поживиться-то у тебя нечем!— сказал третий, найдя в карманах шуана, которого он раздевал, только два экю по шести франков.

— Зато у него башмаки знаменитые,— ответил один из солдат, собираясь снять их.

— Погоди, башмаки получишь, если они придутся на твою долю,— возразил один из фужерцев и, сорвав башмаки с ног мертвеца, бросил их в кучу собранных вещей.

Четвертый контршуан принимал деньги, для того чтобы поделить их, как только соберутся все участники экспедиции. Когда Юло вернулся с Гюденом, последняя попытка которого захватить Молодца оказалась столь же опасной, как и бесплодной, он нашел два десятка своих солдат и человек тридцать контршуанов перед грудой мертвых врагов: одиннадцать трупов было сброшено в канаву, вырытую вдоль изгороди.

— Солдаты! — строго крикнул Юло.— Я запрещаю вам делить это тряпье! Стройся! Живо!

— Гражданин командир,— сказал один из солдат, указывая Юло на свои башмаки, из которых вылезали все пять пальцев босых ног.— Ну деньги — пускай, черт с ними! Но вот этакие сапожки,— продолжал он, показывая прикладом ружья на пару башмаков с подковками,— этакие сапожки, командир, пришлись бы мне как раз впору.

— Ты позарился на английские башмаки? — оборвал его Юло.

— Как же так? — почтительно сказал один из фужерцев.— С самого начала войны мы всегда делили добычу...

— Вам я не запрещаю... Можете следовать вашим обычаям,— резко перебил его Юло.

— На, Гюден, возьми-ка этот кошелек, в нем немало луидоров. Ты хорошо потрудился, и твой начальник не будет сердиться, если ты возьмешь его,— сказал молодому офицеру один из его бывших товарищей.

Юло искоса взглянул на Гюдена и заметил, что тот побледнел.

— Это кошелек моего дяди! — крикнул Гюден. Изнемогая от усталости, он все же сделал несколько шагов, подошел к груде мертвецов, и первым бросился ему в глаза труп его дяди; но как только он увидел багровое лицо, уже с синими пятнами, окоченевшие руки и огнестрельную рану, он глухо вскрикнул и сказал:

— Идем, командир!

Отряд синих тронулся в путь. Юло поддерживал под руку своего молодого друга.

— Разрази меня гром! Успокойся! Все пройдет,— говорил ему старый солдат.

— Но ведь он умер! Умер! — отвечал Гюден.—Кроме него, у меня нет родных, и он все-таки меня любил, хоть и проклял. Если бы король вернулся, весь наш край потребовал бы моей головы, а старик спрятал бы меня под своей сутаной.

— Вот дурень! — говорили национальные гвардейцы, оставшиеся для дележа добычи.— Старик-то был богат и уж, конечно, не успел в завещании лишить его наследства.

Закончив дележ, контршуаны догнали маленький отряд синих и пошли за ними на некотором расстоянии.

Мучительная тревога прокралась вечером в лачугу Налей-Жбана, где до тех пор жизнь была так простодушно-беспечна. Барбета и ее маленький сын, с тяжелой ношей за плечами — мать с большой вязанкой валежника, мальчик с охапкой травы для скота,— вернулись домой в тот час, когда обычно семья садилась за ужин. Войдя в хижину, мать и сын напрасно искали Налей-Жбана, и никогда еще эта жалкая комната не казалась им такой большой,— такая чувствовалась в ней пустота. Потухший очаг, сумрак, тишина — все предвещало какое-то несчастье. Когда совсем стемнело, Барбета поспешила развести яркий огонь и зажгла два *оригуса* — так назывались смоляные светильники во всем крае, от берегов Арморики до верховьев Луары, и название это до сих пор употребляют в вандомских деревнях за Амбуазом. Все свои приготовления Барбета совершала с той медлительностью, которая сковывает движения, когда человек поглощен глубоким чувством; она прислушивалась к малейшему шуму; нередко завывание ветра обманывало ее, она выходила за порог своей жалкой лачуги и возвращалась в тяжкой печали. Ополоснув два жбана, она наполнила их сидром и поставила на длинный стол из каштанового дерева. Не раз она устремляла взгляд на сына, который следил, чтобы не подгорели гречневые лепешки, но не в силах была заговорить с ним. На мгновение глаза мальчика остановились на двух больших гвоздях — обычно на них висело отцовское ружье, и Барбета вздрогнула, увидев, как и он, это пустое место на стене. Тишину нарушало только мычание

коров да равномерный звук капель сидра, падавших из-под втулки бочонка. Бедная женщина, вздыхая, приготовила в трех глиняных мисках похлебку из молока, мелко нарезанной лепешки и жареных каштанов.

— Нынче дрались на поле Бородьера,— сказал мальчик.

— Сходи туда, погляди,— ответила мать.

Мальчик побежал, увидел при свете луны груду трупов, не нашел среди них отца и вернулся домой, весело насвистывая: он подобрал несколько монет по сто су, затоптанных в грязь ногами победителей и никем не замеченных. Когда он вернулся домой, мать сидела на скамеечке у огня и пряла коноплю. Мальчик отрицательно покачал головой, но Барбета уже не смела надеяться на что-нибудь хорошее. Лишь только на колокольне св. Леонарда пробило десять часов, мальчик пролепетал молитву святой Анне Орейской и лег спать. Барбета всю ночь не смыкала глаз, но на рассвете она вскрикнула от радости, услышав еще издали стук тяжелых башмаков, подбитых железом. Вскоре в дверях показалось хмурое лицо Налей-Жбана.

— Молодца спасли, по милости святого Лавра! Я за это обещал поставить большую свечу. Не забудь, что мы теперь должны святому Лавру три свечи.

Затем Налей-Жбан схватил жбан с сидром и залпом осушил его. Когда жена подала ему похлебку и взяла у него ружье, он сел на скамью и, придвигаясь к очагу, сказал:

— Но как же это контршуаны и синие попали сюда? Ведь дрались-то во Флориньи? Какой дьявол мог им сказать, что Молодец у нас? Знали об этом только он сам, да его красотка, да мы...

Барбета побледнела.

— Синие обманули меня, будто они молодцы из прихода святого Георгия,—ответила она, дрожа всем телом,— и я им рассказала, где найти Молодца.

Тогда побледнел и Налей-Жбан и отставил от себя миску с похлебкой.

— Я послала нашего парнишку упредить тебя,— испуганно сказала Барбета,— да он тебя не нашел.

Шуан встал и так сильно ударил жену, что она замертво упала на кровать.

— Проклятая баба, загубила ты меня!..— сказал он. Но вдруг ужас охватил его, и он крепко обнял жену.— Барбета! Барбета! — крикнул он.— Пресвятая дева! Уж очень тяжелая у меня рука!

— Как ты думаешь,— сказала она, открыв наконец глаза,— Крадись-по-Земле проведает об этом?

— Молодец велел разузнать, кто его предал,— ответил шуан.

— Кому велел? Самому Крадись-по-Земле?

— Хватай-Каравай и Крадись-по-Земле были нынче во Флориньи.

Барбета вздохнула свободней.

— Если из-за них хоть один волос упадет с твоей головы, солоно им придется. Я отомщу! — сказала она.

— Эх, пропала к еде охота! — печально воскликнул Налей-Жбан.

Жена пододвинула ему второй жбан, но он даже не взглянул на сидр. Две крупных слезы скатились по щекам Барбеты, оставив влажный след в морщинах ее увядшего лица.

— Слушай, жена, завтра утром надо набрать хворосту на горе святого Сульпиция, насупротив церкви святого Леонарда, и зажечь там костер. Это условный знак. Молодец зовет ректора из прихода святого Георгия, чтобы старик пришел отслужить для него мессу.

— Так он, значит, пойдет в Фужер?

— Да, к своей красотке. Из-за этого придется мне нынче немало побегать! Видно, он хочет жениться на ней и увезти ее тайком: он велел мне нанять лошадей и быть с ними на дороге к Сен-Мало.

Усталый Налей-Жбан прилег отдохнуть на несколько часов, а затем снова пустился в путь. На следующее утро он вернулся, старательно выполнив все поручения маркиза. Узнав, что Крадись-по-Земле и Хватай-Каравай не появлялись в доме, он рассеял опасения жены, и она, немного успокоившись, отправилась на гору св. Сульпиция, где накануне приготовила на округлой вершине против церкви св. Леонарда несколько вязанок заиндевевшего хвороста. Она вела за руку своего мальчугана, он нес в разбитом деревянном башмаке тлеющие угли. Лишь только Барбета с сыном скрылись за сараем, Налей-Жбан услышал, как два человека перепрыгнули

через последние из всей длинной анфилады полевые ворота, и в довольно густом тумане стали смутно вырисовываться их угловатые силуэты.

«Это Хватай-Каравай и Крадись-по-Земле!»— подумал он и вдруг вздрогнул: в маленьком дворике появились угрюмые лица обоих шуанов, затененные потрепанными широкополыми шляпами, похожие на те загадочные картинки, которые граверы иногда создают из штрихов пейзажа.

— Здравствуй, Налей-Жбан! — хмуро сказал Крадись-по-Земле.

— Здравствуйте, господин Крадись-по-Земле!—смиренно ответил муж Барбеты.— Не желаете ли зайти в дом распить жбан-другой сидра? У меня есть холодные лепешки и только что сбитое масло.

— От угощения не отка́зываются,— ответил двоюродному брату Хватай-Каравай.

Шуаны вошли. Такое начало, казалось, не предвещало ничего страшного; хозяин поспешно направился к бочке, нацедил три жбана сидра, а тем временем Крадись-по-Земле и Хватай-Каравай, усевшись по сторонам длинного стола на лоснящихся скамьях, разрезали на куски лепешки и намазали их желтоватым свежим маслом, из которого под ножом брызгали капельки молока. Налей-Жбан поставил перед гостями полные жбаны сидра с шапкой пены, и трое шуанов принялись есть; но время от времени хозяин дома, торопливо утоляя жажду, бросал искоса взгляды на Крадись-по-Земле.

— Дай-ка мне твой рожок,— сказал Крадись-по-Земле Хватай-Караваю.

С силой вытряхнув на ладонь несколько понюшек, шуан сосредоточенно втянул табак в нос — обычная подготовка бретонца перед каким-нибудь важным делом.

— Холодно что-то,— сказал Хватай-Каравай, вставая из-за стола, и пошел закрыть верхнюю часть двери.

Тусклый свет туманного дня проникал теперь только через маленькое окошечко, слабо освещая лишь стол и две скамьи, но огонь отбрасывал в комнату краснова-тые отблески. В эту минуту хозяин, второй раз наполнив жбаны, поставил их перед гостями, но оба они отказались пить, сбросили свои широкополые шляпы и вдруг приняли торжественный вид. От их жестов и от взглядов, ко-

торыми они обменялись, Налей-Жбан затрепетал, ему показалось, что кровь выступила из-под красных шерстяных колпаков на их головах.

— Принеси нам топор,— сказал Крадись-по-Земле.

— Топор, сударь? Зачем вам топор?

— Полно, брат, ты и сам отлично знаешь, зачем,— сказал Хватай-Каравай, пряча в карман рожок, который вернул ему Крадись-по-Земле.— Ты приговорен.

Оба шуана разом поднялись и схватились за карабины.

— Господин Крадись-по-Земле, я ничего не говорил про Молодца...

— Сказано тебе: принеси топор,— ответил шуан.

Несчастный Налей-Жбан натолкнулся на грубую деревянную кровать своего мальчугана, и на пол упали и покатились три монеты по сто су. Хватай-Каравай подобрал их.

— Ого! Синие-то заплатили тебе новыми деньгами!— воскликнул Крадись-по-Земле.

— Истинную правду отвечу, вот перед образом святого Лавра скажу: я ничего, как есть ничего не говорил. Барбета приняла контршуанов за молодцов из прихода святого Георгия — вот и все.

— Зачем говоришь с женой о делах? — грубо возразил Крадись-по-Земле.

— Брат, да мы и не просим тебя объяснять, а просим топор. Ты приговорен.

По знаку сотоварища Хватай-Каравай помог ему схватить жертву. Очутившись в руках обоих шуанов, Налей-Жбан сразу обессилел и, упав на колени, в отчаянии протянул руки к своим палачам:

— Друзья мои, братец дорогой, что же вы делаете? Что будет с моим парнишкой?

— Я позабочусь о нем,— сказал Крадись-по-Земле.

— Товарищи милые,— снова заговорил Налей-Жбан, весь побелев,— я же не могу так вот сразу умереть. Неужто вы дадите мне умереть без покаяния? Вы имеете право лишить меня жизни, но нет у вас такого права, чтобы лишить меня вечного блаженства.

— Это верно,— сказал Крадись-по-Земле и поглядел на Хватай-Каравая.

Оба шуана с минуту стояли в большом затруднении,

не зная, как разрешить этот вопрос совести. Налей-Жбан прислушивался к малейшему шуму ветра, как будто все еще хранил какую-то надежду. Услышав равномерный стук падающих капель, он машинально взглянул на бочку с сидром и печально вздохнул. Вдруг Хватай-Каравай схватил приговоренного за руку и повел его в угол.

— Исповедуйся мне, я все перескажу священнику истинной церкви, и он даст тебе отпущение грехов, а ежели наложит епитимию, я выполню ее за тебя.

Налей-Жбан получил, таким образом, некоторую отсрочку, но, перебирая свои многочисленные прегрешения и обстоятельства, при которых они были совершены, в конце концов все же исчерпал этот длинный перечень.

— Эх, беда,— сказал он в заключение.— Брат, скажу тебе напоследок, как на духу, богом клянусь, я могу только в одном себя упрекнуть: иной раз я мошенничал лишку, чтобы сдобрить сухой хлеб маслом, а про Молодца ничего я не говорил... беру свидетелем святого Лавра, вон он — над очагом стоит... Нет, братцы, друзья дорогие, я не предатель!

— Ну, ладно, брат, вставай! Ты об этом обо всем столкуешься с господом богом, когда время придет.

— Дайте же мне хоть словечко сказать на прощание. Барбе...

— Довольно,—прервал его Крадись-по-Земле.—Если хочешь, чтобы тебя не поминали злом больше, чем следует, веди себя как бретонец и не хнычь перед смертью.

Шуаны снова схватили его, положили на скамью, и он уже больше не выказывал никаких признаков сопротивления, только судорожно вздрагивал в инстинктивном животном страхе; наконец, он издал несколько глухих стонов, и разом их оборвал тяжелый стук топора. Голова отлетела с одного удара. Крадись-по-Земле поднял ее за волосы, вышел за порог, поискал взглядом и нашел на грубом наличнике двери большой гвоздь, намотал на него прядь волос, за которую держал эту окровавленную голову, и, даже не потрудившись закрыть ей глаза, повесил ее у входа в лачугу. Оба шуана, не торопясь, вымыли руки в большой глиняной миске, наполненной водою, надели шляпы, взяли карабины и, перепрыгнув через бревно, пошли по тропинке, насвистывая мотив «Баллады о капитане». В конце поля Хватай-Каравай

затянул хриплым голосом куплеты, наугад выхватив их из этой наивной песни, и ветер далеко разнес ее простую, сельскую мелодию:

Приехав в порт известный [1],
Там белый шелк чудесный
Ей капитан купил.

В другом порту богатом
Наряд, расшитый златом,
Он милой подарил.

Такой красой блистала,
Что ей салютовала
Флотилия не раз.

Шуаны отходили все дальше, мелодия становилась все более смутной, но тишина полей была так глубока, что обрывки мотива достигли слуха Барбеты, которая в это время возвращалась домой, держа за руку своего мальчугана. Ни одна крестьянка не может равнодушно слышать эту песню, столь любимую на западе Франции, и Барбета невольно начала напевать первые куплеты баллады:

— Пришла пора, красавица,
Нам на войну отправиться,
Настал отъезда час.

— Пусть вы лихой вояка,
Но дочь свою, однако,
Растил я не для вас.

С возлюбленным в позоре
Не жить ей ни на море,
Ни на земле у нас.

— Оставь-ка, дочь, надежды!
Сорвав с нее одежды,
Отец в седой прибой

Несчастную бросает,
Но друг ее спасает
Из бездны из морской.

— Пришла пора, красавица,
Нам на войну отправиться,
Настал отъезда час.

Приехав в порт известный

и т. д.

---

[1] Перевод М. Вержейской.

Мурлыча слова баллады, с которых начал Хватай-Каравай, Барбета уже вошла в свой двор, но тут язык ее оцепенел, она замерла на месте, и дикий, тотчас подавленный вопль вырвался из ее широко раскрытого рта.

— Что с тобой, матушка? — спросил ребенок.

— Иди один! — глухо воскликнула Барбета и, выдернув свою руку из его ручонки, толкнула его вперед с небывалой для нее резкостью.— Нет у тебя больше ни отца, ни матери.

Ребенок громко заплакал, потирая себе плечо, но вдруг увидел висевшую у двери голову, умолк, и на свежем его личике застыла гримаса, которая обычно появляется у плачущего. Он широко раскрыл глаза, каким-то бессмысленным взглядом, без малейшего волнения, долго смотрел на голову отца, и под конец на его лице, отмеченном печатью тупого невежества, даже появилось выражение любопытства. Вдруг Барбета снова взяла руку ребенка и, крепко стиснув ее, быстро потащила мальчика за собою в хижину. Когда Хватай-Каравай и Крадись-по-Земле укладывали Налей-Жбана на скамью, с ноги у него свалился деревянный башмак, упал на пол под головой и наполнился кровью, вытекавшей из обрубка шеи; этот башмак прежде всего кинулся в глаза вдове.

— Сними с ноги сабо,— сказала она сыну.— Теперь сунь ногу вот сюда. Так. Навсегда запомни башмак твоего отца,— продолжала она мрачным голосом,— и всякий раз, как будешь обуваться, вспоминай башмак, наполненный его кровью, которую пролили шуаны. Убивай шуанов!..

Голова Барбеты судорожно затряслась, черные волосы рассыпались по плечам, придавая ее лицу зловещее выражение.

— Призываю святого Лавра в свидетели, что я посвящаю тебя синим! Ты будешь солдатом и отомстишь за отца. Убивай, убивай шуанов! И поступай, как я. А-а!! Они отрубили голову моему хозяину, так я отдам синим голову Молодца!

Одним прыжком она очутилась на постели, достала из тайника мешочек с деньгами, взяла за руку удивленного сына и яростно повлекла его за собою, не дав ему даже времени надеть на ногу сабо; оба быстро пошли

к Фужеру и ни разу не обернулись, чтобы взглянуть на хижину, которую покидали. Когда они поднялись на скалы св. Сульпиция, Барбета помешала пылающие угли в костре, а мальчик помог ей положить на них покрытые инеем зеленые ветки дрока, для того чтобы гуще поднимался дым.

— Пережил он твоего отца, переживет и меня и того человека, которого зовут Молодцом,— с угрюмой яростью сказала Барбета, указывая сыну на костер.

В ту минуту, когда вдова убитого и ее сын, с окровавленной ногой, смотрели мрачно, с выражением злорадного любопытства, как клубится дым, мадемуазель де Верней не сводила глаз с этой скалы и тщетно пыталась различить на ней условный сигнал, обещанный маркизом. Туман, постепенно усиливаясь, все затянул серой пеленой и скрыл очертания даже ближайших к городу окрестностей. С нежной тревогой смотрела девушка то на скалы, то на крепость, то на дома, похожие в тумане на сгустки еще более темного тумана. Несколько деревьев за окном выделялись на этом синеватом фоне, словно кораллы, которые можно различить в глубине моря, когда оно спокойно. Солнце придавало мглистому небу оттенок старого серебра, и лучи его окрашивали мутно-красным цветом обнаженные ветви деревьев, на которых покачивались последние уцелевшие листья. Но душу Мари волновало сладостное чувство, и она не могла видеть дурных предзнаменований в таком унылом зрелище, столь не соответствующем глубокому счастью, которым она заранее наслаждалась. За последние два дня все ее мысли как-то странно изменились. Резкие, буйные порывы страстей постепенно поддались влиянию той ровной температуры, какою истинная любовь согревает жизнь. Из многих опасных испытаний Мари вынесла, наконец, уверенность, что она действительно любима, и тогда в ней родилось желание возвратиться к общественным условиям дозволенного, прочного счастья, ибо лишь с отчаяния она вышла из этих рамок. Любовь мимолетная казалась ей теперь убожеством. И к тому же она представила себе, как со дна общества, куда ее бросили несчастья, она вдруг поднимется вновь в те высокие круги, в которые ее ненадолго ввел отец. Тщеславие, подавленное мучительным чередованием то радо-

стных, то тяжелых волнений страсти, снова проснулось в ней и рисовало все преимущества высокого положения. Ведь до некоторой степени она была урожденной маркизой, и выйти замуж за Монторана означало для нее возможность жить и действовать в присущей ей среде. Изведав превратности бурной жизни, она лучше, чем любая женщина, могла оценить величие чувств, созидающих семью. Брак, материнство и его заботы были бы для нее не столько обязанностями, сколько отдыхом. Сквозь последнюю разразившуюся бурю она с любовью смотрела на добродетельную и спокойную жизнь, как иной раз женщина, утомленная своей добродетелью, бросает завистливый взгляд на запретную страсть. Добродетель стала для нее новым соблазном.

«Может быть, я слишком была кокетлива с ним? — думала она, отходя от окна, так и не увидев дыма на скале св. Сульпиция.— Но ведь иначе я не узнала бы, что он любит меня!..»

— Франсина! Это уже не сон: сегодня вечером я буду маркизой де Монторан. Чем я заслужила такое полное счастье? О, я люблю его, а только любовью можно заплатить за любовь! И все же бог, вероятно, хочет вознаградить меня за то, что, невзирая на все бедствия, я сохранила мужество, и он даст мне позабыть мои страдания... А ты ведь знаешь, дорогая, как много я страдала!

— Нынче вечером вы станете маркизой де Монторан? Вы, Мари? Ах, пока это не свершится, мне все будет казаться, что я вижу сон. Кто же открыл ему, что вы достойны этого?

— Ну, дорогая моя девочка, у него не только красивые глаза, но и прекрасная душа. Ах, если б ты видела его в минуты опасности, как я! О-о! Он, наверно, умеет любить, в нем столько отваги!

— Если вы так его любите, почему же вы позволили ему прийти сегодня в Фужер?

— Да разве мы успели поговорить друг с другом, когда нас внезапно окружили? И к тому же, разве это не доказательство любви? А нам, женщинам, никогда не бывает достаточно таких доказательств... Ну, а теперь причеши меня.

Однако она сто раз переделывала нервными, словно гальваническими движениями, удачную прическу,—ухи-

щрениям кокетства все еще мешали бурные мысли. Завивая локон или подчеркивая природный блеск волос, заплетая их в косы, она все еще с недоверием спрашивала себя, не обманывает ли ее маркиз, и тут же отвечала, что подобная дерзость просто невозможна, ибо, смело являясь к ней в Фужер, он подвергал себя неминуемому мщению. Она лукаво изучала в зеркале эффект уклончивого взгляда, улыбки, легкой складочки на лбу, гневного, нежного или презрительного выражения лица, искала какой-нибудь женской уловки, чтобы до последнего мгновения испытывать сердце возлюбленного.

— Ты права, Франсина. Я тоже хотела бы, чтобы свадьба уже состоялась. Этот день — последний сумрачный день моей жизни: он несет мне смерть или счастье нам обоим... Ах, этот мерзкий туман! — воскликнула она, вновь посмотрев на скалы св. Сульпиция, по-прежнему окутанные серой пеленой.

Она сама принялась драпировать складки шелковых и кисейных занавесей на окнах, стараясь затенить дневной свет и создать в комнате сладострастный полумрак.

— Франсина,— сказала она,— убери эти безделушки, они загромождают камин, оставь только часы и обе саксонские вазы,— я сама поставлю в них те зимние цветы, которые достал для меня Корантен... Вынеси все стулья, я хочу, чтобы здесь было только канапе и кресло. А когда кончишь, дорогая, почисти ковер, чтобы оживить его тона; затем вставь везде свечи: в стенные бра у камина и в канделябры...

Долго и внимательно рассматривала Мари старинный гобелен, которым были обтянуты стены ее комнаты. Руководствуясь врожденным вкусом, она сумела найти среди ярких оттенков искусных вышивок те тона, которыми это украшение былых времен подходило к мебели и всему убранству будуара гармонией оттенков или прелестью контрастов. Той же мыслью руководилась она, расставляя цветы в фигурных вазах, украшавших комнату. Канапе придвинули ближе к огню. В изголовье и в ногах кровати, занимавшей всю стену против камина, она поставила на двух позолоченных столиках большие саксонские вазы, наполнив их листьями и цветами, распространявшими нежнейшее благоухание. Не раз она вздрагивала, поправляя над кроватью волнистые склад-

ки зеленого шелка и разглядывая изгибы затканного цветами занавеса, за которым она скрыла свое ложе. Подобные приготовления таят в себе неизъяснимое счастье, вызывают такое сладостное томление, что нередко среди этих волнующих забот женщины забывают о своих тревогах, как забыла о них и мадемуазель де Верней. Разве не исполнены какого-то благоговейного чувства все эти бесчисленные заботы, расточаемые ради любимого, которого ждут, который еще не может увидеть и оценить их, но скоро вознаградит за них улыбкой одобрения, ибо они всегда бывают прекрасно поняты! Ведь при этом женщины как бы заранее отдают себя во власть любви, и нет среди них ни одной, которая не думала бы того, что мысленно говорила себе мадемуазель де Верней: «Сегодня вечером я буду счастлива!» Даже самая целомудренная женщина прячет эту надежду в незаметных складках шелка или кисеи, и постепенно та гармония, какую она создает вокруг себя, придает всему облик, дышащий любовью. В атмосфере чувственной неги вещи становятся для нее живыми существами, свидетелями, и она уже делает их соучастниками всех своих будущих радостей. С каждой мыслью, каждым новым движением она все смелее предвосхищает грядущее. Вскоре она, уже не в силах ждать и надеяться, корит тишину, в малейшем шорохе ищет предзнаменования, и, наконец, сомнение когтистой рукой сожмет ее сердце; тогда она трепещет, пылает и чувствует, как одна-единственная мысль, разрастаясь в чисто физическую силу, терзает ее. Ликование переходит в пытку, которую без надежды на будущие радости вынести невозможно. Двадцать раз мадемуазель де Верней приподнимала занавеси окна, надеясь различить столб дыма над скалами, но туман, казалось, с каждой минутой принимал все новые серые тона, и, наконец, ее воображение увидело в этом зловещий знак. Мучительное беспокойство охватило ее; она выпустила из рук занавеси и дала себе слово больше не поднимать их. Гневным взглядом Мари окинула комнату, которой она дала душу и голос, спросила себя, не будут ли напрасны ее старания, и эта мысль заставила ее вернуться к действительности.

— Душенька, иди сюда,— сказала она Франсине, уводя ее в смежную с будуаром туалетную комнату, в

которую свет проникал через овальное окошечко, выходившее в тот темный угол, где городские укрепления примыкали к скалам в конце бульвара.— Убери здесь получше, чтобы все было в порядке. А гостиную, если хочешь, оставь неубранной,— добавила она с той улыбкой, какую женщины дарят только близким подругам, никогда не давая мужчинам изведать тонкого ее лукавства.

— Ах, как вы хороши! — воскликнула бретонка.

— Пустое! Какие мы все глупые! Ведь лучшим нашим украшением всегда будет наш возлюбленный!

Мадемуазель де Верней в томной позе раскинулась на оттоманке, и Франсина тихонько вышла из комнаты, угадывая, что, любит или не любит Монторан ее госпожу, она никогда его не выдаст.

— А ты уверена, старуха, в том, что наговорила мне? — спросил Юло Барбету — войдя в Фужер, она сразу узнала его.

— Есть у вас глаза? Посмотрите сами. Гляньте на гору, вон туда, голубчик, супротив церкви святого Леонарда.

Корантен устремил взгляд в том направлении, куда Барбета указывала пальцем, и так как туман начал редеть, он довольно ясно различил на скале столб беловатого дыма, о котором говорила вдова Налей-Жбана.

— Когда же он придет? А, старуха? Вечером или ночью?

— Этого я уж не знаю, голубчик.

— Почему ты выдаешь своих?—быстро сказал Юло, отведя крестьянку на несколько шагов от Корантена.

— Эх, господин генерал, взгляните на ногу моего паренька! Она смочена кровью моего хозяина,— шуаны его убили; с позволения сказать, как теленка, зарезали за те три слова, что вы у меня выпытали позавчера, когда я вскапывала поле. Возьмите моего мальчишку, раз уж вы отняли у него отца и мать, но сделайте из него настоящего синего, голубчик, и пусть он побольше перебьет шуанов. Вот вам двести экю, сохраните их для него; если он будет беречь эти деньги, ему надолго хватит; ведь отец двенадцать лет их копил.

Юло с удивлением посмотрел на бледное морщинистое лицо крестьянки: в глазах у нее не было слез.

— А как же ты, матушка? — спросил он.— Что с тобою-то будет? Лучше ты себе оставь эти деньги.

— Я-то? — ответила она, грустно качая головой.— Мне теперь уж ничего не надо. Запрячьте меня хоть в самую глубь башни Мелузины (она показала на одну из башен замка), шуаны и там меня убьют.

С мрачной скорбью поглядела она на своего маленького сына, поцеловала его, роняя слезы, еще раз взглянула и исчезла.

— Командир, вот случай, которым надо воспользоваться! — воскликнул Корантен.— Но только, видишь ли, тут «ум хорошо, а два лучше»! Мы знаем все и ничего не знаем. Немедленно оцепить дом мадемуазель де Верней—значит восстановить ее против нас. А ведь ни ты, ни я, ни твои контршуаны и два твоих батальона не в силах бороться с такой девушкой, если она вздумает спасти своего бывшего. Этот малый — придворный и, стало быть, хитер; к тому же он молод и смел. Нам ни за что не удастся захватить его у ворот Фужера. Да, кстати сказать, он, может быть, уже в городе. Произвести обыск в домах? Нелепость! Мы ничего не найдем, только наделаем шуму и всполошим жителей.

— Я пойду на караульный пост у ворот святого Леонарда,— нетерпеливо сказал Юло,— дам приказ, чтобы часовые удлинили свою дистанцию на несколько шагов, и, таким образом, они будут проходить мимо дома мадемуазель де Верней. Каждому часовому я сообщу условный сигнал, сам буду сидеть в кордегардии, и, когда мне дадут знать, что в город вошел какой-нибудь молодой человек, я возьму капрала, четырех солдат и...

— Погоди...— остановил Корантен порывистую речь солдата.— А если окажется, что этот молодой человек вовсе не маркиз... а если маркиз войдет в город не через ворота, а если он уже находится у мадемуазель де Верней, если... если...

И Корантен посмотрел на Юло с видом превосходства, до такой степени оскорбительным, что старый вояка воскликнул:

— Разрази меня гром! Провались ты в преисподнюю, гражданин Люцифер!.. Какое мне до всего этого дело!

Ежели этот майский жук попадет в одну из моих кордегардий, мне придется его расстрелять; ежели я узнаю, что он находится в каком-нибудь доме, мне придется дом окружить, взять этого Молодца и опять-таки расстрелять. Но какого дьявола буду я сейчас ломать себе голову и марать свой мундир!

— В письме, подписанном тремя министрами, тебе приказано повиноваться мадемуазель де Верней.

— Гражданин, пусть она сама придет, и тогда я решу, как мне поступить.

— Хорошо, гражданин,— высокомерно сказал Корантен.— Она не замедлит прийти. Она сама сообщит тебе час и минуту, когда явится этот бывший, и, может быть, не успокоится, пока не увидит, что ты расставил часовых и оцепил ее дом солдатами!

«Дьявол в образе человеческом! — горестно сказал про себя старый начальник полубригады, глядя вслед Корантену, который, широко шагая, взбирался по Лестнице королевы, где происходила эта сцена, а затем повернул к заставе св. Леонарда.—Он выдаст мне Монторана, связанного по рукам и по ногам,— продолжал Юло,— и мне еще будет докука председательствовать в военном суде. Ну в конце концов,— сказал он, пожимая плечами,— Молодец — враг Республики, он убил бедного моего Жерара, и все-таки одним аристократом будет меньше... К черту все это!»

Он круто повернулся и, насвистывая «Марсельезу», отправился проверять караульные посты в городе.

Мадемуазель де Верней была погружена в раздумье, в те мысли, тайна которых как будто погребена в безднах души, и множество противоречивых чувств, властно охватывающих тогда человека, является доказательством, что можно и в четырех стенах, даже не сходя с оттоманки, жить бурной жизнью, исполненной страстей, которые испепеляют наше бытие. Зная, что близится развязка драмы, на поиски которой она приехала в этот край, она перебирала в памяти сцены, исполненные любви и гнева, с такой могучей силой оживлявшие ее существование все десять дней — со времени ее первой встречи с маркизом. В эту минуту в гостиной, перед ее

комнатой, послышались мужские шаги. Она вздрогнула. Дверь открылась, Мари быстро повернула голову и увидела Корантена.

— Плутовка! — сказал, смеясь, агент полиции.— Когда же вы перестанете обманывать меня? Ах, Мари, Мари! Вы ведете очень опасную игру. Напрасно вы не посвящаете меня в свои планы и решаетесь на смелый шаг, не советуясь со мной. Если маркиз избежал своей участи...

— То это произошло не по вашей вине? Не так ли?— с глубокой иронией ответила мадемуазель де Верней.— Сударь, по какому праву вы снова явились ко мне? — сурово спросила она.

— К вам? — переспросил он обиженным тоном.

— Ах, так! Вы хотите напомнить мне, что я не у себя дома? — заметила она с достоинством.— Может быть, вы сознательно выбрали именно этот дом, как самое удобное место для ваших убийств? Я сейчас же уйду отсюда. Я готова бежать в пустыню, лишь бы не видеть больше всяких...

— Шпионов? Договаривайте, не стесняйтесь! Но этот дом не ваш и не мой, он принадлежит правительству. А уйти вам отсюда... Нет, вы этого ни за что не сделаете,— добавил он, бросив на нее дьявольский взгляд.

Мадемуазель де Верней поднялась в негодовании, сделала несколько шагов к двери, но вдруг остановилась, увидев, что Корантен приподнял занавеси, закрывавшие окно, и, усмехаясь, приглашает ее подойти к нему.

— Видите вы этот столб дыма? — спросил он. Бледное лицо его сохраняло выражение невозмутимого спокойствия, никогда не покидавшее этого человека, как бы ни было велико его волнение.

— Какая может быть связь между моим отъездом и сорными травами, которые там кто-то сжигает? — спросила она.

— Почему же ваш голос так изменился? — возразил Корантен.— Бедная девочка,— ласково добавил он,— я все знаю! Маркиз придет сегодня в Фужер, и, конечно, вовсе не для того, чтобы выдать его нам, вы с такой любовью убрали ваш будуар: эти цветы, эти свечи...

Мадемуазель де Верней побледнела, прочтя смертный приговор маркизу в глазах этого тигра в человече-

ском образе, и почувствовала к своему возлюбленному страсть, граничащую с безумием. Каждый волосок на голове причинял ей такую жестокую, невыносимую боль, что она упала на оттоманку. С минуту Корантен стоял, скрестив руки, наполовину довольный — ибо терзания несчастной женщины были его местью за все ее сарказмы, за все презрение, которым она его подавляла,— наполовину огорченный зрелищем ее мук, потому что деспотическое иго этого создания, каким бы ни было оно тяжким, всегда доставляло ему удовольствие.

— Вы любите его! — сказал он глухим голосом.

— Люблю? —воскликнула она.— Ах, что значит это слово!.. Корантен, он — моя жизнь, моя душа, мое дыхание!..

Она бросилась к ногам этого человека, ужасавшего ее своим холодным спокойствием.

— Грязная душа,— сказала она ему,— лучше мне обесчестить себя, вымаливая ему жизнь, чем отнимая ее. Я хочу спасти его, хотя бы ценою моей крови... Скажи, чего ты требуешь?..

Корантен вздрогнул.

— Я пришел получить от вас приказания, Мари,— сказал он кротким тоном и с изысканной учтивостью поднял ее на ноги.— Ах, Мари, никакие ваши оскорбления не помешают мне быть всецело вашим. Только не обманывайте меня больше. Вы же знаете, Мари, меня нельзя обмануть безнаказанно.

— Ах, если вы хотите, чтобы я полюбила вас, Корантен, помогите мне спасти его!..

— Хорошо. В котором часу придет маркиз? — сказал он, стараясь задать вопрос спокойным тоном.

— Не знаю... Ничего об этом не знаю...

Они молча поглядели друг на друга.

«Я погибла!» — сказала себе мадемуазель де Верней.

«Она меня обманывает»,— подумал Корантен.

— Мари,— заговорил он,— у меня два правила: первое — никогда не верить ни одному слову женщин,— это верное средство не быть ими одураченным; второе — всегда искать, нет ли для них какого-нибудь интереса делать противоположное тому, что они говорят, идти в своих поступках против тех намерений, тайну которых

они якобы соблаговолили нам доверить. Мне думается, мы теперь поняли друг друга?

— Прекрасно поняли,— подтвердила Мари.— Вы хотите получить доказательства моей искренности, но я приберегу их до той минуты, когда вы сами докажете мне свою искренность...

— Прощайте, мадемуазель,— сухо сказал Корантен.

— Полно,— промолвила девушка, улыбаясь.— Сядьте вот сюда и перестаньте сердиться, иначе я и без вас сумею спасти маркиза. А те триста тысяч франков, которые вы все время видите перед собою, я могу вам дать золотом,— положу вот на этот камин тотчас же, как маркиз окажется в безопасности.

Корантен встал и, отступив на шаг, поглядел на мадемуазель де Верней.

— Как быстро вы разбогатели! — воскликнул он с плохо скрытой горечью.

— Монторан может предложить вам гораздо больше в качестве выкупа за свою жизнь,— сказала она, презрительно улыбаясь.— Итак, докажите мне, что вы в силах уберечь его от всякой опасности, и тогда...

— А вы не можете немедленно вывести его из города, когда он придет? — воскликнул вдруг Корантен.— Ведь Юло не знает, в котором часу он явится, и...

Он умолк, словно упрекая себя в том, что сказал слишком много.

— Да вам ли учиться у меня хитростям? — сказал он, улыбаясь самой естественной улыбкой.— Слушайте, Мари, я уверен в вашей честности. Обещайте возместить мне все, что я потеряю, служа вам, и я так ловко проведу этого старого олуха Юло, что маркиз будет в Фужере так же свободен, как в Сен-Джемсе.

— Обещаю вам это,— с некоторой торжественностью сказала девушка.

— Нет, не так! Поклянитесь мне своей матерью.

Мадемуазель де Верней вздрогнула, но, подняв дрожащую руку, дала клятву, которую потребовал этот человек, и внезапно его поведение изменилось.

— Вы можете располагать мною,— сказал Корантен.— Только не обманите меня, и сегодня вечером вы будете меня благословлять.

— Я верю вам, Корантен,— воскликнула растроганная мадемуазель де Верней.

Она мягким движением наклонила голову, прощаясь с ним, и улыбнулась ему ласково, но слегка удивленно, увидев на его лице выражение грустной нежности.

«Какое восхитительное создание!—мысленно воскликнул Корантен, удаляясь.— Неужели она никогда не будет принадлежать мне и я не сделаю ее орудием моего обогащения, источником моих утех? Бросилась к моим ногам! Это она-то! Да, маркиз погиб!.. И если я могу завладеть этой женщиной, лишь столкнув ее в море грязи,— я столкну ее туда. Наконец-то у нее, кажется, исчезло недоверие ко мне,— говорил себе Корантен, выйдя на площадь, куда он пришел безотчетно.— Сто тысяч экю! И немедленно!.. Она считает меня скупым. Сто тысяч! Это хитрость, или она уже стала его женой».

Корантен терялся в догадках и не осмеливался принять твердое решение. Солнце к полудню почти рассеяло туман, но постепенно он опять усилился и стал таким густым, что Корантен уже не мог видеть деревья даже на близком расстоянии.

«Еще новая беда! — думал он, медленно возвращаясь домой.— В пяти шагах ничего не видно. Погода покровительствует нашим влюбленным. Попробуйте следить за домом, когда его охраняет такой туман!»

— Кто идет? — крикнул он, схватив за плечо какого-то человека, казалось взобравшегося на бульвар по самым опасным скалам.

— Это я,— наивно ответил детский голос.

— А-а, мальчуган с красной ногой! Хочешь отомстить за отца? — спросил Корантен.

— Хочу! — ответил ребенок.

— Хорошо. Ты знаешь Молодца?

— Знаю.

— Прекрасно. Так вот, не отходи от меня, исполняй в точности все, что я тебе прикажу, и тогда ты завершишь дело твоей матери и заработаешь много денег. Ты любишь деньги?

— Люблю.

— Ага! Ты любишь деньги и хочешь убить Молодца! Я позабочусь о тебе.

«Ну, Мари, ты сама выдашь его нам,—сказал про се-

бя Корантен, постояв секунду в раздумье.— Она слишком порывиста, чтобы разгадать тот удар, который я сейчас нанесу ей, и к тому же страсть никогда не рассуждает. Она не знает почерка маркиза. Итак, пришла минута поставить западню, а по своему характеру Мари бросится в нее очертя голову. Но для верного успеха этой хитрости мне необходим Юло. Побегу к нему».

А в это время мадемуазель де Верней и Франсина держали совет, как им избавить маркиза от сомнительного великодушия Корантена и от штыков Юло.

— Я пойду к нему, надо его предупредить!—воскликнула бретонка.

— Безумная! Да разве ты знаешь, где он? Даже я сама, хотя меня будет вести голос моего сердца, могла бы долго искать и все же не встретить его.

Мадемуазель де Верней придумывала множество безрассудных планов, которые так легко выполнять, сидя у камина, и, наконец, воскликнула:

— Когда я его увижу, опасность вдохновит меня!

Как это свойственно пламенным натурам, ей понравилась мысль принять решение в последнюю минуту, доверившись своей счастливой звезде или той бессознательной находчивости, которая редко изменяет женщинам. Но, может быть, еще никогда так не щемило у нее сердце. То она сидела неподвижно, словно каменная, глядя в одну точку, то при малейшем шуме содрогалась, как дерево, почти вырванное с корнем, когда дровосеки дергают ствол веревкой, чтобы ускорить его падение. Вдруг вдалеке раздался грохот — яростный залп двенадцати ружей. Мадемуазель де Верней побледнела и, схватив Франсину за руку, вскрикнула:

— Умираю!.. Они убили его!

В гостиной послышались тяжелые солдатские шаги. Франсина испуганно поднялась с места и ввела в комнату капрала. Республиканец отдал честь мадемуазель де Верней и протянул ей два порядком испачканных письма. Не дождавшись от нее никакого ответа, капрал вышел, сказав на прощание:

— Сударыня, это от нашего командира.

Мадемуазель де Верней, охваченная тяжелым предчувствием, прочла письмо, видимо, наспех написанное Юло:

«Мадемуазель, мои контршуаны изловили и только что расстреляли гонца маркиза Монторана. Посылаю вам одно из перехваченных писем, поскольку оно может представить для вас некоторый интерес...»

— Слава богу! Они убили не его! — воскликнула мадемуазель де Верней, бросив письмо в огонь.

Мари вздохнула свободнее и с жадным вниманием прочла пересланную ей записку: она была от маркиза и явно адресована г-же дю Га.

«Нет, ангел мой, сегодня вечером я не поеду в Виветьер: сегодня вы проиграете графу пари, а я одержу победу над Республикой в образе известной вам очаровательной девицы, и, надеюсь, вы согласитесь, что она стоит одной моей ночи. Это будет единственной моей реальной победой за всю кампанию, ибо Вандея решила покориться. Больше во Франции делать нечего, и я (вероятно, вместе с вами) возвращусь в Англию. Но отложим серьезные дела до завтра!»

Записка выпала у нее из рук, она закрыла глаза и, откинув голову на подушку, застыла в молчании. Вдруг она подняла глаза к камину и взглянула на часы: было четыре часа.

— Господин де Монторан не торопится! — сказала она с жестокой иронией.

— Ах, если бы он совсем не пришел! — воскликнула Франсина.

— Если он не придет,— глухим голосом сказала Мари,— я сама пойду за ним! Но нет, теперь уже недолго его ждать... Франсина, хороша я сегодня?

— Вы очень бледны!

— Скажи,— промолвила мадемуазель де Верней,— эта благоухающая комната, эти цветы, свечи, эта опьяняющая нега,— может все это вызвать мысли о небесном блаженстве в том, кого я хочу этой ночью одурманить наслаждениями любви?

— Что случилось, мадемуазель?

— Меня предали, обманули, осквернили, унизили, одурачили, погубили, и я хочу его убить, растерзать! Да, в его манерах всегда было плохо скрытое презрение, но я не хотела этого видеть! О, я умру от этого!.. Нет, нет, как я глупа!—воскликнула она, смеясь.—Он придет, у меня впереди целая ночь, и я докажу ему, что мужчи-

на, который обладал мною, муж или любовник, уже не может покинуть меня. За оскорбление я отплачу полной мерой, и он погибнет в отчаянии. Я поверила, что в его душе есть какое-то величие, но он, вероятно, сын лакея. Конечно, он очень искусно обманывал меня, мне все еще трудно поверить, что человек, способный безжалостно отдать меня во власть Хватай-Каравая, может унизиться до плутовства, достойного Скапена. Так легко играть сердцем женщины, когда она любит, но ведь это самая подлая низость! Пусть бы он убил меня, пусть! Но лгать!.. Он способен лгать, а я так высоко его ставила! Нет, на эшафот его, на эшафот! Ах, я хотела бы видеть, как ему отрубят голову!.. И неужели я уж так жестока? Он умрет, все еще ощущая мои ласки, мои поцелуи, которые будут ему стоить двадцати лет жизни...

— Мари,— сказала Франсина с ангельской кротостью,—как и многие, многие женщины, будьте жертвой любимого, но не его любовницей и не его палачом. Храните в глубине сердца его образ, но не делайте его жестоким для себя воспоминанием. Если бы не было никакой отрады в безнадежной любви, что сталось бы с нами, бедными женщинами! Мари, вы никогда не думайте о боге, но он вознаградит нас за то, что мы исполним наше призвание на земле: любить и страдать!

— Кошечка,— ответила мадемуазель де Верней, поглаживая руку Франсины,— какой у тебя кроткий, умильный голос. Как привлекателен разум в таком милом облике. Мне бы очень хотелось послушаться тебя...

— Вы прощаете, вы его не выдадите?

— Молчи, не говори мне об этом человеке! По сравнению с ним Корантен—благородное существо... Ты поняла меня?..

Она встала. Ужасающее спокойствие скрывало охватившее ее безумие и неутолимую жажду мести. Медленная, размеренная поступь говорила о каком-то бесповоротном решении. Углубившись в свои мысли, терзаясь оскорблением, но из гордости не желая ничем выдать свои муки, она отправилась на караульный пост у ворот св. Леонарда, спросить, где живет Юло. Едва только она ушла из дому, туда явился Корантен.

— Ох, господин Корантен! — воскликнула Франсина.— Если вы хоть немного жалеете этого молодого чело-

века, спасите его! Мадемуазель хочет его выдать. Эта проклятая бумажка все погубила.

Корантен небрежным жестом взял письмо и спросил:

— А куда она пошла?

— Не знаю.

— Я побегу разыщу ее,— сказал Корантен,— надо спасти ее от отчаяния.

Он исчез, захватив с собой письмо, быстро пробежал по комнатам и сказал мальчугану, поджидавшему его у дверей:

— В какую сторону повернула та дама, что недавно вышла отсюда?

Сын Налей-Жбана прошел с Корантеном несколько шагов и указал ему улицу, которая вела вниз, к заставе св. Леонарда.

— Вот сюда она повернула,— без колебаний сказал он, повинуясь чувству мести, которое мать вдохнула в его сердце.

Тем временем в дом мадемуазель де Верней вошло четверо переодетых мужчин, и ни Корантен, ни мальчик не видели этого.

— Возвращайся на прежнее место,— сказал мальчику шпион.—Притворись, что ты играешь,—поворачивай, будто для забавы, вертушку у ставней, а сам следи хорошенько, смотри повсюду, даже на крыши...

Корантен бросился бежать по той улице, которую ему указал мальчик, в тумане увидел, как ему показалось, Мари и действительно догнал ее в ту самую минуту, когда она подходила к заставе св. Леонарда.

— Куда вы идете? — спросил он, предлагая ей руку.— Как вы бледны! Что случилось? Разве прилично ходить одной по улицам?.. Обопритесь на мою руку.

— Где Юло? — спросила она.

Но не успела она произнести эти слова, как услышала шум и топот за воротами св. Леонарда — возвратился с разведки отряд, и вскоре раздался голос Юло:

— Разрази меня гром! Ничего не видать. Никогда еще не бывало такого тумана! И как раз, когда мы пошли в дозор. Удобная погода для этого бывшего!.. Как по заказу!..

— На что вы ропщете? — ответила мадемуазель де

Верней, крепко сжав его руку.— Такой туман может скрыть и месть и предательство. Командир,— тихо добавила она,— вы должны вместе со мною принять все меры для того, чтобы Молодец сегодня не мог ускользнуть.

— Он у вас? — взволнованно и удивленно спросил Юло.

— Нет,— ответила она,— но дайте мне надежного человека, и я пошлю его известить вас, когда маркиз явится.

— Что вы! — поспешно вмешался Корантен.— Если в вашем доме будет солдат, это вспугнет Монторана. Лучше возьмите ребенка; я найду смышленого мальчишку, он не возбудит недоверия.

— Командир,—снова заговорила мадемуазель де Верней,— благодаря туману, который вы проклинаете, вы уже теперь можете оцепить мой дом. Расставьте солдат повсюду. Один из постов пусть караулит в церкви святого Леонарда, тогда в ваших руках будет эспланада, на нее выходят окна моей гостиной. Поставьте солдат и на бульваре: хотя от окна моей спальни до земли двадцать футов, но отчаяние иногда придает человеку силы спрыгнуть и с более опасной высоты. Слушайте, я, вероятно, выпущу маркиза через дверь, так поручите охранять ее человеку смелому—ведь Монторану нельзя отказать в храбрости,— сказала она со вздохом,— он будет защищаться!

— Гюден! — крикнул комендант.

Молодой житель Фужера выступил вперед: отряд, вернувшийся с Юло, стоял неподалеку в строю.

— Слушай, мальчик,— вполголоса сказал ему старый солдат —эта чертова девка решила выдать нам Молодца. Почему? Не знаю. Но все равно, это дело не наше. Возьми с собой человек десять и поставь их в караул, пусть стерегут тупик, в глубине которого стоит дом этой девицы. Да смотри, чтоб ни тебя, ни твоих людей не было заметно.

— Слушаю, командир. Я это место знаю.

— Так вот, сынок,— продолжал Юло,— я пошлю к тебе Скорохода предупредить, когда придет время поиграть саблями. Постарайся сам догнать маркиза, и если тебе удастся убить его, чтобы мне не пришлось расстрелять его судебным порядком,— через две недели ты бу-

дешь лейтенантом, или пусть меня не называют Юло. Мадемуазель, вот вам удалец, который не подведет,— сказал он девушке, указывая на Гюдена.— Он хорошо будет нести охрану перед вашим домом, и если бывший пожелает войти туда или выйдет из дверей, этот смельчак не промахнется.

Гюден ушел, взяв с собою десять солдат.

— Вы хорошо понимаете, что делаете? — шепотом спросил Корантен мадемуазель де Верней.

Она не ответила и почти довольным взглядом смотрела, как солдаты под командой сублейтенанта направлялись на бульвар, а другие, по указанию Юло, становились вдоль темных стен церкви св. Леонарда.

— Несколько домов примыкает к моему дому,— сказала она Юло,— оцепите их тоже. Нельзя упустить ни малейших предосторожностей, чтобы нам не пришлось потом раскаиваться.

«Вот бешеная!» — подумал Юло.

— Ну, разве я не пророк,— сказал ему на ухо Корантен.— А к ней я хочу подослать того мальчишку с красной ногой... Помните? И тогда...

Он не успел договорить: мадемуазель де Верней внезапно бросилась к своему дому, Корантен быстро пошел вслед за ней, насвистывая, с видом счастливого человека. Он догнал девушку у дверей и заметил на пороге сына Налей-Жбана.

— Возьмите с собой этого мальчика, мадемуазель,— сказал Корантен,— вам не найти гонца более простодушного и более проворного. Слушай, как только увидишь, что Молодец вошел в дом, что бы тебе ни говорили, беги, разыщи меня в кордегардии, и тогда я дам тебе столько денег, что ты всю жизнь будешь лакомиться лепешками.

Слова эти Корантен как бы одним дыханием шепнул на ухо мальчику; в ответ маленький бретонец крепко сжал его руку и вошел в дом вслед за мадемуазель де Верней.

— А теперь, друзья любезные, объясняйтесь, когда вам будет угодно! — воскликнул Корантен, едва закрылась дверь.— Если тебе, дорогой маркиз, придется изведать наслаждения любви, то только на смертном одре!

И Корантен, не решаясь терять из виду роковой дом, направился на бульвар, где он нашел Юло, отдававше-

го распоряжения караулу. Прошло два часа, но никто из часовых, расставленных неподалеку один от другого, не мог заметить никаких признаков того, что маркиз пробрался через тройную цепь притаившихся бдительных дозорных, с трех сторон охранявших башню Попугая и все подступы к ней. Раз двадцать Корантен прибегал с бульвара в кордегардию, и всякий раз его ожидание было обмануто: маленький лазутчик все не появлялся. Погрузившись в свои мысли, шпион медленно прохаживался по бульвару, терпя мучительную пытку, ибо его терзали три страсти, ужасные при их столкновении: любовь, алчность и честолюбие. На всех городских часах пробило восемь. Луна в ту пору поднималась поздно. Ночь и туман окутали непроглядной тьмой место, где должна была произойти развязка драмы, задуманная этим человеком. Корантен умел подавлять свои чувства; крепко скрестив руки на груди, он уже не сводил глаз с окна, сияющим призраком светившегося над башней. Когда шаги приводили его к опасному обрыву, которым бульвар кончался со стороны долины, он машинально всматривался в туман, пронизанный бледными огоньками, кое-где мерцавшими в городе и в предместье, выше и ниже крепостного вала. Глубокую тишину нарушало только журчание Нансона, мерные зловещие удары колокола, отбивавшего часы, тяжелые шаги караульных и бряцание оружия, когда происходила ежечасная смена часовых. Все исполнилось торжественности: люди и природа.

— Темно, как в волчьей пасти! — сказал Хватай-Каравай.

— Ничего, лезь,— отозвался Крадись-по-Земле,— и молчи, как дохлый пес.

— Я и дышать-то боюсь,— оправдывался шуан.

— Кто столкнул камешек? Если этот умник хочет, чтобы я всадил ему нож в сердце, пусть попробует повторить,— сказал Крадись-по-Земле так тихо, что голос его сливался с плеском воды в Нансоне.

— Да это я,— ответил Хватай-Каравай.

— Ну, старый мешок с деньгами,— прошипел вожак,— ползи на брюхе, как уж, а не то мы раньше времени оставим здесь свои кости.

— Эй, Крадись-по-Земле! — продолжал неисправи-

мый Хватай-Каравай. Цепляясь руками за кустики вереска, он подполз на животе к тому выступу, куда уже взобрался его товарищ, и зашептал ему на ухо, чтобы не услышали шуаны, поднимавшиеся вслед за ними:— Эй, Крадись-по-Земле! Коли верить Главной молодке, там мы найдем богатую добычу. Хочешь, поделим с тобой пополам?

— Слушай, Хватай-Каравай! — сказал Крадись-по-Земле и застыл на месте, распластавшись ничком. Весь отряд последовал его примеру: шуанов измучил трудный подъем со дна пропасти.— Я тебя знаю, ты из породы хапунов, хотя умеешь и ударить как следует и не боишься сдачи получить, когда выбирать не приходится. Но помни, мы идем сюда не для того, чтобы обшаривать мертвецов: мы будем драться, как дьяволы против дьяволов, и горе тому, у кого когти окажутся коротки. Главная молодка послала нас спасать Молодца; подними свой собачий нос да глянь вон на то окно над башней! Он там!..

В эту минуту пробило полночь. Взошла луна, и туман стал похожим на белый дым. Хватай-Каравай крепко схватил товарища за плечо и молча указал ему на трехгранные штыки, блеснувшие в десяти шагах над ними.

— Синие уже там,— сказал Хватай-Каравай.— Силой нам не взять.

— Погоди,— ответил Крадись-по-Земле.— Коли я хорошо разглядел нынче утром, то у самой башни, между валом и бульваром, есть маленькая площадка,— там всегда сваливают навоз, и на него можно упасть, как на перину.

— Вот если бы святой Лавр пожелал претворить в крепкий сидр ту кровь, что скоро здесь прольется, тогда завтра в Фужере люди нашли бы изрядный запас сидра,— сказал Хватай-Каравай.

Крадись-по-Земле широкой ладонью зажал ему рот, затем чуть слышно подал сигнал опасности, и сигнал этот пробежал по всем вереницам шуанов, вплоть до последних, тех, что висели в воздухе, ухватившись за вереск, который покрывал сланцевые утесы. В самом деле, на краю бульвара стоял Корантен. Изощренный его слух не мог не уловить шороха кустов, потревоженных

шуанами, и легкого звука падения камешков, скатившихся на дно пропасти. Крадись-по-Земле, казалось, обладал способностью видеть в темноте, а может быть, его чувства от постоянного упражнения обострились, как у дикарей,— он разглядел Корантена или, скорее, учуял его, как чует зверя хорошо натасканный охотничий пес. Напрасно дипломат из полиции вслушивался в тишину и всматривался в отвесную стену обрыва — он ничего не обнаружил. Мглистый свет луны позволил ему различить в тумане нескольких шуанов, но он принял их за обломки скалы, ибо эти живые человеческие тела сохраняли полную неподвижность мертвой природы. Опасность недолго угрожала отряду. Внимание Корантена привлек явственный шум, раздавшийся на другом конце бульвара,— там где кончалась поддерживающая его стена и начинался крутой скат утеса. Как раз к этому месту вела тропинка, проложенная от Лестницы королевы по краю сланцевых скал. В ту минуту, когда Корантен подошел к тропинке, перед ним, словно по волшебству, выросла человеческая фигура; он протянул руку, чтобы схватить это привидение или живое существо, решив, что оно явилось с недобрыми намерениями; рука его ощутила округлые и мягкие женские формы.

— Черт бы вас побрал, голубушка!—шепотом сказал он.— Если б вы не со мной столкнулись, вам бы, пожалуй, пробили голову пулей. Куда и откуда вы идете в такой поздний час? Вы что, немая?

«А ведь это, несомненно, женщина»,— подумал он.

Молчание становилось подозрительным, и незнакомка наконец ответила явно испуганным голосом:

— Ох, мы с посиделок идем, дяденька.

«Это мнимая «мамаша» маркиза,— решил Корантен.— Посмотрим, что она будет делать».

— Ну, ладно, пройдите вон той стороной, бабушка,— громко сказал он, притворившись, что не узнал женщину.— Сверните влево, если не хотите, чтобы вас пристрелили.

Он постоял с минуту, увидел, что г-жа дю Га направилась к башне Попугая, и последовал за нею, держась на расстоянии с дьявольской ловкостью. Во время этой роковой встречи шуаны очень искусно попрятались на кучах навоза, к которым их привел Крадись-по-Земле.

— Главная молодка пришла,— шепотом оповестил их Крадись-по-Земле и поднялся у стены башни, словно медведь.— Мы здесь,— сказал он г-же дю Га.

— Хорошо! — ответила она.— Если тебе удастся разыскать лестницу в саду, который находится на шесть футов ниже навозных куч, мы спасем Молодца. Видишь наверху окошечко? Там туалетная комната, из нее дверь в спальню. Туда надо забраться. Башню оцепили с трех сторон. Свободна только эта стена. Лошади готовы. Если ты поставил людей у переправы через Нансои, мы через четверть часа умчим его от опасности, невзирая на его безумства. Но если эта тварь вздумает бежать вместе с ним, заколите ее.

Корантен заметил во мгле проворное движение темных силуэтов, которые он сначала принял за камни, и бросился стремглав на караульный пост у ворот св. Леонарда. Юло спал одетым на походной кровати в кордегардии.

— Да оставьте вы его! — грубо сказал Скороход.— Он только что лег.

— Шуаны в городе! — крикнул Корантен прямо в ухо Юло.

— Не может быть! Но тем лучше! — сказал Юло сквозь сон.— По крайней мере сразимся!..

Когда Юло пришел на бульвар, Корантен указал ему необычайную позицию, занятую шуанами.

— Они обманули или задушили часовых, которых я поставил между Лестницей королевы и крепостью!— воскликнул Юло.— Ах, дьявол! Какой туман!.. Но погодите!.. Я сейчас пошлю вниз, к подошве утеса, полсотни солдат под командой лейтенанта. Здесь не стоит атаковать этих скотов, ведь они до того крепки, что могут камнем скатиться на дно пропасти и не переломают себе костей.

Надтреснутый колокол пробил на башне два часа ночи; в это время Юло вернулся на бульвар, приняв строжайшие меры к тому, чтобы захватить отряд Крадись-по-Земле. На всех постах удвоили караулы, дом мадемуазель де Верней стал центром действий маленькой армии. Юло заметил, что Корантен поглощен наблюдением за окошечком, светившимся над башней Попугая.

— Гражданин,— сказал ему Юло,— по-моему, этот бывший напакостит нам: ведь никто еще не пошевельнулся.

— Он там! — воскликнул Корантен, указывая на окно.— Я видел тень мужчины на занавесках... Не понимаю, что случилось с моим мальчишкой? Его убили или подкупили. Стой, командир! Видишь? Вон мужчина! Идем!

— Разрази меня гром! Я не пойду вытаскивать его из постели! Раз он вошел — значит выйдет. Гюден его не упустит,— возразил Юло: у него были свои причины помешкать.

— Идем, командир! Именем закона предлагаю тебе немедленно захватить этот дом.

— Щенок, еще рано тебе приказывать мне!

Нисколько не смущаясь гневом Юло, Корантен холодно сказал:

— Ты подчинишься мне. Вот приказ по всей форме, подписанный военным министром, и он заставит тебя повиноваться.— Корантен вынул из кармана бумагу и продолжал:— Неужели ты воображаешь, что мы простаки и позволим этой девице действовать, как ей вздумается? Ведь нам надо подавить гражданскую войну, а великая цель оправдывает низкие средства.

— Позволю себе, гражданин, вольность послать тебя к... Понял? Довольно! Налево кругом, марш! Проваливай отсюда! Живо!

— Да прочти приказ! — сказал Корантен.

— Не лезь ты ко мне со своими полномочиями!— воскликнул Юло, возмущенный требованием подчиниться столь презренному существу, каким он считал Корантена.

В эту минуту перед ним появился сын Налей-Жбана, словно крыса, выскочившая из норы.

— Молодец ушел! — крикнул он.

— Какой улицей?

— Святого Леонарда.

— Скороход,— сказал Юло на ухо капралу, стоявшему возле него,— беги, скажи своему лейтенанту, чтобы он двинулся к дому и открыл беглый огонь, да посильней. Понял? Слева по одному к башне, марш! — крикнул командир солдатам.

Для полного понимания развязки нам необходимо вернуться вместе с мадемуазель де Верней к ней в дом.

Когда страсти доходят до крайнего предела, они подчиняют нас могучей силе опьянения, несравнимого с жалким угаром вина или опиума. Ясность, которую приобретают тогда мысли, обостренная тонкость взволнованных чувств вызывают явления самые необычайные и неожиданные. Находясь под тиранической властью одной-единственной мысли, люди иногда отчетливо видят предметы почти неуловимые, тогда как вещи вполне осязаемые как будто для них не существуют. Такое опьянение, преображающее бытие реальное в жизнь лунатика, охватило и мадемуазель де Верней, когда она прочла письмо маркиза и поспешила устроить все так, чтобы он не мог избегнуть ее мести, так же как недавно она старалась все подготовить к первому празднику своей любви. Но когда она увидела, что по собственному ее требованию дом окружили тройным рядом штыков, в душе ее, казалось, внезапно блеснул свет. Она поразмыслила над своими поступками и с ужасом подумала, что совершила преступление. В порыве раскаяния она бросилась к двери и на минуту застыла у порога, пытаясь обдумать что-то, но не могла закончить ни одной мысли. Неуверенность во всех своих действиях так поглотила ее, что она не могла понять, почему стоит в передней своего дома и держит за руку какого-то незнакомого мальчика. Перед ее глазами плавали тысячи искр, сливаясь в огненные языки. Она принялась ходить по комнатам, чтобы стряхнуть с себя тяжелое оцепенение, но, словно во сне, все вокруг потеряло для нее обычную свою форму и цвет. С непривычной неистовой силой она сжимала руку мальчика и, увлекая его за собой, шагала так стремительно, точно потеряла рассудок. Она пробежала через гостиную и никого не заметила там, хотя в комнате было трое мужчин, которые с поклоном расступились, чтобы дать ей пройти.

— Вот она,— сказал один.

— Как она хороша! — воскликнул священник.

— Да,— отозвался первый,— но как она бледна, взволнованна!

— И как рассеянна! — добавил третий.— Она даже не заметила нас.

У дверей своей спальни мадемуазель де Верней увидела кроткое, радостное лицо Франсины. Бретонка сказала ей на ухо:

— Он здесь, Мари!

Мадемуазель де Верней очнулась, поглядела пристально на мальчика, которого держала за руку, и, узнав его, сказала Франсине:

— Если хочешь, чтобы я осталась жива, запри этого мальчугана, стереги его хорошенько, не дай ему убежать.

Она произнесла эти слова очень медленно, не отрывая от двери ужасного, застывшего взгляда, словно сквозь толстые доски видела свою жертву. Тихо открыла она дверь и, не оборачиваясь, закрыла ее за собою, заметив, что у камина стоит маркиз. Костюм Монторана не был очень изысканным, но все же казался праздничным, нарядным и увеличивал блеск красоты, которой все женщины наделяют любимого человека. Увидев Монторана, мадемуазель де Верней обрела самообладание. Ее неподвижные, судорожно сжатые губы шевельнулись, приоткрыв белизну зубов, и застыли в улыбке, скорее грозной, чем сладострастной. Она медленно подошла к маркизу и, указывая на часы, сказала:

— Человек, достойный любви, конечно, заслуживает, чтобы его подождали!..

Но, обессилев от бурного волнения, она не могла стоять и опустилась на диван у камина.

— Дорогая моя Мари, как вы пленительны, когда гневаетесь,— сказал маркиз, садясь рядом с нею; он взял ее за руку, и она не отняла руки, но не подарила его взглядом, хотя он молил ее об этом.— Я надеюсь,— продолжал он ласковым голосом,— что через минуту Мари очень пожалеет, зачем она не захотела даже повернуть головку к своему счастливому мужу.

Мадемуазель де Верней круто повернулась и посмотрела ему в глаза.

— Что означает этот грозный взгляд? — продолжал он, улыбаясь.— Какая у тебя горячая рука! Любимая моя, что с тобою?

— Любимая? — повторила она глухим, дрогнувшим голосом.

— Да, любимая! — сказал он и, опустившись перед

ней на колени, покрыл поцелуями ее руки.— Я твой на всю жизнь!

Она резко оттолкнула его и поднялась. Черты ее лица исказились, и, засмеявшись, как безумная, она сказала:

— Ты сам не веришь ни одному своему слову. Ты лжешь, как самый последний негодяй!

Она бросилась к кинжалу, лежавшему возле вазы с цветами, и клинок сверкнул на волосок от груди удивленного Монторана.

— Нет,— сказала она, бросив оружие на пол,— я не убью тебя: для этого я недостаточно уважаю тебя. Не прольют твою кровь и солдаты: ты этого не достоин. И я вижу, что только палач...

Она с трудом, чуть слышно произносила эти слова и топала ногой, как избалованный, нетерпеливый ребенок. Маркиз подошел к ней и попытался обнять ее.

— Не прикасайтесь ко мне! — воскликнула она и с ужасом отпрянула от него.

— Она лишилась рассудка! — в отчаянии крикнул маркиз.

— Да, лишилась,— повторила она,— но еще не настолько, чтобы стать твоей игрушкой... Чего бы я не простила истинной страсти! Но стремиться обладать мною без любви... и написать об этом...

— Кому же я написал? —спросил он с неподдельным удивлением.

— Той целомудренной женщине, которая хотела меня убить!

Маркиз побледнел и так крепко сжал спинку кресла, за которую держался, что чуть не сломал ее.

— Если только госпожа дю Га способна была сделать еще какую-нибудь гнусность...

Мадемуазель де Верней стала искать письмо и не нашла его, тогда она позвала Франсину. Бретонка вошла.

— Где письмо?

— Его взял господин Корантен.

— Корантен?! Ах!.. Теперь я все понимаю!.. Он сам написал письмо, он обманул меня с дьявольским искусством, как он всегда обманывает.

Она пронзительно закричала, рухнула на диван, и слезы хлынули из ее глаз. Уверенность была не менее ужасной, чем сомнение.

Маркиз бросился к ногам возлюбленной, прижал ее к груди и раз десять повторил единственные слова, которые мог произнести:

— Не надо плакать, ангел мой! Что же тут дурного? Твои оскорбления были полны любви. Не плачь же, не плачь! Я люблю тебя, по-прежнему люблю.

Вдруг он почувствовал, что она с нечеловеческой силой обхватила его руками, и сквозь рыдания у нее вырвались слова:

— Ты все еще любишь меня?

— А ты в этом сомневаешься? — спросил он почти грустно.

Она вырвалась из его объятий и словно в испуге и в смущении отбежала от него.

— Сомневаюсь?..— воскликнула она.

Маркиз улыбнулся с такой ласковой насмешкой, что слова замерли у нее на устах. Она молча позволила взять себя за руку и подвести к порогу двери. В глубине гостиной она увидела алтарь, наспех устроенный в ее отсутствие. Священник уже был в облачении. Зажженные свечи отбрасывали на потолок отблески, светлые, как надежда. Двое мужчин поклонились ей. Она узнала графа де Бована и барона дю Геника,— это были два свидетеля, выбранных Монтораном.

— Неужели ты опять откажешь мне?—тихо спросил маркиз.

Неожиданное зрелище поразило Мари, она шагнула назад в спальню, упала на колени и, протягивая к маркизу руки, крикнула:

— Ах, прости, прости! Прости меня!..

Голос ее оборвался, голова запрокинулась, и она без чувств упала на руки маркиза и Франсины. Когда Мари открыла глаза, она встретила взгляд Монторана — взгляд, исполненный любви и нежности.

— Терпение, Мари, терпение! Это последняя буря,— сказал он.

— Последняя! — повторила она.

Франсина и маркиз удивленно переглянулись, но она жестом потребовала, чтобы они молчали.

— Позовите священника,— сказала она,— и оставьте меня наедине с ним.

Они вышли из комнаты.

— Отец мой,— порывисто сказала она, когда появился перед ней священник,— в дни моего детства седовласый старец, похожий на вас, часто говорил мне, что, когда человек горячо верит, он все может вымолить у бога. Правда это?

— Правда,— ответил священник.— Все возможно для того, кто все сотворил.

Мадемуазель де Верней в неведомом ей восторге бросилась на колени.

— Господи! — промолвила она в экстазе.— Вера моя в тебя равна моей любви к нему... Вдохнови меня! Сотвори чудо или возьми мою жизнь!

— Желание ваше будет исполнено,— сказал священник.

Опираясь на руку этого седовласого старика, мадемуазель де Верней вошла в гостиную. С глубоким, затаенным волнением готовилась она отдать себя во власть любви любимого и никогда еще не была так прекрасна. Сияние душевной умиротворенности, подобное тому, которым художники любят отмечать лица мучеников, придавало ее красоте величавый характер. Она протянула маркизу руку, вместе они подошли к алтарю и опустились на колени. Этот брак, который должен был получить благословение в двух шагах от брачного ложа, этот наспех устроенный алтарь, крест, церковная утварь, чаша, тайком принесенная священником, дым ладана, расстилавшийся под карнизами, видевшими прежде лишь пар дымящихся яств, священник, надевший только епитрахиль поверх сутаны, восковые свечи, горевшие в гостиной,— все создавало трогательную и странную сцену, довершавшую печальной памяти картину того времени, когда междоусобные распри низвергали самые святые установления. Религиозные обряды имели тогда обаяние таинства. Детей крестили в спальнях, где еще стонали матери. Как в давние времена, господь, простой и бедный, приходил утешать умирающих. А юные девушки принимали первое причастие там, где накануне они играли. Союз маркиза и мадемуазель де Верней готовились освятить актом, противоречившим новому законодательству, но позднее все подобные браки, по большей части совершенные у подножия дубов, были признаны законными.

Старик священник, хранитель старинных обычаев, принадлежал к числу людей, которые и в разгар грозы остаются верными своим принципам. Он не принес присяги, которую потребовала Республика, однако голос его распространял средь бурь лишь слова мира. Он не раздувал, подобно аббату Гюдену, пламени пожара, но, как и многие другие, посвятил себя опасной миссии, выполняя обязанности священника среди людей, оставшихся в душе католиками. Чтобы успешно нести это трудное служение, он пользовался всеми уловками, дозволенными благочестием в пору гонения,— маркизу удалось отыскать его только в одной из тех вырытых пещер, которые до сих пор носят название *аббатские тайники*. Бледное, страдальческое лицо старика внушало уважение, располагало к молитве, и достаточно было его присутствия в этой светской гостиной, чтобы она приняла характер священного места. Все было готово для совершения брака, несшего горе или радость. Прежде чем начать обряд, священник среди глубокой тишины спросил имя невесты.

— Мари-Натали, дочь девицы Бланш де Катеран, умершей в сане аббатисы Сеэзского монастыря богоматери, дочь Виктора-Амедея герцога де Верней.

— Где родились?

— В Шатри, близ Алансона.

— Вот уж не думал,— шепнул барон графу де Бовану,— что Монторан сделает такую глупость и женится на ней... Побочная дочь герцога! Фи!..

— Если бы еще побочная дочь короля,— ну, куда ни шло! — улыбаясь, ответил де Бован.— Но я порицать его не стану, хотя мне больше нравится другая. Вот оседлаю *Кобылицу Шарета*, и мы еще повоюем. Она-то уж не станет ворковать!..

Имена маркиза были уже заранее вписаны в брачное свидетельство. Жених с невестой подписались, за ними подписались свидетели. Началось богослужение, и в эту минуту только одна Мари расслышала тяжелые, мерные шаги солдат: несомненно, синие шли сменять караул, который, по собственному ее указанию, поставили в церкви св. Леонарда. Она вздрогнула и подняла глаза к кресту, стоявшему на алтаре.

— Смотрите!.. Она как святая! — тихо сказала Франсина.

— Дайте мне побольше таких святых, и я стану дьявольски благочестивым,— шепотом отозвался граф.

Когда священник задал мадемуазель де Верней обычный вопрос, она ответила «да» и глубоко вздохнула. Наклонившись к мужу, она сказала ему на ухо:

— Скоро вы узнаете, почему я нарушила свою клятву никогда не выходить за вас замуж.

Обряд кончился, и все перешли в залу, где был сервирован ужин, но в ту минуту, когда гости сели за стол, появился перепуганный Иеремия. Несчастная новобрачная быстро поднялась со своего места и пошла ему навстречу вместе с Франсиной; найдя один из тех предлогов, которые женщины так хорошо умеют изобретать, она попросила маркиза несколько минут одному исполнять обязанности хозяина и поспешила увести из комнаты слугу, прежде чем он успел неосторожно сообщить весть, быть может, роковую.

— Ах, Франсина! Чувствовать, что умираешь, и не иметь права сказать: «Умираю!» — воскликнула мадемуазель де Верней. Она не вернулась в столовую.

Ее отсутствие можно было объяснить какими-нибудь причинами, связанными с состоявшейся свадьбой. К концу ужина, когда беспокойство маркиза дошло до предела, Мари появилась во всем блеске наряда новобрачной. Лицо ее было радостным и спокойным, тогда как у сопровождавшей ее Франсины все черты выражали глубочайший ужас, и гостям показалось, что две эти женские фигуры представляют странную картину, которую могла бы создать причудливая кисть Сальватора Розы: «Жизнь и Смерть», держащие друг друга за руку.

— Господа,— сказала она, обращаясь к священнику, барону и графу,—на этот вечер вы будете моими гостями, для вас очень опасно выйти нынче из города. Вот этой славной девушке я дала распоряжения, и она вас проводит в отведенные вам комнаты. Не противьтесь,— сказала она священнику, который, видимо, хотел возразить.— Надеюсь, что вы не решитесь ослушаться женщины в день ее свадьбы.

Через час она осталась наедине с любимым в комнате, дышавшей чувственной негой, в спальне, которую

она убрала так изящно. Они подошли, наконец, к тому роковому ложу, где, как в могиле, гибнет столько надежд; где пробуждение к блаженной жизни столь неверно, где умирает или рождается любовь, в зависимости от склада характеров, которые познаются лишь там. Мари взглянула на часы и подумала: «Жить осталось только шесть часов».

— Неужели я могла заснуть? — тихо воскликнула она, проснувшись под утро от невольного движения, как это бывает, когда человек, вздрогнув, пробуждается в определенный час, назначенный себе накануне.— Да, я спала,— промолвила она, увидев при свете горевших свечей, что стрелка часов на камине скоро укажет два часа ночи.

Она повернулась и долгим взглядом посмотрела на маркиза; он спал, как ребенок, подложив руку под голову, а другой рукой держал руку жены и чуть заметно улыбался, как будто уснул средь поцелуев.

— Ах,— еле слышно воскликнула она,— он спит, как дитя! Да разве он может не довериться мне, когда он дал мне несказанное счастье! — Она тихонько толкнула его, он проснулся, и улыбка раздвинула его губы. Поцеловав ту руку Мари, которую он держал во сне, он поглядел на несчастную женщину такими сверкающими глазами, что она не выдержала их страстного сияния и медленно опустила тяжелые веки, как будто хотела запретить себе опасное созерцание; но, затенив длинными ресницами огонь своих глаз, она этим мнимым отказом разделить желание еще больше воспламеняла его, и если б не глубокий ужас, который она пыталась скрыть, муж мог бы обвинить ее в чрезмерном кокетстве. В одну и ту же минуту оба подняли свои прелестные головы и обменялись взглядом, исполненным благодарности за наслаждение, которое они изведали. Но быстро охватив восторженным взглядом прекрасную картину, какой являлось для маркиза лицо его жены, он заметил, как затуманилось ее чело, и, приписывая это чувству грусти, ласково спросил:

— Любимая, зачем эта тень печали?

— Альфонс, бедный мой Альфонс, куда, думаешь ты, я привела тебя? — спросила она с трепетом.

— К счастью.

— К смерти!

И, вздрогнув от ужаса, она бросилась из постели к окну. Удивленный маркиз последовал за нею. Мари в отчаянии исступленно заломила руки, затем приподняла занавеску и указала на площадь: там стояло человек двадцать солдат. Туман рассеялся, и в белом лунном свете ясно видны были мундиры, ружья, невозмутимый Корантен, который сновал взад и вперед, словно шакал, поджидающий добычу, и командир республиканцев,— он стоял неподвижно, скрестив на груди руки, и, подняв голову, вздернув губу, смотрел на дом внимательно и грустно.

— Ах, оставим их, Мари! Вернись!

— Почему ты смеешься, Альфонс? Ведь это я сама поставила их тут!

— Ты бредишь!

— Нет.

Секунду они смотрели друг другу в глаза, маркиз угадал все и, сжав ее в объятиях, сказал:

— Пусть даже так!.. Я по-прежнему люблю тебя.

— Тогда не все еще потеряно! — воскликнула Мари.— Альфонс,— сказала она, помолчав,— еще есть надежда.

В это мгновение они ясно услышали глухой крик совы. Из туалетной комнаты внезапно вышла Франсина.

— Пьер здесь! — сказала она с почти безумной радостью.

Изумительно быстро, как это умеют делать только женщины, маркиза и Франсина переодели Монторана в шуанское платье. Когда маркиза увидела, что ее муж заряжает пистолеты, которые принесла Франсина, она незаметно вышла из комнаты, обменявшись многозначительным взглядом с верной своей бретонкой. И тогда Франсина провела маркиза из спальни в туалетную комнату. Он увидел там груду крепко связанных одна с другой простынь и мог убедиться в деятельной заботливости бретонки, желавшей обмануть бдительность солдат.

— Мне тут ни за что не пролезть,— сказал маркиз, разглядывая маленькое оконце.

В это мгновение темное широкое лицо закрыло отверстие овальной рамы и хриплый, столь знакомый Франсине голос тихо окликнул:

— Генерал, торопитесь! Синие жабы зашевелились.

— О, еще один поцелуй! — произнес дрожащий и нежный голос.

Маркиз уже ступил обеими ногами на спасительную лестницу, но еще не выбрался из окошка, и в эту минуту почувствовал, что его обняли с силой отчаяния. Он узнал жену и невольно вскрикнул, поняв, что она переоделась в его платье; он хотел удержать ее, но Мари стремительно вырвалась, и ему пришлось спускаться. В руке у него остался обрывок ткани, и при свете луны, внезапно озарившей его, он увидел, что это лоскуток жилета, который был на нем накануне.

— Стой! Залпом пли!

Этот окрик Юло, раздавшийся среди грозной тишины, разрушил чары, под властью которых, казалось, были и люди и природа. Тотчас вслед за яростными залпами синих, поставленных на бульваре, к подножию башни градом полетели пули из глубины долины. Неумолимый дружный огонь республиканцев не прекращался. Жертвы не издали ни единого крика. Мгновения тишины между залпами были страшны.

Однако Корантен заподозрил какую-то ловушку, заметив, что с высоты лестницы упала одна из висевших в воздухе фигур, на которые он указал Юло.

— Ни один из этих скотов не пикнул! — сказал Корантен.— Влюбленные вполне способны отвлечь наше внимание какой-нибудь хитростью, а сами, пожалуй, спаслись бегством с другой стороны башни.

Шпиону хотелось поскорее раскрыть тайну, и он послал сына Налей-Жбана за факелами. Предположение Корантена показалось Юло вполне вероятным; беспокойно прислушиваясь к треску выстрелов у ворот св. Леонарда, где, несомненно, завязалась серьезная схватка, старый солдат воскликнул:

— Это верно! Не может быть, что их двое!

И он стремглав побежал в кордегардию.

— Молодцу всадили пулю в голову, командир,— сказал Скороход, выйдя ему навстречу.— Но он убил Гюдена и ранил двоих солдат. Ох, и бешеный! Он прорвался через три ряда наших ребят и наверняка улизнул бы в горы, если б часовой у ворот святого Леонарда не подцепил его на штык.

Услышав эти слова, Юло бросился в кордегардию и увидел там окровавленное тело, которое только что положили на походную кровать. Он подошел к мнимому маркизу, поднял шляпу, закрывавшую ему лицо, и тяжело опустился на стул.

— Я так и думал! — крикнул он, крепко скрестив руки на груди.— Разрази меня гром! Слишком долго она держала его у себя.

Все солдаты остолбенели. Юло распустил длинные черные косы,— это была женщина! Вдруг тишину нарушил топот идущего отряда людей. В кордегардию вошел Корантен, а за ним четверо солдат; на носилках, устроенных из ружей, внесли Монторана: пулями ему перебило оба бедра и обе руки. Маркиза положили на походную кровать рядом с женой. Он увидел ее и судорожным движением взял ее за руку. Умирающая с трудом повернула голову, узнала мужа, задрожала так, что страшно было смотреть, и еле слышно прошептала:

— *День без грядущего утра!*.. Бог слишком скоро внял моей мольбе!

— Командир,— вымолвил маркиз, собрав угасающие силы и не выпуская руку Мари.— Я полагаюсь на вашу честность. Сообщите о моей смерти в Лондон младшему моему брату. Напишите ему, что если он хочет исполнить мою последнюю волю, пусть не поднимает оружия против Франции, не оставляя все же службы королю.

— Будет сделано,— сказал Юло, пожав умирающему руку.

— Отнесите их в ближайший госпиталь! — крикнул Корантен.

Юло схватил шпиона за плечо, и так крепко, что вонзил ему ногти в тело.

— Здесь твоя работа кончена. Убирайся вон! Да хорошенько запомни лицо командира Юло! Смотри, не попадайся мне на дороге, а не то я всажу тебе в брюхо свою саблю.

И старый солдат уже схватился за рукоятку сабли.

«Вот еще один из порядочных людей, которые никогда не сделают карьеры»,— сказал про себя Корантен, когда очутился уже далеко от кордегардии.

Маркиз еще нашел в себе силу кивком поблагодарить

своего противника, выказывая ему то уважение, которое солдаты питают к честному врагу.

В 1827 году на рынке в Фужере один старик с женой покупал скот, и никто не говорил ему худого слова, хотя он убил больше ста человек; никто даже не припомнил ему прежнего его прозвища: Крадись-по-Земле. Особа, которой мы обязаны ценными сведениями о всех действующих лицах этого повествования, видела, как он вел с рынка корову, выступая с таким простодушным, наивным видом, что невольно хотелось сказать: «Какой славный человек!»

Что касается Сибо, по прозвищу Хватай-Каравай, то мы уже знаем, как он кончил. Может быть, Крадись-по-Земле пытался, хотя и безуспешно, спасти своего приятеля от эшафота и находился на площади в Алансоне во время ужасного побоища, которое было одним из событий знаменитого процесса Рифоэля, Бриона и Ла-Шантри...

Фужер, август 1827 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены политической жизни

ДЕПУТАТ ОТ АРСИ

Роман «Депутат от Арси» не был закончен Бальзаком: он успел написать только первую его часть, которая публиковалась в газете «Юнион монаршик» с 7 апреля по 3 мая 1847 года под названием «Выборы». Произведение состояло тогда из 17 глав.

После смерти Бальзака французский писатель и журналист Шарль Ребу продолжил это произведение, дописав еще две части, и вместе с первой частью напечатал роман «Депутат от Арси» в 1853 году в газете «Конститюсьонель», а затем выпустил его отдельным изданием. В качестве автора всей книги фигурировал Бальзак, но в ней было указано: «Окончена Шарлем Ребу». Позднее Ребу написал еще два романа — «Граф де Сальнов» и «Семья Бовизаж», сюжетно связанные с «Депутатом от Арси». Серьезного художественного значения произведения Шарля Ребу не имеют. В настоящее собрание сочинений включена лишь первая часть романа «Депутат от Арси».

«Депутат от Арси» был задуман Бальзаком в тридцатые годы. Действие романа относится к 1839 году. Описанные в нем события развертываются в провинциальном городке Арси-сюр-Об в канун парламентских выборов.

Бальзак использует задуманную им ситуацию для безжалостного, полного сарказма разоблачения комедии буржуазного парламентаризма и закулисных предвыборных махинаций. Описание предвыборного собрания принадлежит к числу замечательных образцов политической сатиры Бальзака; описывая в пародийных тонах это сборище нескольких десятков буржуа Арси, он, по существу, создает злой и меткий памфлет на современный ему парламент буржуазной Июльской монархии.

«Независимый» кандидат в депутаты Симон Жиге провозглашает, что Арси не должен быть больше ни вотчинной либералов, ни вотчиной аристократов, и клянется, сделавшись депутатом, никогда не изменять «славному знамени *прогресса*».

В современной Бальзаку Франции словом «прогресс» охотно

господство этих спекулянтов при Директории привело Францию и революцию на край гибели и тем самым дало предлог Наполеону для государственного переворота»[1].

Следует отметить социальную прозорливость и зрелость политического мышления молодого писателя, которому было ясно, что историю современного ему французского общества невозможно понять вне связи с результатами революции конца XVIII века.

Хотя в «Шуанах» описаны события второстепенного значения, писатель сумел отразить важнейшие черты, характерные для исторического периода, который переживала тогда Франция.

В основе романа лежит один из эпизодов борьбы республиканских войск с шуанами, во главе которых стояли дворяне-роялисты и католические священники. Восстание шуанов 1799 года было последией серьезной вспышкой роялистского мятежа, который охватил в 1793 году всю северо-западную Францию. Этот мятеж вдохновлялся из-за рубежа — из Англии, снабжавшей восставших оружием и деньгами. Контрреволюционному дворянству и духовенству удалось использовать в своих интересах отсталость этих областей страны и темноту вандейских крестьян. Им удалось втянуть в восстание значительную часть местного крестьянства, в первую очередь его зажиточные слои, и поднять его на кровопролитную войну против Французской республики. Лишь в 1796 году Вандейское восстание было подавлено.

И вот три года спустя, когда антинародная политика буржуазной Директории привела Французскую республику на край гибели и войска второй коалиции вновь подступили к границам Франции, роялисты снова подняли мятеж в Бретани.

Бальзак правдиво изображает в романе оба враждебных лагеря — шуанов и республиканцев. Правда, в образе руководителя мятежа — маркиза де Монторана, носящего кличку «Молодец»,— можно без труда заметить стремление автора к романтической идеализации своего героя; но основную массу роялистских вожаков Бальзак рисует без всяких прикрас, вскрывая их корыстную заинтересованность в восстании, показывая отсутствие у них высоких идейных побуждений, осуждая их цинизм и жестокость. Вожаки мятежа, отмечает Бальзак, поднялись на борьбу за свои личные интересы. Один из них стремился получить «пост губернатора Бретани, другой — поместье и титул барона, третий — чин, четвертый — командование полком, и все требовали пенсий». Ради этого они ввергли страну в междоусобную войну, поступались ее национальными интересами, шли в услужение к врагам Франции.

Полную противоположность лагерю мятежников представляет республиканский лагерь. Читатель не раз встречается в творчестве Бальзака с привлекательными образами республиканцев, людей, исполненных высокого душевного благородства. Таков бывший якобинец, старик Низрон («Крестьяне»); таков «республиканец огромного размаха» Мишель Кретьен («Утраченные иллюзии»), таковы и «люди чести» — офицеры республиканской армии Юло, Жерар и Мерль в «Шуанах».

---

[1] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, М. 1957, стр. 242—243.

Этими отважными и благородными людьми движет патриотическая идея служения родине, они смотрят на себя как на носителей высоких, общечеловеческих идеалов. «Мы должны не только защищать французскую землю,— говорит в романе майор Жерар,— у нас двойная миссия. Мы обязаны сохранить душу страны, благородные принципы свободы, независимость, человеческий разум...»

В борьбе с шуанами погибают и Жерар, и Мерль, и сотни республиканских солдат. Гибель этих людей тем более трагична, что плодами их победы над роялистами воспользовались в действительности не широкие слои французского народа, а лишь новые алчные хозяева страны — крупные буржуа. Бальзак показывает, что наиболее проницательные республиканцы, в частности майор Жерар, начинают ощущать, какую опасность для судеб Республики представляет властолюбие ставленника крупной буржуазии Наполеона Бонапарта, сделавшегося в результате переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 года) первым консулом и уже вскоре сосредоточившего в своих руках всю полноту власти.

Характерной фигурой государственного деятеля нового периода, наступавшего в те годы в истории Франции, является продажный политик, организатор полицейского сыска и шпионажа в стране Жозеф Фуше, о котором не раз упоминается в романе. Хотя Фуше и остается за кулисами произведения, однако моральный облик и поведение его доверенного лица Корантена дают достаточно ясное представление о циничных методах всесильного министра полиции, шедшего к цели, не гнушаясь никакими средствами. «Мелкотравчатый Макиавелли» Корантен, подобно своему сановному покровителю, сегодня служит Наполеону, но готов завтра же сторговаться с Бурбонами. «Щепетильность, не допускающую «предать» Францию, как и прочие подобные предрассудки,— цинично заявляет он Мари де Верней,— мы, люди выдающиеся, предоставляем глупцам».

Большое место в романе занимает описание «роковой» страсти, которую испытывают друг к другу вожак шуанов маркиз де Монторан и шпионка Фуше Мари де Верней. Эта романтическая линия произведения помогает Бальзаку вскрыть роль корыстного интереса в поступках людей, подобных Корантену, который губит Монторана, узнав, что Мари де Верней любит маркиза.

В буржуазном литературоведении существует мнение, что «Шуаны» — роман несамостоятельный, написанный в подражание романам Вальтера Скотта. Однако это утверждение ошибочно. Следует говорить не о подражательности «Шуанов», а о творческом воздействии Вальтера Скотта на молодого, но уже намечавшего собственные пути развития писателя. Этот творческий контакт с английским романистом обнаруживается в интересе Бальзака к воспроизведению местного колорита — природных условий страны, быта и нравов, внешности и одежды действующих лиц.

В предисловии к первому изданию «Шуанов» Бальзак подчеркивал, что он строго придерживается истории. Но следовать правде истории не означало для писателя-реалиста копировать факты.

«Автор не намерен подписывать обязательство сухо излагать факт за фактом,— говорит Бальзак,— превращая тем самым историю в скелет с тщательно пронумерованными костями... Он попы-

тался вдохнуть в свою книгу дух эпохи и событий, отдавая предпочтение спору перед протоколом, сражению перед бюллетенем, драме перед рассказом».

Правдиво воспроизводя в своем романе действительность, Бальзак с помощью метких и точных характеристик раскрыл причины мятежа; он объяснил в нем, почему роялистам удалось повести за собой местное крестьянское население, подчеркнул контрреволюционную роль священников, осветил особенности тактики восставших и показал неизбежность победы республиканцев над мятежниками.

Стр. 117. *В один из первых дней VIII года, в начале вандемьера...* — Вандемьер («месяц сбора винограда») — первый месяц французского революционного календаря. Первым днем нового летосчисления считалось 22 сентября 1792 года, день провозглашения Первой французской республики. По этому календарю год делился на 12 месяцев, в каждом месяце было 30 дней, что составляло 360 дней, остававшиеся вне месяцев дни назывались «дополнительные дни» такого-то года. Вторым месяцем был упоминаемый в тексте романа брюмер («месяц туманов»). Названный в романе мессидор («месяц жатвы») был десятым месяцем нового календаря. В 1806 году республиканский календарь был упразднен.

Стр. 121. *...потребовала у двух национальных собраний...* — точнее, у двух палат, из которых состоял Законодательный корпус в годы Директории: Совета пятисот и Совета старейшин.

Стр. 130. *Братья Котро.* — Один из них, Жан, прозванный Шуан (то есть Сова, по его характерному свисту-сигналу, отсюда — «шуаны»), был предводителем вандейских контрреволюционных банд. Он поднял мятеж против Республики в 1793 г. и был убит в 1794 г. Ко времени действия «Шуанов» (1799) в живых остался лишь один из братьев Котро.

Стр. 132. *Революция, смягчившаяся после 9 термидора...*, то есть после 27 июля 1794 г., когда были свергнуты якобинцы. В действительности смягчился террор против врагов Республики, якобинцы же подверглись жесточайшим преследованиям.

Республика, покинутая молодым Бонапартом... — Бонапарт отправился с походом в Египет, но, узнав о создавшихся к концу 1799 г. благоприятных условиях для свержения Директории, бросил армию и возвратился в октябре 1799 г. в Париж.

Стр. 133. *...в парижской лавочке разгром.* — Юло называет «лавочкой» правительство Директории, к которому французский народ относился с презрением.

Эти пентархи... — Пентархия (греч.) — «пятивластие» (членов Директории было пять).

Стр. 134. *Питт* Вильям-младший (1759—1806) — английский премьер-министр, вдохновитель и организатор войн против революционной, а потом и против наполеоновской Франции. — *Принцы* — это Бурбоны: граф д'Артуа, граф Прованский (провозглашенный королем Франции под именем Людовика XVIII, но вступивший на трон только в 1814 г.) и принц Конде, возглавлявший контрреволюционный эмигрантский сброд еще в 1789—1792 гг. в Кобленце. Принцы вели свою изменническую деятельность с помощью английского золота, английских военных кораблей и целой сети английских агентов, шпионов и диверсантов, засылавшихся во Фран-

цию. В «Шуанах» Бальзак говорит: «Как всегда, внутренние раздоры во Франции разжигало золото Англии».

Стр. 138. *Жемапп* — бельгийская деревушка, возле которой 6 ноября 1792 г. молодая армия Первой французской республики разбила австрийскую армию и принудила ее уйти из Бельгии.

Стр. 140. *Вся Европа против нас...* — Речь идет о второй коалиции, объединившей в 1798 г. Англию, Австрию, Россию и некоторые другие страны.

Стр. 147. *Лескюр* Луи-Мари — маркиз, реакционер, убитый в 1793 г. в стычке с республиканскими войсками. Контрреволюционное дворянство и духовенство окружили его ореолом мученичества.

Стр. 158. *«Кукушка»* — небольшой дилижанс, курсировавший между Парижем и его пригородами.

Стр. 161. *Парламент* — высшее судебное учреждение в Париже, а также в ряде больших городов Франции, с передававшимися по наследству доходными должностями судей и советников; должности эти можно было также купить. В 1790 г. эти учреждения были упразднены и их заменили суды с выборными судьями.

Стр. 163. *Десятина* — десятая часть урожая, отчуждавшаяся в пользу церкви (отменена в 1789 г.)

Стр. 184. *Слушай, гражданин Брут...* — Это насмешливое обращение вызывало в памяти распространенный во Франции во времена якобинской диктатуры обычай принимать имена героев-республиканцев древнего Рима.

Стр. 192. *«Маленький Прованс»* — так называлась терраса для прогулок в парке при дворце Тюильри.

Стр. 206. *Шарет* Франсуа — бретонский дворянин; с марта 1793 г. стоял во главе контрреволюцин в Нижней Вандее. Был казнен в 1796 году.

Стр. 237. *Кобленц* — немецкий город, название которого стало синонимом «гнезда контрреволюции»: здесь формировалась эмигрантская армия принца Конде, а позднее расположилась штабквартира прусской армии, стремившейся задушить революционную Францию.

Стр. 247. *...к тому же ее судьба была сюжетом одной из наших Сцен.* — В повести «Изнанка современной истории» Бальзак изобразил Генриетту Брион, баронессу де Тур-Менье, казненную вместе со своим возлюбленным шуаном Рифоэлем, шевалье дю Виссаром. Но эта шуанка гораздо моложе госпожи дю Га.

Стр. 250. *«Болото»* — часть Конвента, вначале колебавшаяся между жироидистами и якобинцами, а позднее поддержавшая заговор 9 термидора против Робеспьера. *Мерсье* — один из многочисленных французских дворян-диверсантов, которых Англия засылала в Бретань для борьбы против революционной Франции.

Стр. 325. *Терминус* — древнеримский бог, покровитель сельского хозяйства, охранявший границы полей.

Стр. 351. *Марсо* Франсуа (1769—1796) — полководец, в 1793 г. разбивший вандейцев при Ле-Мане.

Стр. 353. *Жеронт* — комедийный тип простоватого старика.

Стр. 391. *Арморика* — древнее название Бретани.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены политической жизни

Депутат от Арси. *Перевод М. П. Богословской и К. Г. Локса* 5

Сцены военной жизни

Шуаны, или Бретань в 1799 году. *Перевод Н. И. Немчиновой* 117
Примечания 433

БАЛЬЗАК.
Собрание сочинений
в 24 томах. Том XVI.

Редактор тома
Б. С. Вайсман.

Иллюстрации художника
Д. Д. Штернберга.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова

Подп. к печ. 9/VIII 1960 г. Тираж 349 000 экз. Изд. № 1364.
Заказ 1695. Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 6,87 Печ. л. 22,55
+ 2 вкл. (0,125 п. л.). Уч.-изд. л. 24,17.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.